

Мухтар Ауэзов

ПУТЬ АБАЯ





МУХТАР АУЭЗОВ

ПУТЬ АБАЯ

РОМАН-ЭПОПЕЯ

КНИГА ВТОРАЯ

ПЕРЕВОД АНАТОЛИЯ КИМА

**АЛМАТЫ
ИД «ЖИБЕК ЖОЛЫ»
2012**

УДК 821.512.122-03-161.1

ББК 84 (Каз – Рус) 7-44

А 93

*Выпущено по программе
«Издание социально важных видов литературы»
Комитета информации и архивов Министерства культуры
и информации Республики Казахстан*

Фонд Мухтара Ауэзова

Ауэзов М.

А 93 **Путь Абая / Пер. А. Кима. – Алматы: ИД «Жибек жолы», 2012.**

Кн. 2. – 556 с.

ISBN 978-601-294-109-8

УДК 821.512.122-03-161.1

ББК 84 (Каз – Рус) 7-44

ISBN 978-601-294-109-8 (Кн. 2)

ISBN 978-601-294-107-4 (общ.)

© Фонд Мухтара Ауэзова, 2012

© ИД «Жибек жолы», 2012

ПЕРЕПРАВА

1

В эту ночь Абай не сомкнул глаз, лишь перед самым рассветом прилег на часок вздремнуть. Но спать не хотелось, и он скоро вернулся к столу, на котором лежали раскрытые книги. Он чувствовал удивительную телесную бодрость и свежесть в мыслях, словно и не просидел ночь напролет за книгами. Они были на разных языках – на староузбекском и на тюрки, которые он знал прилично, также на арабском и фарси, в которых разбирался слабее. Но самым для него мучительным было чтение на русском языке: оно давалось ему тяжело, несмотря на все его великие старания.

Эти книги пришли к нему со всех концов света, пришли в нужное время, для насущного дела. Абай должен был именно к сегодняшнему дню собрать и обобщить необходимые сведения из этих разноязычных книг. И вдруг они словно проломили стену обыденности вокруг Абая и, в прошедшую бессонную ночь, вывели его в беспредельный мир чудесных земных путешествий. Находясь в своей комнате, Абай почувствовал за своими плечами дыхание великих странников прошлого.

Староузбекские и арабские книги уводили Абая в цветущие сады Шираза, рассказывали ему о древних мавзолеях Самарканда. Он совершил дивные прогулки к прохладным водоемам-хаузам Мешхеда, посетил зачарованные дворцы Газны, Багдада, попадал чудесным образом в медресе и библиотеки Герата, где проводили дни своей жизни многие поэты древнего Востока. Больше всего влекло Абая к затейливому,



как тысяча и одна ночь, миру арабов, персов, тюрков и монголов с их безудержными, как степные пожары, военными походами, с яростными битвами: в грозных криках торжества победителей, в молниеносном блеске рубящих кривых ятаганов, в звоне исфаганских сабель. Переходя от восточных книг к русским, Абай совершал далекие путешествия по азийским просторам, перед ним раскрывались знойные пространства Аравии, Средней Азии, древнего Ирана – с их жаркими пустынями, оазисами, городами и поселками-улаятами, с их пестрым народонаселением, ремесленниками, торговцами, водителями верблюжьих караванов.

Сегодняшний день этих стран интересовал Абая больше всего. Он выписывал из книг сведения о караванных дорогах и водных путях, о прославленных городах и великих базарах. Все эти сведения нужны были для одного паломника, который отправлялся в эти далекие южные края. И Абай, читая об этих странах, что волновали его душу еще на заре туманной юности, не раз восклицал: «Ах, если бы мне самому удалось побывать в этих местах!»

В открытое окно комнаты ворвался прохладный весенний ветерок. Всколыхнул легкую занавеску, пробежался по столу и самовольно перелистывал книги. Стол был придвинут к самому окну, и белая занавеска, раздуваемая ветерком, словно шаловливый ребенок, играла со страницами раскрытых книг. И когда занавеска, вскидываясь, липла к лицу и мешала читать, Абай отодвигал ее рукою.

Сквозняком потянуло сильнее – это открылась дверь. Абай оглянулся и увидел, что первым посетителем с утра, вошедшим к нему в комнату, была его мать Улжан.

С трудом переставляя ноги, тяжело дыша, она шла, поддерживаемая с двух сторон женщинами, крепко ухватившими ее под локти. Абай живо встал с места и, взяв со стопки одеял стеганое корпе, разостлал на полу. Улжан за последние годы сильно располнела, страдала одышкой и ходить самостоятельно-



но не могла. Сопровождавшие ее женщины были: неизменная Калика, подруга с молодых лет, из одного с ней аула, и красивая молодая женщина со светлым лицом, очень похожая на Абая. Это была его сестра Макиш, выданная замуж в Семипалатинск за сына бая Тыныбека, в чьем доме сейчас остановился Абай. Макиш принесла для матери подушку, затем проворно и умело собрала раскладной столик, поставила перед Улжан и, обернувшись, кликнула в открытую дверь:

– Оу, принесите, расстелите дастархан!

Вошла другая келин, стройная и красивая, с гладко зачесанными на висках блестящими черными волосами, одетая в лиловый камзол с золотым позументом. Разостлав скатерть на столике, она начала ставить посуду для чая и готовить утреннюю закуску.

Калика поставила перед Улжан широкий медный таз, жарко начищенный, и стала сливать ей на руки из длинногорлого кашгарского кувшинчика, дорогой чеканной работы.

После омовения рук матерью, Абай снял бешмет и принялся умываться над этим же тазиком. Только теперь он почувствовал, что бессонная ночь не совсем бесследно прошла для него: в голове было тяжеловато, в глазах плыли круги. Услуживая брату, как хозяйка дома гостю, Макиш сама сливала ему воду из кувшина, держа в одной руке полотенце. Абай попросил ее:

– Макиш, айналайын, хочу немного взбодриться! Полей-ка холодную воду мне на затылок! – и нагнулся над тазиком.

Утерев полотенцем руки, придя в себя от одышки и осмотревшись, Улжан заметила высокий стол у окна, раскрытые книги на нем и тотчас догадалась о состоянии сына.

– Абайжан, ты что, не спал всю ночь? – спросила она, озабоченно вглядываясь в лицо сына. Заметила, насколько он бледен, что глаза у него налились кровью.

– Нет, успел немного подремать, – ответил Абай.

– Как только не перемешается все в голове, если человек не спал всю ночь! – говорила Улжан. – Вот, спрашивала у нашего



чабана Кодыге: «Как же ты не увидел волка, который напал на овец? Наверное, заснул?» «Нет, – ответил, – не спал я, но это случилось под самое утро, когда усталость берет свое. Смотрю я на верблюда – и вижу вместо двух горбов целых четыре! Ну, думаю, чудеса да и только! А это уже в глазах у меня начало двоиться, в голове все перепуталось. Волка-то принял за свою собаку, – считай, сам запустил его в овечий загон!» Так вот, – не спавшему ночь и верблюд покажется четырехгорбым!

Шутка матери развеселила ее детей, Абая и Макиш.

– Апа, конечно, пастух Кодыге не виноват. Но мне-то что было делать? Отец ведь сегодня отправляется в дорогу! – сказал Абай.

– А что? Можно узнать из книг, по каким дорогам надо будет ему добираться? – поинтересовалась Улжан.

– Можно, апа. Если даже и нет прямой столбовой дороги, однако указаны старинные караванные пути, которые доведут до места, – отвечал Абай. – Книги мне все рассказали, как будто я уже сам побывал в тех странах, через которые надо ехать отцу.

Он говорил об этом с такой радостью, словно нашел некий клад.

Но Улжан прекрасно знала, что дорога для путников будет долгой и нелегкой. Она хотела бы услышать, какие сложности возникнут на пути, каких опасностей надо остерегаться. В комнате не было чужих людей, к тому же Абай никогда ничего не скрывал от матери, потому и рассказывал обо всем, что выведал из книг, ничего не тая. Мать внимательно слушала, и сестра Макиш проявила большой интерес к рассказу Абая.

– Рассказывай, Абайжан, все-все рассказывай! – просила она.

Абай вдруг заметил, в каком сильном душевном напряжении находится его сестренка, и, помедлив с продолжением рассказа, внимательно посмотрел на нее.

Макиш была любимой келин в богатом, благополучном доме, все у нее сложилось по-доброму, но она продолжала хранить



свою привязанность к родительской семье и очень близко к сердцу принимала все, что касалось ее кровных родственников. Благополучие отчего дома и всех его домочадцев было ей небезразлично. Горячие родственные чувства не только к отцу и матери, но ко всем людям рода Тобыкты, к каждому из них, кого только она знала, Макиш проявляла неизменно и постоянно. И люди, приезжавшие из степи в город, испытывавшие на себе ее бескорыстную заботу, были глубоко и искренне ей благодарны. Чтобы понять чувства этой молодой келин, надо представить себе переживания юной девушки, почти ребенка, которую помимо ее воли отправляют на далекую чужбину замуж, оторвав от всех ее любимых и дорогих людей, от милых сверстниц и уважаемых старших женге. О, сколько скрытых слез и горестных дум таится в душе такой келин на чужбине! Сколько же будет длиться ее жгучая душевная боль и тоска по родине, пока не придут смирение и покорность и не остынет душа!

Чуткий Абай, хорошо понимавший душевное состояние сестры, не хотел при ней открывать матери кое-что из своих соображений в связи с далекой поездкой отца. Однако Макиш разгадала его намерения и решительно потребовала у брата:

– Рассказывай все! Правду ли говорят, что туда еще не отправлялся ни один человек из наших краев? И ты скажи, братец, без утайки, вернется ли отец назад живым?

Сестра высказала вслух то, что таил Абай глубоко в душе, но не хотел говорить об этом при матери. Сделав несколько глотков чаю, Абай отодвинул пиалу и, даже не притронувшись к пирожкам-самса, искусно приготовленным городским поваром, взял в руки бумаги с выписками, сделанными им ночью. Отвечая на вопросы Улжан и сестры, Абай стал просто вслух читать то, что ему удалось узнать из книг.

– Макиш, нелегко будет путь отца, нам остается лишь надеяться на Всевышнего. Кто может знать, когда смерть придет к человеку: в его доме или же будет подстерегать на дороге?



Наш отец собрался в такой далекий путь, когда ему уже перевалило за семьдесят. А ведь в пути будут у него всякие тяжелые испытания, и непредвиденные лишения, и даже опасные угрозы. Месяцами ему придется быть в чужих странах, среди разных народов, не зная их языка. Придется ему одолевать страшную жару в пустынях, где горят копыта лошадей, где человек вынужден беречь каждую каплю воды. Откуда ждать помощи, если он вдруг занеможет в пути или просто падет духом? Да, нам остается одна лишь надежда на добрый исход. Но кроме всего прочего – отец ведь не мог не задуматься обо всем этом? Он никогда не любил действовать, оставаясь в неведении. Мы также знаем, что нет равного ему человека, готового пойти на самый отчаянный, невысказанный риск! Да, во всей Арке казахской он первым решился на такое далекое путешествие к священной Мекке. И отправляется он туда не ради удовольствия и не для того, чтобы осуществить какую-нибудь суетную мечту. Так давайте же не будем снаряжать ему в спутники печаль и уныние, Макиш! Пусть лучше будут его спутниками его обычная удаля и способность пойти на великий риск! И да будет с ним наша добрая надежда!

Но в какой-то момент Абай все же едва не проговорился, что отец, возможно, и не вернется из этого путешествия, – и это Макиш прочувствовала, и слезы полились из ее глаз. Она плакала долго, горестно, глубоко вздыхая и что-то тихо, неслышно для других, говоря самой себе.

Увидев такое мучительное волнение сестры, Абай замолчал.

Улжан тоже была охвачена печальными раздумьями. И не только сегодня, но уже давно. Она стала грустить с тех пор, как только узнала, что муж принял решение отправиться в хадж этой весной. И с той минуты, когда он, полагаясь только на ее поддержку и понимание, объявил ей: «Ты будешь провожать меня в дальнюю дорогу. Никого другого не хочу!» – Улжан молилась каждый день, всем сердцем желая ему счастливого хаджа.



По дороге в Семипалатинск, куда должны были следовать с Кунанбаем провожающие, Улжан была в глубоком раздумье, испытывала в душе великую гордость и благодарность к мужу за то, что всю совместную жизнь Кунанбай выделял ее из всех своих жен, считая ее самой верной, самой умной и надежной супругой. В минуты тяжелых испытаний или самых важных решений он мог поделиться своими сокровенными мыслями только с ней... Но Улжан, сама обладая достаточно сильным характером и большой волей, не показала никому из домочадцев, что она сильно и глубоко переживает разлуку с мужем.

При подобных торжественных и ответственных проводах нет нужды в лишних слезах, стенаниях, не допускаются слабые люди, плохо владеющие собой. Кунанбай без слов пытался внушить это своему окружению. Улжан сразу же восприняла это его строгое душевное предписание.

Стараясь своим спокойствием поддержать встревоженных детей, Улжан сказала:

– На улице слишком много людей собралось вокруг мырзы, и все льют слезы, провожая его в далекий путь. К чему это? Лучше отпустили бы человека, да зашел бы он в дом, отдохнул немного и поел перед дорогой.

Абай приподнялся, чтобы выйти из дома и привести отца, но тут мать остановила его и обратилась к своим детям с такими словами:

– Пусть отец не заметит ваших тревог. Да не подумает он, что у него слабые и малодушные дети.

Абай еще стоял перед матерью, думая о сказанном ею, как в дверях появились Такежан и мулла Габитхан. Они возвестили, что за ними следует в дом сам Кунанбай.

Макиш, Абай и остальные забежали по комнате, расстилая одеяла по полу и разбрасывая подушки. На месте оставалась сидеть одна Улжан. В комнату первыми вошли Кунанбай и его названный брат Изгутты. За ними проследовало значительное число народу. Но это были не все провожающие, большая их



часть осталась в соседней просторной гостиной, где также было приготовлено угощение. С Кунанбаем вместе вошел и хозяин дома, сват Тыныбек. Городской богатеи, желая соответствовать случаю, одет был подчеркнуто скромно, однако изысканно и опрятно. Не проходя на почетное место, сел рядом, пониже. Не стал разваливаться на подушках, важничать, показывая, кто здесь хозяин, а присел, опустившись на колени, словно школяр медресе перед хазретом, и принялся собственноручно наливать Кунанбаю чай. Таков был обычай при оказании почестей имамам и хазретам. Хозяин очага и самые знатные гости сегодня должны были вести себя как простые мюриды при священной особе.

Кунанбай грузно опустился рядом с Улжан и поднял взгляд единственного своего глаза на Абая, потом перевел его на Макиш. Так он делал всегда, словно выясняя для себя, что скрыто в душах и в умах его близких и домочадцев. Но на этот раз внимательная приглядка родителя не была испытующей. Взгляд его был необычно мягким.

Весь вид Кунанбая являл собой неминуемое печальное следствие надвинувшейся и одолевшей его старости. Поздно начавшие сесть борода и усы, волосы на голове к семидесяти годам словно выцвели, из черных стали бурыми. Но и седина стала намного заметнее. Борозды морщин на лбу и по всему лицу стали еще глубже. И все же Кунанбай оставался все таким же осанистым, с мощным, как глыба, телом и с прямой спиной. Движения его были уверенны, молоды и сильны.

Нет, не было и следов смятения или сомнений во всем его облике. Это не был человек, изнуренный какими-то скрытыми тревожными мыслями. Он не знал неуверенности в себе. Взглянув на бледное лицо и покрасневшие от слез глаза Макиш, отец сразу понял ее состояние. Догадался, что до их прихода сюда у самых его близких по очагу был какой-то тревожный разговор о нем. В особенности сравнение бледного, смятенного лица



Макиш с лицами находившихся в комнате Такежана, Оспана, Жакипа, Майбасара и Габитхана показало Кунанбаю, в чем причина душевной тревоги дочери. Но, разгадав ее сердце, он не стал сердиться на нее.

Уже неделю в городе, откуда решил направиться в путь Кунанбай, он каждый день был в окружении множества людей, прибывших проводить его в хадж. Это всё были и старые друзья, сверстники, и люди одного с ним уровня по знатности, по богатству, и уважаемые аксакалы из всех племен рода Тобыкты.

Совершить хадж в Мекку Кунанбай решил еще год назад. И в продолжение всего года он распродал скот, собирая деньги в дорогу. Он хорошо представлял себе, сколько понадобится денег на эту поездку. Но по своему обыкновению быть уверенным во всем, он набрал денег в пять раз больше, чем предполагалось вначале. Он хотел, чтобы долгое путешествие его было совершено при самых благоприятных обстоятельствах, без всяких стеснений. Распорядился продать огромное количество скота, особенно породистых лошадей из косяков, унаследованных от Оскенбая. Для продажи Кунанбай выделил самые лучшие табуны своих знаменитых светло-рыжих и саврасых, кровей чистейших, как родниковая вода. За этот год огромные косяки Кунанбая намного уменьшились.

Кунанбай всегда был широк, никогда не был скрягой. Жадности к деньгам не знал. Но и не разбрасывался зря добром и умел его добывать. На такое благое дело, как постройку в Каркаралинске первой у казахов мечети, Кунанбай выделил денег не считая. И в этот раз – на хадж в Мекку первого кочевника из Арки, себя самого, он решил потратиться не меньше. Почему он пошел на этот шаг в своей жизни, Кунанбай не стал объяснять никому из домашних, ни женам, ни детям. Он полагал, что если вернется благополучно с хаджа, исполнив свой долг перед Всевышним, то этим и будет дано самое верное и безупречное объяснение всему.



Сват Тыныбек, купец, лично несколько раз пересчитал все деньги, затем, увязав их в пачки и завернув в бумагу, уложил на дно железного сундучка.

– Мырза, зачем вы берете столько лишних денег? – задал он мучивший его вопрос. На что получил краткий, уклончивый ответ:

– Пусть будут при мне, Тыныбек. Тебе-то зачем об этом знать? – Помолчав, добавил: – Мы родились для своего блага, а не только ради того, чтобы иметь скот.

Деньги никогда его не волновали, и теперь забота была не о том, что их может не стать у него. Предстоит невероятно трудная, запредельно далекая поездка, а его одолевают всякие безрадостные думы, порожденные надвинувшейся старостью, а вместе с ней – потерей прежних сил. Обдумав все это, он, предварительно поговорив с названным братом Изгутты, решил взять его с собою в дорогу.

С давних пор Изгутты был неизменным и самым надежным спутником во всех важных поездках Кунанбая. Поэтому сейчас он сидел рядом с Кунанбаем, одетый в новенькое дорожное платье, сшитое в городе стараниями Макиш. Изгутты было чуть больше сорока лет, но он выглядел вдвое моложе, был силен, жилист, весел и бодр духом.

Зайдя в дом, Кунанбай говорил мало, спокойно пил чай, поел жареных пирожков, холодного мяса, и насытился.

Исподволь в комнату стали набиваться люди, которые хотели не за дастарханом посидеть, а просто побыть немного возле мырзы Кунанбая, прежде чем тот отбудет в далекие края. Кунанбаю же хотелось поговорить со своими близкими и домашними именно в этой комнате, за дастарханом и без лишних людей. Но стало ясно, что от них теперь не избавиться, а если задержаться дольше, то набьется еще больше народу. Вновь взглянув на расстроенную, едва сдерживающую слезы дочь, Кунанбай чуть нахмурился и начал прощальную речь.

– Дети мои, супруга моя, братья и верные друзья, сородичи! – молвил он своим рыкающим голосом и, по своему обык-



новению, одноглазо присмотрелся к окружающим, переводя холодный пронизательный взгляд с одного на другого. – Что-то мне сдается, вы не очень одобряете, что я отбываю. Смотрите на меня, как на сумасброда, и думаете: «Куда это на старости лет вздумал отправиться? Сгинет еще на чужбине, пропадет ни за что, и не увидим мы его больше, не вернется Кунанбай назад».

При этих его словах многие не могли удержать слез. Плакать начала Макиш, глядя на нее, расчувствовались Такежан и Жакип. Но Кунанбай сделал вид, что ничего не заметил. И спокойно продолжил дальше:

– Этими мыслями вы не способствуете моему благополучию и удаче в поездке. Нет, вы лучше пожелайте мне счастливой дороги! Разве не было у меня в прошлом таких времен, когда вы все, сидящие сейчас здесь, провожали меня в более непредсказуемую, опасную дорогу? А ведь и тогда я уже не был молодым джигитом. Ну что было бы, если бы меня тогда сослали? Если бы я умер на каторге? Слава Аллаху, этого не случилось, – и сегодня я отправляюсь в путь не навстречу бесславной гибели, а навстречу священной мечте! А что? Разве лучше будет, если я спокойно доживу до глубокой старости, не трогаясь с места, буду ворчать возле теплого очага на маленьких внуков, покрикивать на невесток у казана и ругать своих работников около юрты? Нет, – жизнь ценна не нажитым достоянием. Богатый старик, который умрет среди своего богатства, – это буду не я. У меня есть мечта, какой еще ни у кого из казахов не было. Слаще самой богатой жизни она. Мечта во всей моей оставшейся жизни – это совершить хадж. И если в пути я занемогу, и настигнет меня смерть, и вы услышите об этом, то пусть никто из вас не скажет: «Вот, бедняга, погиб в великой печали, на большой дороге, погнавшись за своей мечтой». Скажете так, – и это будет самое плохое, что вы сможете бросить вслед моей смерти. Молодость, которая у вас еще впереди, мною уже прожита, я вкусил и меда, и яда, которые



вам еще предстоит вкусить. Дни, что было мне суждено прожить с вами, я прожил – много ли, мало ли, это уже не важно. Главное – мы прожили, уважая достоинство друг друга. И я насытился жизнью. Каждому из нас суждено умереть по-своему. И смерть приходит к каждому поодиночке, вырывает его из круга жизни, навсегда уводя от близких и родственников. И где мне умереть и как умереть, – не все ли равно? Мой черед жить уже прошел, теперь живите вы. А у меня осталась малая толика жизни, последняя дорожка моя коротка и узка, как тропинка старого архара, который отстал от своего табуна и теперь идет к горной пещере, чтобы там залечь и дождаться смерти. И вы будьте снисходительны к этой моей последней дорожке. Проводите меня без рыданий и слез. Не надо горевать по мне. Живите и радуйтесь каждому мигу своей жизни. Вот что я вам хотел сказать. А теперь проводите меня.

И Кунанбай посмотрел на Изгутты, давая ему знать, что пора подниматься. Тот быстро встал, вместе с ним поднялась молодежь – Такежан, Оспан, Габитхан и другие. Абай хотел идти вместе с ними, но отец придержал его, положив руку ему на колено.

– Сын мой, расскажи о том, что ты узнал.

Абай вынул из кармана пачку бумаг с выписками из разных книг, передал Изгутты, прежде чем тот вышел из комнаты.

– В этих бумагах все, что удалось мне найти. Храните их при себе, Изгутты-ага, – сказал Абай.

Затем он решил от имени всех близких, собравшихся здесь, достойно ответить на проникновенные, торжественные слова отца, высказанные им с редкой для него искренностью и открытостью:

– Отец, мы выросли в ваших объятиях, но, как это и бывает, слишком большая близость не позволяет увидеть друг друга такими, какие мы есть. Узнавание происходит постепенно, с годами. Невзрачный, сморщенный бутон в положенное ему время раскрывается красивым цветком, который становится



потом зрелым яблоком. Недавние ваши слова – это назидание и благословение нам, молодой поросли, и мы с благодарностью принимаем их. Теперь мы – делами своими и поступками – должны оправдать ваши заботы о нас. – Так сказал Абай, коротко и емко, и отец с удовлетворением воспринял его слова.

Изгутты и другие вышли. Кунанбай с Абаем остались сидеть рядом. Отец попросил Абая назвать те крупные города, через которые ему придется проехать. Абай не стал рассказывать слишком подробно о том, что вычитал из книг на разных языках, все равно он не успел бы поведать отцу о тех странах, через которые лежал путь, о народах, населяющих эти страны, об их обычаях и занятиях в трудовой жизни. За неимением времени, не стал подробно рассказывать и о начале пути через казахские степи, ибо в Каркаралинске к отцу должен был присоединиться халфе¹ Ондирбай, который хорошо знал дороги через степь, ведущие в сторону священной земли. До Ташкента паломники будут ехать по своим землям, среди казахов, дальше пойдут города Самарканд, Мерв, Мешхед, Исфагань и Абадан. Потом им придется ехать через Аравийские пустыни или, в обход их, плыть круглым путем на кораблях, и высадиться уже недалеко от Мекки. Этот второй путь, выбранный по книгам, представлялся Абаю самым коротким и удобным.

Отец был доволен стараниями Абая, благодаря которым он представлял теперь подлинный путь к священным местам, и этот путь не казался ему таким уж непреодолимым. Теперь, перед долгой разлукой, отец с сыном, столь долгое время избегавшие лишних встреч друг с другом, пребывая во взаимном душевном ожесточении, в минуту расставания – надолго ли... не на вечность ли? – вдруг открыли сердца друг другу. Оказалось, что есть глубокая тяга между этими сердцами, есть доверие и взаимопонимание! Об этом Кунанбай высказался перед Улжан:

– Когда я думаю, а кто же будет на моем месте после меня, мне больше не кажется, что шанырак мой останется без опоры.

¹ Халфе – духовное лицо, наставник в медресе.



Эта опора – твой сын, Улжан, и это я говорю, несмотря на то, что его дорога жизни совсем другая, чем у меня. Да благословит его Кудай на путях его! Желая ему преодолеть все переправы и перейти через все перевалы и достичь того, к чему он устремляется! И не помешайте ему, излишне стараясь направить его по самому правильному пути! Он сам знает свой путь.

Итак, отец и сын перед долгой разлукой расставались по-доброму, глубоко понимая друг друга.

Халфе Ондирбай согласился быть спутником Кунанбаю на всем пути, от Каркаралинска и до самой Мекки. Встретившись, они намеревались ехать от Иртыша через самую гущу казахской Арки. Степная дорога для пожилых людей тяжела, и сват Тыныбек настоятельно советовал уже от Семипалатинска до Каркаралинска ехать не в седлах, а в удобной повозке. И большой тарантас, запряженный тройкой крепких рыжих лошадей, стоял уже во дворе дома Тыныбека. Всю зиму содержавшиеся на чистом овсе, откормленные кони с крутыми задами и лоснящейся шерстью, готовы были в любую минуту дернуть и покатить за собой тарантас; кони стояли в упряжи, нетерпеливо помахивая головами, грызли удила и пофыркивали. Колокольчик на дуге коренника погромыхивал чистым бодрым звоном.

Продукты в дорогу, постель, запасная одежда – все уже было погружено в тарантас. Мырзахан за кучера давно уже восседал на облучке.

Время полдень – и тут из большого дома бая Тыныбека повалил народ. Большая толпа состояла сплошь из смуглых степняков, наряженных в свои племенные одежды, но попадались среди них и горожане в богатых расшитых чапанах – купцы, халфе и хазреты, школяры медресе – шакирды.

На пути к повозке Кунанбай вдруг был остановлен двумя бедно одетыми людьми. Один из них еще издали отдал салем Кунанбаю. Это был Даркембай. Годы посеребрили его бороду. Рядом со стариком – мальчик лет двенадцати, выглядевший



больным – бледный, худосочный. Рваный остаток грязного чапана едва прикрывал его тело, ноги были босы, вымазаны в весенней холодной грязи.

Подойдя ближе, Даркембай пожелал Кунанбаю доброго пути и сразу же заговорил о своем деле:

– Кунеке, вы отправляетесь в священный хадж, вы избрали путь смиренных перед Богом. Выслушайте мольбу другого смиренного, вот этого мальчика. Он имеет к вам великую просьбу, о чем Бога ради просил меня передать вам, Кунеке!

Кунанбай нахмурился, вперил свой одинокий глаз в оборванца.

– Я отрешился от мирских дел, зачем обращаться ко мне с просьбами? Если имеется жалоба, обратитесь теперь к кому-нибудь другому, не ко мне!

– Но, Кунеке, мальчик не может обратиться к другому! Вопрос касается вас.

– Кто этот мальчик, и какие у него могут быть вопросы ко мне?

– Есть, есть вопросы! И ответить на них можете только вы!

Кунанбай смутился, особенно неловко было ему перед горожанами – муфтиями, хазретами, купцами, баями, шакирдами. Толпа с недоумением и любопытством в глазах наблюдала за ними. К Даркембаю шагнул Майбасар, тотчас узнавший его. Он хотел оттеснить старика в сторону.

– Е-е, да никак ты, Даркембай! – воскликнул Майбасар. – Чего это задерживаешь человека, едущего в далекий путь? Сейчас же отойди в сторону! – Последние слова Майбасар проговорил тихо, сквозь стиснутые зубы.

Даркембай не обратил внимания на угрозу Майбасара и продолжил:

– Этот мальчик – племянник Кодара, из рода Борсак. Ты же знаешь, Кодар погиб, а его единственный брат Когедай много лет жил в батраках на земле Сыбан. Он был немощным, больным, умер шесть лет назад. И вот этот мальчик, Кияспай,



его единственный сын. Выходит, он теперь прямой наследник покойного Кодара.

Перед Кунанбаем стоял изможденный болезнями ребенок. Костлявый, ослабленный, с синими прожилками на бледном лице, с едва заметным пробивающимся пушком над верхними губами. Один глаз его был повязан грязной тряпочкой. Еле сдерживая слезы, с дрожащим подбородком – больной мальчик робко поднял свой целый глаз на Кунанбая – и пришел в ужас, увидев перед собой такого же одноглазого, как и он сам. В свою очередь и Кунанбай со страхом и отвращением смотрел на жалкого мальчика.

– Ну и чего же хочет от меня этот мальчик? – произнес он осевшим, глухим голосом.

– Как чего, Кунеке? Ты только посмотри на него – неужели непонятно? – воскликнул Даркембай, смело глядя Кунанбаю в лицо. – Ты лучше спроси – чего ему от тебя не нужно?

– В таком случае, ладно, поговорим. Отойдем в сторону.

И Кунанбай отвел старика Даркембая и больного мальчика в дальний угол двора и присел с ними, собираясь поговорить с ними без свидетелей.

Одеяние молодых и старых иргизбаев, приехавших проводить Кунанбая, отличалось праздничной яркостью нарядов степных щеголей и богатых баев. По-иному выглядели горожане – купцы, священнослужители в чалмах, городские баи в дорогих кунных шапках и бархатных чапанах с золотым шитьем. Но сколь бы различными ни были наряды собравшихся на дворе людей, – все говорило о том, что их жизни сопутствуют неизменный достаток и самодовольное богатство.

Появившиеся двое оборванных бедняков сразу создали вокруг себя пустоту, их словно с проклятьями вытолкнули из позолоченной толпы. Даркембай и мальчик Кияспай своими бескровными лицами – среди красных и лоснящихся, своей нищенской одеждой – среди бархата и золотого шитья, всем своим измученным, загнанным видом казались пришельцами



из другого, зловещего мира. Рабы беспросветной нужды и лишений... Когда Кунанбай повел их в дальний конец двора, за ним последовали Майбасар и Такежан. Абай тоже направился туда.

Когда он приблизился, говорил Даркембай:

– Кодар был неповинен, его убили, никто не выплатил кун за убитого. Ни единого слова не было сказано об этом. Потому что люди боялись порядков того лихого времени.

«Лихое время» прямо касалось Кунанбая. Сильно задетый этим, он сразу вспылил и гневно заговорил, сверкая своим одиноким глазом:

– Что ты мелешь, Даркембай? Это что – Борсак и Бокенши послали тебя, чтобы ты вымогал кун за смерть Кодара? Ну-ка, не скрывай, назови имена тех, кто тебя послал! – мгновенно переменялся в лице Кунанбай и рявкнул, как прежде, словно потревоженный лев. Так, что и в помине не осталось ничего от слащавости суфия и смиренника, каким видели его с самого утра.

Он в одно мгновение вновь обрел тот грозный, устрашающий вид, с каким устремлялся навстречу врагам во время боевых стычек. Вновь стал подобен клыкастому хищнику, готовому броситься вперед и разорвать в клочья свою жертву.

Но Даркембая это не испугало.

– Борсак далек от этих мыслей, род ослаб, не он посылал меня. О куне говорю от себя. Я не буду называть цену ему. Будет довольно, если ты вернешь урочище Карашоки. Эта земля – наследство покойного Кодара. Она должна принадлежать этому мальчику. Но на ней стоит аул твоей старшей жены Кунке. Она живет, утирая жир со рта, множит свои табуны, ты уходишь на священную землю, неужели не снимешь с души бремя долга перед этим несчастным сиротой? – Так говорил Даркембай.

Кунанбай не дал ему говорить дальше.

– Замолчи, Даркембай! – рявкнул он.

– Я уже все сказал!



– Разве не ты – мой самый непримиримый враг? Разве не ты – моя злая напасть, которая ходит по пятам за мною всю мою жизнь?

– Кунеке! Мне поневоле пришлось быть твоей злой напастью! Ты заставлял. По мне, лучше всего держаться в стороне от всех нападений и всякого зла!

– Эй, разве не ты когда-то наставлял на меня ружье?

– Наставил, но не выстрелил! Поэтому и ходит по земле тот, кто набросил аркан на шею невинного человека и удавил его! – сказал Даркембай, тяжело дыша, уставив свои полные ненависти глаза на Кунанбая.

Как ни был разъярен грозный Кунанбай, но последние слова Даркембая сразили его, он вздрогнул, лицо его мгновенно побледнело, стало серым, каменным.

– Если в тот раз не стрелял, то сегодня выстрелил и убил наповал. Твой выстрел – прямо в мою могилу... – глухо проговорил Кунанбай. Потом вскинул голову и беспомощно посмотрел на Майбасара, словно говоря: «Как можно терпеть такое?»

Майбасар надвинулся, чудовищно раздувшись от злости, вклинился между Кунанбаем и Даркембаем. Чтобы не услышала толпа, вполголоса грязно обматерил Даркембая и толкнул кулаком в грудь.

– Закрой пасть! – выдавил он полусшепотом. – Посмей еще раз вякнуть, не пожалею, схвачу тебя за бороду и прирежу, как козленка!

Кунанбай поднялся на ноги. Майбасар и Такежан остались сидеть на земле, с двух сторон подмяв под себя полы чапана Даркембая, тем самым не давая ему встать.

Мальчик вдруг громко заплакал и вскричал:

– Долг не вернули мне! Весь долг мой остался за ним! – И он залился горячими слезами.

Хотя и не мог пойти вслед за удалявшимся Кунанбаем жатак Даркембай, но, удерживаемый на земле двумя толстозадными баями, он выкрикнул ему вслед:



– Вчера ты вершил суд и расправу как ага-султан. Сегодня ты уходишь в хадж, чтобы потом судить нас в чалме святого хаджи. Я знаю, ты едешь в Мекку не за тем, чтобы найти путь к Богу! Ты едешь, чтобы найти новый кунанбаевский путь на земле! Что ж, оставляй нас, покуда ты будешь отсутствовать, на растерзание своим волчатам!

Майбасар и Такежан с двух сторон давили, ломали его, злобно шипя:

– Ты перестанешь, старый пес? Ну-ка, заткнись! – Они готовы были тут же на месте расправиться с ним.

К этому, может быть, и приступили бы разъяренные брат и сын Кунанбая, с двух сторон схватившие старика за ворот чапана. Но тут Абай, подскочив со стороны, с силой вцепился в руки своих родичей.

– Вы, злодеи! Вы будете прокляты Богом! Отпустите его!

Даркембай близко увидел лицо Абая: оно было белее бумаги, с налитыми кровью глазами. Взгляд его был страшен, казалось, он готов был убить обоих родственников.

– Вы, тупицы! Бесстыжие! Не вмешивайтесь! Его слова призывают моего отца к ответу перед Всевышним! Вы можете понять такое? Тупые скоты, в скотстве вашем навечно погребены ваши души! Разве отец не затем отправляется в Мекку, чтобы вымолить прощение за подобные свои грехи? – кричал Абай, не давая даже рот раскрыть Такежану и Майбасару. Они выпустили Даркембая.

Абай обратился к старику, сдержанно глядя на него.

– Даркембай! Наверное, ты был вынужден обратиться к отцу в такой день. Я тебя не осуждаю, хотя обращение твое сегодня, на этом месте не совсем уместно. Но я теперь остаюсь должником вместо отца. На мне и его долг перед Кодаром. До меня дошли твои слова, Даркембай. А теперь иди, возвращайся к себе с миром.

Затем он помог старику подняться с земли. Вынул из кармана сторублевую ассигнацию, сунул в руку мальчика Кияспая. Проводил обоих до ворот.



Между тем Кунанбай, потрясенный неожиданным появлением Даркембая и племянника повешенного Кодара, остановился посреди двора и долго стоял на месте, что-то невнятно бормоча про себя. Вид у него был молитвенный, покаянный. К нему подошли Улжан и Изгутты, напомнили, что пора трогаться в путь. Только после этого Кунанбай, коротко и торопливо попрощавшись с людьми, толпившимися перед ним во дворе, сел в повозку. Вместе с ним сели Изгутты и Улжан, которая со всей своей челядью сопроводила Кунанбая до Семипалатинска. Теперь она ехала с ним до первой ямской заставы.

Когда красиво убранная повозка, запряженная тройкой рыжих лошадей, с громом и звоном колокольчика вылетела со двора за ворота и понеслась по дороге, за ней поспешили множество провожающих – верхом на лошадях, в колясках и на высоких арбах. Сразу же за тарантасом Кунанбая следом выехали со двора две коляски, в одной из них сидели Абай и Макиш, во второй – бай Тыныбек со своей байбише. Когда вся эта грохочущая, многолюдная, шумная вереница провожающих на бричках, на лошадях верхом, на арбах растянулась по улице, заняв ее всю по ширине, и в густых клубах пыли двинулась вперед, со всех дворов высыпали на улицу местные обыватели. В домах к окнам прильнули любопытствующие, провожая глазами процессию. Здесь не было человека, который не знал бы, кто это едет и куда он едет.

Тарантас Кунанбая катил заметно быстрее по сравнению с другими повозками и вскоре оказался уже за городом и побежал по тракту в западном направлении.

Все верховые, перейдя на дорожную рысь, скакали за тарантасом, то вытягиваясь в длинную вереницу, то сбиваясь гурьбой.

Кунанбай ехал, ни разу не оглянувшись. Он знал, что родственники и друзья непременно проводят его, хотя бы до первого ямского поста.



После того как удалось отделаться от Даркембая, потрясенный Кунанбай никак не мог прийти в себя, ни с кем не заговаривал и находился в самом мрачном расположении духа. Несколько раз пробормотал себе под нос: «Замутил тихую заводь! Надо же! Как замутил мою тихую заводь!» И в глазах его появлялось видение того, как в тихую, гладкую воду обрушивается брошенный камень, как тревожные круги бегут по ее зеркальной поверхности. А ведь он еще с утра раннего обдумал, как поведет себя при прощании с людьми, уходя на хадж. Надо будет, решил он, вести себя как суфий, и разговаривать с людьми соответственным образом, благословлять их на хорошие дела и желать им, остающимся дома, богопослушания и благочестия. Но получилось так, что Даркембай ворвался, словно ураган, и разнес все эти смиренные мечтания в пух и прах. Но больнее всего было ощущение того, что этот грубый жатак словно смог как-то вытеснить Кунанбая из привычного круга его бытования и отбросить на обочину жизни...

Долго находился он в состоянии тихого, злобного кипения души, но затем все же сумел себя переломить, и захотелось ему душевно попрощаться с верной Улжан. Велел Мырзахану на кучерском облучке не сбавлять набранного быстрого хода лошадей и обернулся к Улжан. Изгутты в ту же минуту отвернулся к кучеру и завел с ним долгий, подробный разговор о предстоящей дороге. Изгутты был чуткий человек, хорошо знающий свое место возле мырзы Кунанбая и предугадывающий все его желания по одному лишь движению руки, выражению лица.

Была пора ранней весны. Изгутты заговорил, обращаясь к Мырзахану, что зеленая трава в степи в этом году всходит недружно, чему причиной задержавшиеся весной морозы

Кунанбай же, обернувшись к Улжан, ласково глядя ей в лицо, говорил следующее:

– Байбише, ты была для меня не только хозяйкой очага, но и верной спутницей через всю мою жизнь. Где бы я ни находился, за каким перевалом ни оказывался, ты всегда оставалась моей



верной женой. С тобою я всегда чувствовал себя счастливым мужем. Хотя мы никогда не вступали на путь раздоров, но я должен признаться, что иногда я подчинялся прихоти сердца, а не доводам разума, порой шел на поводу своего упрямого характера... Да, бывало так, что я оступался. Был я баловнем судьбы, и это меня опьяняло. И вот я уезжаю. Кому известно, под каким пригорком мы найдем свой вечный покой? Если у тебя и есть за что судить меня, то у меня к тебе нет ни единого упрека, ни малой толики какой-нибудь обиды. Пусть Кудай воздаст тебе и твоим детям великим счастьем за твое преданное сердце, за чистую твою душу. Ты всегда говорила то, что хотели бы сказать и мои уста. Ты претворила в свои мечты и все мои мечты. – Так говорил Кунанбай, прощаясь с женой Улжан.

От сильного волнения, охватившего ее сердце, Улжан долго не могла ответить мужу. Красивое, ровное, без морщин розовое лицо ее вдруг побледнело. Она услышала от мужа то, чего она уже не чаяла услышать никогда, никогда... Немного успокоившись, овладев своими чувствами, Улжан ответила такими словами:

– Мырза, да будет у тебя достойный сын, который сможет оправдать твои ожидания и оживить твои мечты. Вот и все мои пожелания тебе, – и это пожелания себе же самой. Провожать тебя в далекий путь и отправлять вместе с тобой всякие обиды и упреки – было бы делом недостойным. Вот, муж мой, ты возвысил меня до облаков. Я должна возрадоваться. Но я вовсе не такая, какую ты меня обрисовал. Если как следует присмотреться ко мне, покопаться в моей душе – ойбай, чего только можно не увидеть во мне! Мырза, не суди строго за то, что я собираюсь сейчас сказать.

Впервые разговорившись с супругом столь свободно и откровенно, Улжан почувствовала радость истинного откровения души. Лицо ее снова порозовело, приняло прежнее выражение спокойного внимания и ровной приветливости. Крупное, красивое тело ее приобрело величественную осанку.



– Мырза! В молодости, оказывается, человеку тесны и постель, и дом, и весь окружающий его мир. Ну а когда он начинает стареть, подходит к закату своей жизни, то мир представляется ему все шире, просторней, а сам он – все меньше и меньше! Он видит вокруг себя одну огромную пустоту, и ему скорее хочется уступить свое место другим. Он начинает все свое умялять, сокращает свои неправедные дела, старается стать более добродетельным. Но оказывается, что он просто начал потихоньку остывать... Уже давно эти мысли стали одолевать меня, мырза. – Так сказала Улжан и надолго замолкла.

Кунанбай тоже молчал. Он выслушал Улжан с огромным вниманием, затаив дыхание. Он смотрел на нее с великим удивлением, почтением, любовью. Он снова увидел, что она мыслит его думами, живет его чувствами.

Разгладив пальцем брови, прищуриив красивые глаза, Улжан засияла радостью свободной мысли и стала говорить дальше:

– Муж для жены опора, он как матка для жеребенка, который то убегает от нее, то несется к ней со всех ног и тычется под брюхо. Жена перенимает от мужа и хорошее, и плохое. Если во мне есть что-то хорошее, то оно от тебя. Все недостатки мои и все достоинства – от тебя, благодаря тебе. Вот ты уезжаешь, мы прощаемся с тобой, испытывая благодарные чувства друг к другу – и я довольна! – говорила Улжан.

И ни словом не обмолвилась она о тех обидах и страданиях, которые испытала за долгую совместную жизнь с Кунанбаем.

Он перевел разговор на повседневные дела. Здесь и Изгутты принял участие.

Речь зашла о халфе Ондирбае. Это был человек, к которому Кунанбай относился с уважением многие годы, а сейчас, став спутниками в путешествии на священную землю, они еще более сблизились. У Ондирбая было большое желание породниться с Кунанбаем. Юная дочь Ондирбая была свободна, отец мечтал выдать ее за одного из сыновей Кунанбая. Было бы хорошо,



если бы Улжан приняла ее в невестки. К тому же у Оспана, женатого уже почти три года, не было детей, и это очень удручало младшего сына Улжан, который вымахал в настоящего великана. Появлялась возможность сосватать у Ондирбая дочь как вторую невестку для Улжан. Она выразила полное согласие на это. Разговор в тарантасе полностью перешел на эту приятную всем тему.

Во второй повозке, следовавшей за тарантасом, также запряженной тройкой рыжих лошадей, ехали Абай и сестра его Макиш. Брат с сестрой долго ехали молча. Каждый был погружен в свои не очень веселые думы. Когда уже прилично отъехали от города, Макиш, подавленная и мучимая своими тревожными предчувствиями об уезжающем отце, перестала сдерживаться и дала волю слезам. Абай попытался ее успокоить, раза два-три ласково увещевал сестру: «Ну, хватит, Макиш! Перестань!» Не добившись успеха, Абай отвернулся от нее и погрузился в свои раздумья.

Даркембай не шел у него из головы. Его отчаянный и дерзкий поступок, его обвинение и вызов мырзе поломали весь торжественный ход проводов и явились для Кунанбая грубым бесчестием, словно жатак Даркембай одним пинком выбил из рук мырзы чашу с самой изысканной едой, с почестями преподнесенную ему. Страшное жертвоприношение ни в чем не повинных Кодара и его невестки Камки вновь грозно встало перед глазами Абая. И теперь, словно злое его продолжение, откуда-то явился этот жалкий больной мальчик с грязной тряпочкой на глазу. Он был не просто укором для Кунанбая – он был грозным его обвинением и беспощадным судом. И сама жизнь вынесла неумолимый приговор, и никакие молитвы, никакой святой хадж не смогут отменить его. Был прав старик Даркембай, беспорядочно выкрикивавший, что не путь к Богу отправляется искать мырза, а свой новый, кунан-баевский, земной путь, несправедный и, может быть, еще более жестокий. Это паломничество, похоже, вовсе не путь раскаяния,



очищения и спасения души страшного грешника. Между ним и теми, которых он губил и пожирал, не может исчезнуть вражда. Угрюмо, горько усмехнувшись, Абай решил больше не думать обо всем, что касается поездки отца, – как бы одним махом он напрочь отсек от себя эти мысли. И увидел, словно открылись у него глаза: новая весна пришла в степь, брызнула на склоны холмов нежной зеленью!

Повозка быстро ехала по обочине широкого тракта, покрытой новой, еще совсем невысокой, щетинистой зеленью.

Давно не выезжавший из города, Абай радовался первой встрече с весной. В голубоватой дали, по левую сторону от дороги, тонула в легкой дымке одинокая Семей-гора. Оказывается, она уже вся, от подножия и до вершины, избавилась от снежного покрова. Среди ровной, как стол, степи Семей-гора высилась, как некий исполинский истукан. По силуэту напоминала она и гигантскую крутую волну, которая вдруг замерла на всем бегу посреди степи. Когда-то она была морем, эта бескрайняя ровная степь, – и вдруг пробежала по ней гневная волна, и постепенно затвердела на бегу, и, наконец, замерла на месте – одинокой каменной глыбой. *Семейтау* – Семей-гора! Отчего тебе судьба – быть столь одинокой? Что за горькая доля? Какой гнев степи выплеснул тебя в этот мир?

Созерцая Семей-гору и думая о ее величайшем одиночестве, Абай произвольно снял с себя тымак и подставил разгоряченную голову встречному прохладному ветерку.

Когда вдыхал он всей грудью чудесный свежий воздух степи, то его тело, как и душу его, наполняло чувство пробуждения. Он ясно видел вокруг себя мир во всей его подлинности и понимал все самые тончайшие движения собственной души. Вновь вспомнились ему прощальные назидания отца, и его слова были теми самыми, какие ждал услышать от него Абай всю свою жизнь. Отец в эти минуты предстал совершенно в ином свете, чем раньше, искренним, покаянным, глубоко опечаленным, и отныне ему можно было простить многие его



прегрешения. Абай нашел, что он оказался в тот миг не в положении сына, прощающегося с отцом перед его дальней дорогой, а на месте человека, сидящего у одра смерти родителя и слушающего его предсмертные признания...

Абай увидел, что сестра Макиш снова плачет, таясь от него – отворачиваясь и смахивая слезы с глаз. Он сделал вид, что ничего не заметил, и просто начал петь, обернувшись в сторону далеких гор. Макиш восприняла это как что-то крайне неуместное при данных обстоятельствах и оглянулась на Абая обиженными глазами. Взгляд этих больших красивых глаз был и пристальным, и удивленным.

Песня, которую начал брат, была неизвестна ей, и показались Макиш вовсе не песней, а сотканными в мелодию грустными живыми чувствами самого Абая.

Вначале она воспринимала одну только мелодию, но вот Абай повернулся к ней и, заглядывая ей в глаза, словно повелел ей: «Да ты послушай!» И она прислушалась. А он пел:

*Отбросив все – богатство, достояние,
Отправился священный край искать.
Перед Всевышним он, смиренно, с покаянием
Согнув колени, хочет предстоять.
Не терпится сынам степей, казахам,
Воочию паломника святого лицезреть,
Которого влечет небесный свет Аллаха,
А достояние земное он решил презреть.
Муж благородный думает заранее,
Что перед Богом он предстанет наконец.
И чистота души – бессмертья упование,
И смерть, Макиш, для жизни всей – венец¹*

¹ Перевод А. Кима.



Завершив песню, Абай широко открыл глаза и, приходя в себя после поэтического забытья, туманным взором уставился на Макиш. Сестра, с любовью глядя на него, уже не плакала!

– Абай, шырагым, а ведь ты у нас акын, оказывается! – воскликнула она, любуясь им.

Абай встрепенулся и, словно оробев, несмело спросил у сестры:

– Ты так считаешь, сестрица?

– Да ведь я слышу!.. Ты что, хотел скрыть это от меня? – улыбаясь, говорила Макиш. – Напрасно! Об этом уже все говорят, особенно твой лучший друг Ербол: мол, Абай настоящий акын, хотя и не выходит на айтыс. Так это правда, Абайжан, ты акын?

– Ну ладно, правда! Я и есть акын! Будь по-вашему! – шутливо соглашался Абай.

– И какие ты песни поешь?

– Эх, Макиш! Песни мои слышит одна степь, и ветер разносит их по ней!

– Что же так?

– Я пою об одинокой душе, о несбывшейся любви. Любовь моя сгорела, ее уже не вернуть. И осталась в моей душе одна лишь горькая, неизбывная тоска. Вот и поет душа свои горькие песни, и их уносит вдаль степной ветер.

– О чем ты говоришь? Что за тоска? Ну какая может быть тоска у тебя, мой Абайжан? – Макиш ласково, с улыбкою, но очень пронизательно и испытующе смотрела на него.

Старшая сестра залюбовалась им. Круглое лицо Абая было без единой морщины. К его мужественному облику очень подходили тонкие черные висящие усы. И негустая темная бородка, изящно подстриженная, не портила его. В пору своей мужской зрелости Абай был красив, это был джигит, невольно притягивавший к себе взоры.

Макиш стала спрашивать, что это за «горькая, неизбывная тоска» терзает сердце брата, просила быть откровенной с нею.



Легкая бричка катила по весенней степной дороге, кучер погонял тройку рыжих лошадей, брат и сестра вдруг оказались наедине – и настала редкостная минута им поговорить друг с другом, раскрывая всю душу.

Абай сидел рядом с сестрой, одинаково покачиваясь вместе с нею на неровностях дороги, и, устремив свои глаза к далекому ровному горизонту, вспоминал о давней чудесной мечте, которой не дано было сбыться. Вспоминал о стихах, которые так легко и просто приходили к нему в те дни любви. Вспомнил ночной праздник девушек в ауле Суюндика, их веселые игрища возле качелей.

Тогда они с Тогжан, раскачиваясь вдвоем на качелях, вместе спели чуждедальнюю песню «Топайкок» – «Статный конь». И сейчас Абай, вместо ответа на вопрос сестры, начал негромким, проникновенным голосом петь на мотив «Топайкок», стараясь вложить в песню всю свою отчаянную, неумемную тоску по Тогжан. И удивленная Макиш, затаив дыхание, прослушала и эту песню.

*Сияют в небе солнце и луна –
Моя душа печальна и темна.
Мне в жизни не сыскать другой любимой,
Хоть лучшего, чем я, себе найдет она...*

*И пусть любимая, забыв любви слова,
К моей тоске и верности мертва,
Унизит, оскорбит меня без сожаленья, –
Я все стреплю – моя любовь жива...*

Абай замолк, опустил глаза. Лицо его заметно побледнело. Он давно уже не находил никакого исхода, никакой отдушины своей неизбывной тоске – только в песне, только в стихах.



Макиш ничего не знала о тайной любви Абая. Старшая сестра, не ведая, насколько это серьезно и трагично для него, стала у него домогаться с обычным женским любопытством:

– Не поняла я. А кто эта «любимая», кого ты имеешь в виду, братец?

Абай лишь грустно усмехнулся и ответил сестре:

– Ты не знаешь, кто такая любимая? Ну ладно, скажу тебе, Макиш, айналайын. Любимая – это человек, который загнал в твою душу, словно занозу, неизбывную боль по себе.

– А мне казалось, братец, что любимой называют супругу, спутницу по своему очагу.

– Ты что, Макиш, не про Дильду ли говоришь?

– А про кого же еще? Конечно, про нее.

– Ойбай! Создатель! При чем тут Дильда, дорогая Макиш? – с досадой, едва сдерживая себя, воскликнул Абай.

Старшая сестра смущенно уставилась на него, обернувшись к нему на сидении брички. С неловкой улыбкой отведя глаза, молвила сдержанно:

– Апырай, мои слова, похоже, задели тебя за живое. Прости. Но разве Дильда в чем-то провинилась перед тобой?

– Ни в чем Дильда не провинилась. И я не виноват в том, что спел песню о своей мечте. Ты говоришь о Дильде – да разве может быть мечтой супруга, которая родила уже четверых детей?

– Оу, разве она виновата, что родила тебе детей?

– Не виновата! Дети хорошие. И она хорошая мать. Это моя спутница по очагу, как ты говоришь, с которой меня свели мои родители. Вот и вся правда. Только и всего! Ну и если говорить всю правду, душа моя не пылает огнем любви к супруге. И никогда не пылала. Она остыла еще задолго до того, как могла бы запылать! И вот перед тобой душа, рано остывшая, ни к кому больше не устремленная. – Так закончил Абай, и больше ничего не хотел добавить. В коляске настало молчание, брат и сестра ехали дальше, не разговаривая.



Растянувшись по дороге, словно некий кочевой караван, длинная вереница повозок, верховых на лошадях, двухколесных арб, стала вдруг сплачиваться теснее. Видимо, впереди движение замедлилось.

Такежан ехал верхом рядом с муллой Габитханом, Жумагулом и Ерболом, с ними рядом скакал его нукер по имени Дархан.

В часы прощания с отцом Такежан был молчалив и сдержан. Он, разумеется, не представлял всей меры трудностей долгого путешествия отца через множество разных стран, как представлял Абай, но и Такежана тревожила неизвестность. И, выезжая из города, он стал спрашивать у Габитхана, насколько опасна для старого отца эта поездка. Жизнерадостный, легкий в жизни Габитхан вовсе не намерен был запугивать Такежана, и он постарался все обрисовать в самом лучшем виде. Мол, начало пути будет пролегать по тем местам, где живут одни казахи, а далее путь пройдет через страны, в которых не отказывают в помощи паломникам в Мекку. После слов муллы Габитхана Такежан заметно повеселел.

К среднему своему возрасту Такежан растолстел, выглядел массивным, полным сил и здоровья джигитом. Он любил соленую шутку, был человеком насмешливым и охочим на всякого рода кураж, розыгрыш, иногда не очень доброго свойства. Смолоду он любил подшутить над муллой Габитханом, чья наивность, доверчивость и, главное, не совсем хорошее владение казахским языком явились для Такежана благодатной почвой для шуток. Одаренный и остроумный рассказчик, Такежан сделал из татарина Габитхана что-то вроде второго ходжи Насреддина, рассказывая о нем по аулам самые невероятные историйки и байки, в которых мулла попадал в глупейшие, смешные положения, и все из-за своего плохого владения казахским языком.

Так, среди джигитов ходила байка, что Габитхан, увидев свою чумазую дочурку, воскликнул: «О, божественное создание,



дочь моя Фатима! Тебя что, жеребец потоптал и личико твое навозом испачкал?» Мулла Габитхан был известный щеголь и любитель всякой изящной мелочи, вроде редкостных поясов, с красивой отделкой ножичков, плеток с резными рукоятками из дорогого дерева и тому подобных вещичек. Несколько дней назад, по прибытии в город на проводы мырзы, у Такежана пропала его любимая камча. Нукеры Дархан и Жумагул обшарили весь дом бая Тыныбека, камчу не нашли. Такежан приказал нукерам ночью собрать все плетки джигитов, остановившихся в доме, и принести ему. Просматривая их, он увидел щегольскую, искусного плетения камчу, с красивой медной отделкой по рукояти. Плеть принадлежала мулле Габитхану.

– Теперь будет моя! – ухмыльнувшись, заявил Такежан.

Он срезал с ее рукоятки ремешок из блестящей тисненой кожи и заменил его грубым ремешком из сыромятной полоски. Плетку на некоторое время припрятал. Бедняга Габитхан два дня искал свою камчу, вежливо и надоедливо приставая ко всем по нескольку раз. Разумеется, все было напрасно. И только сегодня, выезжая из города, Такежан захватил с собой украденную камчу. Он старался ехать от татарина по правую руку, ибо в ней держится обычно плетень. она и у Такежана свисала справа. Однако в какой-то миг знакомая плетка попалась-таки на глаза Габитхану. Мулла так и рванулся к ней, даже осадил свою лошадь перед Такежановой, преградив ей путь.

– Ойбай, Такежан! Это же моя камча! Ты украл мою камчу! Какой грех! – воскликнул мулла и почти с ужасом посмотрел на Такежана.

А тот даже бровью не повел.

– Прекратите, мулла! Говорите да не заговаривайтесь, напраслину на меня не возводите! Это моя камча – и точка!

Теперь он не стал прятать плетку от взоров татарина, а демонстративно положил ее поперек холки своего коня, на его гриву. Габитхан растерянно смотрел то на плетку, то на



Такежана. Несомненно, он узнал свою плетъ с медной отделкой. Обретя, наконец, дар речи, мулла с праведным гневом набросился на Такежана. И по возрасту, и по сану своему он имел право изрядно отругать озорника.

– Уай, дор-рак какой! – начал он ругаться, почему-то по-русски. – Ты, дорак, стащил мою камчу! – выпалив это в горячке, мулла Габитхан потянулся, дабы забрать свою плетку.

Такежан не стал ни перечить, ни артачиться. Он протянул камчу мулле и в изысканном поклоне нагнул свою громадную башку.

– Е-е, мулла, давайте не сердитесь, а сначала посмотрите как следует, а? – с дурашливым смирением молвил Такежан. – Если скажете, мол, «это моя камча, я узнал ее, пусть Аллах свидетелем будет», то забирайте! Ну а если вещь не ваша будет, то, простите, мулла, не вам прилюдно срамить человека!

Габитхан схватил камчу и чуть ли не стал ее вынюхивать. Все узнал в ней, только ременная петля на конце рукоятки оказалась совсем другая. Вместо тисненной кожаной полоски, петля на рукоятке была здесь из грубой сыромятной кожи. Повертел, покрутил плетку в руках мулла, вмиг сдулся и помрачнел, затем поцокал языком, покрутил головою и вернул камчу назад.

– Это надо же... Очень жаль... По всему, вроде бы она, но петля другая, не та. Стало быть, камча не моя... Так что, извини меня, Такежан.

Этот же, со смиренным и снисходительным видом забирая назад камчу, пробормотал:

– Э, дорогой мулла, чего уж там... Всякое бывает.

И когда все, после краткой остановки, поехали дальше, Такежан пропустил вперед муллу Габитхана, затем оглянулся на своих нукеров, Дархана и Жумагула, и широко осклабился, скосоротившись и свернув бороду на одну сторону.

Тем временем обоз провожающих достиг первой ямской станции и там остановился, сгрудившись по обеим сторонам тракта в табор повозок и верховых.



С высоких арб и из бричек люди уже сошли на дорогу; подъезжали и, чуть отходя вперед, спешили верховые. Позади большой нарядной повозки бая Тыныбека была привязана черная саба с кумысом, сосок на ней был снизу. Когда отъезжающие и провожающие собрались возле этой повозки, был развязан сосок на сабе, и началось прощальное распивание кумыса. Кунанбай теперь уже сильно торопился с отъездом, Изгутты также проявлял признаки нетерпения, и он просил людей поторопиться с питьем кумыса. Широкий круг людей, сидевших на земле, стал быстро распадаться, когда Кунанбай первым решительно поднялся на ноги. Кунанбай не стал особенно пространно говорить на прощанье:

– Кош! Кош! Добрые люди, вы проводили досюда – и достаточно! Я уезжаю, привет моим сородичам, родным местам! Прощайте, добрые друзья, родные мои! Суждено будет мне вернуться – значит снова увидимся!

Аксакалы, столпившиеся перед Кунанбаем, в один голос произнесли:

– Иншалла! Иншалла!

После Кунанбай обнимался прощально, сначала с Улжан, затем с братьями и с детьми. Из уст братских исходили самые добрые, теплые пожелания. Жакип, Майбасар приникали головами к старшему брату со смиренным видом.

– Прощай, агатай!

Абаю вышло попрощаться с отцом в последнюю очередь. Необычно повел себя при этом Кунанбай. Он долго, молча стискивал сына в объятиях, – руки его еще были могучи. Отец приник лицом к нему и надолго замер...

Лишь слегка разогревшаяся, еще не вспотевшая тройка рыжих кунанбаевских лошадей тронулась с места. Колокольчик запел. Еще долго слышалась его песнь, долетая до людей из облака поднятой тарантасом пыли. Но эта тучка пыли уносилась все дальше, и колокольчик пел все тише. Тройка оказалась на косогоре, перемахнула через его вершину и скрылась с глаз. Колокольчик умолк.



Словно очнувшись от сна, люди снова зашевелились и стали собираться в обратный путь. В лицах читались глубокое раздумье, некая грусть. Не было оживленных разговоров. Казалось, что каждый в душе желает быть наедине с собою.

Абай и Макиш подсадили под руки Улжан в свою коляску. Теперь в повозке втроем было бы тесно, и Абай взял у Ербола запасного коня, решив ехать верхом. Отпустив коляску вперед, Абай поехал неспешным шагом, отстав от всего прощального поезда, – с ним рядом остался один Ербол. Абая охватило странное чувство бесконечного одиночества, какого он еще не знал. Возвращаясь молча, глядя в гриву спокойно шагающей лошади, Абай весь отдался этому чувству, даже не пытаясь выйти из него.

2

Многочисленные гости, заполнившие дом купца Тыныбека, после отъезда Кунанбая стали разъезжаться. Но Улжан решила не торопиться с возвращением в аул. Она давно не была в городе. К тому же Макиш, постоянно тоскующая по родичам, по близким, по родному аулу, не хотела так скоро расставаться со своей матерью. И сват Тыныбек, увидев, в какой тревоге находится любимая невестка после отъезда отца в далекие края, начал уговаривать Улжан: «Э, не торопитесь покидать наш дом! Наша дочь вся извелась, проводив отца. К тому же и мужа нет рядом, ибо сын мой находится сейчас в долгом отъезде по торговым делам. Вот и побудьте рядом с нею, утешьте ее любящее сердце, а потом и поедете себе с Богом».

В большом двухэтажном деревянном доме Тыныбека теперь оставались самые важные гости, окруженные особым вниманием хозяина. Это были Улжан, Абай, Такежан и сопровождавшие их три-четыре джигита. Просторные комнаты дома были прибраны и вымыты; вычищены и возвращены на место роскошные ковры, полосатые дорожки, узорчатые кошмы.



Улжан, считавшаяся теперь почетной матерью обширного края с многочисленными аулами, должна была думать о том, что привезти из города для хозяек очагов, которые отправятся скоро – и надолго – в кочевье на горные джайлау. Тщательно припоминая заказные и обещанные подарки, Улжан каждый день отправляла в город то своих сыновей, Абая и Такежана, то близких к ее очагу Габитхана и Ербола, чтобы они на базаре и в лавках купили все, что необходимо. А предстояло сделать немало покупок: летние наряды для невест, одежду для детей, в большом количестве запастись для аулов чай, сахар, сласти.

В приближение дня отъезда матери Абай закупал не только ее подарки, он каждый раз приносил купленные связки книг. Почти всю прошлую зиму он провел в городе в подготовке к отъезду отца и воспользовался несколькими месяцами городской жизни для усиленных занятий русским языком. И хотя прежде он никогда по-настоящему не брался за изучение русских книг, теперь при всякой выпадающей возможности старался что-нибудь почерпнуть из этого источника знаний. И убедился, что чем больше он старается и совершенствуется в русском, тем больше раздвигаются границы непознанного. «Какая жалость, что не пришлось заниматься русским языком с детства! – говорил он. – В детские годы можно преуспеть в языке намного больше!»

Но за дни зимнего проживания в городе, благодаря упорному корпению за столом, Абай неплохо поднатерел в русском языке и мог читать и понимать многие страницы книг, написанных не очень сложным языком.

Особенно тяжело давались ему русские поэты.

Но что бы там ни было, русская книга стала, наконец, его лучшим другом! Итак, он в спешном порядке собирал книги, чтобы отправить в аул вместе с матерью, в ее обозе. В эту зиму он понял одну свою ошибку: в прежние годы он занимался русским языком, только находясь в городе. Возвращаясь в аул, не уделял ему внимания и быстро все забывал. Теперь он



решил набрать как можно больше книг с собой и заниматься русским постоянно.

Хотя Улжан и не особенно торопилась домой, но все же настала пора возвращаться в аул. Уезжали с нею Такежан, Габитхан, Дархан, Жумагул. В просторную арбу сели Улжан и неизменная ее спутница Калика. За кучера был знаменитый укротитель самых диких лошадей, джигит Масакбай.

Улжан предложила сыну ехать вместе с ней, но у Абая оставалось в городе немало важных дел. Были и поручения Кунанбая: у кого-то взять отданное в долг, кому-то вернуть долги. Он с Ерболом остался, намереваясь догнать аул на весенней кочевой дороге к джайлау.

Надежно обвязав и приторочив сзади арбы продолговатый сундук с книгами, Абай помог матери взобраться на повозку. Устроившись поудобнее, она наклонилась к нему и, взяв его за руку, сказала на прощание:

– Сын мой, целых полгода ты не был в своем ауле, словно странник, который отбыл в дальний путь. А дома тоскует, изводится твоя верная жена. Ждут не дождутся отца маленькие детки, щебечущие, как желторотые цыплята. Не раз и не два я слышала, как они носились, оглашая криками двор: «Отец приедет! Наш отец скоро приедет!» А какие они славненькие, мои младшенькие внуки, Абиш и Магаш, какие сладкие! Как ягнятки-двойняшки, так и бегают вместе, – не налюбуйешься ими! Стоит только мне подумать о них, как я теряю и сон, и покой, и жить мне без них не вмоготу. Как же ты, сынок, можешь терпеть разлуку с детьми?

– Апа, я тоже постоянно думаю о них, не без того, чтобы тосковать по ним... Я очень люблю обоих ваших внуков, которых вы называли. Ведь они пробудили во мне отцовское сердце. Но вы же понимаете, апа, какие важные дела удерживают меня в городе? – говорил Абай матери.

– Нет, не понимаю, – был ответ. – Я только вижу, что ты, находя всяческий повод, готов оставаться здесь и глотать городскую пыль. Если будешь так продолжать, то и очаг родной,



и чужая сторона – одинаково станут для тебя безразличными, и ты будешь несчастным, как тот молодой кулан, который отбил в степи от своего табуна. Сын мой, скорее возвращайся домой!

Возможно, при разговорах наедине с Макиш она выяснила об охлаждении сына к Дильде. Хотя и говорила Улжан как бы случайно, мимоходом, и очень мягко и тактично, но он почувствовал в ее словах какую-то глубокую озабоченность и скрытую недосказанность. Но в минуту расставания, у повозки было не место и не время выяснять эти сложные отношения с матерью. И хотя понимал сын, что мать одолевают тревожные сомнения, он не нашелся сказать ничего другого, кроме пожелания благополучной дороги.

– А мы с Ерболом подоспеем, когда вы как раз будете на пути к джайлау и перевалите через Чингиз, – добавил Абай. – Передавайте привет всем близким нашего очага!

Он почувствовал облегчение, что мать уезжает. Такежан и его нукеры были уже на конях, уже попрощались с Тыныбеком, Макиш и другими. Верховые сгрудились перед раскрытыми настежь широкими воротами, пропуская вперед арбу. Масакбай стегнул лошадей. Просторная повозка, запряженная тройкой кунанбаевских саврасых, со скрипом стронулась с места и, грохоча по дороге, покатила вперед.

Спустя двадцать дней возвращались в родные края и Абай с Ерболом. Выехав на лошадях рано утром, путники за световой день преодолели значительное расстояние. И Абай, и Ербол были привычны к долгой и быстрой езде верхом. Это были крепкие степные джигиты, истинные потомки кочевников.

Какою бы тяжелой ни была летняя или зимняя дорога, они осиливали ее без всяких жалоб: «устал, изнемог». Порою приходилось быть в седле от зари до зари, совершая огромные переходы на быстроногих конях, скакать безостановочно с раннего утра до самой ночи. Устраиваясь на ночлег, спешившись, они не говорили друг другу, что болит все тело, разбитое за



день изнуряющей скачки, что мучительная усталость валит их с ног. Джигит, кочевник ничего подобного не говорит другому, ибо степь тысячелетиями приучала их быть сверхвыносливыми и терпеливыми.

Сегодняшний переход был незаурядным по дальности и по трудности – даже для прирожденных конников степи. Пойти на такой переход не сразу решились бы и опытные, преданные долгу посыльные и гонцы, как Жумагул или Карабас. Да и задубевшие в постоянных невзгодах ночных набегов, совершаемых в любую погоду зимой и летом, даже воры-барымтачи, такие как печально известные Елеусиз, Бесбесбай из рода Олжай, не решились бы на такой дальний бросок за один день.

Два джигита, выехав из Семипалатинска на рассвете, к закату солнца достигли начала Чиликтинской гряды, что у горы Орда. Это был край безлюдный. Аулов, где можно было бы остановиться, путники еще не видели. Наступило время, когда кочевники переходили на весенние джайлау. На пути следования место для ночевки кочующий аул выбирал обычно с этой стороны горы Орда.

С давних времен у Чиликтинской гряды зимовали аулы, представляющие небогатое племя Байшора из рода Мамай. Обычно они позднее других перекочевывали на зачингизские джайлау. Путники надеялись выйти на один из этих аулов. Причиной тому, что джигиты возвращались не в свой аул, а поехали через Орду, было решение Улжан в этом году кочевать на Колденен, где собираются аулы Бокенши, и оттуда выходить на джайлау к реке Баканас. И для Абая прямая дорога туда была одна – мимо горы Орда.

Расстояние между Семипалатинском и Ордой составляло около ста тридцати верст. Под седлом Абая был скакун Курентобель – конь знаменитый, весьма надежный в длительных поездках. Раньше на нем ездил Изгутты, который горделиво сравнивал скакуна с быстроногим тулпаром, не находя ему



равных по выносливости и проходимости. У Ербола в поводу шел заводной конь, которого приобрел Абай в городе, прельстившись его могучей статью и необыкновенно красивым ярко-рыжим окрасом. Кличка этого жеребца Тенбилькок, Абай решил запустить его в табун – на племя. Когда собственный чубарый конь Ербола, вполне надежный и хорошо подготовленный для длительных пробегов, стал к часу вечернего намаза сдавать ход, не поспевая за мощным, ровным бегом иноходца Курентобеля, Ербол вынужден был подстегивать его камчой. Увидев это, Абай предложил спутнику: «Пересаживайся на Тенбилькока!» Ербол последовал совету друга, но и на могучем жеребце-пятилетке удавалось с большим трудом поспевать за Курентобелем.

К закату солнца над вершиной Орды появились тяжелые облака, края которых огненно запылали. В лицо путникам порывами ударил сильный ветер, в каменных ущельях гор прогремел гром. Надвигалась нешуточная гроза. «Апырай! Надо скорее выходить к людям!» – крикнул Абай. И он впервые за весь день подстегнул камчой Курентобеля. Тот плавно, без рывка, ускорил ход, но было в беге иноходца что-то запредельное. Он словно обиделся на то, что в нем засомневались и, закусив удила, громко всхрапывая, столь неистово вложил в бег, что готов был, казалось, голову снести скалу, если она встанет на пути. Абай вынужден был, сильно натягивая поводья, сдерживать коня, чтобы не загнать его.

Ербол всю дорогу следил за этим скакуном. Когда Абай снова надал ходу, Ербол на жеребце Тенбилькоке, которого пришлось хорошенько подхлестывать, едва смог выровняться с иноходцем Абая и, повернувшись к нему, прокричал на скаку:

– Апырай! Что делает этот конь! Не угнаться за ним! Да у него и пот на груди высох от ветра! Вот скачет! Сколько еще он так выдержит?

Абай сам был и восхищен, и удивлен своим иноходцем Курентобелем.



– Не знаю, Ербол! Он все такой же, каким выехал со двора Тыныбека! Выносливости и терпения у него больше, чем у всякого человека! – прокричал Абай.

Когда путники приблизились к Чиликтинской гряде, порывистый ветер усилился, моросивший дождь перешел в ливень. Теплый дождь насквозь промочил джигитов. Вскоре ветер внезапно утих. Просторное подножие и плавно уходящий вверх склон Орды предстали перед путниками, сплошь покрытые свежим матово-зеленым и серебристым ковром молодого ковыля и полыни. Всадники въехали, рассекая ногами коней мокрый травяной покров, в поднимающуюся на изволок ровную просторную лощину – и задохнулись в густом, влажном аромате молодой полыни.

Однако дождь усиливался, тучи навалились ниже. Было трудно определить, то ли хмурый вечер сгустил тьму, то ли уже наступила ночь. И лишь по багровому зареву, различимому сквозь решето дождя на далекой западной стороне, можно было понять, что день еще не кончился. Оттуда летел последний луч надежды умирающего дня. Но вот и этот луч угас, и все вокруг стало погружаться в темноту, наполненную, казалось, темно-багровым потусторонним свечением. В появившихся меж туч просветах небо налилось густой каменной синевой.

Скоро настала вокруг ночная тьма. Абай и его спутник, уже ничего хорошего не ожидая, почти не видя под собой дороги, поднялись на какой-то каменистый пригорок и вдруг услышали недалекий собачий лай! В глухой темени, под шквалом дождя они увидели вдаль – словно вспыхнувшие огни надежды – светящиеся окна человеческих жилищ. Совсем близко, по левую сторону от дороги, находился маленький аул, всего о семи-восьми домиках и юрт.

Небогатый аул имел тесные загоны для овец. Коровы и верблюды были укрыты от дождя в убогих дворах. Уткнувшись головами в стены домов, прилепившись к ним с подветренной



стороны, выставив к дождю зады, стояли козы. За аулом на пустыре паслись, на длинных арканах или с путами на передних ногах, пять-шесть промокших лошадей. Подъехав к окраине аула, путники придержали лошадей и стали высматривать дом, у которого можно было бы спешиться.

Выскочившие навстречу псы подняли шумный лай и визг на весь аул и наполнили эхом своих голосов скрытую во тьме горную долину. Чем дальше всадники въезжали в аул, тем больше собак вылетало из темноты под ноги коней и тем яростнее, злей лаяли, рычали и хрипели они – невзрачные суки с задранными трубой хвостами, в лохматых клочьях облезавшей шерсти и невероятно костлявые, отощавшие кобели с поджатыми хвостами, низко опущенными задками, лопухие и тупомордые. С пронзительным визгом и тьяканьем носились меж ними беспородные разномастные щенки, потомство скандальных сук с задранными хвостами и истощенных кобелей. Лай был настолько выразительным, что Абай рассмеялся, про себя переведя их ругань на человеческий язык. Получалось примерно так: «Вон отсюда! И даже не думайте заночевать здесь! Тут и так есть нечего! Е, разве мы здесь не для того, чтобы отгонять от аула всяких дармоедов? Да на вас, бродячих ночных странников, и еды не напасешься! Что, дождя испугались? А прячься от дождя под брюхом лошади! Потником прикрой голову! Уходите отсюда! Быстро, вон! Вон отсюда! Проезжайте мимо! Ты хоть подохни, какое мое собачье дело! Кош! Кош! Проезжай!» – и тому подобное.

Между тем многоопытный Ербол, по каким-то особенным признакам, известным только ему одному, выбрал самую крепкую и вместительную юрту и уверенно направил коня к ней.

Когда подоспел и Абай, из юрты вышел человек: с лохматой бородой, в накинутом на плечо буром чапане, вроде бы слегка припадает на одну ногу. Заговорил раньше гостей, опередив Ербола, который начал было: «Путники мы, едем...»

– Е, джигиты, спешивайтесь! Коли прибыли по божьей воле! Войдите в дом, разделите с нами все, чем мы располагаем!



Добро пожаловать к нам! – так говорил низким, густым голосом человек, по уверенному виду которого угадывался хозяин очага.

Лицо этого человека показалось Ерболу знакомым. Направляясь от коновязи к юрте, он шепотом поведал Абаю:

– Кажется, здесь, в Орде, проживают два брата – Бекей и Шекей из рода Байшора. Так вот, я думаю, что это Бекей.

Джигитам с Чингиза никогда раньше не приходилось бывать в этом ауле. Юрта оказалась хотя и вместительная, но отнюдь не богатая. В очаге ярким пламенем горел огонь. Войдя, поздоровавшись, сняв шапки и пояса, гости прошли на тор и стали оглядываться. Обстановка вокруг очага скромная. Семья немногочисленная. Справа от тора, на земляной возвышенности, на кошме, сидела простоволосая старуха, обняв внука лет четырех-пяти. Была в юрте и довольно рослая, со спокойным лицом, стройная русоволосая женщина с черными глазами. Хотя и не молодая уже, она все еще была красива. Кроме самого хозяина, в юрте пока что находились только эти люди.

Абай теперь хорошенько рассмотрел Бекея. Он тоже был красив, румян, с редкими среди казахов голубыми глазами и окладистой рыжей бородой, с крупным носом. Как и должно хозяину, стал расспрашивать у гостей, кто они да куда направляются. Голос у него был низкий, басовитый. Подложенный при появлении гостей кизяк в очаге ярко разгорелся, и свет пламени осветил юрту, придавая ей добрый, уютный вид. Над огнем, на высоком треножнике висел вместительный прокопченный чайник.

Бекей сел рядом с матерью. После того как расспросил у гостей, что хотел узнать, он повернулся к старухе и что-то стал ей говорить вполголоса. Она также тихо спрашивала. Разговор их длился недолго. Бекей поднялся и, собираясь выйти из юрты, сказал жене:

– Кизяк помногу не подкладывай, побереги сухое топливо. У тебя хватит воды на казан? Ставь его на огонь. А я пойду позову кое-кого из детей, мы займемся скотиной.



Жена Бекея не сказала ни слова в ответ на его распоряжения, но восприняла все с должным вниманием.

Бекей вышел, и вскоре снаружи прозвучал его басовитый голос:

– Наймантай! Уай, Наймантай! Поди-ка, сынок, сюда!

Перед промокшими гостями вскоре появился чай. Только что они собирались приступить к нему, как открылась настежь дверь, обитая толстым войлоком, и появился сам хозяин, который собирался вместе с помощником-сыном втащить в юрту небольшого барана. Пугаясь отблесков пламени очага, барашек упирался, рвался из рук и шарахался от покрашенных в красный цвет дверных косяков. Наконец сын хозяина, крепкий подросток Наймантай, один втащил барана, которого собирался забить.

Пока Абай и остальные пили чай, светловолосая хозяйка, подоткнув подол ситцевого платья, хлопотала у очага, водрузила на треногу котел, налила воды. Бекей, перейдя на гостевую половину юрты, сам разливал чай и молоко. Тем временем подросток Наймантай быстро зарезал валуха, разделал и поднес баранью голову к очагу, чтобы опалить ее. Началось копчение бараньей головы. За это время Абай с Ерболом вдоволь напились чаю.

– Где же Шукиман? Почему Шукиман не пришла помочь? – несколько раз спрашивал Бекей во время забоя и разделывания барашка.

– Зачем тебе Шукиман? Без нее справимся. Пусть сидит с зятьями в том доме. Пусть развлекается! – подала, наконец, голос жена и даже не думала звать эту самую Шукиман.

Ербола осенило: «Да это же имя девушки! Наверное, их дочь, которая подросла...» Придя к такой мысли, Ербол стал внимательнее присматриваться к жилью хозяев. И заметил, что за деревянной супружеской кроватью, слева, виднеется еще одна аккуратно заправленная, нарядная постель. И если Шукиман на самом деле дочь хозяина очага, то это непременно



ее постель. Ербол сидел, оглядываясь, и весьма увлекся этой мыслью.

Жена Бекея стала опускать мясо в котел. Хозяин сам подкладывал ей куски, приговаривая: «Это клади... И это положи». Она посмотрела на него, как бы спрашивая: «Может, хватит? Куда же столько?» Но муж пояснил:

– Клади. Мы ведь еще не успели угостить зятя и его гостей... Шукиман намекала, что надо бы угостить. Пусть гости и поужинают у нас!

Тогда хозяйка повернулась к Наймантау:

– Сынок, пойдя, предупреди Шукиман. Пусть потом, когда все будет готово, приведет гостей сюда.

Мясо варилось, теперь сухой кизяк подкладывали в очаг щедро, и в юрте стало тепло, даже жарко. На улице дождь уже затих. Ночь стояла тихая, безветренная. У Абая, разморенного чаем, отяжелела голова. Ему захотелось спать. Ербол разлегся на кошме и задремал. Абай тоже решил вздремнуть до ночной трапезы, покойно лег, вытянулся и мгновенно уснул.

Абай не знал, долго ли продолжался его сон. Внезапно он вздрогнул и приподнял голову. Ну конечно, он бредил, и разговаривал во сне, и слова еще звучали в его ушах. Те самые, которые только что прозвучали из его уст: «Иди ко мне, иди, милая!»

Неужели это он произнес вслух, да еще и громко? Не услышал ли кто в юрте? Этого он не мог знать. Как только Абай проснулся, сразу же поднял голову и Ербол. Он удивленно посмотрел на Абая, чьи глаза были полны слез. Приподнявшись с ложа, он, словно сильно встревоженный чем-то, прислушивался к звукам, идущим снаружи. Там, в соседней юрте, пели, в ночной тишине звенел высокий женский голос. К нему и устремился всем своим вниманием Абай, словно замороженный, еще не совсем освободившись от мира сна, из которого столь внезапно выпал. Казалось, что в своем полусонном состоянии он не воспринимал окружающий мир, забыл о нем, и для него



существовал только этот высокий, одинокий женский голос. Ерболу стало не по себе от такого необычного, неменяемого вида Абая. Вдруг он повернулся к Ерболу, судорожно вцепился руками ему в плечи и стал трясти, дергать его.

– Ербол, вставай! Скорее вставай! – сдавленным голосом, едва слышно произнес он.

– Ты чего, Абай? Что случилось? – также шепотом воскликнул Ербол. Он был сильно напуган. Разные догадки, одна страшнее другой, промелькнули в голове. Подумалось: не сошел ли он с ума? А может быть, у него горячка, и он в бреду?

Абай вскочил, снял со стены тымак, надел на голову, торопливо натянул чапан.

– Выйдем на улицу! Скорее! – бросил на ходу, направляясь к двери.

В доме все спали, никто ничего не заметил. Старуха лежала на постели, отвернувшись к стене. Бекей сидя прикорнул у очага, уронив голову на грудь.

На улице Абай, к которому подошел Ербол, все еще был не в себе, пребывая в сильнейшем волнении.

Сдернув с головы тымак и словно находясь в бреду, Абай что-то шептал в темноте, замерев на месте. Песня все еще звучала в ночи, одинокий женский голос доносился из соседней юрты. Да, это была бошанская песня «Топайкок». Та самая, которую пели они с Тогжан, при свете луны на качелях. И ее только что пела она, явившись во сне. И сейчас песня эта, взлетев на недосыгаемую высоту, закончилась и смолкла.

– Ербол, – произнес Абай дрогнувшим голосом, – апырау, Ербол, это же моя Тогжан! Она, оказывается, вон в той юрте! Спела так, как мы вместе пели с нею однажды! Так может петь «Топайкок» только одна Тогжан! Где я нахожусь, мой Ербол? Скажи мне, что со мной? Ведь там она, моя Тогжан? Она зовет меня! Я пойду к ней! – И он порывался бежать к соседней юрте. Ербол силой удержал его на месте.



– Постой, Абайжан! Сначала немного успокойся, карагым! Нет, ты не пойдешь в тот дом. Тебе нельзя – вот в таком виде. Туда схожу я и посмотрю, что там и как. Потом вернусь и все расскажу тебе. – Так говорил Ербол, крепко обняв друга.

– Тогда иди скорее! Только загляни и тут же возвращайся назад! Лишь убедись, что там находится моя Тогжан!

– Ойбай, Абайжан! Какая еще Тогжан! Нет ее там и не может быть! Ты что, грезишь наяву или все еще спишь? – вскричал Ербол.

Абай зажал ему рот рукою.

– Замолчи! Не смей так говорить! Ты ничего не знаешь! Она только что была со мной. Она благословила меня! – иступленно шептал Абай.

Слова эти показались Ерболу безумными. Его доброе, чуткое сердце сжалось от тревоги и жалости за друга. И, на правах любимого брата и наперсника, он, крепко обнимая правой рукой Абая за плечи, почти насильно повел его с собою, уводя прочь от юрты Бекея.

– Пойдем, походим. Та, что пела эту песню, сейчас сама придет сюда. Потерпи немного, и ты увидишь ее. Мы встретимся у нее дома. А то ведь что ты такое наговорил? Что значит: «Она благословила меня?» Ты что, дитя малое, несмышленное, чтобы такое говорить? Объясни, друг! – говорил Ербол, почти строго и повелительно.

Только теперь Абай понял, что друг Ербол воспринял его слова, все его поведение как что-то болезненное и ненормальное. Абаю стало больно.

– Ты ничего не понял! Ну так слушай. Говорю тебе, как перед аруахами. Можешь потом называть меня несмышленным ребенком, сумасшедшим, хоть дурачком. Мне все равно... Я и сам не понимаю, что это такое. Впервые в жизни я не могу объяснить, что происходило со мной. Но прежде чем я расскажу, ты должен дать мне слово, что пойдешь в тот дом, внимательно всех рассмотришь, а после вернешься и сообщишь мне... Если не



согласен, то я тебе ничего рассказывать не стану. – Так говорил Абай, положив свои руки на плечи друга, слегка его покачивая и встряхивая. Ербол не задержал с ответом и тотчас дал слово, что сходит в соседний дом. И только после этого Абай стал рассказывать, мгновенно переменившись в голосе.

– Нет, это был не сон. Это было наяву, я все помню. Ведь было – совсем недавно! Но если все это – не явь, то значит, все происходило в каком-то другом, волшебном мире. Я попал туда. На ее голове была та же самая кунья шапочка-борик. Те же шолпы в косах. Камзол – из черного бархата. Я все это видел минуту назад! Но встреча наша происходила как в ту ночь, на реке Жанибек... Но в жизни этой, во время наших встреч, она никогда не вела себя достаточно свободно и, сближаясь, не раскрывала откровенно своих желаний. Какая-то детская робость и застенчивость присутствовала в ее страсти! В этот раз – все было по-другому. Я не узнал ее, Ербол! Пылая, как в жару, с нескрываемой страстью, она сказала... словно простонала: «Истосковалась я! Истомилась в ожидании!» И потом тихо говорила: «Ты не забыл «Топайкок», песню, которую привез издалека? Я-то ее не забыла, пою днем и ночью. Вот, послушай меня...» Она спела один куплет, потом посмотрела мне в глаза и сказала: «А теперь, любимый, хочу к тебе, сядь ближе! Мы с тобою рядом, совсем одни, и никто не мешает нам, и я вся твоя!» Я так и рванулся навстречу ей с криком: «Иди ко мне, иди, милая!» И тут я проснулся.

– Видишь, все-таки это был сон! Ты и проснулся с этим криком! – были слова Ербола.

– Помолчи... Проснуться-то я проснулся, допустим. Тут никакого волшебства. А дальше что было? А дальше была песня «Топайкок», которую пела Тогжан! Пела так, как могла ее петь только она одна. Пусть остальное все было сном. А песня «Топайкок» – что это, по-твоему? А голос моей любимой – что? Ведь это же не сон? Ты ведь тоже слышал? Слышал же?



Абай снова впал в тоску и беспокойство. Слушавший его молча, не перебивая, Ербол решительно выпрямился и сказал другу:

– Ладно, ты наберись терпения, постой здесь, а я, пожалуй, схожу туда. В дом не заходи, жди на улице. Я вернусь быстро.

Он ушел – и действительно вернулся очень скоро. В темноте раздались его быстрые шаги. Ербол предстал перед Абаем, удивленный и потрясенный не менее, чем он сам. Подойдя, стал раздвигать ворот своего чапана, словно ему было душно, и заговорил неестественно громко, запинаясь.

– О, Кудай... Кудай! Увиденное тобой – не сон! Это она! Ви-дел своими глазами!

– Что ты сказал, душа моя? Ты видел Тогжан? Она здесь? – И Абай хотел бежать в сторону соседней юрты.

– Стой! – грянул сердитый голос Ербола. – Это не Тогжан! Там другая!

Абай резко обернулся к другу.

– Ты что несешь? Или собачий брех – твои слова? – почти злобно набросился на него. – То видел ее, то это не она! Как тебя понимать?

– Абай, бауырым! Это не она! Похожа, как сестра-двойняшка, но не она! Аллах всемилостивый, разве может быть такое? Ведь точь-в-точь как та самая Тогжан, которую мы с тобой видели в Жанибеке! Такая же молодая, кровь с молоком, какой была Тогжан много лет назад! Сидит точно такая же девушка в куньем борике – не отличишь ее от Тогжан! Но ведь это не она, Абай!

– Но пела, песню пела – она?

– Этого я не знаю. При мне не пела. Я даже не узнал, как ее зовут, повернулся и убежал. Но скоро все узнаем!

– А я уже знаю. Пела она.

– Я тоже начинаю думать, что так... А все ты, Абайжан! Родной мой, ты, наверное, или провидец и кудесник, или безумец,



– таким сделал и меня! Это же надо – увидеть сначала во сне, а потом встретить наяву! – Так говорил Ербол, и вид у него при этом был совсем растерянный.

Пошли минуты, непонятные, темные, тревожные, то ли великая радость рвалась из груди, то ли одолевал черный страх – вновь оказаться перед пустотой и призрачностью светлых надежд.

Но была в сердце Абая спокойная, огромная готовность принять все: лететь прямо в слепящий свет, в огонь, скользя навстречу его лучам, и сгореть в нем.

Два друга молча направились в сторону юрты Бекея.

В это же время открылась дверь соседней юрты Шекея, на улицу упала желтая полоса света, и появился народ, послышались оживленные голоса, смех – женские и мужские, молодые, жизнерадостные.

– Идут на вечернюю трапезу, – сказал Ербол.

Друзья поспешили вперед них войти в юрту Бекея, заняли места на торе. Ербол сел ближе к очагу – подкладывать и помешивать кизяк в пламени.

– Хочу сам позаботиться, чтобы в юрте стало светлее! – заявил он Абаю.

Сразу вместе вошло не так уж много молодых людей. Многие, видимо, замешкались на улице, и ночные пространства вокруг маленького горного аула огласились веселыми голосами, молодым смехом, обрывками звонких песен.

Бекей и его сын Наймантай приуготовили кувшин с водой, тазик для омовения рук. Хозяйка разбудила старуху свекровь, потом взяла в руки кошму для прихвата горячего казана и подступила к очагу.

Настежь распахнулась дверь, стали входить гости. Первыми вошли, один за другим, два молодых джигита. Их тымаки и чапаны были заурядны, весьма изношены. На ногах были сапоги-саптама с войлочными голенищами. Вели они себя весьма скромно, даже стеснительно, оказалось, это зятья. Им



положено быть робкими в ауле тестя. Вслед за ними вошли молоденькие девушки, почти подростки, среди которых оказались несколько молодых постарше. Через небольшой промежуток времени вошла девушка среднего роста в накинутом на голову сером чапане. Когда она рукой отвела в сторону полу чапана, гости увидели ее лицо: смуглое, с маленькими глазами и вздернутым носом. Это оказалась невеста, дочь Шекея. И вслед за нею, тихо и незаметно, вошла в юрту юная девушка. Она была словно привидение той юной Тогжан, которую Абай и его друг видели в свои ранние годы. Она вошла, остановилась у двери и улыбнулась. Зубы у нее были, как белые жемчужины, нанизанные в ожерелье. Нежный румянец на щеках рдел, словно на них падал отсвет утренней зари. Весь вид ее представлял нежную, робкую, чистую красоту расцветающей юности. Девушка оказалась чутка – она сразу же смутилась того необычного, напряженного внимания, с каким смотрел на нее Абай.

Удивительное сходство с юной Тогжан сводило Абая с ума. Те же яркие губы, в припухлости которых было еще столько детского, невинного. Детская же и невинная улыбка. Перед Абаем явилась из иного мира та бесподобная степная красавица, которую впервые увидел он в доме бая Суюндика, в весеннюю пору, у горы Туйеоркеш. Как будто время и пространство той далекой любви смогли силой лунного волшебства переместиться, перенестись – и предстать заново в ином месте, в другом времени. И чудесно сошлись здесь три Тогжан – та цветущая, юная, которая впервые встретилась Абаю, и нежная, страстная Тогжан из недавнего сна, и эта молоденькая красавица из затерянного горного аула.

С той минуты, как она вошла в юрту, опустилась на свое место, душа и сознание Абая вновь отлетели в зыбкий мир сонного миража. Окружающий мир, и все люди, и он сам – все исчезло, и от всей его сущности остался подлинным только бешеный ураган его разбушевавшегося сердца. Его недавний вещий сон перешел в эту бурю – затем лишь, чтобы явиться чудесной картиной присутствующей рядом живой Тогжан!



Ведь говорила же она во сне: «Мы с тобой рядом, совсем одни...» И это был не обман чувств, не пустое воображение! Да, она приходила – она пришла! Вот она, сидит перед ним! Нежная, хрупкая, бесконечно желанная, трепещущая от какого-то сильного своего волнения.

Для окружающих людей вид Абая был непонятен и странен. Широко раскрытыми остановившимися глазами смотрел он на одну только девушку. У него было потрясенное лицо человека, увидевшего в небе ярко пылающую судьбоносную комету. Он что-то шептал про себя, едва заметно шевеля губами.

Входящие в дом люди здоровались, но Абай словно не замечал их, устремив глаза только на одного человека, и чуткая девушка, заметив в этом неподвижном взгляде что-то не совсем обыденное и не очень ясное для себя, сильно смутилась и заметно покраснела.

Один Ербол понимал истинное состояние Абая, и он постарался отвлечь внимание людей от него, завел оживленный разговор, расспрашивал, как это и заведено при встречах незнакомых людей, об их родословных корнях. Оказалось, что два зятя были выходцами из племени Еламан из обитающего здесь издавна рода Мамай. Ерболу были известны их аулы и аксакалы племени.

Где сейчас эти аулы, успели перекочевать на джайлау, какие урочища на Чингизе выбрали? Такие вопросы были приняты и уместны на подобных встречах.

После того как гости расселись, Бекей обратился к юной красавице:

– Айналыын, Шукиман, ты бы помогла, дочка, своей матери. Принеси полотенца, и пора дастархан разворачивать!

И тут девушка, чувствуя себя скованной странным вниманием почетного гостя, заметно оживилась, быстро поднялась с места – и в дальнейшем смогла показать, на что, на какую ловкость и расторопность способна она, порхая возле очага и у дастархана. Вышитый лиловый камзол и нарядное



белое платье удивительно шли ей, но шапочка-борик из куньего меха, неизменный венец чудесного девичества, была у нее не новая, с потертым мехом и растрепанными перьями филина на макушке. Абаю было обидно смотреть на эту невзрачную шапочку, унижающую головку его волшебницы из сна, он готов был схватить, стянуть с нее эту шапочку. Также не понравилось Абаю звучание имени ее – Шукиман.

Во время трапезы, за мясом, шел бойкий разговор между Ерболом и дружкой одного из зятьев – с молодым, но уже бородастым – с узкой козлиной бородкой, словоохотливым джигитом из приезжих от Еламан. Из их разговора все узнали, кто такой Абай, куда и откуда едут путники.

Шукиман стороною что-то слышала про Абая, знала даже, что молодой сын Кунанбая два года назад стал акимом волости Коныркокше. Слышала также, что прошлой зимой он сам оставил эту должность. Но все это ничего не говорило ни уму, ни сердцу Шукиман. Да, был мырза Кунанбай, по слухам – человек жестокий и властный. Но что за дело до этого мырзы и его сына беспечной маленькой Шукиман, которой больше всего на свете хочется петь да веселиться? Да, находясь в доме у своего дяди, она услышала, что прибыл ночной гость в ее отчий дом, мырза Абай, но она вовсе не спешила его увидеть! А когда он, в ответ на ее приветствие ничего не ответил и лишь жутковатыми глазами уставился на нее, она решила, что этот кичливый мырза из богатого аула даже не хочет снисходить до ответа ей. И, немного задетая этим, она решила больше не обращать внимания на него.

Мясо было съедено, на треножник снова подвесили огромный закопченный чайник. В очаге вновь оживился огонь, отсвет пламени прошел веселыми бликами по молодым лицам. Сын хозяина, подросток Наймантай, быстро сбегал в юрту дяди и принес оттуда старенькую домбру.

– Детки, вы хорошо повеселились в том доме, давайте продолжайте веселье в этом! Пели там красивые песни – пойте



и здесь, не стесняйтесь! – так говорил благодушный после сытной еды рыжебородый Бекей.

Абай и Ербол живо поддержали хозяина:

– И вправду, джигиты! Зашли сюда, так продолжайте веселье!

– В том доме кто-то пел красивую песню! Хотелось бы еще раз послушать ее! – сказал Абай.

– Да, да! Эту самую песню! – поддержал его Ербол. – Кажется, ты ее пела, Шукиман.

Хотя и была слегка смущена девушка, однако, отвечая, в карман за словом не полезла. Задорно встряхнув головою, тихо засмеявшись, казалось, вместе с зазвеневшими шолпы, серебрястым смехом, она лукаво заметила:

– Но разве только у нас поют песни? Вам приходилось, наверное, слышать кое-что получше, чем у нас, не правда ли? И сами, наверное, поете. Так вот, исполняя законы гостеприимства, мы не можем спеть первыми. Гости должны начинать. Так что, досточтимый кунак, вам придется сыграть на домбре и что-нибудь спеть. – И, сама удивляясь тому, как она ловко объехала горделивого мырзу, девушка превесело засмеялась. И переливчатый смех ее прозвучал как песня!

Абай не растерялся.

– Коли выбор пал на меня, и обычай никому отменять не должно, то как-нибудь поднапрягусь и постараюсь спеть одну песню! – сказал он, вызвав одобрительный смешок у молодежи.

Взяв домбру в руки, он сразу же резво пробежался по струнам умелыми пальцами, исполняя вступительный наигрыш.

*Сияют в небе солнце и луна –
Моя душа печальна и темна,
Мне в жизни не сыскать другой любимой,
Хоть лучшего, чем я, себе найдет она...*



Сегодня Абай вложил в свои печальные слова весь внутренний трепет новой небывалой надежды, и это услышали молодые люди, окружавшие его. Все просили его повторить песню, чтобы заучить ее и навсегда унести с собой, в свою жизнь, и Абаю пришлось спеть ее трижды.

После, засиявшими глазами глядя на Шукиман, он сказал:

– А ведь долг платежом красен, милая! Теперь вы должны спеть, и мы с Ерболом просим вас исполнить «Топайкок» так, как вы спели в том доме. Ведь это же вы пели, и прошу вас понапрасну не отказываться! Спойте нам эту песню еще раз, Шукиман!

Смех Шукиман рассыпался мелким жемчугом, она постаралась сделать серьезное лицо, говоря:

– Кап¹! Что вы! Как вы ошиблись, мырза! Ведь песню-то на самом деле исполнила старенькая бабушка! Мы пошли сюда, а она там легла спать, какая жалость! Но можно пойти разбудить ее и привести сюда! Хотите?

Довольно долго еще Шукиман и ее молоденькие подружки разыгрывали и поддразнивали джигитов, однако Абай и Ербол, умело подыгрывая им, сумели все-таки склонить красавицу к тому, чтобы она спела «Топайкок».

Она пела чудесно, ее диковатый голос завораживал. Казалось, что не человек поет, не девушка, а какая-то неземная духовная сила, выражающая себя через мелодию песни. Перед Абаем предстала и раскрылась песенная красота неслыханной глубины и тайны. Да, эта была знакомая джигиту «Топайкок», но никогда доселе человеческий голос не мог раскрыть такой ее душевной проникновенности. Абай слушал ее и чувствовал, что отныне и навсегда становится пленником этой песни и этого дивного женского голоса! Он восторженно посмотрел в лицо девушке – никакого смущения и робости юного существа, никакой стесненности! Вся во власти песни, музыки – сильная,

¹ Кап! – возглас сожаления.



статная, прекрасная молодая красавица степей смотрела ему в глаза царственным взглядом. Ее длинные черные брови с тонкими загнутыми концами взметывались и опадали, словно крылья птицы, устремленной в бесконечную высь.

В пении раскрывалось все самое лучшее в этой девушке. Она, похоже, пела самозабвенно, наслаждаясь своим искусством. В ее пении, помимо явно предстающей незаурядной музыкальности, звучало что-то еще – сильное, тонкое, изящное, завораживавшее душу Абая.

Да, этот голос завораживал поэта. Абай слушал его – и какие только картины ни всплывали перед его внутренним взором. То ломкие розовые лучи месяца, падая на гладь ночных волн, распадалась на сверкающие огненные блики, то журчащий родник тихо пел в темноте, нарушая тишину этой ночи. И эти видения сопровождали пение Шукиман, и закрывший глаза Абай был зачарован ее голосом.

Но вот песня завершилась, голос певицы умолк – и настала в юрте долгая тишина. Затаив дыхание, Абай словно ждал еще чего-то. Наконец он, со смешанным чувством радости, ликования и непонятной для него самого болезненной грусти, взволнованно вздохнул и молча склонил голову перед Шукиман.

– Да, бедняжка-песня наконец-то нашла своего достойного исполнителя! Никто не смог бы спеть «Топайкок» лучше! – первым нарушил молчание Ербол.

Так бы мог сказать и Абай. Но сейчас он был охвачен другим, более важным и значительным раздумьем, чем мысль о таланте этой девушки. Душа его словно озарилась волшебным светом. Настал миг небывалой радости бытия. Казалось, произнеси он хоть слово, и эта радость будет разрушена. Он понял, что свет, вспыхнувший в его душе, – это солнце его новой жизни, которое восходит неотвратимо, ярко, обещая ему истинное счастье. То самое, что было однажды предложено ему судьбой, но люди отняли его. И теперь это потерянное



счастье само вновь возвращалось к нему, чтобы обласкать, утешить его и утереть былые слезы.

Необыкновенная ясность мысли пришла к Абаю. В свое время он потерял счастье не по своей вине. Он был слишком молод, слишком слаб, беспомощен перед косностью и силой степных законов и традиций. Он подчинился без всякой попытки сопротивления – за что и корил себя и мучился совестью все эти годы. Но теперь – пусть даже весь мир перевернется, он не откажется от своей новой путеводной звезды! Пусть отвернутся от него, как от враждебного чужака, все родичи его, даже отец и мать, все самые близкие люди его племени, пусть весь род людской отринет его, – он не откажется от пленительной звезды своего счастья. Иначе – и жить на свете не стоит! Он пришел к своему бесповоротному решению – и ничто не может ему помешать. На этот раз он будет яростно защищать свое счастье.

После молодежной вечеринки Абай еще и еще раз благодарил Шукиман, кроме слов благодарности ничего другого не нашелся сказать. У него дрожал голос, лицо было бледно. Но Шукиман, чуткая и внимательная девушка, явно угадывала то, о чем он не мог высказаться вслух. Ласково улыбнулась ему, смущенно покраснев при этом. Теперь она видела перед собой не того надменного и неприступного человека, чванливого мырзу, каким он показался с первого взгляда, – это был, оказывается, человек мягкой, богатой, незаурядной души, полный неотразимого мужского обаяния. Это был именно тот сокровенный ее избранник, джигит ее мечты, которого она уже и не чаяла встретить в жизни. Вдруг и неожиданно Абай ей стал близок и дорог. Со всей учтивостью она ласково попрощалась с ним, но, уйдя с зятьями и их дружками, чтобы устроить их на ночлег, назад в юрту уже не вернулась.

Наутро, выехав за Чиликтинскую гряду холмов, Абай и Ербол заговорили о Шукиман.

– Ну что за прелесть эта девушка, слов нет! – восхищался Абай. – Настоящая корим¹, красавица!

¹ *Корим* – красавица.



– Ай да красавица! Ай корим! Ай да прелесть Шукиман! – чуть поддразнивая друга, закачал головою Ербол, сидя в седле.

Абай оживился и обернулся к другу.

– Как ты сказал? «Ай корим»? – переспросил он. – А ведь имя Шукиман ей не подходит, оно какое-то грубое. Лучше было бы, как ты сказал: Айкорим!

– Айкорим?!

– А еще лучше – Айгерим! Так и буду ее называть!

Они ехали, оживленно разговаривая, и вскоре вспомнили сон Абая, снова поразились тому, как он продолжился явью, и далекая, отлетевшая мечта, Тогжан, воплотилась в живую юную девушку. Обсуждая, как могло произойти столь чудесное перевоплощение, Абай высказал следующее:

– Ербол, родной, послушай-ка меня и не сочти, что я лишился разума. Увидеть во сне свое самое близкое будущее, вот, как это я увидел, – удел всяких магов, кудесников, шаманов, бахсы и так далее. Я же, как тебе известно, никакими ворожбами не занимался, кумалаков¹ гадательных в руки не брал. Однако имеются на свете особенные, возвышенные люди, мой друг Ербол, с которыми происходят всякие необъяснимые чудеса, и эти люди называются поэтами. Может быть, я и есть поэт, мой Ербол?

Ербол давно и убежденно считал Абая настоящим поэтом степи, акыном, но в отношении остальных выпренних рассуждений Абая не совсем разобрался, а потому и отмолчался, на вопрос друга не ответил. И все же своим простым и ясным сердцем Ербол чувствовал, что есть в его друге какая-то глубинная, недоступная для многих загадка и тайна судьбы. Самому же Абаю ощущение этой тайны давало уверенность и чувство вдохновенной силы.

Дорога, перевалив Чиликтинскую гряду, пошла вниз, приближаясь к подножию Орды.

¹ Кумалак – бобы, на которых гадают.



В лицо путникам повеяло влажным ветром с Чингиза. Вдали, непрерывно меняя свои зыбкие очертания, заколебалась несуществующая небесная страна степных миражей. Странные жизнеподобные видения, причудливые города, торжественные мазары, пальмовые леса и невероятные великаны возникали перед путниками, порой отрываясь от земли и возносясь к небу, вселяя в их души невольную робость перед непостижимостью мира. А над этими миражами – в недостижимой дали, высились сине-белые очертания вершин хребтов Чингиза.

А в ближайшем степном окружении пространство было одето в покровы темно-зеленого типчака, ярко-палевого зыбкого ковыля, серо-белесой полыни. Изредка вдоль дороги бежали навстречу, кланяясь на ветру, беспокойные кусты чия. Их острые листья, касаясь друг друга, издавали нежный шелест – пение заповедной степи, воспевающей свежую новь еще одной восторжествовавшей весны. Как-то само собою – из всей этой степной весны, из счастливых событий минувшей ночи, из сердца Абая – излилась песня:

*Вот он, чудесный близкого счастья взгляд!
Тайны души моей в страстных песнях звучат.
Ветер скользнул – и о той же тайне моей
Чия стебли шелестят, шелестят, шелестят...*

Абай спел эти стихи, ни на миг не задумавшись, какая мелодия должна быть им созвучна – музыка пришла сама, вместе со словами. Слова тоже пришли сами – вместе с неожиданным, неслыханно прекрасным ночным чудом встречи. Душа распахнулась для радости – и оттуда светлым потоком изошли стихи. Абай теперь не пытался укладывать слова в существующие размеры дастана, как бывало в прежние годы, и не выбирал для стихов изысканные слова, вроде:



*Ты – наслажденье души,
Тепло пьянящий шербет... –*

подражая арабским поэтам, напрасно ища в подобной слащавости выражения своих живых чувств. Да и песенный напев к таким строкам никак не шел, словно не желая соединиться с ложными чувствами, затиснутыми в стихи. Но стоило ему сейчас представить взмах бровей поющей Тогжан... или поющей Айгерим, как легко и непринужденно пришли вместе, в единое мгновенье, и слова, и напев:

*Словно вычерчен двух бровей полукруг –
Образ юной луны красавице дан...*

Месяц, о котором он запел, был не тем ночным светилом, который служит всем и никому, – нет, этот месяц был близким другом, наперсником его ночных сердечных переживаний. И это он из лунных миражей отправляет к нему, в реальный мир, всю радость и блаженство воскресшей мечты! Абай вновь вернул свою молодость, чудесную, блаженную, сладкозвучную свою молодость! Стихи рождались в его сердце – и не было им преград, и были они неудержимы, буйны и счастливы по-молодому, эти стихи! Словно птицы, вылетевшие из клетки, они радостно взмывали к небу!

И то, что он недавно говорил другу: «Я и есть, наверное, поэт» – пресуществовалось теперь, на этой пустынной дороге, по которой он добирался вместе с другом, от Орды до Караула. Весь полудневный переход он, ни на минуту не выходя из вдохновенного состояния, импровизировал стихи, то громко декламируя их в ритме терме, то распевая их в только что рожденной мелодии. Он словно выпал из обыденности, в нем будто проснулся тысячелетний дух поэзии степных конников. И лишь оказавшись у берегов Караула, он вернулся из измененного сознания в сознание обычное, как из сна возвращаются



в действительность. Это возвращение было радостным – он вернулся из сна в жизнь, обретая Айгерим и ощутив в себе великую мощь подлинного акына...

Он вернулся к родным местам через полгода отсутствия и почувствовал, что изрядно соскучился по ним. Истосковался он и по своим близким. Полноводная река Караул встретила его приветливым видом.

Прошлых лет длинная вереница прошла перед ним. На этой реке, выше по течению, в горном распадке у горы Верблюжий Горб он в затерянном Богом ауле впервые остался наедине с Тогжан. Тогда воды Караула буйствовали в половодье, лед на реке в одночасье раскололся и с грохотом полетел вниз по течению, а он ночью, в чужой юрте, в упоительном и сладостном уединении, впервые принял в свои объятия юную Тогжан. Тогжан, которая пробудила в нем первую мужскую страсть, Тогжан, ставшая для него неосуществимой мечтой, тоской и неизбывной печалью, сейчас вернулась к нему, развеяв, словно миражи, все долгие годы безвременья. Вернулась и объявила ему: «Ты ошибся, этого не было! Не терял ты меня, и не прошло в злой утрате много безвозвратного времени! Вот я снова перед тобой – видишь, все такая же юная, незапятнанная, с кристально чистой девичьей совестью! И по-прежнему люблю и могу, наконец-то, бесконечно осчастливить и тебя!»

Абай открыл самому любимому другу свое решение, которое принял еще прошлой ночью. И сказал ему с кроткой улыбкой:

– Не осуждай меня, Ербол! Постарайся понять меня.

Эти слова были знакомы Ерболу. Друг всегда говорил ему так, принимая самые важные в своей жизни решения. Ербол улыбнулся и лукаво прищурился: на этот раз не трудно было понять Абая! Но тот не обратил никакого внимания на веселые ужимки друга и продолжал говорить очень серьезно:

– Река жизни подвела меня к берегу, на который никогда раньше не ступала моя нога. Передо мной нечто неизведан-



ное, никогда раньше не испытанное. Но я всеми помыслами своими, всей душой устремлен к этому! Я женюсь на Айгерим, она должна стать спутницей моей жизни.

Ербол видел, с какими чувствами уезжал из аула Бекея его друг, какой страстью он был захвачен. Но жениться? Такого Ербол не ожидал от Абая. И пока взбирались на Бошанский перевал Чингиза, а потом оттуда спускались к аулу Улжан, разговор у друзей шел только об этом решении Абая. Но, подъезжая к урочищу Шалкар, где находился сейчас аул Улжан, друзья успели договориться, как им действовать дальше...

Горное джайлау с бескрайними сочными пастбищами, с обильными водопоями кристально чистых рек недаром называлось Шалкаром – просторным. Оно вполне достойно было называться так. Джайлау занимало место, по ширине и длине равное дневному пробегу жеребца-трехлетки. Летящий с просторов степной Арки постоянный прохладный весенний ветерок гулял по горно-луговым просторам, подгоняя по ним зеленые травяные волны. В этом году здесь, на Шалкаре, расположились в горных долинах аулы родов Бокенши и Борсак, которым и принадлежали эти земли, но кроме них – и аулы примирившегося с ними рода Жигитек, а также аулы родов Иргизбай, Жуантаяк и Карабатыр, кочевавших в соседстве с аулом Улжан. Соседействовали с ними и аулы рода Кокше. В мирное время, когда не было между родами ни вражды, ни распрей, ни набегов, горные джайлау как будто становились просторнее, всем аулам хватало места для становищ, весь их скот спокойно размещался и кормился на мирных пастбищах. И жизнь людей в аулах устанавливалась радостная, праздничная, сородичи приглашали друг друга в гости, а в честь приезда новых поселенцев те, что прибыли раньше, подвозили угощение-сыбага, помогали поднять шанырак над новым очагом.

Вот и сейчас, подъехав к аулу Улжан, джигиты увидели, что его уже посетили гости с сыбага, и сейчас они разъезжаются. Сидели на лошадях почтенные байбише в белоснежных



огромных жаулыках на голове – жены братьев Кунанбая, с ними были многочисленные невестки. Несколько арб с верблюдами в упряжи увозили женщин в сторону аулов Суюндика, на восточную сторону, остальные отъезжали в западную сторону, где разбили стойбища жигитеки, возле озера Сарыколь.

Улжан стояла у входа Большой юрты, минутою раньше проводив гостей. Навстречу Абаю и Ерболу уже бежала толпа женщин и детей, спешили молодые джигиты, издали узнавшие прибывших двух конников.

Белые юрты стояли на еще не затоптанных зеленых лужайках, на свежайшей траве весенней нови. Вид джайлау был радостным, праздничным, нарядным, и люди, желая выглядеть такими же праздничными, оделись в свои самые лучшие наряды. Начиная с самой Улжан, женщины убрались в ослепительно белые жаулыки, надели яркие платья и камзолы с золотым и серебряным шитьем. Молодки-келин, девушки, юные джигиты и детвора – все были в чистых, ярких одеждах. Первые дни на весеннем джайлау – это и есть настоящий праздник для кочевого народа.

Абаю и Ерболу повезло, что они приехали к разъезду гостей, Улжан еще была на улице, народ, присутствовавший на проводах, сразу же с возгласами радости кинулся навстречу прибывшим.

В отдалении стояли, не смея приблизиться к нарядным хозяевам и их домашним, жители серых и черных юрт. Ходившие за коровами доярки, овечьи пастухи и пастушки из наемных, батраки – водоносы и заготовщики топлива. Их отогнали от белых юрт Айгыз и тетушка Калика, когда приезжали гости, привозившие сыбага..

Аул встретил долгожданного Абая с большой радостью. Улжан первая обняла Абая. Припала лицом к его лицу и долго не могла оторваться. Потом подозвала младшего внука, трехлетнего Магаша, худенького, с тонкими чертами лица, с чудесного рисунка бровями и красивыми глазами. Мальчуган подбежал



к отцу, Абай наклонился к нему, чтобы он мог обнять его за шею. Прижавшись лицом к щеке отца, малыш крепко прижался к нему, и Абай поднял его на руки. Мальчик не стал дичиться и с видимым удовольствием принимал отцовские ласки. Абай поцеловал его и разнеженным голосом назвал его по имени. И вдруг мальчонка, поглаживая ладошкой его лицо, засмеялся, показав свои мелкие, ровные, как жемчужины, зубы и сказал:

– Ага, ты меня забыл! Я не Магаш, а Абиш!

Кто мог научить его? Эта явно внушенная ребенку насмешка над отцом сильно задела Абая. Он сразу понял, откуда идет недоброжелательство. Улжан не позволила бы себе такую шутку. Заметив, как это покорибило Абая, она с нарочитой угрозой потрепала внучонка по спине и выговорила ему:

– Ой, глупенький мой! Что ты такое несешь? Разве можно такое говорить отцу, который приехал к тебе издалека? Он соскучился по тебе, жаным, а ты что ему сказал? Разве так встречают?

Абай никак не мог успокоиться. Приветливо поздоровавшись со всеми, он направился вместе с матерью к юрте, по дороге сказал ей с горечью:

– Надо же, как подшутил твой маленький внук, апа... Но кто бы ни научил его этому, он просто глуп.

В толпе, встречавшей у дверей юрты, находилась и Дильда. Она подошла к мужу и вместе с ним вошла в дом. Начались расспросы про Кунанбая. Что слышно о нем? Какие вести с дороги? Абай немного мог рассказать. Перед тем как самому отправиться домой, он получил сообщение, что Кунанбай благополучно добрался до Каркаралинска и там встретился с халфе Ондирбаем.

Разумеется, это Дильда научила сынишку Магаша недоброй шутке, но, увидев то, как больно она задела мужа, жена ничуть не раскаялась. Наоборот – злорадно усмехнулась, торжествуя про себя: «Поделом ему! Мало еще досталось...» Сколько раз за прошедшую долгую зиму она проклинала мужа! Оставил ее



одну с детьми в ауле, а сам шесть месяцев не подавал о себе вестей. «Спутался, наверное, с кем-то... Неплохо проводит время... Интересно, кого он там нашел, бросив очаг свой, жену и детей? – порой кричала она, распаяясь все больше и больше, стараясь, чтобы непременно услышала ее Улжан. – Нет, Абай! Не будет тебе удачи! Ты получишь все то, что заслуживаешь! Особенно за то, что забыл про нас...»

Старшему сыну Акылбаю уже исполнилось двенадцать лет. Он рос у Нурганым, младшей жены Кунанбая, в доме деда. Остальные – шестилетняя Гульбадан, четырехлетний Абдрахман и трехлетний Магавья оставались с родной матерью. Обе ее свекрови, и Улжан, и Айгыз, относились к ней хорошо, да и весь аул уважал Дильду, и дети ее были всеобщими любимцами, с ними забавлялись как старшие родичи, так и молодые. Сноха из богатого аула, да еще родившая для очага мужа многих сыновей, всегда становилась избалованной келин, позволявшей себе многое. Такою стала и внучка Алшинбая. С годами обида на не любившего ее мужа довела женщину до ожесточения, она стала сварливой, не в меру холодной и черствой. По возвращении Абая между ним и женой установились отношения полного отчуждения и взаимного неприятия.

В первый вечер, когда дом, наконец, покинули последние из многочисленных гостей, Абай и Дильда, оставшись наедине, ни о чем даже не поговорили. Но настолько же, насколько безразличен и холоден был Абай к Дильде, настолько он горячо радовался встрече с детьми. Пожалуй, впервые он так ласково обращался с детьми, не выпускал из объятий дочь Гульбадан, «желтого скорпиончика», Абиша и Магаша, своих младших сыновей, нежно целовал их и гладил по головкам. И хотя он не переменял тех решений, которые принял в дороге, ему и в голову не могло прийти, что он должен как-то перемениться в своих отцовских чувствах к детям.

В тот же вечер он озадачил мать и жену тем, что объявил свое особенное решение относительно будущего своих детей.



К этому решению он пришел один, ни с кем не советуясь. Оно заключалось в том, что в скором будущем он хочет отвезти Гульбадан и Абиша в город – обучать детей в русской школе.

Улжан сразу же спокойно заявила, что Абиш еще мал, слаб здоровьем, и что она желала бы, чтобы внучок побыл еще немного возле нее и окреп. На это Абай возражать не стал, но все же добавил к тому, что уже высказал:

– Апа, я сделаю из твоих внучат настоящих людей! Хороших, образованных, воспитанных людей. Твоя правда, что они еще малы для учебы в городе, но все равно в будущем они должны будут там учиться и получать воспитание, достойное нашего времени. Это мое твердое решение! – Так говорил Абай, сидя перед старой матерью и перед своими детьми.

А у тех уже глазенки горели, прыгнув с двух сторон на колени к отцу, затормошили его и затараторили:

– Поедем учиться! Вези нас скорее в город, ата!

О другом своем решении, принятом в Орде, Абай пока не хотел говорить никому из своих домашних. Да и легко ли осуществить его желание? С чего начать, к чему устремиться? Как завершить это дело? Слышал он, что за Айгерим уже сватались, но кто и когда – ему было неизвестно. И как посмотрит на все это сама девушка? Что решат ее аул, сородичи и близкие? Все это надлежит выяснить, и действовать не спеша, даже осторожно. Суетливость здесь не нужна.

Говоря с Ерболом, пришли к выводу: здесь нужен надежный посредник, добрый и верный сват и кум. И общий, единоплеменный их выбор пал на Жиренше. Старший друг-товарищ ранней юности Абая, Жиренше к данному времени стал уважаемым человеком, крепким владельцем своих стад, острым умом на советах, одним из опорных джигитов рода Котибак, надежным товарищем аткаминера Байсала. В бытность Абая волостным правителем Коньркокше, он назначил Жиренше бием волости и постоянно брал с собой на все выездные сходы и разборы.



Прошлой зимой, когда Абай, под предлогом проводов отца, добровольно оставил тяготившую его должность, Жиренше остался бием рода Мамай.

Итак, Абай послал Ербола к Жиренше и пригласил его к себе на разговор.

Погостив несколько дней у Абая, в ауле Улжан, Жиренше был полностью осведомлен и вовлечен в брачный замысел своего молодого друга. Хорошенько поразмыслив, мысленно бросив кумалаки за и против, Жиренше-бий заявил Абаю, что это дело доброе, не нарушающее степных законов, и что он будет содействовать ему по мере своих сил.

Убедившись в искренности слов, сказанных Жиренше, Абай открылся ему:

– Раз так, то и раздумывать нечего: хочу все это дело полностью поручить тебе. Хочу, чтобы ты все узнал о девушке, что она, кто она. Хочу, чтобы ты поговорил с нею и узнал, как она сама отнесется к этому. После чего разузнай, как отнесутся к этому ее родители, родичи, аксакалы аула. И, главное, о чем я тебя особенно прошу, не нажимай на них, мне не надо, чтобы они согласились бы потому, что посчитали: уа, если не отдадим девушку роду всесильного Кунанбая, то несдобровать нам, накличем беду на себя! Аллах свидетель, если я придусь не по нраву их дому, самой девушке или близким родичам, то и разговора нет, Жиренше! Как перед аруахами говорю: если девушку возьму не по законам божеским и человеческим, а несправедно, пользуясь силой, то не радость найду, а беду и срам на свою голову! Лишний раз напоминаю тебе об этом и прошу об одном: в любом случае будь откровенен, говори мне все, о чем узнаешь!

Чтобы все было надежно, Абай направил в Мамай вместе с Жиренше и своего самого близкого человека, Ербола.

Друзья не заставили его долго ждать. Появились назад через три дня.

Жиренше имел беседу наедине с Айгерим. Девушка очень приглянулась ему по нраву. Он был поражен ее умом, достойным



поведением. Только теперь Абай узнал все насчет ее сватовства. Оказалось, что она была засватана женихом из того же рода Мамай, но этот жених внезапно умер молодым, и, по обычаю, она стала невестой его старшего брата. А этот, человек уже пожилой, имел жену, большую семью, и держал про запас молоденькую невесту-вдову, за которую уже был выплачен изрядный калым. Он заявлял, что обязательно женится, когда невеста подрастет, и не хотел давать ей вольную.

Итак, дочь Бекея была связана по рукам и ногам без всякой веревки. Когда ее родственники, имея к ней жалость, обратились к пожилому жениху-аменгеру с просьбой освободить ее от слова, тот взвился до небес и заявил: «Никакой свободы! Она вдова моего брата, сам Аллах предопределил ее мне! Женюсь на ней, и точка!» Однако, несмотря на гордое заявление, аменгер уже показал свою несостоятельность при весьма щекотливых обстоятельствах. Он не смог выплатить калым и справить *урын*, свадьбу-поездку жениха к родителям невесты – с богатыми дарами для всей родни. Поэтому его права на невесту-вдову оказались весьма сомнительными. Да и первая жена его не давала согласия на этот брак.

Поговорив со всеми, с Бекеем, Шекеем и самой Айгерим, Жиренше с полной ясностью установил, что девушка вовсе не горит желанием выйти замуж за своего пожилого шурина. Однако у самого Абая оставалось очень много неясных вопросов в отношении своей семьи. Как отнесутся его сородичи, домочадцы и все близкие – Абай не знал, он еще никому не открылся. И, главное, есть жена Дильда – из дома знатного Алшинбая. Что скажет она? Еще неизвестно. И очень опытный в таких делах, премудрый Жиренше смекнул, что, пока суд да дело, надо все это держать в тайне. О том же он просил Бекея и Шекея и всю их родню.

Здесь Жиренше, скорее, заботился не о своем друге, а о девушке. Если случится что-то непредвиденное, дело не сла-



дится, то это может осложнить судьбу Айгерим. А если слухи раньше времени дойдут до всесильного тестя Алшинбая, то могут возникнуть и межродовые раздоры.

Также премудрый Жиренше подумал и о своем положении. Нежелательно было бы вызвать досужие разговоры о том, что бий пытается выдать вдову из рода Мамай, в котором он был назначен судьей, за сына Кунанбая. В случае неудачи достоинству бия Жиренше будет нанесен серьезный удар. Так что, с одной стороны, он весьма одобрял женитьбу Абая на Айгерим, с другой стороны, Жиренше все сделал для того, чтобы до поры до времени брачное предприятие оставалось бы в глубоком секрете.

Доклад Абаю был коротким, трое джигитов укрепили свое дружеское согласие по всем сторонам этого доброго дела. Абай восхитился мудрой предосторожностью Жиренше во время проведения онога и тут же с превеликим облегчением признался:

– Айналайын, Жиренше, раз ты так удачно и правильно начал наше дело, то могу сказать, что только ты один сможешь свалить самый тяжелый камень с моей души! Поговори с матерью! Моя мать, как ты понимаешь, не тот человек, на чье мнение можно не обращать внимания. Отец сейчас в дальней стороне. Решить дело может только мать. И я прошу тебя, друг Жиренше, поговорить с нею и добиться ее согласия!

Но это оказалось непросто. Улжан сразу же выразила свое неодобрение намерениям Абая. Выслушав длинную речь Жиренше, с выражением крайнего неудовольствия на лице, она огорченно молвила в ответ:

– Голубчик мой, ты же понимаешь, что если Абай решился на такое серьезное дело, то нельзя из этого делать тайну. Надо говорить открыто! Посему и незачем посылать ко мне постороннего человека, а потрудись-ка ты привести его самого сюда, втроем и поговорим!



Когда вошел Абай, Улжан не нашла нужным особенно долго готовиться к разговору, приступила к нему сразу. Пристально глядя на сына своими большими, красивыми, умными глазами, она заговорила спокойно, властно, и слова ее были жестки:

– Абайжан, сынок, я знаю о твоих намерениях. И кто же этот человек, захвативший все твои чувства? Мне Жиренше все рассказал. Оказывается, ты хочешь услышать мой совет. Наверное, тебе хотелось бы знать, прилично ли то, что ты задумал? Скажу, что нет. Я буду краткой. Нет! Ты с малых лет был свидетелем всему тому, о чем я сейчас буду говорить. Так вот, я была одной из многих жен, а ты был одним из многих детей, рожденных разными бабами. Хорошо ли было мне? Легко ли было тебе? Я тысячу раз думала о том, что не дай Бог и тебе пойти по такой дороге, по которой прошли мы, старшие. Пойдешь по ней – и горько пожалеешь! Вначале покажется тебе все интересным, вполне приличным, словно так и надо, – но в конце все станет ядовитой отравой. Сынок мой, родненький! Тебя ожидает печаль. Вот и все, что я хотела сказать тебе. И помни, что все радости и все страдания, что испытаешь ты, – это будут твои радости, твои страдания. Ты будешь один за них в ответе. Ни я, ни Жиренше не при чем – мы останемся в стороне. Я говорю тебе о том, что сама пережила в своей судьбе. А тебе самому решать! Сам думай, сам делай выводы.

Абай не сказал ни слова. Со смутной душой он ушел из материнского дома. Это был первый случай в его жизни, когда он не нашел понимания у своей любимой матери. Конечно, он мог бы ей многое, очень многое сказать. Но сейчас был тот случай, когда нужно было не понимать его мысли и поступки, а постигнуть его чувства. Не разумом понять, но сердцем. И этого не могло произойти при столь холодном, принужденном разговоре.

Раскрыть перед нею, что таится в его сердце, было бы немилосердно по отношению к матери. Ибо спутанный клубок его несчастливой жизни с Дильдой сотворился по непреклонной и,



в сущности, недоброй воле его родителей. Не пожалев хрупкой молодости, не пытаясь даже узнать о его любви к Тогжан, они оторвали Абая от нее и попросту грубо свели с Дильдой. Но теперь должно ли ему в том упрекать свою любящую мать? Которая свято верит в то, что «всю себя без остатка отдала заботам о детях», которая никогда не мучилась совестью, что «в чем-то провинилась перед детьми». Нет, она не знает никакой вины перед ними – до конца исполнила свой материнский долг. И Абаю ничего не оставалось, как молча отойти от нее.

Но дело не остановилось на этом. Жиренше вновь отправился в Мамай. На этот раз он отсутствовал две недели. Вернулся, проведя благополучно все переговоры, успешно решив все возложенные на него дела. Самое главное – ему удалось отбить в сторону притязания жениха-аменгера, пообещав ему солидное отступное. И другие противоречия и возникшие задачи были решены великомудрым Жиренше вполне успешно. Абай должен был передать Бекею и тому жениху-мамаю значительное поголовье крупного и мелкого скота.

В огромном хозяйстве владетельного Кунанбая, по его отъезду, распорядителем стад Большого очага Улжан являлся Оспан. Он никогда ничего не жалел для любимого брата Абая. Тотчас с легким сердцем пересчитал и передал скот, все до единой головы, родственникам Айгерим – в уплату калыма за нее, а также и за отступное жениху-мамаю. И вскоре, во главе с Жиренше, родные и близкие – Жакип, Оспан, Габитхан и другие отправились в аул Бекея, где были с почетом приняты как сваты. Абай поехал с ними – с тем, чтобы, согласно тому же вековечному обычаю, соединившему его с первой женой, исполнить свой новый долг жениха и привезти в дом вторую жену – Айгерим.

ДЖАЙЛАУ

1

Привольно раскинулся Большой аул на зеленой долине, белые просторные юрты поставлены в значительном отдалении от серых и черных юрт середины становья – на противоположной стороне от овечьих загонов и скотных дворов с их запахами, мухами, бляением и ревом скота.

На рабочей окраине, состоящей из убогих черных юрт, из неприглядных балаганов, накрытых рваной, латаной-перелатаной старой кошмой, из жалких шалашей, на которые пошло самое разное случайное хламье, и из убогих землянок, – на этой стороне аула, рядом со скотом, обитали те, что работали с ним, – так называемые «соседи», жатаки. Из этих бедных жилищ и выходили на работу одинокие старики – скотники и чабаны, пастухи верблюдов, табунщики, доярки и дояры, наемные конюхи и подростки-пастушата, дети жатаков.

В этот полуденный час весь не занятый работой люд, живущий на этой стороне аула, джигиты на обеде, пожилые женщины, хлопочущие у очагов, подростки, дряхлые старухи, трепавшие шерсть и сучившие пряжу веретеном, – все как один прислушивались к тому, что доносилось к ним от белых юрт. Там пел высокий красивый мужской голос, звучала чудесная возвышенная песня, парившая в небе голубом над полуденным аулом. Она брала за душу каждого, кто слышал ее, и звала за собой, словно обещая великое утешение и неременное счастье. И каждому хотелось немедленно все оставить и оказаться там, возле этой песни.

Какая-то древняя старушка, согнутая пополам под тяжестью внука, которого несла на спине, одиноко спешила мимо



юрт серых в сторону белых. Малолетний внучок, ничего еще не смысливший в музыке, задремал на бабкиной спине и начал сползать в сторону, тогда старушка остановилась и стала его поправлять на себе. Затем стянула с ушей виток головного платка-кимешек и, высоко подняв голову, стала вслушиваться, пытаясь пробиться к песне сквозь свою глухоту. Прищуренные узкие глаза ее слезились, они казались виноватыми, словно она была смущена перед солнцем за свою старость и дряхлость, за свои глубокие бесчисленные морщины, беспощадно избороздившие все ее лицо.

Ей в эти дни приходилось слышать голос этого певца, хотя бы издали, как и многим из жатаков.

– Уа, сэре! Благослови Аллах тебя и всех твоих потомков! Коли ты радуешь нас, то пусть Создатель и тебя радует во все дни твоей жизни! – бормочет старая, шевеля беззубым ртом со впалыми губами.

Далее на ее пути, у ворот скотного двора, ей встретилась вездесущая приспешница байбише Улжан и домоправительница Айгыз – тетушка Калика.

– Е-е! Смотрите-ка! И эта старуха – один ветер в голове – несется туда же! – с недоброй усмешкой разразилась Калика. – Тебе чего понадобилось в том доме? Для тебя что ли поют? Да провалиться мне на месте, если она думает, что ее одну только и ждут там! Вон, как спешит!

Старуха Ийс прошла мимо, словно и не слышала язвительных слов Калики. По пути кликнула еще двух женщин и вместе с ними направилась к белой юрте, бормоча себе под нос:

– Эта несносная Калика! Не может без того, чтобы кого-нибудь не задеть. Чтоб тебе и впрямь провалиться на месте!

Знаменитый сэре, гостивший в этом ауле, последние несколько дней пробыл в других аулах, вернулся только вчера. А назавтра собирался отбыть в родные края. Весть об этом облетела весь аул, и каждый, кто мог, старался непременно послушать его сегодня, в последний раз. Однако не всем же-



лающим выпадала такая возможность – жители серых юрт, не говоря уже про обитателей черных юрт и грязных землянок, не могли и надеяться попасть на представление приезжего певца – в белую юрту для гостей.

А в черной хозяйственной юрте две женщины возились около громадного закопченного котла, висящего над огнем. Одна из них варила овечий сыр, курт, помешивая черпаком в котле, другая взбалтывала мутовкой квашеное молоко в деревянной бадейке. Обе они громко судачили о том, что кто-то будет сегодня слушать певца, но только не они, и что это настолько обидно, что просто слов нет. Первая женщина, у котла, была молодуха Баян, жена наемного пастуха Кашкена, – сухая как жердь, иссиня-смуглая, с грубым лицом. Вторая, с мутовкой в руках, бледная женщина с серым лицом и большим горбатым носом, – Есбике, ровесница Баян. Обе они, несмотря на свой молодой возраст, выглядят старыми, лица их уже покрыты морщинами, одежда на них изношенная, давно не стирания. Выражая свои обиды, больше выступает Баян, сердитым трубным голосом ругает своих хозяек.

– Да разве все это для нас – все эти гулянья, игры, айтысы, вся эта веселая жизнь? Вот недавно байбише Айгыз передала через эту собачку Калику, чтобы мы никуда не совались, когда будет петь сэре, а занялись в это самое время работой, варили курт и взбалтывали иркит, – ядовитым голосом высказывает Баян. – А мы что, не люди?

Смугло-бледная, серенькая, вся иссеченная мелкими морщинами, Есбике жалобно кривит лицо и сетует:

– Ойбай-ау, разве Калика позволит нам послушать песни? Или байбише Айгыз? А кто будет доить коров и овец, взбалтывать иркит, варить сыр? Чуть освободишься от этих дел – мешок рванный на твои плечи и немедля иди собирать кизяк!

– Удивляться надо, что мы еще живы! Домой возвращаешься среди ночи, а у тебя сил нет даже прибраться в доме, где ты не была целый день! Только перешагну порог – так и валюсь с ног, словно подкошенная. Какая это жизнь?



Есбике, слушая Баян, охотно вторит ей:

– Никакой жизни! Опять же и надоедают они, стоя над душой: «Почему не свила аркан? А где ремни для новой узды?» Апырай, а вчера ругалась хозяйка на чем свет стоит: «Ты, нищая рабыня! Тебе ли маяться от безделья?» словно обухом по голове огрела. А днями, было, совсем убила меня! Говорит: «Ты что, забыла, как тебя, жалкую сиротку, бесприданницу, привезли к нам на плешивом верблюде? Не твой ли муж Башибек бегаёт у меня в прислугах?» А что тут можно сказать, если меня и на самом деле превратили в рабыню, а Башибека тоже почти сделали рабом? – Сказав это, Есбике палкой помешала кизяк в очаге, потом присела на корточки перед огнем и молча, бесшумно заплакала. – Мучаешься от такой непосильной жизни, и никакой радости. Даже певца послушать не дают. И что же? Все равно приходится молчать. Вот и дочка Сакышжан так просила меня, так умоляла: «Мамочка, апатай! Разреши мне пойти послушать песни!» Сжалилась над ней, говорю: «Солнышко мое, иди, если так тебе хочется!» Обрадовалась она, собралась идти. А тут я смотрю на нее, о алла, девочка уже подросла, большая стала, а одета в такое рваньё, что стыдно будет ей даже переступить порог чужого дома! Пришлось отказать. – Так рассказывала Есбике, не стараясь даже совладать со своими слезами.

Баян, побалтывая мутовкой, наклонилась ниже к Есбике и тихо, чтобы никто не подслушал и не донес Айгыз или Калике, сказала:

– И мне не легче! Встанешь на заре с птицами, так и до самой ночи больше и не присядешь, пока байбише не улягутся и не закроют тундук на их юртах. Видно, это про нас сказано: «Все ложатся спать, а свекровь ведь не спит!». Жизнь для нас, как злая свекровь. На Айгыз я работаю, как ошалелая, и зимой и летом, а заслужила от нее только прозвище «чумазая рабыня»! Песни мне захотелось? Да какая там песня! Скоро сдохну, как скотина, песни не для меня!

А в соседней крошечной черной юрте, на куче лохмотьев от старой кошмы сидела дочь Есбике – Сакыш и, молча глотая сле-



зы, пыталась наложить еще одну заплату на подол старенького платья. Убедившись, что ничего не выйдет из этого, она отложила его в сторону и, опустив свою кудрявую голову, замерла неподвижно, вслушиваясь в доносившуюся издали песню. Ах, ей ничего большего не нужно: только бы пойти вместе со старухой Ийс, посидеть у порога белой юрты и, заглядывая под откинутый дверной полог, краешком глаза увидеть певца среди красивых ковров и послушать его песни. Но прибежала уже Калика и передала слова байбише Айгыз: «Чтобы дочь Есбике не появлялась в своем рванье возле белых юрт, не позорила бы себя перед гостями. Чтобы сидела дома и не высывалась, а слушать песни ей ни к чему! Обойдется без песен!»

А песня летит над аулом! И не только Баян, Есбике и ее дочь слушают ее издалека, не смея подойти к ней ближе. Песню хотели бы послушать, с благоговением внимая певцу и глядя ему в лицо, и конюх Буркитбай со своим помощником, подростком Баймагамбетом. С самого раннего утра они заняты были то постановкой кобыл на привязь, то их дойкой, и каждый раз, садясь под брюхо очередной кобылы, старый Буркитбай сердито ругался, что не дают ему послушать знаменитого певца. Но ругался он вполголоса, озираясь, как бы не услышали его другие люди и не донесли хозяевам. Его слышал только подручный Баймагамбет, с быстрыми синими глазами подросток, с волосами, торчавшими ежиком. Он слушал старика с серьезным, недетским вниманием, глубоко сочувствуя печали старого Буркитбая.

– Поет! День и ночь поет! Все лето гостит в ауле, а хоть бы раз увидел я этого сэре в лицо! Но как тут увидишь? Пятьдесят кобылиц на мне, и каждую раз по десять на дню доить надо! Привязан я возле них, как эти жеребята! И дни мои проходят под брюхом кобыл вместе с их жеребятами! Уже мочи нет, как надоели все со своими приказами! Только и твердят: «Смотри, чтобы очаг Улжан не оставался без кумыса! Чтобы в доме Айгыз всегда была наполнена саба! Гляди, чтобы в гостевой юрте всегда были две полные сабы с сосками внизу! И чтобы у Калики дом не оставался без кумыса!» Ты видишь, карагым Баймагам-



бет, каково мне приходится? С утра и до самого вечера не отвязывается ни одна из кобыл этого аула. Я должен их доить. А вечером, когда отвяжу их, то уже сил нет дойти до дома.

А песня все звучит! Только на краткое мгновенье, пока Буркитбай переходит от одной кобылицы к другой, он может прислушаться к ней. И вслед за ним, ведя очередного жеребенка, подпускаемого к матке, подросток Баймагамбет также мимолетно улавливает далекую песню. А далее он снова слышит лишь однообразное горестное ворчание дояра кобыл, который уже опустился на одно колено и согнулся под брюхом животного.

– Двадцать лет, целых двадцать лет Буркитбай доит кобыл. И за все это время я и слова им поперек не сказал. А они угостят чашкой готового кумыса, так тут же и начинают попрекать: «Ты что? Тебе свежего молока, которое ты выпиваешь вволю, недостаточно? Норовишь еще и кумысу выпить из того молока, что сам и надоил? Да чтобы глотку твою судорогой свело! Да чтобы тебе поминальный кумыс по себе самому выпить!» Ну что ты скажешь? Тогда как я, с отеками своими ногами, и коленей согнуть уже не могу! Пальцы мои от вечной этой дойки так распухли, что стали похожи на ноги разбитой ящуром овцы! Как начнут руки мои ныть по ночам, так спасу мне нет от адской боли!

Баймагамбет давно знал обо всех страданиях Буркитбая и, по природной своей доброте да по молодому сочувствию к несчастью других, старался чем можно утешить старика.

– Ну и бросай эту проклятую дойку! – говорил он. – Ты мог бы, Баке, и другую работу выполнять!

Буркитбай и при необходимости рассмеяться уже не мог этого сделать. Он разучился смеяться. Лишь скривился его рот, изобразив мрачноватую, жутковатую, язвительную улыбку.

– Оу, бауырым, мой бедный мальчик! Разве я не хотел бы избавиться от этой напасти, если бы только мог! Но куда бы я подевался? Мои сыновья, Бейсембай и Агай, еще малы. Да и сам я, ты погляди – на что годен? Считаю – безрукий, безногий...

А песня летит, парит над аулом. То стихая, улетающая куда-то ввысь, вдаль, то возвращаясь назад, кружась над белыми



юртами, над родником. Песня достигает и до жителей серых и черных юрт, обитателей войлочных балаганов, сырых землянок, и жалит их в самое сердце, и навевает несбыточные надежды, наводит в душу неодолимую тоску безвозвратности утрат: «Ах, если бы...»

Слушает песню и худенький подросток Байсугур, с большим, горбатым носом, сидя на хромоногом стригунке, смиренно стоящем на берегу реки. Мальчик смотрит в сторону аула, только что подогнав к нему стадо ягнят. Байсугур выехал с утра, не поев ничего, но сейчас, склонившись над гривой стригунка, пастушок слушает песню жырау, забыв о голоде. Подъехать ближе к аулу Байсугур не решается – стоят у жели, привязи, связанные голова к голове овцематки, которых еще не подоили, и ягнят подпускать к ним нельзя. Издали он видит, как его мать, овечья доярка, переходит от скотины к скотине, пригибается, обиходит овцу, потом переходит к следующей. Именно сейчас ни в коем случае не надо давать ягням приблизиться к маткам, а иначе... Мальчик за это лето уже два раза упускал ягнят, и он навсегда запомнил жестокие побои бая Майбасара. Но сейчас ягнята улеглись, мирно дремлют у водопоя, и Байсугур на своей хромоногой лошадке подъезжает ближе к аулу, чтобы лучше слышать песню. Она словно привораживает его. Остановив конягу недалеко от скотных загонов, худенький пастушок, ссутулившись в седле, слушает пение жырау. Так он простоял на месте довольно долго, уйдя вслед за песней в ее зачарованный мир. И не видел того, что происходит сзади, за его спиной. Вдруг услышал он страшный, невероятно свирепый крик. Оглянулся – на него летел, меча грома и молнии, неистово подстегивая плетью громадного жеребца, сам бай Майбасар.

– Чтоб тебе сдохнуть, отца твоего... тещу твою так и разэтак! – ревел он на скаку. – Песни захотелось, музыки! Я тебе покажу песни, змееныш! Сейчас тебе будет музыка – глаза твои лопнут!



От неожиданности пастушок перепугался насмерть, чуть не свалился с седла. Оглянулся – и увидел ужас. Недавно преспокойно лежавшие на ровном берегу ягнята, теперь, словно одержимые, с дурным многоголосым блеянием неслись в сторону аула – словно живая река проносились они мимо оцепеневшего пастушонка. Навстречу им со стороны привязей для дойки раздались призывные крики маток.

Майбасар налетел, как демон, для начала пару раз хлестнул жалкого мальчонку по худеньким плечам своей тяжелой плетью. Затем плеть опускалась на его тощую спину со свистом сабли. Байсугур свалился у ног своего жеребенка.

– Агатай, пожалейте! Не убивайте меня, агатай! – вскрикнул пастушок, плача, валяясь на земле под брюхом своей клячи. Конек не тронулся с места, словно решив прикрыть собою мальчика.

Выматерив предков Байсугура до седьмого колена, Майбасар продолжал хлестать его плетью, доставая полуживого от боли и страха мальчонку на земле, у ног своего засекавшегося на месте жеребца.

После отъезда Кунанбая в святые места вся власть по домашности в Большом ауле перешла к своенравной и властной Айгыз, власть же над движимым и недвижимым имуществом вне очага перешла в руки Майбасара. С целью устрашения и наведения всеобщего порядка в отсутствие Кунанбая, Майбасар объездил все его кочевые станы, нагоняя страху на чабанов и табунщиков, верблюжьих погонщиков, даже на пастухов ягнят и коз, которыми обычно были дети. Под такую свирепую поверку Майбасара уже дважды за лето попадался пастушонок Байсугур, сейчас попался в третий раз.

Ягнята уже рассыпались по всему аулу, а Майбасар продолжал крутиться на коне возле барахтавшегося на земле и пронзительно кричавшего пастушонка и сверху нахлестывал его камчой. Согнувшаяся у овцы мать Байсугура услышала его вопли, вскочила с места и с отчаянным криком, с ведром в руке,



как была, бросилась через ковыльный пустырь спасать сына. Его отец, больной чабан Байторы, тоже слышал из юрты, ворочаясь на постели, как Майбасар опять избивает мальчика. Но Байторы не находил в себе силы встать.

– Чтобы всякая удача прошла мимо тебя! Кровопийца Майбасар! Ты опять измываешься над малым ребенком! – в бессильном гневе бормочет он.

Байторы уже давно чутким слухом уловил блеяние бегущих к аулу ягнят. Сразу встревожился: «Может, прилег в степи и уснул, ведь всегда не досыпает! А может, с коня упал или что другое случилось, мальчонка растерял ягнят!» Овцематки стояли за серыми юртами, привязанные на жели для доения, недалеко от юрты Байторы.

Прикованный к постели, словно пришитый к лохмотьям войлока на полу, Байторы ворочался со стонами и проклинал свою болезнь.

– Ей, сын Оскенбая! Ты должен знать, что я свою болезнь заработал, когда ходил за твоими табунами, спал на снегу, подложив кусок льда под голову! Когда осенними ночами, в заморозки, я стоял у ворот твоего загона, охраняя твоих овец, и под утро весь покрывался инеем! А теперь твой брат, непутевый вражина Майбасар, решил все муки и издевательства, положенные мне, передать моему сыну? Знать, издевательства твои переходят уже на моих потомков! Нет, не Бог меня карает, а ты меня караешь, хочешь стать для меня богом карающим! Так ты – лукавый бог! Перестань измываться надо мной! Будь ты проклят, и тебе гореть в аду, Майбасар! – Так в одиночестве, больной и несчастный, метался и томился Байторы, слыша, как истязают его сына, и бессильный помочь ему. Закрыв глаза, скорчившись на убогой постели, он ударял себя сжатым кулаком по голове и заливался бессильными слезами отчаяния.

А песня летит, парит над аулом.

Тем временем старуха Ийс, пренебрегая запретами Айгыз и ее подручницы Калики, уже вошла на широкий двор у гостевых



юрт. Между четырьмя шестиканатными белыми юртами были натянуты арканы-керме для коновязи. У стен юрт лежало множество седел, снятых конских сбруй. Судя по ярким попонам и по женским седлам с высокими луками, украшенными серебряной накладкой, можно было предположить, что приехало много молодых гостей. А отсутствие коней на привязи у керме позволяло заключить, что гости прибыли давно – коней увели на пастбище.

И людей на дворе, возле гостевых юрт, было немного. Лишь у земляных печей, на краю двора, деловито возились женщины, готовя мясо в казанах и разжигая большие медные самовары. Маячили две-три фигуры подносчиков кизяка, в рваных одеждах.

На этот час три из четырех гостевых юрт были пусты, все гости собрались в срединной большой юрте... Песнь звонкоголосого сэре, поющего безуданно, звучала из этого дома.

Старая Ийс подошла к стряпухам у земляной печи и обратилась к раздумявшейся молодке, совавшей ветки таволги в топку самовара:

– Скажи-ка мне, милая, а пела уже новая невестка, самая молодая из невесток?

– Е, пела, пела! И вчера пела. Разве может она отказаться? Все равно заставили бы!

Старуха Ийс зацокала языком, покачала головой и сказала:

– А ведь говорили, что ее пение не нравится обеим байбише этого дома. И они строго-настрого наказали: «Пусть не смеет петь, пусть не выставляет себя на посмешище, еще не показав в ауле, какая из нее невестка!»

– Может, матери и запрещают, но гости просят спеть. Проходу ей не дают, всё просят!

– Вот бы услышать ее, айналайын.

– А как хорошо поет! И сама она нравом словно шелк, мягкая, так и стелется, на доброе слово отзывчивая! Ко всем обращается только на вы, – отозвалась пожилая стряпуха.



Тут подошла прислужница самой молодой невестки, розовощекая девушка по имени Злиха, послушала других и сама вступила в разговор:

– У нее нрав приятный, она уважительная ко всем, перед всеми учтивая. Но все равно в том доме постоянно ее шпыняют: «Не возносилась бы особенно! Посмотрела бы, под каким высоким шаныраком сидит!» – тихим голосом, с оглядкой говорила служанка Злиха.

Женщины закачали головами, зацокали языками, загалдели, проявляя сочувствие к тому, что сообщила им Злиха.

– Апырай! Не успев войти в дом!

– О, Алла! Это от ревности!

– От зависти!

– Ясно, что это соперницы!

– Так могли сказать только Айгыз, Калика и те, что вокруг них...

– Бедная невестка! Бедная красавица! Нелегко ей будет здесь!

– Но здесь никто из гостей об этом не знает. Все только просят ее спеть, днем и ночью! Некому состязаться с ней! Вот и просят: спой да спой! Не скромничай! Спой еще! – говорила Злиха, посмеиваясь, явно гордясь своей хозяйкой.

Но тут зазвучала новая песня, исполняемая степным сэре, и старуха Ийс с уснувшим на спине внуком вместе с двумя другими женщинами отошла от кухни, направляясь к большой юрте.

Молодой невесткой, о которой они говорили с таким жаром, была Айгерим. И юрта, в которой сейчас собрались гости, была Молодой юртой, ее новым семейным очагом.

Абай привез Айгерим уже три месяца назад. Сейчас молодая женщина, в шелковом платке для келин на голове, сидела в самой середине толпы гостей, рядом с Абаем.

На этот раз гости аула были необычными. Много молоденьких девушек в шапочках и замужних женщин в платках, несколько групп щеголеватых джигитов. Но среди них были особенно за-



метные люди, к которым было обращено большое внимание: они полулежали на почетном месте, на разостланных коврах, покойно уложив локти на большие подушки. Это были именитые гости, прославленные сэре и салы – известные певцы степной Арки. Все они приехали издалека. Среди них был один, на которого, как на самого дорогого гостя, было направлено поистине благоговейное внимание. Представительный, цветущий джигит стройного телосложения, среднего роста, с красивым, сияющим белым лбом – знаменитый Биржан-сал, чей несравненный голос и прекрасные песни оценили во всем Среднем жузе.

Всех этих людей призвал Абай. Они своими песнями, своим отношением к песенному искусству оказались чужды суровым и жестким устоям богатого аула, которые устанавливали Майбасар и Айгыз. Эти с откровенной враждебностью отнеслись к новому окружению Абая и Айгерим, настраивали против них своих людей. А тех, кто, вопреки их воле, тянулся к ним и хотел бы послушать песни сэре, не подпускали к юрте Абая. Однако он старался не придавать этому значения и собрал вокруг себя многих талантливых молодых людей Тобыкты.

Прославленный певец, сэре Биржан, редкий и почетнейший гость, приехал к тобыктинцам из далекого Кокшетау. В руках он держал простую домбру, перебирая пальцами струны. На нем был просторный легкий чапан из черного бархата. Поверх белой сорочки с вольно распахнутым воротом был надет легкий золотистый камзол китайского шелка. Голову покрывала вышитая золотыми узорами тубетейка, сверкавшая и переливавшаяся вспышками бликов при малейшем движении певца. Когда он запел новую песню, слушатели замерли, в глазах их вспыхнул радостный свет ожидания. Сэре пел о себе.

*Я – Биржан-сал, Кожагула сын,
Не жди от меня, народ мой, зла:
Я, вольный певец, сэре и акын,
Ни перед кем не склоню чела...*



Эта песня так и называлась – «Биржан-сал». Среди тех, кто слушал необыкновенно красивый, бархатный голос Биржан-сала, слушал, затаив дыхание, забыв обо всем на свете, был сам Абай.

Он смотрел на певца чуть раскосыми, черными, яркими глазами с таким выражением, словно не видел сейчас ни самого сэре, ни кого бы то ни было рядом. Хоть эти глаза были широко открыты и смотрели, не моргая, в упор на Биржана, видели они сейчас не его лицо, не пальцы, перебиравшие струны домбры. Абай видел все сразу – и лицо, и руки, и душу певца, и душу самой песни, и ее вечный полет над всем миром.

Подхваченная крылами мелодии, душа Абая улетала в мир, где царила лишь одна эта песня, где бушевало безбрежное половодье высоких поэтических чувств и возникали картины неземной прекрасной жизни. Певец также преображался, вновь возникая из своих же собственных песен, и представал перед внутренним взором Абая неким могучим степным великаном. Этот великан стоял на самой высокой вершине Кокше и зорко обозревал весь родной край и всех людей, населяющих с незапамятных времен беспредельные пространства степной Арки, в блеске гладких зеркал полноводных озер. Степной великан не просто следит, равнодушно и беспристрастно, за теми пределами человеческого обитания, на которых творят зло сильные мира сего, раздуваются от собственной спеси родовитые баи и стонут задавленные непомерным гнетом неимущие кочевники, гоняющие по степи чужой скот. Нет – из могучей груди певца рвется в мир песня, полная гнева и сострадания, словно призывный клич ко всем угнетенным этого степного мира. Он словно громогласно заявляет: «Иду на вас с песней! Попробуйте не покориться ей, попытайтесь устоять перед нею!» Звучит песня за песней, и каждая несет в себе свет жизни и надежды, и очищает народ Арки от греха и зла, от всякой нечестивости и скверны.

Песня, взлетев высоко в горы, начинала раскачивать высокие горные ели на склонах Кокше, и тогда каждая хвойная лапка на



деревьях покачивалась, словно золотая кисточка на макушке тубетейки Биржана. Все сливалось во взаимном чувстве глубокого единения и восторженного приятия: и темная ночь Арки, и песня, звучащая в ней, и черный бархатный чапан на певце, и озаренные радостью лица слушателей. И прояснение на этих лицах было словно отражение просветления на лице певца, который становился все более радостным, вдохновенным. И удивительная, красивая улыбка расцвела и осталась на лице акына. И песнь неслась, парила над аулом. Вдруг шумные, дружные звуки одобрения раздались вокруг, – и Абай очнулся от своих грез. Песня закончилась, люди благодарили певца. Абай смотрел на него повлажневшими, благодарными, добрыми глазами.

Айгерим давно заметила душевное состояние Абая, сидя рядом с мужем, и, чтобы вернуть его к реальности, она словно нечаянно облокотилась на его колено и тихо рассмеялась. Абай вздрогнул и смутными глазами посмотрел на Айгерим, но быстро пришел в себя и тоже засмеялся. Однако лицо его все еще оставалось бледным, застывшим. Да и прозвучавший смех его был несколько судорожный, неестественный. Но благодарным взглядом отозвавшись жене, которая была столь чутка к нему, Абай повернулся к певцу Биржану.

– Биржан-ага, не о тебе речь, да не заденут твою честь мои слова, но есть такие акыны, которые свой дар используют для того, чтобы попрошайничать перед баями, выклянчивая всякие милости, и не гнушаются, продавая свой голос и душу, использовать для этого поэтическое слово. Есть певцы с прекрасным голосом, но, пресмыкаясь перед мырзами и перед баями, они свели цену песни до понюшки табаку. И вот я рад встретиться с тобой, ибо ты песню, униженно пресмыкавшуюся у порога, вознес на почетный тор. Что может быть дороже для казахов, чем бесценные слова акынов о высокой и прекрасной душе народа? Именно ты своими песнями дал казаху узнать самого себя и заставил его воскликнуть. «Да ведь это же я! И я, оказывается,



вот какой!» Лишь одного этого достаточно, чтобы народ отдал глубокую дань уважения тебе, Биржан-сал!

– Добро! Было бы прекрасно, Абай, если бы я всегда пел свои песни, а ты бы их толковал! – пошутил Биржан, и его изысканную, дружескую шутку сумели оценить и Айгерим, и другие, поднявшие веселый одобрительный шум.

Еще с утра в трех бурдюках выставленный кумыс так и не был выпит, застоялся, так что деловитые Ербол, Мырзагул и Оспан теперь в шесть рук принялись разбалтывать его. Принесли чашки, и они, наполненные пенистым золотистым напитком, пошли по кругу. С окончанием последней песни «Биржан-сал» сидящие в доме несколько оживились, в разных частях большой юрты раздались голоса, прозвучал смех.

Абай нашел необходимым завершить свою мысль, не смутившись дружеской иронии Биржана, и сказал:

– Джигит не может добиться истинного уважения и почета, будучи даже знатным баем, но без прилежания к искусству. Однако и одного таланта мало, ведь недаром говорят, Биржан-ага: «Если ты одарен, то сумей и оценить свой дар». Безродность и бедность – не порок, роняющий достоинство джигита, у которого есть дар акына и кто может выразить своим искусством печали и горести народа, утереть его слезы и дать ему надежду! Будь таким, – и все будут неизменно уважать тебя! – Так сказал Абай и внимательно посмотрел на сидящих рядом Айгерим и своего племянника Амира.

Но тут прозвучало ответное слово Базаралы. Достигший зрелых лет, он на этом веселом собрании молодежи был самым старшим по возрасту. Сидел он на торе в кругу самых почетных гостей-сэре. Его слова были не без добродушного лукавства:

– Весьма умные слова, мой Абай! Я согласен с тобой, – пусть уважение джигиту оказывают по его талантам, – сказал он, с шутливым смирением склоняя голову, – правда твоя! И я о том же всегда говорил и говорю: «Тобыктинцы! Не смотрите на меня, что я бедный, все равно я самый богатый!» И кто же поверит мне?



Никто, кроме тебя. Выходит, что ты один веришь в это, Абайжан! И надо же, чтобы в это поверить, тебе пришлось пригласить из далекого Кокше великого сына Арки – самого Биржана!

Прищурившись, он весело, остро посмотрел на Абая и первым от души расхохотался. Его шутка вызвала бурю смеха в юрте. Смеялся и Биржан-сал. Абай сквозь смех ответил Базаралы:

– Ты прав, Базеке, как всегда, ты прав! Если забыть о твоей бедности, то во всем остальном кто окажется первым во всем Тобыкты? Конечно, ты, и больше никто! – Это была шутка, но вслед за этим прозвучало уже вполне серьезно: – Однако, Базеке, посмотри: здесь самый цвет молодежи большого рода Айдос. Давайте, друзья, посмотрим на себя и скажем со всей правдой: есть среди нас великие таланты? Что мы успели сделать такого, чтобы народ захотел это сохранить как свое достояние? Мы сейчас говорим об искусстве. Много ли мы потрудились для искусства? – Так сказал Абай и, серьезно глядя на Базаралы, смолк; потом обвел глазами всех сидящих вокруг.

– Базеке, – продолжал он, – давай будем говорить серьезно. Ведь народ как будто чего-то ждет от нас. На нас возлагают серьезные надежды: от «потомства новой весны» люди ждут немало. Но давайте скажем откровенно...

Тут Базаралы порывисто подхватил:

– Конечно, надо говорить откровенно! Выноси свой приговор без промедления!

Он улыбнулся и стал ждать продолжения речи Абая. Абай допил кумыс и серьезным голосом завершил свою речь:

– Базеке, мы только друг другу на словах, а больше всего, каждый в мыслях своих, обещали создать что-то новое, а ничего не создали! Так что же мы – пригодный под седло конь или же ни на какую работу не пригодная жирная яловая кобылица? Вот вам и вопрос мой, и ответ, и приговор.

Базаралы прищелкнул языком, зацокал и покачал головой.

– Е, не впутывай меня! Я в твою игру не играю! Я-то никому ничего не обещал, никакого искусства у меня нет! Я не акын, я



пою, когда захочу, когда душа петь велит, и я не могу дать тебе того, чего не имею!

С довольным видом, усмехаясь, Базаралы откинулся на подушках. Молодежь рассмеялась. Базаралы на самом-то деле был неплохой певец и отличный рассказчик.

Но у Биржана этот разговор вызвал сильное волнение; он с задумчивым видом взял домбру и заиграл вступление к песне. Восхваляя певца из Кокше и выражая недовольство собой и своим поколением тобыктинцев, Абай говорил искренне, без ложного чувства родового самолюбия. И как бы в ответ ему Биржан запел свою известную, но редко им самим исполняемую песню «Жанбота».

Молодежь хорошо знала историю возникновения этой песни. Она сыпала соль и на раны Биржана, и на скрытые раны Базаралы. В ней говорилось о побоях, нанесенных акыну одним из богатых властителей.

*Жанботу-волостного родил Карпык.
Жанбота к чинам и власти привык:
Друг его Азнабай среди бела дня
Посылал отнять домбру у меня.
Я – акын. Я не отдал домбры моей,
Хоть пытался ее вырвать злодей.
При народе избил он меня камчой...
Но не умер акын от обиды той, –
А не смерть ли такой позорный удел?
Не зарыл ли в землю Биржана он?
Жанбота! Где ты видел такой закон,
Чтоб свободного бить кто-то посмел?..¹*

Биржан спел о том, что сделали с ним власть имущие, какому унижению и позору подвергли акына. Этим самым он ответил Абаю на его слова о значении поэта в жизни народа. «Меня пре-

¹ Перевод стихов А. Никольской и Л. Соболева.



возносите, называете великим сыном Арки, а вот посмотрите, как унизили мое достоинство. Над поэтом всегда занесена камча властителей. Теперь сами можете судить, какова на самом деле участь вашего Биржана, которого вы так любите слушать!» – таково было горькое признание знаменитого сэре.

Абаю было больно за певца. После его слов он не сразу нашелся, что сказать.

– И этот Жанбота, и его приспешник Азнабай – сегодня они кичатся властью и богатством, они вершители чужих судеб. А завтра от них не останется и следа. В памяти же родов Атыгай, Караул, Керей и Уак, на просторах всей Арки сохранится твое имя. Их же имя останется только потому, что одной своей песней ты втоптал их в прах, позорным и постыдным клеймом помечены они будут навеки в памяти наших потомков. А твое имя будет сиять величием, и чем больнее был тот подлый удар камчой по твоему лицу, тем более просветленным и величавым предстанет оно в глазах будущих поколений! Так что – к чему печали и огорчения, Биржан-ага?

Для молодежи не совсем были понятны слова утешения Абая, но более старшим они пришлись по душе. Жиренше подхватил слова друга, добавив:

– Вы, сидящие здесь молодые джигиты, вы, девушки, разве не вы порукой, что имя Биржана останется в веках? Многие из вас хотят стать певцами, вы уже два месяца неотступно следуете за ним и запоминаете его песни, разве вы забудете то, что переняли от него? И разве не передадите вашим детям? Разве не разнесете по всем пределам степи? Песни эти не исчезнут! Вот поэтому не исчезнет имя того, кто сочинил их, имя Биржана.

Жиренше указал на Амира и сказал:

– Спросите хотя бы у Амира: какой певец для него дороже Биржана?

Все обернулись на Амира, который сидел в сторонке и тихонько наигрывал на домбре мелодию «Жиырма-бес», знаменитую песню акына Зилкара, перенятую в эти дни у Биржана. Взглянув



на восторженное, вспыхнувшее лицо Амира, маститый сэре улыбнулся и попросил его:

– А ну-ка, джигит, сыграй и спой это, и как следует!

Амир не заставил долго упрашивать себя. Заметно волнуясь, чуть побледнев, он запел высоким, чистым, красивым голосом. Амир сразу же был захвачен красотой и силой песни, которую исполнял, и пел ее самозабвенно, с огромным наслаждением. Голос певца был поставлен от природы, некоторые уроки мастера-сэре пошли ему на пользу, и молодой джигит исполнил «Жиырма-бес», песню новых времен, вдохновенно и безупречно. Ее особенно любила молодежь.

Подари мне, друг, колечко – пусть хоть медное оно!

Пусть мороз трещит и злится –

в сердце радость все равно!

Босиком, ступая тихо, подойди и приголубь,

А поймают – значит, счастье мне с тобой не суждено!

При этих словах песни Базаралы вдруг вскинул голову и порывисто, восторженно вскричал:

– Уа! Вот это девушка! О, Создатель, что за девушка! – И затем, в ритме прозвучавшей песни, нараспев продолжил: – Милая, айналайын, черноглазая моя! Мне бы с такою встретиться, иншалла! Мне бы, горемычному, свидеться с нею, бисмилла! – чем и рассмешил всех сидящих рядом.

Сидевший рядом Биржан-сал, принимая шутку Базаралы, посмотрел на него добродушно, затем сказал с самым серьезным видом:

– Ту-у, Базеке, как тебя понимать? Что это за слова: мне бы с такою встретиться, с черноокой? Да ведь эта черноокая сидит рядом с тобой! А ты взываешь к Аллаху! Посмотри на Балбалу – чем она хуже девушки твоей мечты из песни?

Базараллы быстро обернулся в сторону девушки.



– Оу, дорогой мой, айналайын, ты прав! – воскликнул он, метнув на нее быстрый взгляд прищуренных глаз. Так смотрит охотничий ястреб на проходящего мимо котенка.

Балбала сидела вполоборота к Базаралы. Услышав его восклицание, красавица глянула на него из-под опущенных ресниц, медленно, как бы нехотя, переводя на него свои черные, влажные, огромные глаза. И хотя Балбала старалась сохранить свое величие и достоинство, но слова Биржан-сала все же смутили ее, и лицо ее вспыхнуло пылким розовым румянцем. Стараясь строже сдвинуть брови, она все же не смогла сдержать улыбки, и сквозь раздвинувшиеся сочные губы ее мгновенно сверкнули белые зубы.

Базаралы уловил этот ее скользкий взгляд, в котором, кроме наигранной строгости, было неприкрытое любопытство, и стал изображать крайнюю степень раскаяния:

– Таубе! Каюсь я! – воскликнул он с комическим ужасом. – Аллах уродил меня слепым, как котенок! Тьфу! Тьфу! Черт попутал, грешен я! – И он вытянул шею и стал осматривать всех девушек в юрте, переводя взгляд с одной на другую. – Астапыралла! Да здесь, оказывается, одни красавицы собрались!

Биржан постарался смягчить свою шутку, заметив, что она смутила Балбалу, и подхватил слова Базаралы, переводя хвалу на всех присутствующих девушек и молодых женщин:

– К тому же и петь могут славно, и сказать умное слово. Когда запоют, мед льется из уст! Учтивы и воспитанны, нравом мягки, как шелк! Вот они сидят передо мной – мои ученицы и ученики, прекрасная молодежь, мои младшие братья.

Биржан намеренно не приносил принятых в отношении молодых женщин слов «девушки», «сестрички», ибо они могли привнести неуместное здесь настроение игривости, ухаживания. Он предпочитал выглядеть в глазах этих молодых талантливых женщин как старший брат. И хотя он не называл их по именам, но, обводя глазами, давал знать, кого predetermined в «ученицы». Такой – не обозначенной вслух – чести удостоились Балбала, Ке-



римбала, Умитей, Айгерим, и по лицам их словно пробежал луч рассветного солнца. Словно в доме широко распахнули дверь, откинули тундук с вершины юрты, и заколыхались по спальным углам вокруг очага шелковые пологи и занавески, и ворвавшиеся снопы солнечных лучей осветили цветные ковры-тускиизы с яркими узорами, на миг превратив войлочное кочевническое жилище в сказочный дворец. Присутствие красоты и искусства преобразило и это жилище, и людей, собравшихся в нем. Дом зазвучал молодым весельем, расцвел улыбками, наполнился ароматом душевной радости и счастья, изысканными шутками, утонченными знаками внимания друг к другу, благопристойным веселым смехом.

Гостями Абая и Айгерим были самые одаренные, незаурядные молодые люди Тобыкты, действительно, цвет и гордость тобыктинцев. Сюда, в аул Кунанбая на реке Барлыбай, два дня назад были приглашены молодые джигиты и девушки родов Иргизбай, Торгай, Котибак и Жигитек, а также из далекого рода Бокенши. Сидевший рядом с Абаем юный джигит Амир был сыном Кудайберды. Перед его смертью Абай обещал брату, что станет отцом для его детей, достойно воспитает их. И Абай ревностно исполнял обещание, заботился о сиротах не меньше, чем о своих собственных детях. Старший Амир оказался склонен к поэзии и музыке, обещал стать настоящим акыном. Абай постоянно держал его возле себя, ни в чем не отказывал ему и никому не давал его в обиду.

Амир пригласил с собой нескольких друзей-сверстников и юную родственницу, красавицу Умитей, дочь Есхожи. Сидевшая возле Базаралы Балбала была невеста племени Анет, она была засватана туда, и с нею приехали сопровождающие девушки. Из Бокенши приехал Акимкожа, сын Сугира, он привез свою сестру Керимбалу. От жигитеков прибыл младший брат Базаралы, известный по аулам щеголь и красавец Оралбай, неплохой исполнитель кюев на домбре и певец.

Вся эта видная молодежь была предана музыкальному искусству Арки, прекрасно пела – поставленными от природы кра-



сивыми голосами, и многие из них честолюбиво мечтали стать настоящими акынами. С сэре Биржаном, который уже давно гостил в Тобыкты, они встречались не первый день.

И все же среди этой блестящей ватаги талантов самым многообещающим был Амир. Он был избалован Абаем, к тому же имел склонность к дерзким шалостям и на язык был остер, но дядя никогда не делал ему замечаний и другим не давал ограничивать свободу талантливому племяннику-сироты. Два месяца назад, узнав, что в Тобыкты заедет знаменитый Биржан-сал, послал к нему навстречу Амира с таким поручением:

– Поезжай, посмотри сам. Если он и на самом деле такой славный певец, как о нем говорят, то пригласи его к себе в аул. Устрой ему хорошую встречу, угощенье, собери молодежь. Пусть он почувствует себя вольно, погуляет, повеселится с вами. А молодые пусть поучатся у него.

Амир нашел Биржан-сала в одном из отдаленных аулов Тобыкты, провел вместе с ним два дня, потом пригласил к себе, а сам немедленно отправился в свой аул, чтобы поставить юрту для встречи знаменитого гостя. По пути домой он заезжал к Абаю-ага и поделился с ним своими восторгами о Биржан-сэре. Абай устроил встречу с ним сначала в ауле Амира, а потом принял у себя, в Большом ауле Кунанбая.

Биржан-сал покорила не только Амира, но и самого Абая. Он сразу близко сошелся с певцом, почувствовал в нем родственную душу, они стали как старые добрые друзья. Абай несколько раз собирал у себя талантливую молодежь разных племен Тобыкты, он хотел преподать им на выступлениях Биржана высокую школу музыки степной Арки. Абай приглашал лучших домбристов и певцов из молодежи, знакомил их с Биржаном, давал им послушать его, а потом разъяснял достоинства его музыки. Молодежь выучила много песен знаменитого сэре, все наперебой стали приглашать его в свои аулы. Биржан с Абаем погостили и у Амира, и в ауле Умитей, побывали в ауле красавицы-певицы Керимбалы, дочери Сугира. Везде их встречали празднично, с



большим почетом и уважением. Возвращаясь назад, они надолго задержались у жигитеков, были гостями Базаралы и Оралбая.

И вот, когда наступила пора Биржану отправляться в обратный путь, Абай решил поставить у себя четыре белых юрты для прощального тоя. Биржан определил день своего отъезда, и накануне молодежь вновь собралась, чтобы провести с ним последний вечер и на прощанье послушать его песни, самим спеть то, чему научились они у Биржан-сала. Условились, что каждый желающий споет по одной его песне, как это и сделал недавно Амир, исполнив «Жиырма-бес».

После того как шутка Базаралы прошла с успехом и всеобщий смех отзвучал, под игру на домбре Оралбая спела Керимбала.

Абай запомнил Керимбалу совсем юной девушкой – с той далекой лунной ночи на берегу реки Караул, когда она стала свидетельницей тайны пламенных чувств Абая и Тогжан. Теперь это была хорошо развившаяся, красивая, своенравная дочь своего аула. Она была уже просватана в племя Каракесек, но ее жених неожиданно заболел и умер. Теперь Керимбала называлась «невестой-вдовой» и должна была стать женой его старшего брата. Однако отец ее, бай Сугир, и ее братья не спешили с нею расставаться, все задерживали ее отъезд к каракесекам. Ведь Керимбала являлась для них светлым солнышком, воплощением веселья жизни. Цветущая, жизнерадостная красавица стала одной из самых засидевшихся в невестах девушек в Олжай. Но никогда про нее не ходило никаких сомнительных слухов, не было сплетен, поэтому Сугир и не боялся удерживать дочь так долго у себя, не отправлял ее в края дальние, в Каракесек.

Итак, после Амира стала петь Керимбала, взялся ей подыграть на домбре красавец Оралбай.

С раскосыми влекущими карими глазами, с румяным лицом, с большой косой, Керимбала обладала необычной, своеобразной красотой и была очень привлекательна своим ровным веселым нравом, живым умом и скрытой – под нежной женственностью – большой силой духа.



Керимбала спела песню, выученную у Биржана и до сих пор не звучавшую в Тобыкты: это была «Голубушка», песня, неизвестно кем сложенная, но охотно исполняемая многими знаменитыми певцами. В ней были слова, особенно излюбленные в народе: «*В сердце любимой есть ли место мне?*» Слова песни прозвучали, устанавливая в сообществе юных музыкантов особый настрой, исполненный взаимного обожания и благородного ухаживания. Биржан-сал и Абай слушали молодую певицу с большим вниманием и благосклонностью.

Вдохновленный ее пением, запел сразу же Оралбай, и песня его называлась «Камень драгоценный».

*Твоя легкая поступь тешит мой взгляд,
В ушках – серьги, в косах шолпы звенят.*

Сильный, открытый голос юного степного певца своим страстным звучанием придал словам песни такое могучее чувство, что у слушателей встрепенулись сердца. Оралбай не просто пел – он словно рассказывал пением своим о том, что видит сейчас перед собою. Он словно не песню пел, известную всем, а делился своими чувствами. Оралбай пел так, словно красавица из песни стояла перед ним, и он слышит перезвон ее шолпы в косе. Песня закончилась, а зачарованные пением Оралбая слушатели не успели насытиться ею. И сама Керимбала, позволив себе опередить Биржана, взмахнула ручкой, обнизанной золотыми браслетами, в сторону певца и воскликнула:

– Ах, еще бы! Еще раз послушать!

И тогда прозвучала такая же просьба сэре Биржана: «Еще раз, повторить!»

Не возвращаясь к начальным словам песни, молодой акын дальше импровизировал:

*Я увидел тебя на другом берегу.
Сделай лодкой свою золотую серьгу*



*И меня переправь! А не сможешь – прости:
Мне тебя и в раю никогда не найти!*

Джигит призывает, выказывает свое страстное желание. Верит, что дружеское сердце поймет его. Страстное его желание не останется безответным, словно молодой сильный зверь, потягиваясь под жарким солнцем, дремлет, грезит о той, которая где-то вблизи и тоже безудержно устремлена к нему. Без этого взаимного огня разве жизнь молодца в радость? И он призывает, чтобы их сердца запылали в едином пламени страсти.

Все собрание, особенно старшие – Базаралы, Жиренше и Абай, почувствовало некую неловкость от этого откровенного признания. А лицо Керимбалы залилось краской смущения. И, весело смеясь, покраснела Айгерим. Сверкнув жемчужными зубами, улыбнулась Балбала, поведя глазами в сторону Базаралы.

На юного сэре Амира посмотрела особенным взглядом сидящая рядом с ним его сверстница Умитей. Она должна петь следующей. Выбранная ею песня – «Баян-аул». Амир сопровождает ее исполнение игрой на домбре. Прозвучав вначале на низких ладах, домбра восходит все выше и сливается на единой высоте с красивым, высоким голосом певицы.

*Темен над Баян-аулом низкий полог туч,
Не настиг лисицу сокол среди горных круч.
Но до смерти не забудет твой любимый, знай,
Как шепнула ты за юртой: «Милый мой, прощай!..»*

В пении Умитей прорываются нежные, сильные чувства – ее страстные надежды, затаенная грусть несвершенности. Девушка так же, как и другие исполнители, наполняет известные в народе песни своим душевным содержанием, по-новому окрашивает мелодику. И ее песня восходит в ночи над аулом как тонкий золотой ободок только что рожденного месяца.



Эта красивая девушка в куньей шапочке с перьями, одетая в нарядный, изысканный камзол, в золотых сережках, завершая пение, вдруг заметно побледнела, утратив румянец своих щек. На правой щечке заметней стали черные как смоль, красившие ее лицо родинки.

В самом конце песни голос ее замер так мягко, уходя в тишину, наступившую в юрте, что люди не заметили, как она завершила пение, и сидели, продолжая вслушиваться. Тогда Уमितей подняла глаза на слушателей, от тора до самых дверей заполнивших всю юрту, – взгляд ее как бы говорил: «Я закончила петь!» Коротко и мелодично рассмеявшись, она повернулась к Айгерим, сидевшей рядом с ней, и с улыбкой молвила:

– А теперь круг пройден, и петь будет настоящая певица!

– Келин! Келин петь будет! – заговорили, оживившись, женщины с окраины аула, сидевшие у двери.

И сразу же ударил по струнам домбры Амир, приглашая певицу Айгерим к выступлению, к чему Айгерим, хозяйка дома, была не готова. Она смущенно, с укором посмотрела на Уमितей и стала отнекиваться:

– Ну что ты, милая, оставь это... Неудобно...

– Ты не вправе отказываться, жаным, – вмешался тут Абай.
– Спой хоть начало той песни, которую вы любили петь в своем ауле...

В его спокойном, ласковом голосе слышалось искреннее желание послушать ее пение. Биржан, Базаралы, Балбала и Уमितей с дружеским интересом, с ожиданием в глазах смотрели на Айгерим.

У нее светлое, чистое, свежее лицо. Вдумчивый взгляд ее длинных черных глаз излучает особенный лучезарный свет. Нежные подглазия тронуты прозрачной голубоватой тенью, словно дымкой, которою природа отмечает некоторые светлые лица с матовой кожей. Эта дымка – быстро тающий туман юности и девичьей чистоты. Проходит некий миг жизни, и улетучивается этот туман. Но лучезарный свет в глазах остается. Часто встречаются



красивые черные глаза, но редко с такой чарующей нежностью. Абай все еще не может без глубокого волнения и какой-то тихой, тревожной радости всматриваться в глаза Айгерим. Она запела, глядя на Балбалу, сидящую на торе.

И опять Абай, слушая пение своей жены, словно выпал из подлинного мира, как было при пении Биржан-сала. Мир грез и фантазий пленил его.

Ай-бибай, моей песне внимай...

Далее Абай перестал внимать словам. Они теперь ничего не значили для него. Значило только волшебство голоса, его колдовская неземная власть. Не серебряные ли бубенцы звенят, сливаясь с ним в нежной гармонии? И белокрылый ангел небес взмывает в голубую высь под этот мелодичный звон, купаясь в лучах солнца! Он словно призывает все чуткие души следовать за собою в таинственные пределы неба, быть его верными спутниками: «Взлети душою над бременем своим телом, душу свою освободи от гнета забот, в душе этой найди уголок, где прячется главная тайна твоей жизни – раскрой эту тайну! Призываю тебя во весь голос к высокому полету! Стряхни со своих плеч бремя неудач и унылой покорности судьбе! Следуй за мной! И тогда... тогда придет к тебе дева красоты, волшебница искусства, в струящихся тонких одеждах, напоминающая твою возлюбленную супругу, с прекрасными оленьими глазами, стройной белой шеей, нежным, розовым, словно утренняя заря, юным лицом! И повелит она: взлети над пленом рутинной жизни без робости, возвести о себе во весь голос, открыто! Унеси свое одиночество в вышний мир, где оно перестанет быть мучением и болью для тебя, а преобразится в бесценный дар искусства! Раскрой, наконец, свой талант, заваленный хламом серой житейской обыденности!» Так можно было воспринять пение Айгерим. И хотя она пела для многих, ее песнь относилась только к Абаю.



Она умоляла его о нежности и бережном отношении не только к себе, но и к дару ее, который она в себе ощущала.

Песня отзвучала. Абай черными отрешенными глазами смотрел на Айгерим, он спрашивал мысленно у нее: «Почему, почему не дрогнет от волнения твой круглый, как яблоко, подбородок? Почему изящные твои губы сложились в гримасу тайной обиды? Почему белоснежные твои зубы не сверкнут в неожиданной улыбке?»

Все же, по завершении пения, Айгерим улыбнулась – одними губами, изящно изогнув их концы вверх. Налила и молча протянула чашку кумыса Абаю, словно желая вновь его пробудить от каких-то грез, в которые он ушел, сидя рядом с нею. Но, не заметив и не приняв предложенной чаши, лишь слегка развеяв туманность лица своего, Абай воскликнул протяжно:

– Апыра-а-ай! – и непонятно засмеялся.

Смущенная тем, что муж не принял поднесенного ею кумыса, Айгерим сидела, залившись краской, и потерянно улыбалась. Заметив это, Абай спохватился и тотчас протянул руку за чашей. Приняв ее, он другой рукой ласково обнял супругу за плечи, потом, в знак молчаливой благодарности, погладил ее голову поверх шелкового платка.

Все пожилые женщины, набившиеся в юрту и сидевшие у входа, чтобы послушать пение и музыку молодых, одобрительно загалдели, умилившись столь доброму проявлению супружеского внимания.

– Айналайын, невестушка наша! Желаем тебе большого потомства!

– Да пошлет тебе Кудай великих радостей!

– Да прожить тебе на свете в красоте и весельи души, келин пригожая!

Последнее благословение исходило от старухи Ийс, и оно особенно пришлось по душе Абаю. Подняв голову, он заметил старуху и сказал во всеуслышание:



– Апырмай, какое беспримерное благословение от нашей матери Ийс! Айгерим, ответь своим благодарственным словом!

Айгерим с большой учтивостью и благодарением, ласково посмотрела на старуху и произнесла:

– Живи долго во здравии, аже! – И, чуть отодвинувшись назад, подозвала ее к себе, усадила рядом, угостила кумысом.

Пение Айгерим привело в восхищение и мастера-сэре Биржана, но он воздержался от немедленных похвал, не вполне уместных при обстоятельствах проявления столь высокого уровня искусства. Но балагур Жиренше, не в силах сдержать своей природы, поерзал на месте, поводит плечами и взял да и высказался, вполне в своем духе:

– Оу, душа моя, что мне остается сказать тебе? Я не знаю, то ли слышал твой голосок, Айгерим, то ли мне в уши вливались звуки прямо из рая! – чем и рассмешил всех в доме.

Биржан, обратившись к Базаралы, негромко заметил:

– Петь на небесном уровне – это петь как Айгерим. Равных ей нет среди нас.

Истинный художник, Биржан-сал не считался с честолюбием присутствующих молодых певцов и музыкантов, был беспристрастен и к себе.

Последняя перед трапезой песня исполнялась Абаем, и она стала прощальной песней для всех, кто принимал участие на этом блестящем слете молодых музыкантов Арки.

Мясо для трапезы было готово. Посторонние люди, узнав об этом, стали деликатно покидать юрту, гости же встали и начали выходить на улицу, чтобы освежиться. Айгерим распорядилась убрать посуду, оставшуюся после чаепития.

Воспользовавшись этой минутой, протискиваясь навстречу гостям, в юрту пробралась всенепременная Калика и, подойдя к Абаю, не присев даже, передала с важным видом:

– Телькара, – назвала его именем, которое придумали тетушки и матушки, когда он был совсем маленьким. – Тебя зовет апа. Иди скорее к ней!



Абай, оглянувшись на Амира, Оспана, Айгерим, сказал:

– Если я не вернусь скоро, то не ждите! Начинайте трапезу без меня.

2

В Большой юрте его ожидали Улжан, Айгыз и Дильда.

Мать стала быстро стареть. Она все еще сохраняла статью, но волосы, выбивающиеся из-под платка, были совершенно седыми. Широкое, мягкое лицо потеряло былую белизну и стало желтоватым, рыхлым. Морщины на щеках, от крыльев носа вниз, прошли в два глубоких ряда, а на лбу стали длиннее и резко углубились. Эти морщины придавали лицу Улжан суровый вид. Она была холодной, недоступной, долго сидела молча, как бы бессловесно обвиняя: «Ты виноват... Буду тебя судить». Абай с терпеливой покорностью стал ждать обвинений матери.

Но мать заговорила, голос ее по-прежнему был добрым, в нем слышалась прежняя любовь к нему.

– Абайжан, – начала она, тяжело переводя дух, глядя ему в глаза, – недаром говорится: от дум нет покою, от веселья убегают тревоги. Ты не хочешь ни о чем тревожиться, сынок? Тебе не хочется знать никаких забот?

Абай понимал, о чем речь, но ему не хотелось ее перебивать. Пусть выскажется до конца.

– Вам виднее, апа, – сказал лишь он, продолжая отвечать ей внимательным, спокойным взглядом.

– Твой старый отец давно уже в отъезде, а вестей от него нет как нет. Наши сердца полны тревоги, а твое? Нам не понятно ваше веселье, сынок.

Айгыз была раздражена, что разговор начался так мирно. Она в нетерпении вмешалась:

– Кто у тебя спросит об этом, как не мы, твои матери? Целое лето ты ни с кем не хочешь считаться, наши заботы не для тебя... Разве такое нынче время, чтобы день и ночь веселиться? О чем ты только думаешь?



Абай продолжал молчать, давая знать, что он хочет выслушать всех. И тут взвилась Дильда. Зная, что обе свекрови на ее стороне, она сразу дала себе волю и начала без всякого стеснения, вся кипит от раздражения:

– А о чем ему думать? У него нынче нет времени на то, чтобы думать. Завел себе для любовных утех эту колдунью... певицу эту! Сидит, слушает ее песни, душу готов продать шайтану, чтобы только слушать ее, угождать ей!

В голосе ее послышались злые слезы. Улжан не останавливала ее обидных, ядовитых слов.

– Сын мой, разве в ауле только и гостей, что твои сэре и девушки? – заговорила с досадой Улжан. – Уже сколько времени гостит у нас мать Дильды? Ведь она и для тебя мать, а ты даже не обращаешь на нее внимания. Для нас она самая дорогая гостья... Ведь не ради меня одной она приехала, проделав такой дальний путь. Кто знает, что завтра будет с нами. Мы уже стары, сынок. Она хотела бы тебя благословить, может быть, в последний раз, а ты и глаз своих не кажешь. Подумал бы об этом. Вот до чего ты дошел!

Дильда тут разразилась громким плачем и вскричала:

– Эта дочь нищего оборванца! И на порог мой не достойна ступить! А посмотрите на нее, – не успела еще свадебного платка с головы снять, и уже нос задирает! День и ночь песни распевает, ни во что меня не ставит, нищенка! Так распустишь ее...

Она не успела договорить, Абай сурово оборвал жену, весь побледнев:

– Замолчи, Дильда! Не я виноват в том, что ты родилась тугой на ухо, зато нравом кичливой, как предок твой Тленши!

Он дрожал от гнева и возмущения. Только что был в другом доме, где царили майское солнце и беззаботная радость. А тут словно попал в суровую холодную осень, предвещающую зимний джгут.

– Мой гость Биржан – акын, какого нет во всем Тобыкты. Вся наша молодежь восхищается им и хочет слушать его. Была бы



ты умнее, послала бы Акилбая, Абиша и Магаша посмотреть на него, послушать его песни.

– Не бывать этому! Не хватало того, чтобы мои дети стояли у порога этой ведьмы и в щелку поглядывали на ее гостей! Несчастливые мои! Сироты при живом отце! – выкрикнув это, Дильда с громкими рыданиями бросилась вон из юрты.

Но и в отсутствие Дильды обе матери не спускали Абая. Они сурово пеняли ему, что гостей своих он должен был принимать в юрте Дильды. Айгыз высказалась резко и неприязненно:

– Мне нет дела до того, что ты любишь Айгерим. Она зазнается, и это мне не нравится. Пусть помнит, что из бедного рода Байшоры попала к нам, пусть не забывает, под чьим шаныраком села! Песни ее, которые распевает она, не стесняясь, унижают нас. Пусть прекратит свое пение!

Итак, Большая юрта налагала запрет. Абай промолчал. Он знал, от кого исходит этот чудовищный по своей нелепости и злобе запрет. Решение Большой юрты подсказано Дильдою. Тяжелая обида на жену охватила его сердце. Абай молча дослушал матерей и, не сказав им ни слова, покинул их.

Он не дошел до Молодой юрты, как его окликнул Майбасар. Он по-прежнему выглядел очень крепким и здоровым, только появилось у него много седины в бороде. Тучная фигура его приобрела еще больше горделивой осанистости, было видно, что с отъездом Кунанбая его брат чувствует себя полным хозяином огромных владений и несметного состояния большого Айдоса.

Майбасар увел племянника подальше от Большой юрты, посадил на землю, сам уселся напротив.

– Абай, меня послала к тебе твоя теща и наша гостья, ты понял? – как всегда, надуваясь спесью и самодовольством, заговорил Майбасар.

Он широко раскрыл глаза, со значением посмотрел в лицо Абая и, стараясь придать своему голосу особенную значительность, продолжил:

– Теща твоя просила, а я так просто приказываю, чтобы ты, сынок, все время был в юрте Дильды, пока ее мать гостит в на-



шем ауле. Приворотом ли каким окрутила тебя Айгерим, что ты не можешь никак от нее отлипнуть? Не ты первый и не ты последний женат на двоих, вон, у деда Оскенбая и у нашего отца было по несколько жен. И пора тебе знать, что если взял вторую жену, не обходи вниманием первую! Тебя что – не хватает на двоих, что ли?

Абай терпеливо его выслушал и, не желая обижать постаревшего дядю, решил не вступать с ним в спор, а свести все к шутке.

– Майеке, – начал он, стараясь выступить столь же напыщенно, как Майбасар, – мой дорогой агатай, жизнь идет, красота блекнет, в бороде появляется седина... – Абай на секунду примолк, затем продолжил: – А сводник остается сводником, и даже годы не берут его!

Сказав это, Абай усмехнулся.

Майбасара как прорвало. Он захохотал, тряся своим брюхом, и захлопал себя по ляжкам.

– Ах ты, стервец! Угрел меня! Я-то уже все забыл, не думал, что ты помнишь! А ты, оказывается, не только помнишь, но хочешь еще и куснуть меня! Жа! Это я, действительно, сватал за тебя Дильду. Но, бауырым, что было, то было, однако Дильда теперь твоя жена, и ты не обижай ее! А может быть, ты начитался русских книг и теперь не хочешь жить с двумя женами? Говорят ведь, что у них это запрещено!

– Что ж, скажу тебе, агатай, что неплохо бы перенять это у русских!

– Астапыралла! Ты чего это надумал? Оставить Дильду и детей?

– Ну, Майеке, ей-то я, допустим, вовсе не нужен. Она все чувства растеряла, кроме злобы своей.

– Абай, ты что? Неужели собрался бросить ее?

– Дильда мать моих детей. Будет хорошей матерью – я всегда буду рядом с нею, как добрый друг. Если этого ей мало, пусть делает что хочет.



На этом он, резко оставив шутливый тон, закончил разговор с дядей и быстро поднялся на ноги. Майбасар остался сидеть – с выпученными глазами, открытым ртом. Слова Абая показались ему дикими. Он попытался возразить племяннику, попенять ему, но Абай не хотел его слушать.

– Ага, оставьте, – сурово сказал Абай. – Это касается одного меня, а вы все, мои родичи, не лезьте ко мне со своими советами, если вас не просят!

И вдруг он заговорил совсем о другом, чего Майбасар не ожидал.

Недавно, по пути к дому Улжан, Абай встретился с подростками Баймагамбетом и Байсугуром. Мальчик-пастушок навзрыд плакал, Баймагамбет пытался его утешать. Увидев Абая, он пожаловался ему на Майбасара. Об этом и заговорил сейчас Абай.

– А теперь вы послушайте, говорить я буду прямо, не обижайтесь, Майеке, вы сильно рассердили меня. Зачем снова избили Байсугура? У мальчика отец болен, при смерти лежит, а вы что делаете?

Говоря это, Абай вдруг весь побледнел. Но Майбасара ничто не смутило. Он досадливо отмахнулся.

– Ту-у, не думай об этом! Ничего с мальчишкой не случится! А пастухи совсем распустились, надо их привести в порядок. Тут строгость нужна!

Абая эти слова окончательно вывели из себя.

– Не позорьте нас, ага! Не смейте избивать наших людей! Не первый раз вы поднимаете камчу на работников нашего аула.

И Абай напомнил, как этим летом Майбасар несколько раз учинял расправу над пастухами и скотниками Большого аула.

– А пусть не забываются, – злобно буркнул Майбасар; он был в тупой ярости и недоумении: пришел поругать племянника, а тут его самого ругают!

– Вы что, считаете наш аул сиротским, над которым вас поставили опекуном? Отец в отъезде, он велел вам с коня присма-



тривать за его табунами и стадами, но вы забыли, что мы-то уже не дети, и мы не сироты! Вы что себе позволяете бесчинствовать в нашем ауле, избиваете наших работников? Не смейте больше поднимать камчу на наших пастухов и на бедных соседей! Даже голос на них не поднимайте! Иначе мы с вами поссоримся, и крепко поссоримся, Майеке! Уж тогда не обижайтесь. Вы избili сегодня маленького Байсугура, – будто меня самого исхлестали камчой! Запомните это!

Резко, отчужденно высказав все это, Абай ушел к гостевым юртам.

А там гости уже собирались к отъезду. Лошади их были приязаны между юртами, это были холеные выстоянные скакуны, не изнуренные частыми и долгими поездками. Люди аула любовались на коней и на их разнообразную нарядную сбрую, на высокие седла с серебряной отделкой.

Абай не знал причины такого поспешного отъезда гостей, ему никто не сказал, что Майбасар воспользовался вызовом Абая к матери и подослал в юрту Айгерим кое-кого из своих людей, чтобы те посеяли среди молодых гостей тихую смуту. Так, Акимхоже передали салем: «Мырзы нет в ауле, мы все живем в тревоге, думая о нем. Уместно ли веселье там, где поселилась тревога? Пусть он намекнет об этом гостям, которых привел с собой». Также и Айгыз, со своей стороны, довела до ушей Умитей, своей дальней родственницы, неласковое послание: «Пусть едет домой, довольно веселиться. Дома отец ее, Есхожа, скучает по ней».

Итак, все это происходило в отсутствие Абая, и он не знал, почему это молодые гости так неожиданно заторопились с отъездом. Гости же, те, что получили недобрые послания, никому из других гостей не сообщили об этом, но и без всяких слов чуткая молодежь, глядя на них, тоже присоединилась к их решению немедленно отбыть из Большого аула Кунанбая.

Молодые люди выпили прощальные чаши кумыса, сердечно поблагодарили Абая и акына Биржана и пошли садиться



на коней. Абай, Биржан, Ербол и Айгерим вышли проводить молодежь.

Вперед всех уехали Акимкожа со своей сестрой Керимбалой и друзьями, к ним присоединился Оралбай. Потом отправились в путь Амир и Умитей в сопровождении веселого Мырзагула. Их аулы как раз располагались на пути возвращения Биржана, и они пригласили сэре остановиться и погостить у них. Абай весьма одобрил это решение, ему было приятно, что в Тобыкты окажут еще раз знаки внимания знаменитому мастеру степной песни. И хотя его несколько удивил этот поспешный исход молодежи, но он особого значения этому не придал, подумав, что молодые певцы желают дать сэре Биржану покой перед завтрашней дорогой.

Следующими уезжали Балбала и ее спутники. Базаралы давно оседлал своего коня, но все еще не трогался, словно колеблясь и выбирая, в какую сторону ему направиться. Когда Балбала, придерживаемая Айгерим, сядила в седло, он посмотрел на нее, стоя у своей лошади, затем с шутливой удалью воскликнул:

– Е-е! Чего там! На что жизнь Меджнуну, если он будет в разлуке с Лейлой? Вези меня, мой конь!

Он молодецки вскочил в седло и поехал рядом с Балбалой, внезапно для всех решив ее проводить до самого аула.

Никто не видел, какой злобный взгляд послал им вслед один из сыновей Кулыншака, Манас, самый младший из «бескаска», «пяти удальцов». Он по принуждению Кунанбая жил в его ауле, был нукером. Манас подбежал к юрте Айгыз, где в это время находился Майбасар, и вызвал его на улицу. Задыхаясь от злобы, он сообщил Майбасару следующее:

– Давно уже в Торгае поговаривают, что Базаралы ухлестывает за Балбалой. Люди нашего рода унижены, Майеке... А теперь и сами поглядите! Едут себе рядышком, просто расстаться не могут никак! А ведь он сманивает невесту нашего рода! У нее есть жених – Бесбесбай, наш племянник. Он и сам батыр, может



постоять за свою честь, обиды ни от кого не стерпит. Но если речь пойдет о чести всего рода, то мне не оставаться в стороне, Майеке! Отомстить этому выродку и я сумею, но я хочу, агатай, чтобы вы обо всем этом знали.

Майбасар имел свои счеты к Базаралы: недавно он узнал, что Базаралы имел связь с Нурганым, последней женой Кунанбая. При словах Манаса глаза Майбасара хищно загорелись, ноздри раздулись... Но он сказал, приглушая свой голос:

– Вот что, ты сейчас не трогай его. Дождись ночи... Устрой засаду у порога Балбалы. Сам Кудай помогает нам взять его, связанного по рукам и ногам, этого грешника, переступившего через все законы божеские и человеческие! К тому же вы – «бес-каска», и с вами ваш племянник Бесбесбай, крутой батыр, вам ли не одолеть его одного? Если вы этого не сделаете, да провалиться вам сквозь землю, да пропадите вы пропадом тогда! Ты понял? Ну, ступай! – И Майбасар подтолкнул в спину Манаса.

В этот песенный вечер молодежь, разлетевшись во все стороны от аула Кунанбая, расположенного в густонаселенной Барлыбайской долине, веселыми и шумными ватагами проезжала мимо разноплеменных аулов, во весь голос распевая новые заученные песни. Высоко, вольготно взмывали в небеса чудесные юные голоса, то разливаясь соловьиными трелями «Жиырма-бес», то выводя протяжный, полный страсти напев «Жанбота», то вознося к самым высоким озаренным облакам сокровенные признания «Жамбас-сыйпар». И все эти мелодии, воспарившие и плывущие над тихой предночной степью, одушевлялись чистыми и звонкими голосами молодых певцов, и все эти дары высокого степного песенного искусства они получили от несравненного, дорогого, щедрого мастера Биржана. Об этом благодарно возвещали поющие голоса джигитов Амира, Оралбая, звеняще и недосыгаемо высоко распевали женские голоса Балбалы, красавицы Умитей, жизнерадостной Керимбалы.

Песни все – о любви и жизни, о великой любви к жизни, о любви. Как они созвучны этому благодатному весеннему вече-



ру – песенному вечеру! Эти песни – из трепета живой души, от чувств сердца счастливого человека.

*Не боюсь, что поймают меня.
Были б счастливы мы!..*

Кто же эта девушка, готовая принести в жертву любви свою жизнь?

*Где ты? Дай мне найти тебя, желанная моя,
Черноокая!..*

Кто этот джигит, и как же он, несчастный бедняга, потерял свою возлюбленную?

А кто другой джигит, охваченный печалью воспоминания:

*Но до смерти не забудет твой любимый, знай,
Как шепнула ты за юртой: «Милый мой, прощай...»*

Степь человеческая! Слова любви. «Я обомлел, лучезарный лик твой увидев вчера!», «Черноокая моя, желанная», «Лунолика моя», «Светозарный мой», «Утешение мое», «Сладкое мое нетерпение!»

Медоточивые слова, жар пламенной молодости, молитва и благословение. Все это – в песнях степи. Живет, летит, воспаряет над весенними просторами джайлау Тобыкты, большого Айдоса.

Не выдержал разодетый в пух и прах красавец-джигит Акимкожа: растревоженный до глубины души песнями, он бросил на дороге сестру и умчался, нахлестывая своего скакуна, поскакал прямехонько в тот аул Жигитек, где ждала его возлюбленная. С ним умчались трое его верных друзей, которые знали, какую неудержимую страсть питает к девушке Акимкожа. Как он неосторожен, считая, что ничто ему не грозит, коли в прошлом



году подарил тетке своей возлюбленной великолепного молодого скакуна. И остались на дороге Керимбала и Оралбай вдвоем. Ах, тот песенный вечер виноват, что при свете взошедшей на небо луны они не только голоса объединили в песне! И молча обняв, уже не имея сил удержаться, Оралбай Керимбалу, обняв крепко, нагнувшись к ней с седла своего. Кони их осторожно остановились сами, стояли рядом.

И сама Керимбала, никогда никому не позволявшая подобного, свободно положила свои белые ручки на плечи джигита и, закрыв глаза, приникла раскрытыми алыми губами к его губам в страстном поцелуе.

Песенный вечер – это он виноват. Отпустив вперед Мырзагула и всех остальных, Амир и Умитей медленным шагом ехали сзади. Они были в близких родственных отношениях, и они не должны были испытывать друг к другу грешных нежных чувств. При свете луны они долго ехали, касаясь друг друга плечами. Их лошади шли ровно, нога в ногу. Когда их стремена сталкивались, раздавался серебряный звон.

Среди тобыктинских женщин никто не одевался столь богато и изысканно, как Умитей. К тому же она умела с удивительным шиком носить платье. Тот же борик с куньим мехом, и исфаганская шаль, и камзол с золотым шитьем – на ней выглядели как заморская одежда. Среди других молодых женщин и юных девушек из богатых домов, одетых столь же изысканно, как и она, Умитей все равно царственно выделялась.

Особенно нравились Амиру, до замирания сердца, ее лакированные кебисы-сапожки на низком каблучке, с остроконечными носками, ладно обхватывающие ее маленькие ножки. Эти лакированные крошечные кебисы как-то по-особому представляли ее неземное изящество и легкость.

Остальные их спутники давно уехали вперед, они же, увлеченные совместным пением, медленно двигались по дороге, вольно отпустив поводья своих лошадей. Они шли все тише, и наконец их кони тоже остановились сами возле зарослей тугая,



не чувствуя понукания седоков. Тут Амир, судорожно переведя дыхание, дрожащими руками крепко стиснул узкую руку Умитей, прихватив ее вместе с поводком. Он смотрел в ее прекрасное лицо, ясно освещенное розовым светом луны, и темные глаза его словно умоляли: «Родная, голубушка моя! Смею ли я сказать все, что хочу?» В лицо Умитей мгновенно бросилась жаркая кровь... Но она быстро опомнилась и, осторожно высвободив свою руку, тихим, кротким голосом молвила: «Не надо. Перестань, милый мой». И в этом «милый мой» Амир вдруг уловил сумасшедшую надежду... Ему показалось, что это было произнесено не как обычная любезность, но как слова в изначальном их значении. Однако через какое-то мгновение девушка произнесла дрогнувшим, надломленным голосом: «Жаль... как жаль...» и вдруг хлестнула лошадь плетью и умчалась в темноту.

И в этот вечер прощания с самыми вдохновенными песнями степи Айгерим снова пела для Биржана и Абая.

Сначала она решительно отказывалась петь, ссылаясь на то, что достаточно много пела сегодня, и надо послушать лучше Биржана, который собирался уехать наутро: Айгерим не только сама любила петь, но была страстной любительницей послушать хорошее пение других исполнителей.

В последние самые счастливые месяцы ее жизни рядом с Абаем она пела как никогда – от природы поставленный голос ее вошел в полную зрелость. Но в этот вечер она вначале отказывалась петь, и отнюдь не из-за одного только желания слушать Биржана. Днем, пока Абай был занят проводами молодых певцов, Айгыз и Дильда подгадали время быстро вызвать Айгерим и высказали ей в резкой и грубой брани свое недовольство поведением невестки.

«Абай, может, и не захочет прислушаться к нашим словам, а вот тебе, по твоим годам, каждое сказанное нами слово должно воспринимать как золото мудрости, понятно тебе, дочь Байшоры? Ты не забывайся, из какого взята нищего рода, и особенно тут не заносись! Почаще оглядывайся по сторонам, умерь шаг,



ходи потише! Помни всегда, под каким шаныраком ты оказалась! Не заносись, выше кого ты хочешь быть?»

От обиды у Айгерим навернулись слезы на глаза. Она ничего не сказала в ответ, лишь сидела, склонив голову, то бледнея от холода обидных слов, то пламенея от чувства незаслуженной обиды. Все ее воспитание, полученное от добрых родителей, вся ее любовь к своему мужу и вся ее страстная любовь к искусству не позволяли ей опуститься до каких-нибудь слов оправдания. Ей вменяли в особенную вину недостойное поведение – частые ее распевания во время аульных будней. Айгерим даже говорить не стала, что поет она по просьбе любимого мужа, поет от своей безмерной любви к нему, желая доставить ему радость. Никогда раньше ни единая душа на свете не упрекала ее за то, что она пела, как поют птицы, не думая, хорошо это или плохо. И в ее родном ауле, у бедных ее родителей любили красивую, чистую, ни в чем и ни перед кем не повинную песню, полную любви к жизни. А здесь, в богатом ауле, к песне относились с пренебрежением и даже с чванливым презрением.

– Мы – богатый аул, а ты из нищего аула, тебе достойно быть только рабыней у нас. В наш знатный род ты втерлась из такого аула, в каком обычно рождаются все наши скотники, батраки и рабы. Впредь знай свое место и особенно голову не задирай! Спрячь подальше свою гордость, выскочка! Мы тебе не ровня, помни! И чтобы голоса твоего, распевающего на весь аул, мы больше не слышали! Ты поняла?

Айгерим вернулась в свою юрту, совершенно убитая тем, в каком тупом и жестоком обличье предстал перед ней этот самый богатый и знатный аул. Она ощутила на себе всю косную злую силу хозяев этого аула, их презрение и ненависть к тем, кого они считали ниже себя. И ей предстояло отныне жить среди них.

А дома ни Абай, ни сэре Биржан, ни деверь Оспан, сидевший в этот вечер у них, ни Ербол – никто не заметил, в каком великом смятении души вернулась Айгерим, и просили, чтобы она пела. Она отказывалась, но они не отступались.



Особенно настаивал неугомонный, грубоватый Оспан.

– Ей, Айгерим! Негоже молодой келин, которая еще и свадебного платка не сняла с головы, отказывать в просьбе родичей! Я тебе деверь или кто? И я тебе повелеваю: пой! А не то плохо тебе придется, милая! Рассержусь!

Абай и Биржан смехом поддержали шутку Оспана, и бедняжке Айгерим пришлось подчиниться.

Айгерим запела, но вынужденное пение ее звучало совсем по-другому, Абай и Биржан слушали молча, с серьезными лицами. Но по мере того как Айгерим, справившись с собой, пела все более свободно и раскованно, их лица светлели. Они наслаждались искусством незаурядной певицы. А она, забыв обо всем, в безудержном порыве нежности, чувственно выражала в своем пении ответный жар и всю раскрывшуюся страсть молодой женщины к своему пылкому супругу.

Биржан и Абай просили от нее все новых песен, особенно из тех, что разучила она в прошедшие дни музыкальных празднеств. И она продолжала петь. И чем больше давила на сердце подспудная обида, тем сильнее, отчаяннее хотелось ей выразить в песнях свою любовь к Абаю. Она не могла не видеть, что он сам загорается ответным огнем чувств, и чем ярче разгорался он в очах любимого супруга, тем совершеннее и красивее звучали ее песни.

Высокий полётный голос Айгерим донесся до Большого дома, оттуда немедленно была отправлена в Молодую юрту вездесущая всенепременная приспешница хозяек Калика. Слышавшая все шорохи подковерной возни, посвященная во все дрязги женской половины дома, хитромудрая женге молча вошла в дом и, поджав губы, уселась в сторонке, но так, чтобы Айгерим непременно увидела ее. Калика подумала, что та, заметив ее грозный вид, догадается, кто ее послал, и немедленно прекратит пение. Однако Айгерим не перестала петь, а после окончания песни встала, под руку пересадила Калику рядом с собой, повыше, и по просьбе Оспана начала новую песню – «Жамбас сипар», это



была песня супружеской нежности. Пользуясь доверием хозяек, Калика, возмущенная столь явной строптивостью молодой келин, принялась незаметным образом щипать изо всех сил Айгерим за ее нежное бедро. Несчастливая певица вынуждена была проявить огромное терпение, чтобы выдержать эту пытку и благополучно допеть песню. Однако к ее окончанию глаза бедной Айгерим были полны слез. Но этих слез никто не заметил, а тетушка Калика тихонько торжествовала и, когда раздались возгласы одобрения и восхищения, злодейка не преминула воспользоваться моментом и зашипела в затылок Айгерим:

– Прекрати петь! Не забывайся!..

Это была и так последняя песня, исполненная Айгерим. Домбру взял в руки Биржан. Из уст степного маэстро полетела и сразу же высоко взмыла над аулом красивая, привольная, торжествующая, заставляющая замереть сердца мелодия. Песнь летела над ночной степью, над душистыми джайлау, быстро достигнув звездных высот и величаво плывя над миром.

Но в эту же ночь торжества песни произошло дикое событие.

Базаралы всю дорогу не отпускал талии красавицы Балбалы, джигит не мог оторваться от нежного тела девушки, и только спешившись у ее юрты, выпустил ее из своих могучих рук.

И сама не в силах расстаться с ним, Балбала потеряла всякую осторожность и предложила ему:

– Базеке, вы же знаете, как я уважаю вас. Не будет, я думаю, ничего плохого, если я вам предложу зайти в дом и быть моим гостем!

Отца у Балбалы не было, после его смерти хозяином аула являлся ее брат, который в данный день отсутствовал. Дома оставалась одна мать. Это была такая же русоволосая, как Балбала, и черноглазая, очень с нею схожая нестарая степенная женщина. Распорядившись ставить самовар, она увела дочь за полог кровати и зашептала ей:



– Айналайын, дочка, ты что надумала? Вон, сваты из Торгая прикочевали рядом, слышен даже лай их собак! А что, если увидят? Чего я скажу им, если спросят: «Кого это дочь твоя приводила в дом?» Родненькая, как бы нам не опозориться!

Балбала смотрела на свою мать какими-то странными глазами – спокойно, просветленно, радостно. Улыбнулась загадочно, обнажив беложемчужные зубы.

– Апа, родная, – сказала она проникновенно, – ведь ты же сама говаривала, мол, ты у нас временный гость в доме. Апа, долго ли мне еще гулять, веселиться? Уа, скоро к этим твоим торгаям уеду, похороню там свою молодость. Пусть они еще немного подождут меня, небось, не помрут от скуки. А гнать от нашего дома уважаемого Базеке – это не дело, апа! Прими его с почетом, окажи заботу и внимание!

После этих ее слов мать больше ничего не говорила дочери. Был зарезан упитанный ягненок из раннего окота, и пока варилось в казане мясо, наполняя юрту душистым ароматом свежины, развеселившаяся, безмятежно радостная Балбала пела для гостя песни чудесным своим голосом. И ее свободное, смелое поведение, открытость ее, ровная веселость нрава все больше зачаровывали джигита. Он забыл обо всем на свете и, мало видевший ласки в своей одинокой жизни, был благодарен этой удивительной красавице.

Мать Балбалы и ее женге, пришедшая из соседней юрты, просили спеть Базаралы, и красивый джигит, уступив уговорам, спел немало песен. У гостеприимного очага звучало много шуток, раздавался смех, велись приятные разговоры. Гостя приветили от всей души, ему были оказаны большие почести.

Перед отходом ко сну мать отправила Балбалу ночевать к ее женге в соседнюю юрту, гостя разместила в своей просторной юрте. Она опасалась того, что за ее домом установлен надзор: недавно зашли в юрту два незнакомых подростка, сказали, что они из аула Торгай, пасут ягнят, три ягненка отбились от стада, и теперь пастушата ищут их. Полагая, что они подосланы из



аула сватов, хозяйка накормила мальчиков и скорее выпроводила их восвояси.

Но они не ушли сразу, а все крутились по аулу, что-то выспрашивая у чабанов, и исчезли только к полуночи, когда Балбала, уложив гостя в своем доме, закрыла тундук и отправилась ночевать к своей женге.

Тем временем Базаралы никак не мог заснуть. После полуночи он покинул постель и вышел. Луна взошла к зениту, кругом было светло. Аул погрузился в тишину, не было слышно даже лая собак. Соседняя серая юрта, куда ушла Балбала, находилась поблизости, тундук ее был закрыт, видимо, все спали. Базаралы направился к ней.

В ауле по-прежнему стояла полная тишина. Базаралы взялся за край войлочного полога на двери, стал поднимать его, чтобы войти в юрту. И тут сзади его крепко ухватили за плечо. Наложил на него руку какой-то огромный человек, выйдя из тени юрты, темнея перед лунным светом. Тихим рокочущим голосом приказал:

– Иди за мной!

Это был Манас, Базаралы узнал его. Не испугавшись, также негромко ответил:

– Уай, это ты, Манас?

– Манас не Манас – не твое дело! Идем отсюда, тебе говорят! – с угрозой отрезал тот и с силой потянул за собой Базаралы.

– Ойбой, джигит! Иди-ка своей дорогой, а я пойду своей! – отбросив чужую руку, отвечал Базаралы и хотел уйти в сторону. Но Манас не позволил этого.

– Если не хочешь ославить Балбалу, опозорить ее на всю степь, то иди за мной! Если ты джигит, а не трус – делай, как я велю! А то ведь прямо у ее порога я могу поднять шум, – с угрозой молвил он.

Базаралы молча кивнул головой и зашагал рядом с Манасом, прочь от юрты. Они отошли довольно далеко за аул, и когда приблизились к черным тугайным зарослям, из-за деревьев вышли



навстречу три джигита. Все четверо окружили Базаралы и повели его еще дальше в степь.

Один из них свернул к большой юрте и, отвязав коня Базаралы, стоявшего не расседланным, повел его в поводу, вслед за остальными джигитами. Их кони стояли в тугаях, привязанные к деревьям. Подсадив пленника на его лошадь, они вскочили на своих коней и повезли его под конвоем в сторону аулов Торгай.

– Дайте мне уйти, люди, не позорьте девушку! – стал увещевать их Базаралы. – Она же невеста вашего рода... Завтра же по всем джайлау будут трепать ее имя...

Однако Кошпесбай и остальные двое, находившиеся с Манасом, не отвечали пленнику. Кошпесбай был родным братом жениха Балбалы. Это был невероятной силы огромный детина, настоящий палван, слывущий батыром, не имеющим равных в бою на соилах. Его брат, Бесбесбай, жених, был столь же прославленный силач и устрашающих размеров верзила, подобный и самому Манасу, и Кошпесбаю.

Пока удалялись от аула, Манас – только он один – разговаривал с Базаралы, коротко отвечал угрозами. Но вот исчез из виду аул, и уже никто не разговаривал с ним. Проехав еще немного, все четверо переглянулись между собой – и разом набросились на пленника. Окружив Базаралы, в четыре руки взяли его в плети. Каждый джигит поводья своего коня намотал на одну руку, чтобы удерживать на месте всхрапывающих возбужденных животных.

Базаралы был избит до полусмерти.

В эту ночь забрали у него коня. Чтобы унижить его, сняли с него чапан, оставили в одной рубашке, иссеченного плетью до крови...

Утром от Майбасара был прислан человек к Абая, чтобы он немедленно пришел в юрту Айгыз. Там уже, кроме Майбасара, сидели Ербол, Айгыз и Нурганым. Базаралы был перед ними. По дороге Абай встретил Оспана и узнал от него об избиении Базаралы. В юрту вошел Абай уже встревоженным, беспокойным.



Лишь переглянувшись между собой, Абай и Базаралы поняли состояние друг друга. Говорить ничего не надо было. О причинах не стоило спрашивать: исполосованное лицо Базаралы отметало необходимость всякого выяснения причины, по которой был так унижен и обезображен его красивый, гордый, благородный друг.

Майбасар же испытывал иные чувства и настроен был по-другому. Не умея скрыть своего удовлетворения, даже весь воссияв лицом, он принялся подробно расспрашивать, смакуя, как били, сколько человек били, за что били. Базаралы был угрюм и подавлен, он тяжелыми глазами уставился на Майбасара и не хотел отвечать ему. Обозленный этим, Майбасар пошел на неприкрытое злопыхательство, высказывая глумливый намек, чтобы опорочить джигита в глазах всех присутствующих, особенно Нурганым, о которой дошли до него кое-какие слухи. Уставившись щелками заплывших глаз на Базаралы, растянув в ухмылке свои жирные губы, Майбасар язвительно молвил:

– Базым, а камча, видно, неплохо погуляла по твоей голове! И чего это торгайцы взъелись на тебя? Взбесились, что ли? Чего это Торгай¹ налетел на тебя коршуном, вон, все лицо исклевал? И где они тебя подловили? Как осмелились только?

Сидевший молча Базаралы быстро поднял голову и с веселой злостью сверкнул глазами на Майбасара.

– Вот что я тебе скажу, Майеке! Ты сам превратил воробышка в коршуна! Сперва ты так разозлил торгая, что он хорошенько поклевал тебя в зад, а теперь, когда ты помог ему набраться наглости, он и на меня кинулся! Как же воробью не почувствовать себя коршуном, если ты давал ему свой зад поклевать? – сказав это, Базаралы оглушительно расхохотался, словно одним движением смахнул с себя все обиды и унижения, боль от побоев и душевных ран.

Закатились смехом и все присутствующие в юрте. Майбасар от неожиданности настолько растерялся, что потерял дар речи

¹ Торгай – имя этого рода означает «воробей».



и сидел, озираясь, выпучив глаза и широко открыв рот. Резко отвернувшись от всех и уставясь в стену, буркнул под нос:

– Вот же, негодник, что вспомнил! – и снова резко повернулся, обращаясь к Базаралы: – Чтоб твоим языком казан горячий лизать, змея подколодная, сволочь! – сказал это, а потом и сам рассмеялся.

Абай тоже с облегчением рассмеялся. И заметил, повеселев:

– Нет, наш дорогой побитый Базеке! Тебя побить невозможно! Ты сам, кого хочешь, побьешь своим острым, как копье, языком!

Аул постарался скрыть от гостей, особенно от почтенного Биржана, происшествие с Базаралы. Абай распорядился, обратившись к Айгыз и Нурганым:

– Наденьте на Базеке камзол, чапан, на голову – тымак.

И тут же объявил, что дарует старшему другу коня с седлом.

Провожая Базаралы, Нурганым подала ему тымак и при этом сдержанно молвила, с некоторым скрытым умыслом в своих словах:

– А ведь можно было бы, наверное, и побережь свое достоинство. Прямо-таки вы расстроили меня, Базеке!

В этот же день после обеда провожали Биржан-сала. Когда он уже собрался, его пригласила к себе Улжан.

Из своих рук потчевала его кумысом, дала благословение-бата и пожелала счастливого пути. Затем попросила принять от аула «тогыз», девять ценных подарков, которые тут же были принесены Айгыз и Нурганым. От себя Улжан подарила певцу тайтуяк – слиток серебра величиной с копытце жеребенка. Спутники Биржана, сопровождавшие его в поездке в Тобыкты, получили в дар бархату и шелку на одежду.

– Ты не обошел своим вниманием наш аул, дорогой гость, ты показал свое искусство и многому научил как старших, так и младших из нашего рода. За это тебе великая благодарность!



Куда бы далее ни лежал твой путь – счастья тебе и благополучия. Да вознесется твое искусство еще выше, да возрастает твоя слава в устах людей! Прими дары, преподносимые тебе нами, матерями и твоими старшими сестрами, прими их с миром в душе, с чистым сердцем и не суди нас.

– Да пошлет Бог, великая мать, вам увидеть счастье своих сыновей и дочерей! Где бы я ни находился, всегда буду помнить о тех почестях и о том уважении, которых я удостоился в вашем ауле.

И Биржан-сэре почтительно пожал обеими руками руки Улжан и Айгыз.

Абай от себя подарил мастеру Биржану великолепного породистого скакуна из кунанбаевского табуна. Его спутникам он подарил по заводной лошади, а также еще и несколько крепких, упитанных обозных лошадей.

Гости отправились, каждый ведя в поводу еще по одному коню, с ними вместе поехали сам Абай, Айгерим и Ербол. Сэре Биржана очень настойчиво приглашали в гости Умитей и Амир, они же просили приехать вместе с певцом Абая и молодую женге Айгерим. Она постеснялась и стала отказываться от поездки, но Абай настоял, чтобы она поехала с ним, не желая оставлять ее дома одну.

Вся эта блестящая многочисленная группа молодых людей в тот же вечер сидела в белой большой юрте, поставленной Амиром в ауле Кунке, старшей жены Кунанбая.

В эту ночь, как и во все предыдущие, было спето немало песен, звучала домбра в искусных руках. После мясной трапезы Абай и Биржан начали беседу, что продлилась у них до утра. Почти все лето ежедневно слушавший Биржана и беседовавший с ним Абай ясно стал представлять, что значит искусство в жизни человека и кто такой – человек искусства. Об этом он сочинил новые стихи, полные сокровенных раздумий и о собственном пути в искусстве.



*Песня – союз напева и слов,
Ею пленилась душа моя.
Думы рождает певучий зов...
Песню пойми и люби, как я!*

Абай прочитал Биржану-сэре это стихотворение. Биржан, впервые встретившись с этим молодым баем, ощутил в нем биение огромных творческих сил. И прочитанные ему стихи только подтвердили его мысли: он в поэзии уже достиг граней высокого совершенства.

– Абайжан, ты говорил, что мои песни вызывают у тебя желание творчества. Ты чувствуешь и замечаешь в моих песнях такие стороны, которых я и сам не замечаю и не придаю им значения. Это удивительно! Ты мне открываешь меня самого, и это останется в моей жизни уже навсегда! – говорил взволнованный Биржан-сал.

– Это говорит лишь о том, что мы стремимся в искусстве к одному и тому же, Биржан-ага, – отвечал Абай. – Цель у нас общая.

– На пути к этой общей цели, возможно, кто-то окажется впереди, кто-то чуть позади. Но это не имеет никакого значения для нас, дорогой мой Абай. Значение имеет другое! Хочу тебе признаться, что только теперь, после встречи с тобой, я наконец-то стал по-настоящему понимать и ценить значение поэтического слова в песне. Наверное, и твои слова о том, что в музыке моих песен таится больше чувств, чем в их словах, – это о том же самом! Не так ли? Если так, то ты подумай, айналайын, сколько мудрой духовной пищи для моего искусства ты уже дал!

– Биржан-ага, если мы верно подходим к пониманию высокого искусства, то будем оценивать только такое искусство, которое полностью захватывает и разум, и душу человека, и обращается к самым возвышенным его чувствам. Искусство должно служить только этому – и ничему другому! Оно должно быть свободно! Правда, на этом пути ты можешь оказаться в одиночестве, ведь



большинство думает не так. Но давайте не будем забывать, что путь настоящего искусства – это и есть путь борьбы добра со злом! – Так сказал Абай, волнуясь и вдохновляясь своими же словами.

Это был миг высокого откровения, когда они окончательно поняли друг друга, и души их слились. И только теперь Биржан, когда-то вызвавший звериную злобу Жанботы и Азнабая, избитый ими, униженный и оскорбленный, осознал, почему он вызвал такую ненависть у власть имущих. Потому что его песни противостояли злу и насилию.

Далее разговор их касался многих подобных тем, и два одаренных творческих человека смогли наконец высказаться и обрести гармонию единения родственных душ. Они даже не заметили, как оба смолкли, и дальнейшая их беседа продолжилась без слов, в чудодейственном молчании.

Гости легли поздно, проснулись на другой день почти в полдень. Слегка закусив и попив чаю, они заторопились в путь.

Кони стояли уже под седлами. Все провожающие во главе с Абаем вышли из юрты. Подошли многочисленные женщины, дети и свободный от работы аульный люд. Стали подсаживать уезжающих сал, сэре на коней. Биржан, уже сидя в седле, высказал последнее свое пожелание:

– Амир, ты начни, а Умитей, Айгерим и другие пусть присоединятся. Спойте, друзья, на прощание все вместе «Жиырма-бес»! Пусть эта песня проводит меня, милые друзья мои, дорогие мои младшие братья и сестры!

Просьба была необычной. Существует неукоснительный, заведенный ритуал прощания. Прощаться должно благопристойно, торжественно, с напутственным благословением. Но подобную вольность мог себе позволить столь знаменитый акын Арки, как Биржан-сал. Абай вполне понимал его и с удовольствием поддержал. Молодые сэре не стали особо чиниться и дружно, красиво запели в несколько голосов. Биржан слушал их, сидя в седле, чуть покачивая головой, прикрыв глаза и кротко улы-



баясь. Выслушав один куплет, он вдруг вскинул руку, прося певцов остановиться. Сдвинул на затылок кунью шапку с зеленым бархатным верхом, склонился с коня перед молодыми людьми и сам запел высоким, сильным голосом:

*Прощайте, юные друзья,
Здесь с вами юным стал и я,
Уйду в далекие края –
Уйдет и молодость моя...*

Продолжая петь, акын стронул с места коня, развернул его и поехал по дороге. Он удалялся, не прекращая пения, а все оставшиеся смотрели ему вслед, замерев на месте. Вслед за ним вскоре тронулись и его спутники.

Абай догадался, что на их глазах родилась новая песня, посвященная им, новым друзьям и последователям великого певца и поэта.

– Да, это его новая песня... Она родилась только что, на этом месте, – высказал он вслух свою мысль. – Это прощальная песня, посвященная нам! Вот оно, друзья, настоящее вдохновение акына!

Амир бросился к коновязи, отвязал своего серого в яблоках и вскочил в седло.

– Бисмилла! Догоню, заучу эту песню! – крикнул он, пролетая мимо своих и выскакивая на дорогу. А оттуда, уже отдаленно, долетали слова припева:

*Уйду в далекие края –
Уйдет и молодость моя...*

Амир на галопе догнал путников и поехал рядом с поющим Биржаном. Дорога пошла на взгорок, в сторону, всадники ехали, вытягиваясь в цепочку.



– Уже ушли, считай, на один перегон ягнят, а песня все еще слышится. Что за силы голос у Биржана-ага! – с восхищением произнес Ербол.

Все стояли перед гостевой юртой и наблюдали, как последние всадники скрываются за вершиной пригорка. Айгерим и Умитей, с самым чутким слухом, все еще слышали звуки песни. Никто не уходил. Решили ждать, когда вернется Амир. И он вскоре появился на взгорке, стремительно поскакал назад к аулу.

Он успел выучить новую песню и, подъезжая к своим, уже запел ее ликующим молодым голосом.

*Прощайте, юные друзья,
Здесь с вами юным стал и я...*

– Как называется песня? – спросила у него Умитей, когда он подъехал и остановил коня.

– Апырай! А я забыл, не спросил даже, как она называется! – с досадой воскликнул красавец Амир. – Старался скорее ее заучить!

– Ну и как же ее назвать?

– Е, разве вы не слышали, что сказал Ербол? Он ведь дал название песни, считай! Помните, он сказал, что ее слышно на расстоянии одного перегона ягнят? Так и назовем ее – «Козы кош», «Перегон ягнят»! – улыбаясь, сказал Абай; повернувшись, направился в сторону гостевой юрты.

А уже к ним подходила, с трудом переставляя ноги, опираясь на крашенную в красный цвет клюку, байбише Кунке, старшая жена Кунанбая, хозяйка его очага. Вся молодежь во главе с Абаем повернулась к ней и приветствовала ее, выказывая большое почтение. Айгерим склонилась перед нею в низком поклоне келин перед свекровью. Но старая Кунке не обратила ни на кого внимания и сразу приступила к Абаю.

– Ты что это делаешь, Абай, голубчик мой? Какой пример подаешь? Где это видано, чтобы так шумно провожали гостя из аула? С криками да песнями? Кого ты вознес столь высоко, что



провожаешь из нашего аула словно хана? Такое безрассудство сошло бы с рук вон тому шалопаю Амиру, ну а ты-то, Абайжан, как мог допустить такое? Я ведь всегда полагалась на тебя, бауырым! Думала, что никогда не допустишь какого-нибудь неприличия.

Абай вспыхнул от досады, но быстро взял себя в руки.

– Апа, вы заботитесь о спокойствии и благе вашего аула, ваши люди живут, соблюдая всяческое приличие. Его у вас больше всего, приличие всегда можно найти в вашем ауле, сколько душе угодно. Но вот песен – нет! Приличие есть, а песни нет! От хорошей ли это жизни, апа?

Ербол и Амир, раздуваясь от смеха, ухмыляясь в сторону, повторяли за Абаем:

– Приличие есть, а песни нет! Приличие есть, а песни нет!..

Кунке передернуло от возмущения. С откровенной злобой взглянув на Абая, старуха от презрения даже слова не вымолвила, резко отвернулась от него и пошла в направлении Большой юрты.

Теперь Амир не прикидывался, как перед бабушкой, тихим да смирным, а стал похохатывать, глядя ей вслед.

– Абай-ага! Да вознаградит вас Аллах! Как вы врезали бабке в самое чувствительное место!

Айгерим и Уमितей прыснули в ладошки и, смутившись, убежали за Молодую юрту. Но, озорник и баловень, Амир продолжал шуточки вслед бабушке:

– Теперь жить ведь не даст! Раз Амир запел – значит он против Аллаха пошел! От веры отступился! Вот какая у нас бабушка набожная и приличная! Приличие в ауле есть, а песни нет! – И снова Амир залился звонким молодым смехом.

После отъезда Биржана в то лето всю округу охватила распря в племенах Олжай. А началом ее послужила одна нежная



любовная песня, прозвучавшая в тишине весенней ночи на джайлау.

Теперь конец лета. Родственные аулы, с весны ранней кочевавшие бок о бок, теперь стали переходить на отдаленные осенние пастбища, расходиться в разные стороны. И в это время на отделившиеся аулы стали нападать барымтачи, лихие люди, захватывая скот во время перегонов и угоняя с временных становищ. Дня не проходило без криков, горестно и яростно возносившихся над аулами: «Угнали! Разорили!»

В эти беспокойные дни и ночи джигиты рода Жигитек, не слезая с седел, караулили табуны и отары, пасли их ночами возле своих временных аулов, а то и загоняли скот внутрь кругового стана походных юрт. У стоянки Сюикбулак, где расположились аулы Караша и Каумена, лошади с вечера паслись, двигаясь по направлению урочища Сыбайлас-Каршыгалы. Табунщиками и караульщиками в такие ночи становились все джигиты, даже подростки.

В ночь выехал и Абылгазы, сам в прошлом угонявший чужих лошадей, джигит ловкий, смелый и находчивый. Вместе с ним отправился молодой Оралбай – не затем, чтобы охранять коней своего отца Каумена, которых у того было не так уж много, но просто для того, чтобы уйти от своей тоски мятежной, не дававшей ему покоя ни днем, ни ночью.

Абылгазы ехал шагом на своем сильном, в черных и белых пежинах, холеном коне, сам тоже выхоленный и разодетый, словно собрался на праздник. Отвороты его чапана были вольготно раскрыты, в распахе ослепительно белела под лунным светом полотняная рубаха. Поперек седла джигит держал самое надежное оружие степняка – березовый соил. На голове тымак был надет косо, на одну бровь. Покачиваясь в седле, изредка поплеывая в сторонку, Абылгазы молча слушал жалобы юного Оралбая.

Выезжая вместе с Абылгазы из аула, Оралбай в душевной смуте своей плохо соображал, что он должен был делать на



ночном дозоре, куда смотреть, чего опасаться. Ему решительно было все равно, что может произойти вокруг.

Любовь вспыхнула вдруг. Вспорхнула и вознеслась к самым небесам безумная мечта – и тут же стремительно рухнула, пошла в падение. Керимбала подожгла его сердце и ворвалась в душу в тот единственный песенный вечер, когда они оба смогли забыть обо всем на свете... И вдруг оказалось, песни, любовь – их словно не было и нет на свете, а есть жених из рода Каракесек, который уже едет за Керимбалой, чтобы навсегда забрать ее в свой аул.

Ничего не остается делать Оралбаю, как только жаловаться своему старшему сородичу, да и то не ради того, чтобы получить какой-нибудь умный совет, а только лишь по причине невыносимого жжения в груди, от которого нет спасения нигде джигиту.

Абылгазы был крепкий джигит-воин, небольшой, но кряжистый. С виду он казался угрюмым, никаких чувств не проявлялось на его лице. Юный Оралбай взглянул на него раз, другой и вскоре замолчал, глубоко вздохнув. Он снова погрузился в пучину своего отчаяния, представляя в своем распаленном воображении то, чего уже никогда не будет. Ему грезилось, что, перебросив ее длинные тяжелые косы через свои плечи, он охватывает руками ее узкую талию и заглядывает в ее черные глаза, потом крепко, с бездыханной страстью, прижимает Керимбалу к своей груди... Вдруг он слышит низкий голос Абылгазы, едущего рядом:

– Ну, а с девушкой как? Что она говорит?

– Девушка? – растерявшись от неожиданности, переспросил юный Оралбай. – Она говорит: «Готова умереть вместе с тобой».

– В таком разе, пусть ее аруахи отступят от нее. А вы не отступайте. Рискните, делайте то, чего вам хочется, и не отступайте. Будьте решительней! – подвел он к этому свою короткую речь.



О своей мечте Оралбай впервые говорил с человеком, старше себя. И хотя он получил в помощь всего лишь совет, но этот совет многого стоил. Он теперь знал, что должен делать, и это его собственное решение больше не казалось ему безумным. В одном Оралбай еще очень сомневался, и с этим он снова обратился к Абылгазы:

– Агатай, что скажет мой старший брат? Как он поступит, если я рискну?

Абылгазы и на секунду не задержался с ответом. Сразу же уверенно сказал:

– Базаралы не тот человек, кто может сказать «не рискуй», если речь пойдет о красавице. Он сам рисковал за свою Балбалу, и только вчера еще получил немало хороших тумачов за свой риск. Что он тебе может сказать? А вот помочь тебе, в случае чего, не побоится. Да за тебя горой встанет не только Базаралы, но и весь Жигитек! Так что давай, делай свое дело, джигит!

Услышав столь неожиданный совет, Оралбай сразу приободрился, и даже конь под ним, почувствовав это, весело заперебирал ногами, словно пританцовывая. Дозорные поднялись на пригорок и увидели двух косарей, которые при луне косили траву на склоне Каршыгалинского увала. Дорога уходила далее к невидимому аулу. Джигиты остановили коней и стали всматриваться в лунную полумглу. Вдруг со стороны Каршыгалы донесся еле слышный, комариный голосок поющей женщины.

Оралбай встрепенулся, вытянулся на стремянах и, отчаянными глазами взглянув на Абылгазы, чуть ли не вскрикнул:

– Агатай! Это же она меня зовет, Керимбала! Их аул стоит в Каршыгалы, аул Сугира! Ойбай, это ее голос, я узнал его!

– Кажись, да. Поют с той стороны. Аул Сугира там. О, Алла, ради тебя, бедняжка, Создатель сотворил чудо! Твое желание исполнилось. – И Абылгазы захохотал.

Абылгазы – джигит, воин, ему весело от всего, что таит в себе опасность и обещает хорошую потасовку. И ему было в удовольствие и забаву настраивать юнца на дерзкое, риско-



ванное дело. Но случись у Оралбая свара, погоня или стычка с врагами на узкой дорожке, Абылгазы его не оставит в беде. Взмахнуть над головой увесистым березовым соилом для него было проще всего.

К такому матерому джигиту только и мог обратиться юнец, полный любви и беспомощности, но готовый пойти на все, чтобы добиться своего. Весь в лихорадке нетерпения, Оралбай приступил к Абылгазы:

– Аба-ага, раз даешь такой совет, то поехали вместе со мной! Поможешь мне! Ты ведь сам слышишь: она зовет меня! На счастье или на горе, но моя любимая зовет меня! И мне лучше не жить на свете, чем не ответить ей!

– Ладно, – коротко ответил Абылгазы. – Едем!

– Едем!

Пустив коней вскачь, двое понеслись вниз с крутизны Каршыгалинского перевала. Минутку раньше Оралбай не мог собраться с мыслями, подавленный горем, а сейчас – вихрем неся прямо к цели, которая была для него так ясна! Снова его буланный со светлой гривой как будто понял его, и бег его был стремительным и неудержимым!

Вещее сердце влюбленного джигита уверенно говорило ему, что в ночи поет Керимбала, хотя ничем нельзя было это подтвердить, ибо голос поющей доносился издалека и звучал еле слышно. Но на всем бешеном скаку юноша твердил про себя единственное слово: «Она! Она!» – и ему казалось, что он даже видит, как любимая изгибает шею, поднимая голову, как матово белеет ее круглый подбородок под лунным светом, как шевелятся сочные губы поющей девушки.

Волшебная сила этой ночи, зов песни и голос любимой лишили джигита ясного разума, и он, увидев впереди некое белесое колыхание, встающее на пути, как стена, посчитал, что он каким-то чудом влетел верхом прямо в сон. Но это был ночной пар, поднимавшийся над влажными долинами, скрывая за собою все разбросанные по их краям уснувшие войлочные аулы. И вскоре джигиты въехали в густой туман, почти потеряли друг



друга из вида. Однако они все яснее слышали женскую песню, и она вела их в ночи. К тому же стали раздаваться перекликающиеся голоса пастухов-сторожей, да взлаивали то тут, то там взбудораженные собаки.

А песня все ближе и ближе – и голос поющий все более узнаваем для влюбленного Оралбая. Туман внезапно снизился и расступился, джигиты оказались посреди какого-то аула. Поверх белесой пелены наземного пара выступали округлые купола спящих юрт, освещенные лунным светом, тундуки на всех были закрыты. Кони сами остановились, всадники стали оглядываться и вскоре поняли, что они не в ауле Сугира. Большой аул всегда находился в самой середине кочевого стана, а здесь остановилось всего около десятка аулов, и это был один из них. Но поющий голос был голосом Керимбалы! Как же так случилось, что же это за ночь удивительных чудес, когда, даже заблудившись в ночном тумане, вышли к тому месту, где пела Керимбала! Мог ли он не узнать этого голоса, этих звучных соловьиных трелей в пении Керимбалы?! Но этот голос звучал не среди подворий аула Сугира, а доносился из соседнего близрасположенного аула. Оралбай вовсе не расстроился этому обстоятельству, но был даже взволнованно обрадован: «Какая добрая примета! То, что сердце мое в ночном пении угадало голос Керимбалы, и что кони привели именно сюда, к ней, – ах, во всем этом есть добрая примета!» – Так радовался в ночи юный Оралбай, подъезжая к тому месту в долине, где звучала песня.

Топот коней двух всадников, появившихся в ауле в столь неурочное время, встревожил сторожевых псов, со всех сторон поднялся несусветный собачий лай и ор, заглушая пение. Но Оралбай уловил мелодию песни «Жиырма-бес» и вскоре убедился, что пела и на самом деле Керимбала.

Оказалось, что девушки из соседнего аула позвали ее на ночные игрища с качелями, куда она пришла, сопровождаемая своей женой по имени Капа, женой ее брата Акимхожи. Молодежь усадила Керимбалу на качели и просила ее спеть. Все знали,



что невеста-вдова проводит в отчем доме последние дни и скоро ее отвезут к жениху-аменгеру, старшему брату умершего молодого жениха, и хотели напоследок послушаться ее чудесного голоса.

Оралбай раньше своего спутника подъехал к качелям. Молодой стройный джигит-красавец на буланом коне, с белым соилом в руках словно выехал к ним прямо из рассеянного по ночным туманам лунного сияния. Оралбай спрыгнул с коня, который на месте заперебирал ногами, будто пританцовывая. Керимбала прервала пение. В кручине своей девушка вся ушла в пение – и вдруг, словно из этой песни, что пела она, возник джигит ночи, ее возлюбленный!

Когда Оралбай быстрыми, легкими шагами подходил к качелям, Керимбала соскочила с них и бросилась к нему навстречу. Уже никого не опасаясь, она взяла его за руку, крепко сжала ему пальцы, затем повела к качелям.

Молодежь радостными возгласами встретила хорошего певца, неожиданно посетившего их ночные игрища. Оралбая тотчас посадили на качели напротив Керимбалы и попросили их спеть вдвоем. Он не заставил себя ждать.

Я весь горю, увидев ясный лик...

Так начал Оралбай, а Керимбала ладно и умело присоединила к его пению свой сильный, красивый голос. Истосковавшиеся друг по другу молодые люди наконец-то встретились, и на их лицах трепетал бледный, холодный лунный свет. Они пели настолько слаженно и хорошо, что казалось – сам дух их учителя Биржана присутствует рядом с ними, благословляя их: «Будьте счастливы, любите друг друга! Не бойтесь ничего, боритесь за любовь и побеждайте!»

Одну песню за другой – они спели довольно много песен. Всю тоску разлуки, недавнюю тревогу, безумную радость встречи выражали они теперь своим пением. Они пели то по очереди, слушая друг друга, то сливали свои голоса в дуэте, словно не



желая расставаться даже во время пения. И песни постепенно привели их обоих к безумной решимости...

Долго смотрел на их бледные лица воин-джигит Абылгазы, долго слушал их пение, незаметно подойдя к месту игрищ и остановившись в сторонке. Пришел к мысли: «Этих двоих различить может только смерть!» Он подошел к взрослым женщинам, стоявшим отдельной кучкой, в сторонке от толпы молодежи, поздоровался и стал шутить со своей ровесницей Капа, женой Акимхожи, с которым он был в приятельстве, имел отдаленное родство. Разговор с Капа у него пошел самый непринужденный и легкий – он ей: женге, она ему: ага. Но, взглянув друг на друга, они без слов поняли, что должны что-то сделать для любимых своих юнцов, которые так беспомощно и неосторожно выставили на всеобщее обозрение свою любовь. Не сговариваясь, Капа и Абылгазы стали отвлекать внимание молодежи играми и веселыми разговорами, уводя от влюбленных, стараясь дать им возможность оказаться друг с другом наедине.

Обхватив тонкий стан Керимбалы руками, как ему виделось это в его воображении, Оралбай начал ей рассказывать, что услышал в ночи далекое пение и сразу узнал ее голос... Но она не дала ему говорить дальше.

– Душа моя бесценная! Свет мой ясный! – зашептала она, прижавшись пылающей щекой к лицу любимого. Слезы душили ее. – Вот и близится черный день, проклятый день, который навсегда разведет нас с тобой. Сам жестокий Кудай хочет различить нас! Но я не могу расстаться с тобой, любовь моя! О чем бы я ни подумала, все мысли мои сходятся на тебе! Я не хочу с тобой расставаться и готова на любые муки, чтобы только быть с тобой... Я знаю, я поняла, с чем ты пришел. Твои слова, сказанные в тот песенный вечер, показались мне страшными... Но теперь я на все согласна. Теперь – твоя воля. Делай, как знаешь, возлюбленный мой. Душу свою вручаю тебе. И пусть помогут нам священные аруахи.



Эти слова Керимбалы решили все. Оралбай как безумный осыпал ее заплаканное лицо поцелуями. Безрассудная страсть молодости толкнула их на непоправимый поступок.

На следующую ночь Оралбай с тремя своими сверстниками примчался в аул и украл девушку.

Во всем роду Олжай поднялся невообразимый шум. Будто небо расколосось, и низринулись на землю огненные молнии.

После смерти родовых вождей, Божея и Суюндика, между бокенши и жигитеками не было ни единой распри. Однако безумный, дерзкий поступок молодого жигитека разжег пламя возмущения во всем Бокенши.

Керимбала – дочь бая Сугира, владельца тысячных стад мелкого скота и многих табунов разномастных лошадей. Он выдавал дочь за сына такого же крепкого, как и он, степного владельца, бая Камбара из рода Каракесек. Но вот его сын внезапно умер, и, уже не раз получавший от Камбара табуны с племенными жеребцами, Сугир готовил ответные дары в приданое дочери, собираясь «обеспечить невесту всем необходимым» и отдать ее за брата покойного.

После того как умер Суюндик, в Бокенши вся власть была в руках Сугира. Щедро одаривая из своих породистых табунов одного – «живой головой», другого – «мясом на согым», он приобрел много сторонников и стал влиятельным баем в округе. Ну и держаться стал соответственно – чванливо и горделиво. В последнее время даже стала ходить про него шуточка: стоит ему увидеть всадника на доброй лошади, он сразу спрашивает: «А не из моих ли табунов конь под этим человеком?»

И вот теперь на защиту его чести встали такие крепкие племена, как Байгобек, Жангобек, и связанные родственными узами с Бокенши младшие роды Борсак и Далекен.

Все бокенши и соседи-сородичи, взбудораженные яростью Сугира, и его сыновья Акимкожа, Балкожа, Нуркожа заявили, мол, «для начала нужно увести весь скот у жигитеков». Потом добавили, что «надо дотла разорить Каумена». Наконец бросили



вызов всему роду Жигитек: «Пусть в течение одной ночи и одного дня найдут, приведут связанными и поставят перед нами на колени джигита и девушку. Иначе пусть назовут место для схватки». С этим посланием был отправлен гонец в аул Божея.

К этим дням уже не было в живых не только Божея, но и славных вождей родов Жигитек – мужественного Байдалы, благородного Тусипа. Теперь главенствовало в роду новое поколение: сыновья Божея – Жабай и Адиль, их друг Бейсемби, прозванный «молодым шайтаном», и некто Абдильда, о котором говорили, что это кровопийца и хищник, мол, он «способен с голой бараньей черепушки настругать мяса на куырдак».

С утра по аулам жигитеков прошли слухи об угрозах Сугира, что бокенши собирают большой сход. В ауле Караши узнавали про все приуготовления и переговоры в аулах Бокенши, подсылая туда лазутчиков, потом разносили вести по своим аулам. Весь Жигитек насторожился. В этом роду людей было больше, чем в других родах, и он всегда отличался воинственностью, и они никого не боялись, тем более мирных и дружественных бокенши. Но в этот раз угрозы бокенши были настолько серьезны, что жигитеки поверили в возможность набега с их стороны и стали готовиться к отражению. Достали свои соилы, поставили под седла свежих лошадей, отправили на выстойку запасных коней.

Отослав к обидчикам-жигитекам грозное послание, бокенши послали гонцов одновременно и в аулы всех старших родичей. Узнав об этом, и жигитеки послали туда же своих гонцов, ибо в этих аулах находились и их смежные родичи – потомки Олжая.

В Тобыкты самые сильные роды Иргизбай, Котибак, Топай, Торгай. Два поссорившихся рода, Бокенши и Жигитек, обращались с просьбой о посредничестве и справедливом разбирательстве в первую очередь к иргизбаям и котибакам. По одному гонцу спорящие стороны направили в аулы Кунанбая и Кулыншака, которые в прошлом сильно враждовали между собой... У котибакков после смерти Байсала старейшиной стал



Жиренше, пользовавшийся всеобщим уважением. К нему и примчались гонцы от обеих враждующих сторон. Но ни Жиренше, ни аткаминеры Топай и Торгай не захотели решать суд и дело самостоятельно. Все сговорились собраться у иргизбаев и поехали в аул Кунанбая. Народ собрался в Большом ауле Улжан, на реке Барлыбай, где весной молодежь Тобыкты встречалась с акыном Биржаном.

Вместо отсутствующего Кунанбая оставался его брат Майбасар, правой рукою которого был Такежан. По первым же слухам о начавшейся расправе они оба поехали в аул Улжан, велев направлять туда всех, кто будет искать встречи с ними.

Виновники всей этой смуты, Оралбай и Керимбала, никак не могли найти себе надежного убежища. В аулах Каумена и Караша они не могли укрыться, слишком близко от них находились становья бокенши, и друзья беглецов посоветовали им найти другое место.

Приютили их в ауле Кенгирбая, предка многих племен, – в самом старинном очаге Тобыкты, который почитался всем народом. Но когда стали наезжать туда разные посланцы от преследователей, выискивая беглецов, жители аула встревожились: «Как бы кто не шепнул, беды не оберешься... Не осквернили бы священную память предка избиением, похуже, чем в случае с Божеем». И беглецов выпроводили из аула.

Оралбая и Керимбалу отправили в аул «молодого шайтана», жигитека Бейсемби. Он недаром носил такое прозвище, это был один из самых дерзких и самовластных молодых старшин аула, к тому же отличался завидной стойкостью и силой духа. Однако и его смелости хватило только на то, чтобы угостить незваных гостей чаем. После чего он откровенно высказался: «Завтра мне предстоит разбираться по одному земельному делу с бокенши. Если я вас приму, то пользы для меня от этого не будет. Так что уезжайте отсюда». И снова беглецов выпроводили.

До самого вечера не найдя приюта и убежища у родичей, отчаявшийся и разгневанный Оралбай вскричал: «Пусть Базара-



лы приедет за мной! Если он считает, что у него есть братишка, пусть сегодня же покажется мне на глаза!» И эти слова были переданы Базаралы как послание его младшего брата.

Услышав эти слова, Базаралы немедленно сел на коня.

В самом начале этих событий, узнав о краже чужой невесты Оралбаем, Базаралы был встревожен, но никак не высказался по этому поводу. Никто не мог понять, сочувствует он брату или осуждает его. За его молчанием нельзя было угадать, какое участие он примет в дальнейшем развитии событий: будет ли защищать беглецов или отойдет в сторону. Одно лишь промолвил он сквозь стиснутые зубы: «Надо все выдержать, если даже придется умереть». С тем же непонятным спокойствием и непроницаемостью внимательно следил за соседями и родичами, прислушивался к их разговорам. Обо всем, что происходило и решалось у разгневанных бокенши, он хорошо знал через своих людей. Но знал также и о том, что среди своих, жигитеков, Оралбая многие осуждали, в особенности аксакалы и многие карасакалы. Их мнение было таким: «Зачем нам ссориться с Бокенши? И перед родичами зачем нам прятать глаза из-за двух непутевых озорников? Аул джигита должен выплатить отступное за нанесенную обиду и вернуть девушку!» Базаралы молча выслушивал и такие слова.

Но спокойные обсуждения среди жигитеков закончились, когда до них дошли слухи о том, что Бокенши с оружием в руках готовится напасть на их аулы и на их табуны. Воинственные жигитеки ошетинились. К такому их состоянию подвело и поведение многих молодых джигитов, во главе с Абылгазы, которые дерзкое умыкание чужой невесты приняли чуть ли не с восторгом. Абылгазы во всеуслышание первым поздравил Керимбалу, что она не побоялась пойти за любимым, отбросила всеобщее осуждение – ради любви. «Да будут благословенны твои шаги, смелая девушка!» – приветствовал он красавицу.

Абылгазы не слезал с коня, объезжая всю округу, и через своих лазутчиков, а также через знакомых пастухов, доильщиков



кобыл, овечьих пастушек и пастушков собирал вести о том, что и где готовится против молодых влюбленных. Также послал в аул Сугира, в очаг Акимкожи и его жены Капа молодую женщину, родом из Бокенши, с братом ее мужа-жигитека, подростком, который несколько раз за день незаметно уходил из юрты, выбирался из аула и за холмом сообщал лазутчикам Абылгазы все новости, потом снова возвращался назад в юрту Капа. Она помогала при тайном вывозе девушки, и муж ее Акимхожа, догадавшись об этом, избил жену, но она стойко перенесла побои и ни в чем не призналась.

Действуя подобным образом, Абылгазы добывал все важные новости о намерениях бокенши. Сам же он держался перед своими так, словно был вовсе не причастен к делу с умыканием невесты. И он появился на сходке рода по делу Оралбая как раз тогда, когда аксакалы и карасакалы сидели, обсуждая, на что решиться: выдавать Оралбая бокенши или встать на его защиту. Абылгазы был еще довольно молод, но он смело вошел в юрту, где происходил сход, присел на колени недалеко от входа, снял с головы тымак. Голова под тымаком оказалась повязанной белым платком, словно джигит-воин уже приготовился к боевым схваткам.

Он доложил собранию, что бокенши в своих угрозах дошли до крайности, они готовятся в набег, хотят разорить аулы жигитеков и угнать их скот. И уже для них неважно – вернут девушку или нет. Они жаждут мести, войны и военной добычи... Пусть аксакалы знают об этом и подумают, что будет лучше для Жигитек. Можно, конечно, стать на колени перед Бокенши и просить пощады: «Делай со мной, что хочешь, или убей, или помилуй, забирай мой скот, бей меня, помыкай мною, как бабой, ибо я слаб, и у меня нет достойных джигитов, способных защитить род!» Или надо ответить этим бокенши как-то по-другому...

Абылгазы знал, чем можно задеть своих гордых и воинственных родичей. Лицо его закаменело уже не в шуточном гневе, и он продолжил:



– Я не совершил никакого преступного дела против бокенши, почему я должен перед ними унижаться? Чего мне бояться их? Если двое молодых и безумных решились на отчаянное дело, почему Бокенши решил порвать с нами, наплевать на старую дружбу, оскорбить наших общих аруахов и убивать нас? Если они решились на это, то где же их собственная честь? Бокенши хотят унижить и опозорить наше племя, считая нас слабыми, а себя сильными, так чего же еще нам ждать от них?

После этих слов Абылгазы жигитеки вышли из состояния нерешительности. К твердому однозначному решению, правда, аксакалы не пришли, но утвердилось общее мнение: угрозам бокенши не поддаваться. От признания всем родом своей вины перед родом Бокенши – решительно воздержаться. Если бокенши пойдут на то, чтобы разбираться мирным путем, через суд, то Жигитек будет согласен. На колени же падать не собирается. Пока надо следить за шагами Бокенши и действовать в зависимости от их поведения.

Базаралы присутствовал на этом собрании, но опять-таки промолчал и уехал с него, никак не высказавшись.

Разузнав все и разобравшись во всем, он поехал разыскивать брата Оралбая и новую свою невестку Керимбалу, которые все еще металась по округе в поисках прибежища.

К позднему вечеру друзья беглецов привезли их в маленький глухой аул, состоявший всего из четырех обветшалых серых юрт. Молодой хозяин одного из этих бедных очагов не побоялся приютить Оралбая и Керимбалу.

– Моя жизнь не дороже вашей, – сказал он. – Располагайтесь у меня.

И он заколол одного из считанных козлят своего маленького стада.

Базаралы нашел беглецов в этом ауле. Он не стал много разговаривать с Оралбаем, даже не захотел его выслушать. И только сказал, когда сразу же решил уехать:

– Хотя вас все и считают беспутными озорниками, но без защиты вы не останетесь. Пусть родичи сейчас осуждают тебя, но



деваться им некуда. Простят. Не испугайтесь только сами, ни в чем не раскаивайтесь и не сдавайтесь. Что сделано, то сделано. Сам я никогда вас не выдам... Буду до конца на вашей стороне. А теперь я уеду, еще наведаюсь к вам...

Вернувшись в свой аул, Базаралы послал к Абаю гонца с посланием. Он обращался к другу за помощью: «Вмешайся, не отказывайся от них, будь их заступником. А если дело дойдет до суда, будь их судьей, скажи свое решающее слово!» Когда Абаю передавали это послание, рядом с ним были Ербол и Амир. Приглашая их к разговору, Абай молвил:

– Что мы ответим на это? – Абая особенно интересовало мнение Ербола. – Бокенши твои родичи, но и жигитеки тебе не чужие. Оралбай же и Керимбала твои сверстники и лучшие друзья... Что ты скажешь, Ербол?

Тот и сам пока не знал, на что решиться, и начал просто рассуждать вслух.

– Труднее всего нам придется с родственниками, которые вызовутся быть посредниками. Будет немало таких, которые не согласятся с тобой, Абай, если ты станешь на сторону Оралбая. Одни не захотят влезать в чужую беду, будут всячески хитрить и вилить, как лисы. Другие постараются раздуть пожар. Ведь все это – хороший повод для междоусобицы. Надо сделать все по-хорошему, чтобы вражда не разгорелась. Вот мой совет.

Абай благодарно посмотрел на друга: тот не поддался чувству родового самолюбия. В его словах Абай услышал мнение умного, зрелого человека. И он подумал: «Ты честен и справедлив. Быть тебе со временем одним из самых уважаемых людей в Бокенши».

Вмешался в разговор Амир. Задумавшись над словами Ербола, Абай не услышал начала его горячих, взволнованных слов.

– ...Нам будет стыдно, если отвернемся от Оралбая и Керимбалы. А насчет рода Каракесек, чего особенно беспокоиться? В худшем случае вернуть калым и добавить еще к нему скота, в возмещение за обиду! Неужели мы пожалеем хоть что-нибудь



для Оралбая и Керимбалы? Надо помочь им выплатить за все! А сейчас – немедленно послать им коней под седло и для убоя. Вот что надо сделать!

– Ты правильно рассудил, – улыбнувшись на пылкую речь Амира, сказал Абай. – Сделать больше для них сегодня ты не сможешь. Но и на этом они сразу же почувствуют твою добрую поддержку! Лишь только постарайся все это сделать потихоньку, от своего лишь имени и особенно не предавай огласке свои действия.

Поговорив с друзьями, Абай отправился в дом Улжан, где собрались люди от всех родов-посредников. Майбасар и Жакип, представлявшие Иргизбай, сидели на почетном месте, рядом с ними сидел Такежан. Излишне выпитый кумыс бросился ему в голову, сидел он весь красный, возбужденный, невпопад похохатывал и говорил лишнее. От рода Топай присутствовал Базаралы, говорил мало. Также молчаливо и сдержанно вел себя Жиренше, старшина рода Котибак. Зато представитель рода Торгай заливался, трещал непрерывно, словно и на самом деле воробей. Даданбай был возбужден и многословен не менее Такежана и Майбасара.

Абай сел и молча стал прислушиваться к разговору, стараясь разобраться в мнениях собравшихся. Оказалось, что четыре рода разошлись на две группы. Выслушав всех, Абай обратился к Майбасару и Жакипу, сидевшим бок о бок на торе.

– Сородичи, а с чем же роды-миротворцы отправили своих людей к противостоящим в распре?

– Еще никого не отправляли, – был ответ Жакипа.

Это задело Майбасара, и он высказался резче и откровеннее:

– С чего это мы должны отправлять к ним своих людей? Было бы другое дело, если эти жигитеки и бокенши и впрямь попросили бы примирить их! Но они мириться не хотят, а хотят, чтобы мы «признали правоту» – каждая сторона хочет, чтобы признали ее правоту! Так на чью же сторону нам стать?



– И что же? Посредники хотят остаться в стороне и обойтись молчанием? – спрашивал далее Абай.

– Зачем же в стороне? Нет, мы в стороне не должны оставаться, – был ответ.

– Тогда как быть? Ждать, когда вражда разгорится?

Казалось, Абай не вопросы задавал, а допрашивал. Все примолкли, стали прислушиваться. Майбасар самоуверенно возражал Абаю:

– Все равно пожар может вспыхнуть. Примирять бесполезно, этим только еще сильнее раздуешь огонь. Вот как я думаю.

– И что же? Будем сидеть и ждать, когда пожар вспыхнет?

– Как говорится, «гнев приходит в начале, разум приходит в конце». Пусть Бокенши сейчас пошумит, погорячится, потом успокоится и придет в разум! И ты же знаешь, что пожар в степи тушат не встречь ему, а следуя за ним.

– Где же тут забота миротворцев? Ведь они должны постараться, чтобы «между людьми были установлены мир и согласие». Значит, вы говорите: «Я, конечно, вмешаюсь, чужую беду руками разведу, но сначала подожду, пусть глубже увязнут в беде, а потом – хоть гори оно синим пламенем!» – Так говорил Абай, бледнея от гнева.

Жиренше и Базаралы так и подались в его сторону, глядя на него с одобрением и согласием.

– Я тоже никак не пойму, чего же мы ждем, сидя здесь сложа руки? Какие же мы тогда посредники? – с нескрываемой горечью наконец-то высказался Жиренше.

Исходя от общего блага, Жиренше старался хранить и строить дружеские отношения между Котибак и Жигитек. Он эту дружбу считал благим наследием славных вождей обоих родов – Божея и Байсала, память о которых Жиренше хранил в душе с благоговением. Род же Топай всегда был стоек при попытках втянуть их в какие-нибудь междоусобные хитросплетения. Представители этих двух родов, Жиренше и Базаралы, никак не могли понять, чего добиваются Майбасар и Даданбай, выступавшие от ир-



гизбаев и торгоев, но и сами не могли высказаться напрямую. Слова Абая подвели их к открытому разговору.

Такежан, заметивший это, был недоволен вмешательством и вопросами Абая и решил его упрекнуть за слова о том, что совет желает раздуть пожар вражды, а не примирять враждующих.

– Ты твердишь – пожар, пожар! Действительно, начался пожар, но ведь не мы же его виновники! Разве его не Оралбай и Керимбала своими делишками распалили? Ты что, притворяешься, что не знаешь виновников? Ведь знаешь же! Не ты ли все лето вместе с ними распевал песни и попусту тратил время? «Песня!», говорил ты, «красота!». А теперь, конечно, ты хочешь защищать своих друзей, которых и свел в праздности да разгуле! – Так говорил Такежан, ехидно улыбаясь. По завершении своих слов он откровенно рассмеялся в лицо Абая.

– Е, Такежан, да ты, я вижу, нашел истинного виновника! Выходит, это песня виновата! А так как я люблю песни, виновником всего являюсь я! И ведь это в моем ауле пели свои песни Оралбай и Керимбала. Так ведь, брат мой? Но тогда ответь мне: чей кумыс пили гости, мясом каких баранов угощались молодые певцы из родов Кишекен и Бобен на празднике в твоём ауле? Значит, и кобылы твои тоже виноваты, и бараны из твоих стад. Вот сколько виновников! Ну, брат, назови мне еще виновников, если знаешь! – Сказав это, Абай насмешливо посмотрел на Такежана. Затем продолжил: – Скажи просто, что не хочешь вмешиваться в чужую беду и помочь. Что во всем выискиваешь одну выгоду, а тут никакой выгодой не пахнет! – Так закончил Абай свои гневные слова брату, но всем было ясно, что он обвиняет не только одного Такежана.

Абай умел говорить так, что к нему прислушивались все, согласные с ним и несогласные. Он словно бил по голове своих противников увесистыми неотвратимыми словами. Он напоминал умелого, праведного бия. И сейчас, когда прозвучали его решительные слова, Майбасар и Такежан невольно умолкли. Ясность мысли и правдивость слов Абая убедили половину



собрания. Майбасар же и сторонники невмешательства и выжидания были вроде бы побеждены в споре.

И все же на этом сходе Абай не добился своего. Жиренше и Базаралы его поддержали, считай, роды Котибак и Толай. Но Майбасар и Даданбай, несмотря на то, что вынуждены были умолкнуть в споре с Абаем, оставались против него. Представитель торгаев Даданбай держал сторону Майбасара хотя бы только из-за того, что недавно Базаралы обидел Торгай своими вольными отношениями с красавицей Балбалой, а теперь выпадала возможность отомстить ему через преследование Оралбая, его младшего брата.

Итак, на сходе к единому мнению не пришли. Посылать людей к враждующим сторонам было не с чем. И Абай, опасавшийся, как бы сыны Тобыкты не довели вражду до взаимного кровопролития, отправил своего посланца в аул Сугира. Передать послание он поручил Ерболу.

От своего имени Абай велел передать такие слова: «Зачем сталкиваться лбами, забывать о старой дружбе? Не надо трогать свежую рану, надо найти лекарство, чтобы заживить ее».

Но Абай и его сторонники не знали, что человек Сугира, приехавший к Майбасару и Такежану с просьбой о посредничестве, наедине с ними передал обещание старшины Бокенши, что они получат косяк лошадей, если Иргизбай поспособствует решению дела в его пользу. Купленные этим обещанием, корыстные главарь и иргизбаев предали остальных посредников и обещали Сугиру свою поддержку. А Сугира это подстегнуло, как удар плетью, он был ожесточен и жаждал мести, и ответ главарей Иргизбая воспринял как самую важную поддержку во всем Тобыкты. Их тайное послание гласило: «Пусть не церемонится с жигитеками, пусть не колеблется и насаждает смелее. Родственники не станут на стороне озорников».

Эти слова немедленно возымели действие на Сугира, и его человек, прискакав в аул Божея, как только сел на торе, так и заявил грозно: «Немедленно передайте в мои руки девушку и джигита, в противном случае назначайте место для битвы!»



Этим посланцем был молодой джигит Кунту, огромного роста и недюжинной силы, недавно ставший одним из новых аткаминеров в Бокенши.

Но жигитеки, после слов Абылгазы, не склонны были к тому, чтобы выполнить требование Сугира, но и не хотели войны. Жигитеки ответили посланием: «Их слова – это слова не родственных людей, а самых отъявленных врагов. Не надо таких слов, ломающих достоинство человеческое, лучше бы собраться у нас или пригласите к себе на совет, чтобы вместе найти справедливое решение. А вы что делаете? Должны опомниться! Ведь если у собаки есть хозяин, то у волка хозяин – сам Создатель. Самый высший суд за ним. Истина – его суд. Что такого сделал род Жигитек перед людьми Бокенши, чтобы желать ему такой суровой кары? Разве были родичи дружнее нас? Не стоит, наверное, дружбу менять на злобу. Лучше вспомнить о Божее, о Суюндике, Байсале и Байдалы, они заботились о том, чтобы молодняк наших родов стремился к постоянной дружбе, согласию и миру! А Бокенши лучше взвешивал бы свои слова послания!» С этими словами и был вечером отправлен назад джигит Кунту.

Перед отъездом он, отозвав в сторону своих ровесников – Жабая, Бейсемби, Абдильду, трех новых старшин племен рода Жигитек, уже без обиняков сказал им:

– Я не уверен, что вашим ответом можно остановить Сугира. Он в большой ярости. Вы накличете на себя беду, родичи! Не говорите потом, что я не предупреждал вас!

Задетый за живое, самолюбивый Жабай чуть ли не с угрозой воскликнул:

– Что ты сказал?!

– А то, что ты слышал! – отвечал громадный Кунту, горящими черными глазами уставившись на Жабая.

Тот не нашелся, что говорить дальше, но дерзкий и находчивый Абдильда не пожелал уступить.

– Уай, Кунту! Не мы с тобой двое стоим на весах спора наших родов. На этих весах оказались наши предки и все наши люди.



Если Сугир считает себя выше всех и для него даже аруахи ничто, то ему не уйти от карающей руки Создателя!

Кунту вернулся с ответом: виновников жигитеки не выдадут, вину на себя не берут. Услышав это, бай Сугир впал в неистовство. Разогнал всех домочадцев и, хлеща плетью землю у очага, призывал священного аруаха рода Бокенши: «Все мои косяки в жертву отдам! Раздам все свое добро во имя твое! Дай только мне отомстить за обиду!»

С наступлением сумерек он посадил на скакунов сивой масти, хорошо сливающихся с ночной мглой, сто джигитов, вооруженных соилами. Он отправил их в набег в сторону аулов Жигитек, напутствовав словами:

– Они с позором увели у меня дочь! Скотом им не откупиться, я не приму этого! За человека, взятого у меня барымтой, также захватите и приведите мне человека! Уведите дорогую для них женщину, лучше всего тоже какую-нибудь невесту-вдову, чтобы столь же больно ударить по нечестивцам!

Послание Абая прибыло к нему уже после того, как в громе копыт джигиты умчались в набег. Сугир выслушал Ербола, застыв на месте, словно каменный истукан. Он так и ничего не ответил посланцу Абая.

Отправленные на барымту джигиты Бокенши добились своего. Вскорости вернулись из набега с добычей. Один из жигитеков, по имени Жапа, недавно женился на ясноокой красавице. Бокенши налетели на него, силой увели молодую келин, которая ходила еще под свадебным платком. Сто барымтачей набежали на аул, разорили его и, не дав никому и пальцем шевельнуть, насильно одели жену Жапы, умчали несчастную женщину с собой.

– Жа! Какие это родичи? Мы их считали родичами, а они хуже всяких чужаков! Будем с ними биться, как с врагами! Мы готовы! – вскричал Абдильда, обращаясь к Абылгазы. – Поднимайся и ты, садись на коня! Поднимай Жигитек!

Сборы были недолги. Возмущение жигитеков было настолько велико, что призывать никого и не понадобилось. Вскоре и на



этой стороне сошлось около ста джигитов, во главе с Абылгазы они двинулись в сторону аулов Бокенши. Этот отряд вернулся с набега на рассвете, он не пригнал с собой табунов уведенных лошадей. Их барымта тоже была на человека. Увели также одну женщину, это была жена видного бокенши – Солтыбая. Она тоже пришла в его дом невесткой в этом году и также еще носила свадебный платок.

В эту ночь и в Бокенши, и в Жигитек люди не спали.

Едва только весть о новом уходе обошла аулы бокенши, они пригнали с ночного всех коней. Джигиты всего Бокенши вооружились соилами, пиками, секирами и со всех сторон потянулись к большому аулу Сугира. Тем временем жигитеки тоже готовились к схватке. И не успело солнце взойти на высоту длины копья, вся равнина между урочищем Сарколь, исконной землей жигитеков, и становьем Шалкар, где располагался Большой аул Бокенши, наполнилась толпами вооруженных всадников. С первыми лучами солнца отдельные отряды беспорядочно понеслись навстречу друг другу по холмам и долинам. Битва началась.

Сам оскорбленный бай Сугир, старик семидесяти лет, с копьем наперевес кинулся в битву. Среди кипения яростных противоборств он увидел перед собой жигитеков Жабая и Сейсемби и в неистовом порыве ярости один кинулся на них обоих. Жабай крикнул своим джигитам:

– Ей! Старик ищет смерти! Не трогайте его!

Сугир почти доскакал до Жабая, но тут попался ему скачущий наперерез молоденький жигитек, видимо, одуревший от страха, ничего не видевший вокруг себя, – и старик сшиб его ударом копья на землю. Проскочив далее, старый бай все оглядывался на скаку, видимо, испугавшись, уж не пронзил ли он насмерть юного джигита? И тут перед ним оказался Бейсемби. Молодой аткаминер не стал биться со стариком, острие своей пики направил мимо него. Бейсемби решил перехватить копьё Сугира, если тот будет наносить удар. И старик, словно угадав его намерение, не стал бить копьем, а просто протянул его в сторону противника. Джигит легко перехватил копьё за древко



и вырвал из рук Сугира. А тот, даже не оглянувшись, развернул коня и, пригнувшись к гриве, поскакал прочь. И тут Бейсемби, муж смелый и хладнокровный, не теряющий самообладания в бою, не выдержал и громко расхохотался.

– Видал хитреца? – вскричал он, обращаясь к Жабаю. – Вояка сунул мне в руку копьё, а сам дал деру! Потом скажет, что не он убил этого парня, потому как у него и оружия не было! Мол, копьё выхватил из моих рук Бейсемби!

Повсюду вокруг люди наносили тяжкие удары дубинами, кололи пиками, сами потом падали с коней и лежали на земле, захлебываясь кровью. Самые сильные джигиты-воины Жигитек и Бокенши сходились в смертельных поединках. Из жигитеков непобедимым выходил из схваток Абылгазы, среди бокенши выделялся боец по имени Маркабай. Смуглый, плосколицый джигит со свирепыми кабаньими глазками, с туловищем неохватной ширины и с такими толстыми икрами ног, что они казались с детскую люльку каждая, Маркабай несколько раз менял коней и бросался в бой, сшибая на землю немало отважных жигитеков. Был он известен среди тобыктинцев как первый силач и борец, а также как знаменитый и непревзойденный обжора. Он сам получил немало тяжких ударов дубинами-соилами по голове, был ранен, истыкан пиками, истекал кровью, но не обращал внимания на это и с грозным рыком носился по полю битвы.

Не ослабевая, бой продлился до полудня. Обе стороны подбирали и отправляли по своим аулам раненых, чтоб они не стали пленниками врагов. Джигиты обоих родственных племен захлебывались в крови. Но к полудню многочисленный объединенный отряд иргизбаев, котибаков и торгоев – большой Айдос примчался на поле битвы и прекратил междоусобную бойню. Жакип со своими иргизбаями вклинивался в самую круговерть сходящихся в поединках конников. И мигом, с криками и угрозами, разъединял дерущихся:

– Остановитесь! Прекратите! Кто не угомонится, тот наш враг! – кричал Жакип, отбрасывая друг от друга обезумевших джигитов.



Вскоре взаимное избиение потомков Олжая прекратилось. Иргизбаи разводили в стороны окровавленных бойцов и до тех пор метались по всему полю битвы, пока противники не прекратили бой и не разъехались по своим аулам. Лишь после этого сами отряды миротворцев-посредников двинулись с места сражения и направились к аулу Сугира. Это для жигитеков было плохим признаком: могло означать, что главные миротворцы, иргизбаи, считают бокенши пострадавшей стороной и вмешались в сражение, заступившись за них.

И, как это бывало всегда, после самой яростной и кровопролитной схватки, израненные и обессиленные, пролившие свою и чужую кровь, выплеснувшие в бою всю свою воинскую злобу и неистовство, воины-кочевники Арки отдыхали после битвы. И находили в себе силы пошутить, посмеяться, хвастаться и балагурить по поводу происшедшего сражения, стоившего многим жизни и тяжких увечий. И под стоны раненых звучали рассказы, в которых смешное перекрывало страшное.

Одной из самых потешных легенд прошедшей битвы был жестокий по юмору рассказ жигитеков о подвигах главы Бокенши, старого бая Сугира, отца Керимбалы. О том, как старик сунул в руки врага свое копьё, которым пронзил юношу, а сам дал деру с пустыми руками, чтобы его потом не могли призвать к ответу за убийство и присудить к выплате куна за жизнь.

Другой потехой стал сказ о том, как великан Маркабай, чьи икры ног были толщиной с детскую люльку, сразу после сражения решил воспользоваться тем, что совсем недалеко от поля находился аул племени Делекен, где жила его присуха, девушка по имени Кундыз, тоже равнодушная к нему. Маркабай попросил молодых джигитов, восторженной толпой ходивших за батыром, чтобы они отвлекли старуху-мать, у которой жила Кундыз, а сам тем временем пролез в крошечную серую юрту и заключил в свои трепетные объятия желанную деву. Та, хотя и сильно испугалась, не могла ни пикнуть, ни дернуться, ни рукой шевельнуть. Но в это время вернулась в дом старуха, заподозрившая что-то не-



ладное, и увидела окровавленного, с открытой раной на голове, занявшего пол-юрты громадного джигита, который присосался поцелуем к шее ее дочери.

– Уай! Астпыралла! Негодник! Бесстыжий! – завопила старуха и, вцепившись в батыра, пыталась его оторвать от Кундыз.

Но все было напрасно! Джигит отрываться от девушки не хотел. Тогда, взбешенная от такой наглости и столь явного хулиганства, сухопарая байбише выхватывает из кипящего в казане сырного сусла железный черпак на длинной ручке и этим горячим черпачком дает как следует по голой, круглой, как тыква, голове Маркабая. И только тут до него дошло: надо бежать! Выпустив девушку Кундыз из объятий, он бежит, бросив свой тымак в чужой юрте. Обо всем этом батыр вскоре уже охотно рассказывал в кругу своих хохочущих почитателей. А те разнесли эту героическую историйку по всем аулам – и на все времена – под названием «Приключение Маркабая с половником».

Миротворцы-посредники большого Айдоса, собравшиеся в Бокенши, выслали гонца к жигитекам с требованием: немедленно прибыть в аул Сугира доверенным лицам, которые будут держать ответ от всего их рода. Жабай, Бейсемби и Абдильда в сопровождении двадцати джигитов сели на коней и отправились к бокенши. «Молодой шайтан» Бейсемби поручил передать Базаралы: «Дело идет не к добру. Может, лучше будет – забрать Оралбая и Керимбалу и удалиться в чужие края? Пусть подумает».

Базаралы воспринял эти слова как оскорбление.

– Недостойные родичи! Продажные твари, корыстные души! – вспылал Базаралы. – Думают, что я превращусь в такую же, как они, низкую тварь? Бай Сугир богатей, за ним его тысячные табуны, они своим громким ржанием говорят вместо него! А у меня и путной лошаденки нет, чтобы ускакать от всех этих родных и врагов. Нет у меня и другого скота, чтобы ублажить ненасытных родичей и посредников. Не миротворцы они, а низкие мздоимцы. Жа! Решено – сам поеду к Сугиру и буду тягаться с



ним один на один! – Так заключил Базаралы, все больше рас-
паляясь от обиды и гнева.

Но Абылгазы не одобрил этого решения.

– Если пойдешь туда, то наверняка испортишь дело еще
больше, подольешь масла в огонь! Не надо злить тех, которые
и так уже разозлились.

Выслушал его Базаралы, опустив голову. Он поехал, забрал
Оралбая и Керимбалу, отвел их в безлюдное ущелье среди
скалистых гряд Чингиза и спрятал там. Глубокая обида, ярость,
поднявшиеся на предательство родни, переполняли его душу.
Он метался по округе, словно раненый волк, пытавшийся спасти
своих волчат от облавы.

Единственная поддержка, которую получили трое беглецов,
была от Абая. Он прислал им трех добрых скакунов под седлами
и годовалого стригунка на убой. И велел передать свой салем:

«Родичи повели себя не самым лучшим образом. Они предали
их, и я готов провалиться сквозь землю от стыда. Остался в пол-
ном одиночестве. Дорогому брату Базеке не стоит надеяться на
людей этого края. Завтра же они кинутся разыскивать их. Тогда
и он почувствует одиночество, которое испытываю и я. Пусть не-
медленно забирает молодых и тайно едет в город, там обратится
к русским властям. Если последует моему совету, пусть сообщит
мне. Я готов сам поехать в Семипалатинск. В городе я как-нибудь
смогу оказать им помощь. Пусть прислушается к моим словам и
доверится мне. Иншалла, пусть едет, не мешкая! А здесь, один
среди этих людей, я бессилен и не смогу им помочь».

Поддержка Абая обрадовала Базаралы и укрепила его дух.
Он просил передать в ответном послании:

«Ты один не отрекся, когда все остальные отвернулись от
меня. Нашелся во всем Тобыкты достойный человек, и это ты,
Абай! Я верю, что ты сможешь помочь мне в городе. Но я не
поеду. Астапыралла! Как же я заявлюсь туда? Словно изгой,
преследуемый своим племенем беглец? Искать защиты от
родичей у русских властей? Нет, так никогда и никто из нашего



народа еще не поступал. И если я так сделаю – то ни у кого мой поступок не вызовет сочувствия. Выйдет только скверно. Я лучше положусь на мудрость людей этого края. Надо подождать, какое окончательное решение примут родичи. Но если нас предадут, то я могу постоять за свою честь. Без борьбы, без последнего боя не дамся. Мне не жаль отдать свою жизнь за счастье и благополучие этих молодых». Так сказал Базаралы в своем ответе Абаю.

Базаралы увел беглецов еще дальше в горы Чингиз, спрятал в недоступном ущелье Валун Караши, зарезал для них годовалого стригунка, присланного Абаем. И, заткнув за пояс кинжал, вооружившись березовым шокпаром и тяжелым копьем с темным дубовым древком, встал на страже у входа в ущелье. Его огромное, сильное, молодое тело словно преобразилось, по-бойцовски подтянулось, стало поджарым, как у крупного хищника, стремительным в движениях. Вместо прежнего румяного, добродушно-веселого красивого лица с умными, внимательными глазами явилось суровое лицо воина, готового встретить смерть в бою.

К тому времени сход в ауле Сугира закончился. Бейсемби, «Молодой шайтан», и Жабай, два новых аткаминера Жигитек, сдались на унижительных для себя условиях. Согласно им, на Жигитек налагалась отступная, исчисляемая в немалом количестве скота. Воспользовавшись тяжбой, Бокенши решили в свою пользу и земельный спор с жигитеками аула Бейсемби, забрали себе зимовья вдоль реки Караул. И в довершение всего присудили Керимбалу у Оралбая отнять и передать в Каракесек. Жигитекам запретили давать им убежище.

Первая группа захвата, из десяти джигитов, напала на Базаралы у входа в ущелье. Базаралы противостоял им один. Он бился насмерть. За время, достаточное всего лишь для того, чтобы сварилось мясо, он проткнул копьем пятерых, остальные бежали от него, словно стая собак от разъяренного тигра.

Эти пятеро вернулись с подкреплением, прихватив бокенши и иргизбаев, всех вместе в отряде было уже тридцать человек.



Они окружили Базаралы и оттеснили от Валуна Караши. Но одолеть его, свалить и захватить они не смогли. Вид его был ужасен, джигиты не осмелились подступить к одному из самых могучих батыров Тобыкты, идущему на смерть, и отступили.

Многочисленные конники ворвались в ущелье и вскоре нашли Оралбая и Керимбалу. Молодой джигит отчаянно сопротивлялся, но его одолели, повязали арканом и бросили на камни. Связанную девушку бросили поперек седла. Когда ее увозили, Оралбай отчаянно вскричал ей вслед:

– Керимбала, свет в зрачках моих! Не я буду сыном Каумена, если не найду тебя и не увезу снова!

Керимбала успела тоскливым голосом крикнуть в ответ:

– Найди! И я умру с тобой вместе! Клянусь на том!

В тот же вечер истерзанный Базаралы прискакал в аул Божея. Крутясь на коне посреди двора, он громовым голосом призывал аруахов Кенгирбая, Божея и кричал: «Где вы, святые аруахи? Видите, в каком мы позоре? Прокляните этих недостойных! Потеряли честь быть вашими потомками! Стали нелюдями!» – Так проклинал родичей и голосил отчаявшийся батыр. Бейсемби, Жабай и Абдильда подбежали и окружили его.

– Уйдите! – вскричал он. – Продажные души! Вы способны еще не раз продать честь своего рода! Прочь с дороги! Поеду один к бокенши и погибну в бою!

«Как бы новую беду не накликать!» – испугались старшины Жигитек и решили силой задержать Базаралы. С двух сторон схватили за повод его коня. Базаралы, ослепнув от гнева, стал бить их по головам плетью. Но Бейсемби и Абдильда не выпустили повода, а Жабай с помощью джигитов аула снял с седла батыра. Его на руках внесли в юрту и удерживали долгое время. Бейсемби распорядился отнять и спрятать оружие Базаралы. Потом всю ночь насильно продержали его в заточении, и вновь джигитов, которые смогли одолеть его, было около тридцати человек.

С возвращением Керимбалы в Бокенши сразу же по всем аулам разнеслась весть о последней клятве влюбленных.



Тревога не улеглась. Сугир же сказал: «Не намерен держать в ауле недостойное дитя, гнилое яйцо!» И учитывая одержимость братьев, Оралбая и Базаралы, а также отчаянную решимость Керимбалы идти до конца, бокенши в тот же вечер приставили к ней конвой из пяти вооруженных джигитов и переправили в Каракесек. До этого Сугир посылал все вести в аул свата, а теперь был рад известить: «За приданым пусть приедут. А теперь передаю им в руки эту негодную невесту-вдову, пока она еще жива. Пусть Каракесек посмотрит, что с нею делать. Не уgomонится – пусть убьет, я не буду скорбеть по ней. И куна за ее смерть не потребую!»

На этом смута у потомков Олжая закончилась.

Оралбай, отпущенный через два дня после пленения, так и не придя в спокойное состояние, умирая от тоски и тревоги, сел на коня и один поехал вслед за любимой в далекий аул к каракесекам. Зачем он поехал, на что надеялся, он и сам не знал. Приехал туда, даже таиться не стал. Никто его не остановил. Каракесеки видели, как жалок, вне себя и беспомощен отчаявшийся молоденький джигит. Молча зашел в Молодую юрту, сел у входа. И увидел, наконец, свою любимую.

Она была неузнаваема: худа, бледна, с потухшими глазами. Две золовки, уставившись на нее злыми глазами, следили за каждым ее движением. Несчастные влюбленные могли только молча смотреть друг на друга.

Возле очага сидел широкоплечий, костлявый смуглый джигит, точил нож. С угрюмой злобой поглядывал то на Керимбалу, то на незваного гостя. Кто-то из снох попросил его сходить к соседям и позвать их на трапезу, мясо в казане уже сварилось. Проходя мимо Керимбалы, он сумрачно пробурчал:

– Сегодня умрешь ты или твой джигит. Так я решил, если вы не отступитесь.

Джигит этот был тем самым деверем Керимбалы, за которого она должна была выходить замуж после смерти ее жениха.

Керимбала стала вынимать готовое мясо из казана и перекладывать на блюдо. Оралбай почти с ужасом смотрел на нее.



Она вела себя как покорная келин, делала то, что ей положено. Голова ее была обвязана светлым платком невестки.

Она взяла с блюда вареный бараний язык, отрезала кусок. И сказала Оралбаю:

– Возьми этот язык из моего рта и съешь его! Оралбай, свет в зрачках глаз моих! Все кончено. Я делаю то, что сделала бы хромая, беззубая старуха, передавая место за очагом молодой келин. Я уже – эта старуха, Оралбай. Возьми с моих губ этот язык, съешь его – и уходи! Угомонись, мой голубок, моя светлая любовь!

Сказав это, она взяла губами кусочек отварного бараньего языка и приблизилась к Оралбаю, чтобы совершить древний обычай. Джигит вскочил с места и, обхватив руками ее за узкую талию, наклонился и откусил половину этого кусочка, и губы их на мгновение соприкоснулись в последнем поцелуе. Затем, рыдая и разрывая на груди бешмет, джигит бросился вон из юрты и исчез в ночной темноте. Оралбай уехал – и с тех пор никому не было известно, где он и что с ним.

Прошло время, о нем всюду говорили, но никаких вестей про Оралбая не приходило. Как-то Абай, разговаривая о нем с Айгерим, Амиром и Ерболом, вдруг вспомнил Биржана.

– Славный Биржан, да звучит всегда с достоинством твое имя! – воскликнул Абай. – В тебе сошлись все самые лучшие свойства нашего народа! Дыханьем твоих песен упивается вся наша добрая молодежь! Пусть наше искусство будет таким же мощным, как утес, пусть обрушится с него каменная глыба в застоявшийся омут нашей серой, беспросветной жизни!

– Но ведь каменная глыба обрушилась не в гнилой омут, а на юных, на самых талантливых из нашей молодежи! – воскликнул и Ербол. – Абай, этим ударом молодежи нашей словно два белых крыла отсекли!

Но у Абая были свои мысли.

– Этим ударом поражена прежде всего серая беспросветность нашей степной жизни! – сказал он. – Со временем именно эта



печаль излечит наши больные души. Печаль героя! Мудр тот казах, который сказал когда-то: «Пусть лев погибнет, напрасно бросаясь на луну, зато его потомки унаследуют способность к могучим прыжкам. Пусть сокол-сапсан попадет в хитроумные силки, но его птенцы, покинув гнездо и становясь на крыло, мгновенно обретут навыки самого быстрого полета!» Несмотря на то что косность и жестокость степи взяли верх над Оралбаем, самым прекрасным джигитом среди тобыктинцев, ничто не может победить жизнь и светлую любовь... Ничто и никто! – Так заключил Абай.

ВЗГОРЬЯ

1

В юрте с настежь раскрытой в весеннюю степь дверью и с распахнутым в синее небо полудня шаныраком тянет прохладным сквозняком весны. Большой войлочный дом, стоящий на травяной земле, наполнен приглушенными звуками степной тишины. Одинокий человек сидит за низеньким столиком, подперев рукою голову, глубоко задумавшись, и ему приятен ход его собственных мыслей, так же, как и приятна весенняя прохлада. Абай слышит далекие и высокие трезвоны жаворонка, полной грудью вдыхает нежно-горький запах молодой полыни, лицом ощущает живое дыхание дня – и все это многоголосие жизни отзывается в нем всплеском радужно переливающейся радости бытия.

В зеленых тугаях Акшоки время от времени подает свой призывный голос кукушка, неумолчно и безудержно повторяя одно и то же. В тоске ожидания обращается кукушка к желанной только ей и никому более в мире, неизвестной душе. И эту свою маленькую тайну вещунья раскуковывает на всю просторную долину, делится ею с эхом близрасположенных каменных гряд. Также слышны временами шелест и свист крыльев быстрых уток, пролетающих над домом по пути от полуденных душных лугов в сторону высоких холмов. Подавая свой трубный голос, невысоко пролетают гуси, уже давно построившие свои гнезда в скалах у реки и среди камней древнего мазара над обрывом, – летят строго семейными парами. Какое благо для человека – сидеть в чистом войлочном доме, на весеннем джайлау,



листать книги, погружаться в созерцание картин блаженной окружающей жизни, думать свою глубокую думу!

Близко мимо дома пробегают, топоча крепкими копытцами, козлята вперемешку с ягнятами, единым стадом, словно напуганные чем-то, и в детском испуге своем исходя жалобным блеянием. Начиная жить, овечьи и козы дети постигают ее с чувства страха. Трепетать, дрожать, жалобно блеять и постанывать – это удел козлят и ягнят.

А из соседней юрты, где собраны человеческие дети, доносятся их тоненькие, звонкие голоса, читающие книгу. И здесь жизнь начинается, и постигает ее людская молодежь с радости познания в школе.

Глубоко уходя в книгу, Абай удалялся от голосов и запахов степи, мысль вела его по другому, рядом идущему миру, и там он шел широкими, стремительными шагами. Яркий сноп солнечных лучей, проникая сквозь открытый шанырак в просторную чистую юрту, возжигал красочные узоры на висящих коврах и на шелковом пологе, отделявшем правую сторону дома, где стояла кровать. И вид опрятного, просторного жилья наполнял его душу чувством тихой радости и благополучия жизни. И дополняло эту радость светлое чувство весеннего благоденствия во всей природе, и ощущал он в себе неумемную силу молодости.

Снова он склонился над желанной и влекущей книгой. Теперь для него это была особенная книга. Особенность ее была в том, что книга наконец-то раскрыла перед ним всю свою глубину и стала близкой душе Абая-читателя. А написана эта книга была на русском языке. Способность понимать этот язык пришла, наконец, как долгожданная победа Абая над беспредельным, казалось бы, разногласием и различием двух чуждых языков. Когда он свободно прочитал и понял серьезный рассказ серьезного русского писателя, то почувствовал себя так, словно нашел брод в непреодолимой реке, отделявший его от желанного противоположного берега.



Всю минувшую зиму Абай читал русские книги, обложившись учебниками и словарями. И, наконец, чуть приоткрытая дверь, сквозь которую едва просачивался свет русского слова, широко распахнулась – и засияло широкое небо в мире новой для него культуры. К весне Абай решился приступить к чтению Пушкина. Начал с его прозы. И сейчас он читал объемистое сочинение – повесть «Дубровский». И чудесным образом, читая книгу на чужом языке, Абай вдруг почувствовал себя Дубровским, и через это стал понимать лучше самого себя.

Мир окружающий, краски весенней степи, дом свой уютный, красивый, и свежесть джайлау, и свою настоящую жизнь он стал воспринимать светло и радостно благодаря чтению этой книги. Она стала его подлинно близким другом. Уже давно Абай так не радовался жизни.

Майбасар, Такежан, Жиренше – джигиты толстокожие, и шутили грубовато, говорили за спиной Абая: «Вот он как женился на Айгерим, так и из юрты его не выманишь, не может оторвать своих глаз от жены-красавицы. Джигит, летавший по небу, словно беркут, упал на землю и кувыркается в пыли, словно воробей! И чем приворожила его эта шайтанова змея, дочь племени Байшора!»

До Абая доходили эти шуточки, но он только посмеивался про себя и никак не отвечал на них, усердным сидением над книгами и смиренным поведением своим напоминая школяра медресе. Он ни с кем не советовался, никто ему ничего не подсказывал, но пришел Абай к глубокому убеждению, что в извечной кочевой жизни казахов должна наметиться важная, необходимая перемена – «жить в приближение к городу». Едва сошли снега, и весь народ еще сидел в душных зимовках, Абай откочевал на становье Акшоки. Он решил строить здесь отдельное зимовье для себя. Переехал один, увел с собой лишь очаг Айгерим, оставив в Жидебае, где находился очаг матери Улжан, Дильду, Оспана и всех остальных.



Абай привез строителей, мастеров своего дела, придал им в помощь четверых-пятерых жатаков – бедных соседей, наемных батраков, завез материалу и начал дело. Строители должны были возвести большой жилой дом, хозяйственный двор с загонами для скота, теплые зимники. Помимо этого Абай решил строить школу, а пока что привез учеников, детей своих друзей и родственников, которых должен был воспитывать и обучать мулла Кишкене. Они пока размещались в отдельной юрте, но для них строился дом, в котором должны были жить зимою ученики и их наставник. За производством работ следили Ербол и Айгерим, Абай же, наладив дело, полностью ушел в свои книжные занятия. В строительстве школьного дома принимали участие и приехавшие с Абаем дети-школьники, среди них были дети самого Абая от Дильды: Акылбай, Абиш, Гульбадан и еще совсем маленький Магаш.

Абай сидел в юрте, склонившись над книгой, когда с подворья вошли, громко разговаривая, Айгерим, Ербол и мулла Кишкене. Последний удивленно вопрошал, переступая порог:

– О, Аллах всемилостивый! Сегодня, когда закладывали первый камень под ограду двора, с нами не было Абая! Меня это удивляет. Может быть, он нездоров? Хотелось бы узнать, что помешало ему прийти?

Входя в юрту вслед за мужчинами, Айгерим негромко рассмеялась.

– Слава Всевышнему, мой муж пока что вполне здоров, – веселым, мелодичным, молодым голосом отвечала Айгерим. – Но я думаю, что у этого человека на сегодня забот больше, чем у строителей дома, и работа его намного важнее, чем наша! – Сказав это, она любящими глазами посмотрела на Абая.

Абай смущенно улыбнулся на это, затем отложил книгу и стал спрашивать у Ербола и Айгерим, как прошла закладка новой ограды. Выслушав ответы, Абай поздравил их с добрым началом и пожелал, чтобы забор простоял долго. И затем,



ние, чтобы в новом доме ей, верной подруге жизни, и детям их всегда сопутствовало счастье. И затем Абай дозволил себе небольшую вольность в отношении муллы Кишкене, в шутку спросив у него:

– Молдеке, можно ли полагать, что найдется отдельная молитва на случай закладки Айгерим первого камня в Акшоки? И мне хотелось бы знать, что из Корана вы читали сегодня?

Задетый за живое, мулла Кишкене, человек вспыльчивый, сверкнул на Абая своими синими глазами и отвечал, задрвав рыжеватую бородку:

– Вы считаете, конечно, что такой молитвы нет. Но вы должны знать, как должен знать и каждый мусульманин, что в Коране найдется благословение на каждое благое дело, совершаемое правочерными. Я читал «Яразикул гибади», – разве она не к месту?

На что Абай заметил:

– Но ведь, молдеке, эту молитву читают после уборки урожая, перед молотьюбой! Я читал, кажется, об этом в объяснениях по своду «Лаухынама»...

Иронический тон Абая окончательно вывел из себя Кишкене-муллу, он нахмурился и, выкатив синие глаза, молча уставился на дерзкого спорщика. Ерболу не хотелось обижать муллу, человека вспыльчивого и нетерпеливого, но весьма доброго и открытого, поэтому джигит заговорил примирительным тоном:

– Е, Абай, ты что-то придираешься к молдекену. Да одно только его доброе участие и душевное пожелание стоят многого! И он прочитал настоящую суру из Корана, а не бормотал что попало, как это бывает среди темного народа: «Белого барана голова, черного барана голова, а я грешник пред Всевышним». Они думают, что молятся, а какая это молитва? Вот молдекен читал настоящие молитвы, и как еще красиво читал! Нам с Айгерим показалось, что это самая подходящая молитва. И будь она хоть об урожае, хоть о строительстве – иншалла! Это была настоящая молитва!



Так сказал добродушный Ербол, и тем самым всех развеселил, а муллу Кишкене весьма утешил, и задетое его самолюбие утихомирилось.

Тем временем Айгерим развернула дастархан с бахромой на круглом столике, стоявшем посреди юрты. Выглянув из юрты, знаками позвала на помощь молодую свою служанку по имени Злиха, и когда та прибежала, велела ей взболтать шубат и угощать мужчин пенистым кислым верблюжьим молоком. Абай, на время отвлекшийся от радостного свидания с русской книгой, теперь снова вернулся к своему прежнему восторгу от «Дубровского», и бескорыстно захотел поделиться своей радостью с Ерболом и даже с муллой Кишкене.

Степенно пригубливая густой белый прохладный напиток из обливной чаши, Абай стал перелистывать лежавшую перед ним книгу.

– Построить дом – труд тяжкий. Тяжело – убрать урожай и глину месить. Однако немало мучений выпадает и тогда, когда ты никак не можешь одолеть книгу, хотя и бьешься немало времени над тем, чтобы она раскрыла тебе свой тайный смысл. Вот они, Айгерим и Ербол, свидетели того, сколько месяцев просидел я над русскими книгами. Да и вы, молдеке, прекрасно знаете, что я все прошлое лето и всю зиму устремлялся только к одной цели... И только сейчас, друзья мои, я вдруг почувствовал, что достиг ее! Вот и мое завершенное строительство!

Абай смолк, вглядываясь в лица Айгерим и Ербола, словно вдруг засомневавшись, понимают ли самые близкие ему люди то, о чем он говорит. Взволнованный внезапным своим прозрением, захваченный новой большой мыслью, Абай стал говорить, глядя на друга Ербола:

– Вот этот почтенный человек, мулла Кишкене, должен знать... Ученик медресе, усердный шакирд, уже потерял счет времени своей учебы, и в своих повседневных занятиях приобрел много новых знаний, однако неодолимой и беспросветно далекой представляется ему та цель, к которой он стремится.



И вдруг однажды, – как будто широко распахивается перед ним какая-то неведомая до сих пор дверь, шакирд чувствует, что он пришел к цели, и перед ним открылась желанная страна знаний. В ярком озарении необыкновенной радости он все видит и все понимает! И это самая большая радость, самое счастливое мгновение во всей нелегкой, отрешенной жизни шакирда. Такое состояние внезапного озарения опытные муллы-наставники называют словом «муталага», и мне, уважаемый молдеке, шакирду без наставника в школе русского языка, немало пришлось ждать, когда откроется муталага, и вот, наконец, оно открылось! Но это мое озарение совпало как раз с началом строительства школы, и праздник закладки первого камня, дорогие мои Ербол, Айгерим, слился для меня с муталага русского языка, с которым я промучился, вы знаете, немало времени. – Так говорил взволнованный Абай, радостно сверкая черными ясными глазами.

Когда он умолк, Айгерим светло посмотрела на мужа, глубоко понимая и приветствуя его радость. Ответно зажигаясь от него, она вспыхнула своей радостью за любимого, и лицо ее зардело нежным румянцем, в глазах сверкнули слезы счастья. Справившись со своим волнением, Айгерим с тонкой улыбкой, сдержанно молвила:

– Так случилось, что именно сегодня, в день нашего домашнего торжества, вас посетила великая радость! Иншалла! Вам дальнейших удач и многих радостей! – И, вновь наполнив чашу хмельным белым шубатом, правой рукой преподнесла ее мужу, левую прижав к груди. Ербол вслух никак не отозвался на признания Абая, однако по его теплой, тихой улыбке было видно, что он рад за друга, за его успехи.

В отличие от этих двоих, мулла Кишкене вовсе не одобрял и не разделял радости Абая. Довольно сдержанно произнес, выкатывая синие глаза на него:

– Насчет «открытия муталага» скажу следующее. Если бы речь шла о том, что дверь знания распахнулась после чтения



«Мантых», «Гакайыд» или после самостоятельного изучения, без наставлений халфе, хазретов мусульманских книг, таких как «Кафия», «Шарх Габдулла», это великое дело! Но если вы уверяете, что муталага пришло после чтения всяких шытрымытри на русском языке, то и говорить тут не о чем.

Так возмущался мулла Кишкене, и, слушая его, Абай недовольно хмурился, даже вспыхнул в одно мгновение и хотел перебить его: «Постой, мулла!» Но сдержался, выслушал его до конца, посидел какое-то время молча, спокойно попивая шубат. И выдержав достаточную паузу, заговорил веско, основательно, вкладывая в свой голос внушительную твердость.

– Мулла Кишкене, вы тоже, оказывается, не избежали одной беды, которая постигла многих нынешних халфе, хазретов, ишанов и прочих наших мудрецов.

– Абай, если бы вы говорили в пределах исламиата, следуя путями гарабията, я бы спорить с вами не стал. Но вы-то о чем толкуете, о какой книге? Неверные тоже имели испокон веков свои священные книги, но разве правоверные их признавали? В их святынях нет истинного знания, поэтому они и слабы!

Абай понял, что сейчас может начаться настоящее словоблудие, которое приведет лишь к долгому пустопорожнему спору, поэтому он не стал ничего доказывать, а попытался остановить словоохотливого муллу одним неоспоримым доводом.

– Вы сказали, что правоверные не признавали книг неверных, что в них нет истинного знания, ибо они написаны врагами. Но ведь сказано у самого Пророка в «Хадисе»: «Чернила, которыми писал мудрец, дороже крови шахида»¹ Вы утверждаете, что в учениях неверных мудрецов отсутствуют подлинные знания. Скажите мне, что можно узнать об истории и о сотворении мира из книги пророков «Киссауль анбия»? И разве можно узнать о жизни разных племен рода человеческого из «Сорока хадисов», из «Лаухынама», из «Фихкайдани»?

Однако закрыть поток красноречия муллы Кишкене оказалось не так-то просто.

¹ *Шахид* – погибший за веру.



– Так вы, уважаемый, читайте и читайте эти книги! Читайте не отрываясь, читайте с упоением и благоговением! Читайте многие годы – всю жизнь! И в книгах мусульманских мудрецов вы найдете ответы на все свои вопросы!

Пришлось Абаю прибегнуть к более пространным доводам.

– Молдеке, вы меня удивляете! Ведь мусульманские наставники говорят: «Бери истинное знание там, где оно имеется, и у того, кто его имеет». Я тоже немало путешествовал по мирам тех книг, которые вы упоминали, я искал сокровища знаний, что собрали люди разных стран на протяжении многих веков. И мне удивительно слышать от вас то, что вы говорите, молдеке! Были бы вы еще человеком малообразованным, темным, но нет, вы учитель, наставник наших детей! Как же вы можете утверждать, что знания нужно искать только в одном направлении, только на одной дороге, не сворачивая никуда в сторону! Что до них можно дойти, перейдя только через единственный перевал. Ведь ученые люди говорят, что путь знания бесконечен, и царство знания безгранично. И разве мудрецы мусульманского мира не учились у наставников всего человеческого мира – Сократа, Платона, Аристотеля? А ведь никто из них не был правоверным. Но покончим с этим! Перед вами, дорогой мулла, человек, потративший многие месяцы и годы на поиски всех доступных ему знаний, а вы хватаете его за полу и говорите ему: «Не ищи их слишком далеко, не ходи за ними в ту сторону!» Здесь мы с вами, молдеке, никогда друга друга не поймем. – Абай вновь смолк и о чем-то задумался. Затем продолжил, оживившись: – Да, воистину у каждой жизни имеется своя цель, у каждой судьбы есть ее самая высокая вершина. Я свою цель знаю, а вершина моя еще далеко впереди! – Так завершил Абай свой спор с муллой. Достав табакерку, серебряную с чернью, взял из нее щепоть насыбая и заложил за губу, тем самым давая знать, что разговор закончен.

Ербол до сих пор сидел, не вмешиваясь в спор, и хотя он в книжных премудростях не разбирался, однако своим простым,



ясным умом глубоко понимал правоту Абая. Желая его отвлечь от досадливого разговора с муллой, Ербол решил все свести к шутке и потому ввернул:

– Я человек простой, поэтому так и не разобрался в том, что однажды услышал: «Плохой мулла блудит с хорошей верой». Но я стал замечать, что наши муллы к песням, к искусству народа стали относиться, как иргизбаи и жигитеки нашего Тобыкты к племенам Карабатыр, Анет, Бакен и Борсак – как только они подадут голос, по любому поводу, как наши Майбасар, Такежан, Бейсемби словно звери набрасываются на них. Знать не хотят, правы они или не правы, даже пикнуть им не дадут!

Абай рассмеялся, весьма довольный шуткой Ербола. А тот загибал дальше:

– Думается мне, что наши муллы к русским книгам относятся точно так же, как Майбасар к сыновьям Кулыншака. Таких батыров хочет подмять под себя!

На этот раз засмеялись не только Айгерим и Абай, но и закатилась звонким хохотом румяная пригожая служанка Злиха, помешивавшая ковшиком и разливавшая шубат для гостей. С надменным видом покосившись на нее, мулла счел ниже своего достоинства терпеть насмешки от невежественных людей, встал и молча покинул дом, полный обиды на его хозяев. Однако, разозлившись на них, мулла свою злость затащил в школьную юрту, где его ждали ученики, и устроил там что-то невообразимое, отчего на весь аул разнеслись детские вопли, похожие на блеяние ягнят в пору вечерней дойки овец.

В это время Айгерим, стоя на пороге, всматривалась в степь и, заметив вдали каких-то верховых, об этом сообщила в юрту:

– Кто-то едет. Их двое...

– Может быть, это передовые кочевья, за ними идет какой-нибудь караван? – сделал предположение Ербол, поднимаясь с места и направляясь к выходу.

Айгерим, продолжая всматриваться, негромко говорила, словно рассуждая сама с собою:



– Один из них огромный, ну, прямо больше своей лошади. Кто бы это мог быть? – И тут же переливчато рассмеялась. – Да кто может быть, как не мой собственный кенже-младшенький, великан тобыктинский, наш дорогой Оспан! Конечно, он!

Услышав это, подошел Абай и вслед за Айгерим вышел из юрты.

Отдельной кочевкой, раньше других на месяц покинувший зимник в Жидебае, маленький аул Абая успел соскучиться по своим сородичам. Аулы Кунанбая намеревались эту весеннюю пору, вплоть до появления большой травы на джайлау, провести на низинных пастбищах по берегам реки Корык, здесь, в крае Ащысу, широко раскинувшись вокруг урочища Акшоки.

И пора перекочевки с зимника на весенние пастбища уже настала. Деловитое волнение множества кочевых людей носилось в воздухе. Увидев подъезжающего Оспана, Абай и его аул ожидали услышать новости. Оспан ехал на темно-гнедом коне с нестриженным хвостом до земли. Одежда на молодом бае была не богатая, но самая надежная. Оспан любил одеваться тепло, но в то же время одежда не должна была его стеснять и связывать. На нем был широчайший стеганный кафтан-купи, с толстой подкладкой из верблюжьей шерсти; на ногах огромные сапоги-саптама с войлочными чулками, плотно облегавшие его могучие икры. На голову он нахлобучил, до самых глаз, лохматый тымак из мерлушки. Широкая и толстая одежда делала громадное тело Оспана еще огромнее, и он выглядел настоящим великаном. Пожалуй, сейчас он и был во всем Тобыкты самым могучим батыром. Его ноги свисали далеко ниже брюха рослого темно-гнедого жеребца. Но, несмотря на такое запоминающееся необычное обличье, Абай каждый раз после долгих разлук не сразу узнавал Оспана: что-то в нем всегда неуловимо менялось, хотя богатырские размеры оставались неизменными. Абай понимал, что толстый Оспан обладает довольно тонкой душой, и что каждое новое душевное состояние способно сильно изменять его и внешне.



Аул на выселках давно не имел новостей от родичей, и потому люди шумной веселой толпой выбежали навстречу Оспану и его спутнику, джигиту Дархану, которых увидели издали. Айгерим, приблизившись к деверю, взяла коня под уздцы и, коротко приветствовав его, с улыбкой пошутила:

– Что-то Кенжем¹ устал за ночь в дороге? Все силы порастерял?

Абай, едва успев поздороваться с Оспаном, принялся за расспросы:

– Караван выступил? Родители живы-здоровы?

Оспан сообщил, что караван уже в пути, уже миновал урочище Есиркемис на склоне Акшоки, и сегодня должен выйти на Корык и там разбить стан. У вымахавшего с доброго великана, только в этом году перешагнувшего двадцатилетие, рано возмужавшего Оспана росли бурые усы и борода. Однако эти мужские украшения на лице джигита пока что были весьма жидковаты, и каждый волос, сравнимый с конским, торчал сам по себе, как ему заблагорассудится.

Глаза Оспана были красными, воспаленными, словно от постоянного недосыпания. В лице его было сходство с Абаем, но оно выглядело более жестким, суровым, и цвет лица был смуглее, чем у старшего брата. Под бугроватым и складчатым лбом, под бровями, надглазья нависали мясистым валиком.

Тихим голосом отдавая распоряжения Злихе, Айгерим принялась хлопотать над приуготовлением обеденной трапезы, но вначале велела подать чай. Однако Оспан, заметив эту хозяйственную суету, махнул рукою и сказал Айгерим, чтобы она прекратила хлопоты. И теперь все заметили, что он даже пояса не распустил, сидит на торе угрюмый и молчаливый. Вскоре он сообщил плохую новость. самый любимый внук Кунанбая, сын Такежана и Каражан, двенадцатилетний мальчик Макулбай был болен еще с ранней весны, – вчера ночью он умер. Поэтому

¹ *Кенжем* – малыш, меньшей в семье. По обычаю, сноха вступая в семью мужа, дает имена новым родственникам.



аулы Иргизбая, находившиеся на дорогах, в кочевых караванах, держали траур и оплакивали умершее дитя.

Абай догадывался о подлинных причинах столь сильной подавленности Оспана. У того не было своих детей, хотя женат был уже семь лет, и смерть маленького племянника, хрупкого мальчика, больно ударила по его сердцу. Большой близости между Оспаном и Такежаном никогда не было, но Абай видел сейчас подлинное горе своего младшего брата и разделял его чувства – траурную скорбь по усопшему маленькому родственнику. И самого Абая переполняло чувство братской любви к Оспану, который совсем еще, казалось, недавно был таким же маленьким мальчишкой, отъявленным озорником и несусветным буяном.

Абай не стал докучать Оспану излишними расспросами. Молча попив прохладного шубата и утолив жажду, Оспан и Дархан немного оживились и стали расспрашивать, как идет строительство нового зимника и подворья. Но от Абая услышать что-нибудь толковое было невозможно, и тогда, поняв это, Оспан обратился с вопросами к Ерболу и Айгерим.

И вообще, старшему брату куда как было далеко до младшего в делах хозяйских! Оспан оказался несравнимо проворнее и прилежнее Абая в делах скотоводческих, а также в обиходных по всему огромному отцовскому хозяйству и по руководству делами Большого дома своих престарелых матерей.

Оспан всегда знал, что старший брат-книгочей не очень-то привержен к делам хозяйским, обыденным, поэтому старался во всем ему помогать с этой стороны. Так, именно Оспан, не кто-нибудь другой, поддержал его желание построиться отдельно и зажить своим домом в Акшоке. Оспан нашел для него строителей, добросовестных и умелых, мастеров своего дела, Оспан обеспечил их строительными материалами и инструментом. Даже продукты питания для них – чай, мука, мясо – все было им заготовлено и отправлено ранней весной в урочище Акшоки, когда Абай со своим небольшим аулом



откочевал туда. Однако уже после того как Абай уехал, Оспан шутил в кругу домочадцев и перед старыми матерями:

– Ну вот, Абай взялся за непосильное для себя дело! Хочет построить дом – ну прямо-таки истинный хозяин, деловой человек! Однако как бы не наворотил всяких чудес наш Абай! Я ему говорил: «Ты паси слова, а я буду пасти стада!» Но он уперся на своем – хочет строить дом! Ладно, посмотрим, что у него из этого получится!

Теперь, когда речь зашла о делах строительных, из двух братьев старшим казался Оспан, который с деловитым видом спрашивал, выслушивал, снова спрашивал:

– Сколько ям глины намесили? Сколько тысяч штук самана налепили? Какую взяли формовку, на сколько ячеек сырых кирпичей? И если посчитать на каждого работника, – сколько штук кирпича приходится на самого расторопного джигита? На каких лесах поднимались стены?

Ни на один из этих вопросов Абай не смог ответить. Он только с растерянным видом поглядывал на Ербола и Айгерим. Оспан был не в том состоянии духа, чтобы осудить или поднять на смех безответственность старшего брата. Понимая, что Абай не ломал спины и не особенно напрягал мозги, занимаясь строительством, Оспан лишь едва заметно улыбнулся и потом стал обсуждать дело с Ерболом и Айгерим.

Она, услышав о кончине ребенка, мальчика Макулбая, которого часто видела у его бабушек в Большом доме, сильно опечалилась и плакала, но Оспан не счел нужным учитывать ее состояние и, не обращая внимания на ее слезы, принуждал ее отвечать на свои вопросы. После небольшого совещания Оспан вознамерился сам посетить строительство и попросил Ербола и Айгерим сопроводить его туда. Когда они, следуя впереди, вышли из юрты, Оспан задержался у двери и, обернувшись к Абаю, который оставался дома, сказал после небольшой паузы:

– Абай, вели седлать себе коня, поедем со мной в сторону урочища Корык. Там сейчас Большой аул. Поприветствуешь



отца, почитаешь Коран в доме Такежана. Но, кроме этих дел, у меня есть и кое-что другое, как раз об этом мне обязательно надо сказать тебе. Словом, нам надо поехать вместе, поговорим дорогой.

Абай испытующим взором взгляделся в посуровевшее лицо Оспана и вдруг понял, что произошло нечто весьма серьезное, и что именно это явилось причиной столь сильной подавленности и мрачности Оспана.

– Что, опять какие-нибудь распри, тяжбы? – спросил Абай.

Оспан, насупившись, ничего не ответил и вышел из юрты.

Отправились в сторону Корука Абай, Оспан, с ним Дархан и мулла Кишкене, приглашенный матерью Улжан. Улжан хотела, чтобы он перевел и прочел поминальные молитвы из Корана по кончине безгрешного ребенка. И по причине того, что рядом ехали посторонние люди, Оспан не стал говорить с Абаем о своем деле, предпочитая обсуждать строительство, неторопливо пробрасывая в путевую беседу мысли о том, каким образом убыстрить ход работ. Потом зашел исконный разговор кочевников о самом насущном – о кормах, о заготовке сена на зиму, о том, что в этих открытых краях, где зимы бывают необычно суровыми и снегу выпадает много, без припасенных заранее кормов можно попасть в большую беду.

Оспан советовал накопить как можно больше сена в богатом урочище Тесипшыккан, совсем недалеко от новостроя Абая, и сделать это до прихода в эти края многочисленных соседей.

– По старой привычке, аулы прикочуют сюда весной со всей своей немалой живностью. Они придут, а потом откочуют на джайлау, а ты ведь хочешь остаться. Я совсем не подумал об этом, занятый делами смерти и похорон мальчика. А то, конечно, не стал бы тесниться к тебе, а откочевал намного дальше, чтобы не мешать твоим стадам.

Абай даже и не задумывался, не вникал в эти сложные хозяйственные дела и был благодарен брату, что тот столь озабочен его предстоящими трудностями.



– Ты рассудил, конечно, верно. Но ведь я не из Котибак и не из рода Анет! Я не могу кричать, как они: «Не смей гнать сюда свой скот, это мое пастбище!» Ты вот что, посоветуйся с матерями, с братьями и, пожалуй, возьми на себя заботу о моем зимнике, айналайын!

Но оказалось, Оспан, заботливый брат, уже все продумал и принял решение и без всякой просьбы Абая.

– Пусть пройдут семидневные поминки, потом я сразу отведу наши аулы подальше. Нынче в Ащысу разлив был широкий, травы везде много. Не беспокойся – отава на Тесипшыккане взойдет быстро, без сена на зиму не останешься!

При выезде из Акшоки повсюду были видны несметные стада пасущегося скота, но нигде не было видно ни отдельно стоящих юрт, ни раскинувшегося станом аула. Теперь же, оказавшись в водоносной долине, на расстоянии в один пробег галопом Абай увидел поставленные одну за другой юрты, количеством около пятнадцати. Ставились еще и другие юрты. Вокруг аулов тесным скоплением паслись стада – отары овец и ягнят, стада коров, верблюды, немало лошадей отдельными табунами. В богатых водой и кормами урочищах скотина паслась степенно, без спешки, не перебегая с места на место в поисках лучшей травы. Она здесь была везде сочной и полновесной, и лошади, коровы, овцы как утыкались носом, словно приклеенные к ней, так и не отрывались от нее, совсем незаметно передвигаясь по поросшей зеленью земле. Так ведет себя скотина, когда попадает на совершенно свежее, не тронутое копытами других животных, тучное пастбище.

Опытные скотоводы, Оспан и Дархан, по одному только виду пасущегося скота могли определить, какова этой весной животворная сила земли в округе Корык.

Эту животворную силу скотина чувствует лучше, чем люди, потому она и прилипает носом к земле, словно клещ, и никак ее не оторвать от обильного тука земного.

– Гляди! Даже не пошевелиятся! – восхитился Дархан.



– Да, красиво едят, – залюбовался и Оспан пасущейся скотиной. – По весне это их любимое место. Посмотри на коров, как они соскучились за зиму по Коруку!

Вскоре среди пасущихся стад все чаще стали попадаться отдельно поставленные юрты или небольшие их скопления в маленьких аулах. Некоторые юрты только начинали возводить: разворачивались и ставились по кругу решетчатые деревянные стены – кереге, затем поднимались шаныраки и устанавливалась подкровельная обрешетка – уык. Эти уыки, покрашенные охрой красного цвета, еще не покрытые сверху войлочными оболочками – туырлыками, четко рисовали остов будущей юрты на фоне изумрудной зелени степных лугов. Так, прямо на глазах, рождались в степи войлочные дома и аулы кочевников.

Вон там, среди многочисленных юрт аула, стоит белый Большой дом Улжан. После его установки и в других соседних аулах стали возводить свои Большие юрты.

Этот многолюдный кочевой стан, возникший как по мановению руки кудесника посреди степи, расположился совсем недалеко от Акшоки, где строился Абай. Путники спустились по ровному изволоку к аулу Улжан, в котором все юрты были уже поставлены. А вокруг Большого аула пятнадцать других аулов в ярмарочном шуме и оживлении возводили свои легкие войлочные дома. Каждый аул состоял из двух частей – на одной стороне стояли красивые белые юрты, на другой теснились серые и черные юрты, также и убогие шалаши, и наспех вырытые землянки.

Абай и его спутники не стали спешиваться у Большой юрты Улжан, сразу проехали к дому Такежана. Его аул располагался рядом. С тех пор как Такежан стал волостным старшиной, он невероятно разбогател и сделался одним из первых владельцев края. Он завел правило кочевать отдельно, широко, шумно, прихватывая в караван и всех «бедных соседей», и всю домаш-



ную службу. Но со смертью мальчика Макулбая его бабушка велела поставить свою юрту рядом с аулом Такежана.

Улжан и другие старшие родственники в эти печальные дни, после потери Такежаном и Каражан их первенца, много времени проводили в их доме. Траур по ребенку изменил отношение окружающих к его родителям, люди стали гораздо мягче и доброжелательнее к ним, сочувствуя их горю. Не только Улжан оплакивала усопшего и успокаивала родителей и проводила обряды поминовения детской души, но и сам Кунанбай, вернувшийся прошлой зимой из хаджа и теперь живущий уединенно, изменив своим суровым отшельническим привычкам, поселился на траурные дни в доме старшего сына.

Абай подъехал к юрте Такежана и коня не привязал. Привязывать коня у дома, в котором умер ребенок, считалось плохой приметой. Абай молча обнялся с братом, стоявшим перед входом в юрту, и затем, следуя обычаю, со скорбным возгласом: «Бауырым! Жеребеночек мой! Жеребеночек ненаглядный!» – со слезами на глазах вступил в дом. Там встретили его причитаниями Каражан и женщины, находившиеся в юрте. Здесь было много людей. Все плакали. Абай и мулла Кишкене обошли, начиная с Каражан, всех старших женщин во главе с байбише Улжан и байбише Айгыз, обнимаясь с ними и совершая поминальный плач. Затем, не доходя до Кунанбая, Каратая и остальных аксакалов, сидевших на торе, вновь прибывшие сели ниже и включились во всеобщий плач тихими, заунывными голосами.

Вскоре всеобщий плач стал утихать и постепенно смолк совсем. Одиноко голосила теперь одна Каражан. Хотя минута была скорбная, и сочувствие к утрате материнской было искренним, но Абай не мог и тут преодолеть неприязни к Каражан. Он впервые видел свою жену плачущей и голосящей, проливающей слезы. Но мужеподобный ее голос, к тому же охрипший от слез, оскорблял слух Абая своим грубым звучанием, к тому же слова траурного плача выдавливала она из себя с мучи-



тельными усилиями, невразумительно. Макулбай был хороший мальчик, дорогой и милый для Абая племянник и братишка, но низкий вой Каражан убил в душе Абая начавшуюся в ней тонкую, пронзительную музыку скорби, и он быстро утер слезы и перестал плакать. После ритуального плача мулла Кишкене приступил к ритуальному же чтению Корана. Он был мастер читки на изящный бухарский манер, читал громко, нараспев, красивым голосом.

Как только зазвучали первые слова из Корана, хаджи Кунанбай прикрыл свой единственный глаз и низко склонил голову, словно погрузившись в дрему. Но тут же, не поднимая головы и не сдвинувшись с места, протянул в сторону от себя руку и резко махнул ею сверху вниз. Это означало: «прекрати» – стесняющей невестке, но та ничего не уразумела и продолжала голосить. Тогда женщины, сидевшие рядом с нею, принялись шикать на нее:

– Тише! Прекрати!

А вездесущая и всенепременная тетушка Калика авторитетно ввернула:

– Не становись поперек Корана!

В ожидании чая и последующей трапезы Абай и Оспан долго просидели в доме Такежана. Обычно сюда собирались люди только для совершения совместных трапез. Но сегодня был хоть и печальный, но необычный для этого дома день. Сидел неподвижно, словно каменная глыба, постаревший, но все еще могучий Кунанбай. Присутствовал здесь и мулла Габитхан, который, положив на шелковую белую подушку Коран, читал из нее суры. На голове его была накручена огромная чалма, на длинном тонком носу сидели очки. Рыжеватая, чуть тронутая сединой борода его сильно разрослась вширь и в длину, выглядел сейчас мулла Габитхан как истовый священнослужитель, преисполненный высокого религиозного рвения. Он читал Коран с большим чувством, иногда закрывал глаза и продолжал чтение, ибо помнил суры наизусть. Кунанбай тихо



сказал несколько слов Кишкене-мулле, и тот кивнул, произвел омовение рук и достал привезенный с собою Коран. Он устроился чуть пониже Габитхана и, сменив его, положив свою книгу на такую же большую белую подушку, как у старшего муллы, начал читать тихим голосом, благопристойно, почти шепотом. В юрте надолго утвердилась тягучая тишина, нарушаемая лишь монотонным голосом Кишкене-муллы. Пристроившись за спиною Абая, его младший брат Оспан откинулся головой на стопку одеял и преспокойно задремал, рукою прикрыв глаза. Абай сидел молча, за все время поминального чтения он и словом не перекинулся с отцом, лишь в самом начале, войдя в дом, он обратил к нему короткую фразу приветствия.

Совершив хадж в продолжение четырех лет, пройдя немислимо длинный путь, Кунанбай вернулся из паломничества в Мекку в конце прошлой зимы. За это время, совершенно поседевший, он стал выглядеть глубоким стариком. Но это был все еще могучий старик, огромное тело его стало костистым, широким, лицо избородили глубокие морщины. В его потускневшем, выцветшем, как руины, облике можно было еще угадать человека великой мощи и напора, каким он был когда-то – властным и жестоким правителем. Теперь на голове его высился остроконечный белый колпак, привезенный из святых мест, на плечи был накинут белый шелковый халат со стеганым воротом, какого не носили тобыктинцы.

О чем бы он теперь ни говорил, голос его звучал негромко, утратив былую властность и силу. И разговоры он вел степенно. Когда сидел напротив Улжан или рядом с Каратаем и беседовал с ними, то казался нынешний Кунанбай человеком из чужедальных стран, выходцем иного рода-племени. Это был человек, напрочь отрешенный от всего мирского, духовный аскет, раскаявшийся во всех грехах и навсегда избравший путь смирения.

Но не только в облиции своем, Кунанбай вернулся из паломничества и внутренне другим человеком. Когда на пути воз-



вращения – еще далеко от Семипалатинска – степь встречала толпами восторженных поклонников нового казахского хаджи, Кунанбай держался скромно, просто, обыденно, ни на минуту не теряя спокойствия и самообладания. И все равно людям, встречавшим его на дальних станциях перед Семипалатинском, он показался человеком, глубоко заглянувшим в свою душу, дабы усовершенствовать ее. Близким своим, родственникам и друзьям – всем, кто поднял радостный шум: «Устроим в честь его возвращения радостный той на всю степь! И в городах, и в аулах!» – Кунанбай сказал очень простые, ясные, ни для кого не обидные слова, которые запрещали им сделать это. Он не стал ночами напролет рассказывать о том, что приходилось ему испытывать на своем пути. И только весенней порой, на одной из важных сходов племени, Кунанбай обнародовал свое главное решение, к которому он пришел по возвращении из хаджа. Он объявил о своем полном отходе от мирских дел и просил родных и друзей, чтобы они освободили его от всех хозяйственных и домашних забот. Оставшееся время жизни он хочет провести в молитвах и размышлениях.

Вернувшись из Мекки, он уединился возле очага Нурганым, за постоянно опущенной занавеской, превратив небольшое пространство юрты в скит отшельника, обитель молитв. Он и спать ложился скрытно от людей. И его заставила прийти в дом сына только смерть одного из маленьких его потомков. Вывести хаджи Кунанбая из его строгого молчания мог только его старинный друг Каратай.

Абай же не пытался заговорить с отцом, зная, что у того нет желания разговаривать с ним. И весь разговор отца сводился к скупой беседе с Каратаем. Этот премудрый старик обладал способностью разговорить кого угодно, и сейчас он сумел расшевелить Кунанбая. Есть такие вопросы, на которые правоверный не может не ответить или хотя бы промолчать, ибо эти вопросы касаются святых дел веры и требуют высшей правдивости перед Создателем от человека.



У хаджи Кунанбая спросили о том, какие захоронения святых известны на землях Мекки и Медины, где он побывал. Он взял в руки четки и, перебирая их, стал отвечать сначала на вопрос, кто из святых мусульманской веры похоронен в Медине. Неторопливо, раздумчиво, он отвечал Каратаю:

– В Медине я посетил могилы Рассулалла, хазретов Абубакира, Гумара и Фатимы. Аллах дозволил мне посетить и могилы хазретов Габбаса, Хамзы и Гусмана.

Каратай продолжал спрашивать с глубоко заинтересованным видом истинного правоверного:

– Кроме упомянутых святых есть ли там могилы кого-либо из учеников Пророка?

На что Кунанбай весьма охотно отвечал:

– Такие могилы есть, и в них покоятся Сагди-бин-Уакас, Габдрахман-бин-Гауф и хазрет Гайша. Эти мазары называются местами упокоения друзей пророка.

При этих словах мулла Габитхан, не поднимая головы от Корана, который он читал про себя, промолвил, как бы ненароком:

– Эти места захоронений по-арабски называются Гашура и Мубашшара.

Кунанбай чуть повернулся в сторону Габитхана и склонил голову в знак почтения:

– Вы правы, мулла, но я давал разъяснения на своем языке.

Тут Кунанбай уже сам, не ожидая никаких вопросов, стал рассказывать о своем путешествии в Мекку и Медину. Рассказал, как тринадцать дней ехал на верблюде по пустыне, прибившись к чужому каравану, который вышел из города Шам. С подробностями поведал, на каком месте он облачился в одежду паломника – ихрам, прежде чем войти в Мекку. И о том поведал, как поднимался на священную гору Арафат, сколько намазов совершил, попав внутрь храма у Каабы. Вспомнил о том, что, покидая Мекку, вышел из священного города пешком,



также вспомнил, через какие испытания пришлось пройти на обратном пути.

По всему видно было, что Кунанбай, намолчавшись в своем затворничестве, с удовольствием разговаривает с Каратаем. И в дальнейшем, за чаем и за обеденной трапезой, хаджи Кунанбай оказывал Каратаю особые знаки внимания. Когда Каратай вышел из юрты, хаджи обратился к Улжан и уважительно молвил:

– Нет среди наших неграмотных казахов другого такого сведущего и умного человека, как наш Каратай-ага. Все, что я увидел своими глазами и запомнил, то самое как будто и он видел, сам побывал там! Не удивительное ли дело?

– Да будет ему удача во всем! – воскликнула Улжан. – Сегодня этот достойный человек и мне принес большую пользу! Ведь он заставил вас разговориться, и вы рассказали о многом, о чем до сих пор не поведали нам ни слова! Вы столько увидели, столько узнали, и до сих пор не пожелали поделиться этим с нами. Вы спрятали все эти сокровища в кладе своего молчания! А ведь Каратай и вас облегчил, словно тюк развязал с залежалым товаром! – Так сказала Улжан, и ее слова, как всегда, очень оказались метки и уместны.

И Кунанбай, и Абай поняли, что в шуточной форме Улжан дозволила себе небольшую колкость в сторону мужа. Хаджи Кунанбай нашел слова супруги весьма легкомысленными, потому и слегка нахмурился: «Женщина всегда остается женщиной, при ней святое надо хранить в самом глубоком тайнике души!» И со стуком перебирая четки, он с величественным видом отвернулся от супруги, стал шептать молитву, провел ладонями по лицу. Абай посмотрел на мать, посмотрел на отца. Сравнив его недавние сухие, начетнические рассказы с живой, остроумной речью Улжан, он в душе своей пожалел отца-хаджи. Он понял, к какой пустоте пришел на самом-то деле к закату своему Кунанбай. Немощная, костлявая старость и косность ума завладели им. Нет, у Абая и в мыслях нет жела-



ния посмеяться над дряхлостью отца. Ему стало невыносимо жаль этого старика, к которому он не испытывал уже горячих сыновних чувств и который сам был чужд всяких родственных привязанностей и не способен был увидеть свое человеческое поражение, даже став святым хаджи.

Четыре года волочил он свои старые кости по белу свету, объездил тридевять земель – и все для того, чтобы потом с важностью рассказывать: «Там мазар такого-то святого. А в другом месте мазары сподвижников Пророка». И с этими могильными знаниями он затворился в юрте, сел за пологом, отвернулся от всех любимых и любящих его людей... О, это ли не поражение? Так с горечью думал Абай, невесело глядя на отца.

Абай и Оспан выехали от своего брата Такежана к вечеру, когда солнце уже клонилось к закату. Братья не договаривались, где будут останавливаться на ночлег, просто сели на коней и свободно поехали вдоль реки по бескрайней степи. Дорогу выбирал Оспан, им пришлось объезжать длинные косяки лошадей, стекавших по склонам холмов от новосельных аулов к водою на реке, и видевшие братьев издали люди полагали, наверное, что два джигита выехали на прогулку. Абай помнил и ждал рассказа о какой-то новости, что обещал ему Оспан при выезде из Акшоки, но тот пока ехал молча.

Сзади раздался топот быстро скачущей лошади, их нагонял юный Шаке, сын умершего старшего брата Кудайберды. С наскоку проскочив мимо них, племянник стал окорачивать и заворачивать коня, поджидая взрослых. Лошадка под ним была серая, резвая, красивая, сам юный Шаке тоже был красив в своем легком светлом чапане, в черном мерлушковом тымаке с верхом из желтого шелка. Излучающий радость и молодое здоровье, широко улыбаясь, белолицый и румяный Шаке не знал, куда выплеснуть свою неумную силу и доброту. Отдав учтивый салем дядьям, сияя своей белозубой улыбкой, джигит похвастался:



– Вот, догнал вас, чтобы показать охотничьего ястреба! Абай-ага, проедемте со мной вдоль берега, посмотрите его в деле! Обещаю вам – оба приторочите к седлам по утке!

Абай заинтересованно разглядывал ловчего ястреба. Под лучами вечернего солнца у него на груди, на изгибах крыл перья отсверкивали бронзой. Золотоглазая птица, чуть раскрыв клюв, метнула на человека голодный, хищный взор. Абай с удовольствием взял на рукав чапана красивого ястреба и опытной рукой стал разглаживать перья на его голове, спине, ощупывал мышцы на крыльях, на ногах... И убедился, что ловчая птица находится в отличном состоянии.

– Так и рвется в бой, готов броситься на любую добычу! Вот это ястреб! – похвалил Абай. – Кто его обучил?

– Я сам его обучал, Абеке! – сияя, ответил Шаке. – Я умею! Благодарение Аллаху, я научился ловчему делу сам! Могу обучить ястреба, сокола.

Удивленный Абай заметил:

– Ведь это сложное дело! Настоящее искусство. Соколиная охота – большое искусство! Тут нужен упорный труд. Ты настоящий азамат, мальчик мой. А теперь едем! Показывай свое искусство!

Пришпорив лошадей, братья поскакали резвой рысью. Абай сам был большим любителем охоты с ловчей птицей. Серебристая кобылка юного Шаке, чутко слушаясь повода, проворно выскочила вперед и ровным ходом понеслась к берегу широкой речной заводи, покрытой камышами. Над просторной заводью со свистом крыл пролетали стаи уток, то поднимаясь высоко, то стелясь над самыми камышами. Утки были самые разные – и серокрылые поганки, и попарно летающие шилохвости, мелкие нырки, большие кряквы и варнавки. Еще издали братья заметили густое мельтешение птиц над заводью, но, подъехав ближе, не увидели ни одной птицы. Не видел дичи и сам юный охотник. И тут его ястреб, сидевший на седле под его рукою, стал грудью ударять в эту руку, нетерпеливо прося скорее вы-



пустить его. Шаке тотчас остановил коня и стал оглядываться вокруг, но по-прежнему не видел ни одной утки – ни плавающей по воде, ни взлетающей над ней. И тогда Абай, подъехавший близко и заметивший беспокойство ястреба, вскричал нетерпеливо:

– Отпускай скорее! Он сам видит!

Слова подействовали, как резкая команда. Серый ястреб, соскользнув с руки охотника, нырнул вниз и пошел над самой землей, вскоре исчез с глаз, но уже вновь появился у другого берега реки, которую незаметно перелетел за одно мгновение. Взмахивая часто-часто остроконечными крыльями, летел извилисто, над самой водой – и вскоре вновь пропал из виду. Словно замороженные, охотники следили за его вольным поиском. «Где-нибудь притаился» – подумали они, но в то же мгновение ястреб появился на самой середине реки, резко взмыл вверх и, сверкнув бронзовой грудью, сделал горку и стрелой пошел вниз. И тут крылатые толпы перепуганных птиц взмыли над водой и стали рассеиваться во все стороны, спасаясь от падающего на них хищника.

Там, куда он упал, начался невероятный птичий гвалт, гомон, переполох, со свистом крыл разлетелись во все стороны, словно подброшенные взрывом, множество уток и гусей.

Охотники, не мешкая, во весь опор понеслись в ту сторону. Первым подоспел юный Шаке, за ним Абай и Оспан, – и увидели они бесподобную картину небывалого сражения!

Ястреб оказался между двух крупных гусей и сражался сразу с обоими – только пух и перья разлетались над местом сражения. Ястребу приходилось нелегко – гуси бились насмерть, спасая свою жизнь и свою семью, ястреб закогтил гусыню и, не сумев сразу поднять ее в воздух, ехал на ней, она же, беспорядочно колотя крыльями по воде и издавая страшный гогот, наворачивала по воде широкие круги. Здоровенный гусь летал над ними, на мгновение зависал на месте, загребая воздух широко распахнутыми крыльями, и старался достать ястреба



своим тяжелым клювом. Словно гусь этот был сам ловчей птицей, вновь и вновь поднимался в воздух, делал круги и падал сверху на ястреба, сидевшего на спине его раненой, беспорядочно колотившей крыльями по воде, обреченной подруги.

То была битва за жизнь, короткая, жестокая, беспощадная, быстро меняющая направление и ход боя. В предзакатных лучах солнца перья гусей вспыхнули, как розоватое пламя, и ястреб, словно кусок синей стали, упал в полыхающий горн этого пламени. Смеясь и радуясь необыкновенному охотничьему зрелищу, Абай подогнал коня поближе и прыгнул прямо на дно мелководья. Побежал по речной кромке, разбрызгивая воду. Ибо Шаке нуждался в подмоге, мечась из стороны в сторону и не представляя себе, каким образом можно дотянуться до гусей и помочь своему ястребу, ведущему с ними бой на воде и в воздухе. Наконец ястреб жестокими ударами кривого клюва добил гусыню, взлетел вверх и схватился с гусакком, который не отступил и продолжал сверху наседать на ястреба, нанося ему ощутимые удары. Ястреб на лету извернулся и правой лапой нанес удар по шее, затем с громким всплеском сбросил гуся в воду и, словно желая отомстить ему, опустился на него, перевернул красными лапами вверх и начал топтать, бить его, молотить клювом, словно джигит, выколачивающий пыль из своего тымака.

Рядом плавала, погрузив шею в воду, туша убитой гусыни.

Возбужденный, чуть ли не перепуганный, Шаке бегал по берегу взад и вперед с криком: «О, аруахи!» Но в следующий миг гусак, лежавший в воде под ястребом, вдруг вырвался из-под него и, весь встрепанный, с оборванными перьями, словно ошипанный наполовину, рванулся по воде в сторону, стараясь уйти на глубину. И тут молодой джигит кинулся в воду и, весь вытянувшись, достал-таки камчой гусака по его вытянутой шее.

Такого еще никто из троих не видел за все свои охоты. Не бывало такого, чтобы ловчая птица за один вылет добыла



сразу двух крупных гусей! Но как заядлый охотник, полный всяких суеверий, Шаке не стал распространяться об этом и чрезмерно радоваться, чтобы не было «сглазу», и быстренько приторочил добытых гусей к седлам своих дядьев – агатаев. Он лишь отрезал у гуся, отданного Оспану, голову, – вскрыв череп, посыпал туда сахаром, и этим кормом попотчевал охотничьего ястреба.

Дав немного поостынуть возбужденному ястребу, Шаке вскочил на серую кобылку. Охота продолжилась. Недавно всполошенные птицы отлетели недалеко. Труся небыстрой рысью вдоль реки, охотники вскоре увидели на открытой воде стаю крупных уток. Пришпорив лошадь, Шаке понесся в их сторону, одновременно откидываясь на спину и далеко назад занося руку, на которой сидел ястреб. И когда утки шумно взлетели, всей стаей разом, охотник распрямился, как лук, и пустил ястреба с близкого расстояния на дичь. В броске ястреб не сразу раскрыл крылья, пролетел вперед, плотно прижав их к телу, и лишь секунду спустя взмахнул ими и как молния устремился вперед.

Абай так и ахнул от восхищения.

– Прекрасный бросок, мастерская рука! – восторженно вскричал он мальчишеским голосом.

Пустив птицу, Шаке рукояткой сложенной камчи стал бить по барабанчику, привязанному к седлу. Напуганные шумом скачущих лошадей, утки поднялись на крыло и низко полетели над водой, а частый грохот охотничьего барабана заставил их взмыть вверх, в заревое небо. И в это время ястреб стремительно нагнал их и атаковал снизу. Словно молния он ударил по синегрудому селезню, который, чуя смерть, пытался уйти от нее и взмыл над всей утиной стаей, опережая всех. Но удар ястреба был страшен, искусен и неотвратим: он перевернулся в полете вверх ногами, шумно сшибся с добычей и закогтил селезня за его зоб. В следующий миг, пролетая трепещущим комом, две птицы словно поменялись в воздухе местами, и



уже серый ястреб оказался сверху синегрудого желтоногого селезня. Плавный полет спаренных насмерть птиц замедлился. Держа убитую утку вверх ногами, ухватив ее лапами за зоб, ястреб тяжело летел по пологой наклонной в сторону берега, неотвратимо снижаясь. Подлетев к лужайке с ровной зеленой травой, ловчая птица с добычей села на нее – прямо на пути приближавшихся всадников.

Бесподобный охотничий бой птиц безумно захватил Абая, он скакал, с развевающимися полами чапана, выкрикивая что-то невразумительное и восторженное. Последний убой дичи в воздухе, на резком подлете снизу, особенно восхитил Абая, по красоте и безупречности исполнения он нашел его более захватывающим, чем даже добычу двух гусей за один вылет ястреба. И Абай долго не мог успокоиться, обсуждая достоинства увиденных охот:

– Что за ястреб! Бесподобная птица! Что за выучка! Уа! Одно удовольствие смотреть на это! – без конца расхваливал он ловчего ястреба. – Ну а тебя, карагым, я и не знаю, как расхвалить! – обратился он к Шаке. – Не думал я, что ты такой великий мастер! Пусть все охотники учатся у тебя! Ты теперь настоящий джигит и кусбеги!

Оспан всю охоту провел молча, не зажигаясь азартом, что было для него необычным. Лишь в последней скачке – к севшему на траву ястребу – приотставший Оспан, подъезжая к крутившимся на конях охотникам, вдруг оглушительно расхохотался, откидываясь своим великаньим телом на круп лошади. Было ясно, что он смеется над забавным проявлением детского азарта у всегда степенного, несуетного Абая. Как будто и они поменялись местами: рассудительный, спокойный Абай и азартный, беспокойный Оспан.

Но, как заметил Абай, достойнее всех вел себя их молоденький племянник Шаке: может быть, оттого что для бывшего охотника, каким он был, эти охоты не были чем-то особенными,

¹ *Кусбеги* – мастер натаски ловчей птицы.



но белолицый нарядный джигит не потерял ни спокойствия духа, ни ясности на своем юном челе. И Абай должным образом оценил подобное сдержанное поведение племянника.

После смерти Кудайберды его сыновья стали предметом особых забот Абая, он их любил больше всех в толпе своих многочисленных родственников. Свои заботы и внимание к ним он старался проявлять с таким же отцовским рвением, как и к своим собственным сыновьям. И здесь, на ястребиной охоте, он испытал по отношению к молодому беркутчи поистине отцовскую гордость.

Когда все трое уже были в седлах и собирались распротиться, из ближнего новосельного аула подскакал к ним мальчик, оказалось, сын Абая от Дильды – Акылбай. Он был светлолицый, русоволосый, как мать, но чертами лица пошел в Абая. Первенец у совсем молодого отца, Акылбай вырос без него, воспитывался сначала у бабушек, затем в доме Нурганым у деда, и теперь смотрелся уже почти юношей. Акылбай подлетел на всем скаку, лихо осадил коня, поприветствовал Оспана и, широко улыбаясь, обратился к Шаке:

– Олжа, олжа!¹ С добычей! Меня послала ани-апа, увидела, что вы охотитесь, просила олжу прислать в наш аул. Шаке-ага, приторочь к моему седлу всю вашу добычу!

Темно-гнедой конь его украшен султаном из перьев филина. Развернув и подставив его боком к охотникам, Акылбай с улыбкой стал ожидать, чтобы они исполнили его просьбу. Конская узда, седло на лошади Акылбая покрыты чеканным серебром. Шапочка на нем соболья, одет он в зеленый бархатный камзол, многочисленные пуговицы на котором из чистого серебра. Перепоясан широким ремнем, разукрашенным драгоценными камнями и золотыми бляшками. Вид у мальчика был праздничный, щегольской, нарядный, словно у какой-нибудь избалованной красавицы из богатого дома. Так одела его младшая жена Кунанбая, Нурганым, в доме которой он жил

¹ Олжа – добыча.



и воспитывался. Ани-апа, от имени которой изложил просьбу об олже улыбающийся мальчик, была ее старшей сестрой, она сейчас жила в одном ауле с Нурганым.

Шаке, тоже улыбаясь, уже протянул было руку, с которой тяжело свисал крупный красивый селезень, желая приторочить к седлу мальчика свою добычу, как вдруг Оспан рявкнул сердитым голосом:

– Нет олжи ни для ани-апа, ни для Нурганым! Ни даже крыла утки не получают они!

По нешуточному тону и свирепому виду Оспана его спутники поняли, что за его словами кроется что-то серьезное, мало приятное. Поэтому возражать Оспану или расспрашивать не стали. Охотничью добычу Акылбай не получил. Он весь вспыхнул, слезы обиды вскипели в его глазах. Рванув повод и повернув коня на Оспана, мальчик дрожащим голосом крикнул:

– Ну и не надо! Апырай, какой вы жадный, оказывается, Оспан-ага!

И, рванув повод в другую сторону, мальчик собирался ускориться назад, но тут Абай удержал его своим возгласом:

– Стой! Когда приехал из Акшока? Зачем приехал?

– Мы все приехали, – был ответ. – Абиш, Магаш, я. Сегодня в полдень приехали. За нами Нурганым-апа присылала конную повозку. – Сказав это, мальчик с места галопом припустил к видневшимся невдалеке белым юртам.

Так как Абай был старше своего первенца всего на семнадцать лет, и тот рос с младенческого возраста в доме деда, Акылбай не признавал отца и не испытывал к нему сыновних чувств. Дед и его младшая жена баловали мальчика, они и были для него отцом и матерью, и рос Акылбай своенравным, себялюбивым ребенком. В Абае также не проснулось к нему отцовских чувств, скорее, он воспринимал его как младшего брата, просто близкого родственника...

То ли оттого, что ему резко не понравились внешний вид и поведение Акылбая, то ли по какой другой причине, Абай вдруг нахмурился, молча стал заворачивать коня, попрощался с Шаке



и поехал в сторону своего аула в Акшоки. Шаке не терпелось вновь вернуться к охоте, и он поскакал вниз по реке, готовясь в любой миг бросить в воздух еще разгоряченного ловчего ястреба.

Оспан на быстром своем иноходце догнал старшего брата, поехал с ним рядом. Абай холодно взглянул на него, выдержал гневную паузу, затем принялся ругать младшего брата.

– Что за пожар перебросился в твою душу, откуда? Почему так недобро вел себя перед детьми? Или тебя душит зависть, что своих детей нет?! Отвечай немедленно!

Сегодня с самого утра Оспан вел себя на равных с Абаем, и даже кое в чем поучал его, делал замечания. А сейчас, когда Абай не на шутку рассердился, вся самоуверенность мгновенно слетела с него, и стал великан Оспан покорен и тих перед любимым старшим братом. Выждав время, он миролюбивым тоном молвил:

– Абай, мой гнев перед детьми был, возможно, неуместен. Наверное, был неправ я перед детьми. Но ты не знаешь, почему это я потерял выдержку и сорвался. Весь день хотел оказаться с тобой наедине и все рассказать тебе. Вчера и сегодня хожу с такой мукой на сердце, будто меня убили из засады враги, и я уже не я, а собственный призрак с неутоленным чувством мести в душе! Брат, мы, дети Кунанбая, сегодня стоим на пороге большой беды, накануне большого позора.

– Какая беда? Что за позор? – спросил Абай, резко натянул повод и остановил коня. – Ты о чем это? Говори скорей!

Он тревожно уставился в глаза брата, захваченный мгновенным предчувствием чего-то очень плохого. И в ответ громадный Оспан, весь поникший, опустил голову и, уставясь исподлобья на Абая хмурыми глазами, в которых пробегали красноватые огни отраженной вечерней зари, словно сполохи гнева, сказал удрученно:

– Позор мы терпим от Нурганым. Что ты скажешь на то, что вот уже три дня в доме твоего отца, принятый как гость его младшей токал, валяется на его постели наш друг Базаралы?



На святой, чистой постели нашего отца! Вот это и убило меня. Об их шашнях я знаю давно, но никак не решался сказать тебе. А теперь вот говорю все без утайки. У меня больше нет никого на свете, кому я мог бы решиться открыть это. Что я должен сделать, брат? Может быть, этой ночью, пока отец находится в траурной юрте, мне убить этих двух бесстыдников, повесить на шаныраке ее дома?

У Абая пресеклось дыхание, он пошатнулся в седле, словно ему выстрелили в грудь, дрожь ужаса потрясла его, из-под ног словно ушли стремяна. Но в следующий миг взорвался в нем страшный гнев, переполнил все его существо, глаза выкатились, налились кровью, и он рявкнул хриплым голосом:

– Замолчи! Не смей! Ты не честь отца хочешь отстоять, а хамство свое показать! Тупость свою, отсталость свою явить перед людьми! Как ты смеешь даже заикнуться об этом? Попробуй только хоть какие-нибудь учинить безобразия, я тебя самого повешу на том же шаныраке! Замок на твой рот, и кандалы на твои руки! Пикнуть не смей! Ты должен отца покоить на торе, а ты толкаешь его в могилу! Хочешь ославить его на весь мир? Или у тебя, может быть, задумана месть против отца, и ты хочешь покончить с ним, предав его позору? Усмири себя и ни слова об этом! – Так грозно приказал Абай брату и, покинув его, стремительно погнал иноходца в сторону своего аула.

Окрестная холмистая степь вся была залита кровавым светом вечерней зари. В безоблачном небе громадное красное солнце грузно осело, коснулось края земли, зажигая его раскаленным огнем. У Абая, одиноко едущего на коне, бушевал такой же огонь в груди. Он задыхался. Он смертельно ненавидел Нурганым, но был разгневан и угнетен тупой злобой Оспана, готового не посчитаться жизнью и честью отца ради того, чтобы постоять за свою, сыновнюю, честь. И невероятно больно ранило Абая то, что Базаралы, которого он знал как одного из самых достойных и славных казахов, кого он любил и кем дорожил больше всех, вдруг оказался бесконечно чуждым и враждебным для него человеком!



Какая тяжесть, какой стыд! Всюду ненависть, коварство, ложь и предательство. Поруганная совесть, стыдливая жалость. Все эти дьявольские посылы обрушились на него сразу, словно удары острой бритвы. Абай потерял представление, зачем живет, куда едет, о чем он будет говорить с людьми, встретив их на пути. В глазах возникал Базаралы, затем вспоминался Дубровский, повесть о котором он дочитал сегодня утром. И один за другим представали перед его внутренним взором несчастные родичи из его кочевого народа – Кунанбай и Божей, Такежан и Балагаз, Оралбай и Керимбала – жертвы неизбывного зла, что повторяется в степи из поколения в поколение.

Он подумал о родичах Базаралы, которые постоянно испытывали на себе унижение чести и достоинства со стороны рода и потомков Кунанбая, точно так же, как и Дубровский-отец со стороны Троекурова, который в конце концов и сжил со света своего соседа и старого друга. Тяжесть роковых тайн Владимира Дубровского легла на сердце Абая, и он думал о том, что вместо спасительной любви Маши Владимир нашел в бушующем пожаре отмщение, нашел и все ответы на вопросы своего честного сердца.

Абай подстегнул камчой рыжего иноходца, словно желая подогнать ход своих мыслей, которые привели бы его к верному решению, к тому, чтобы найти выход из создавшейся ловушки жизни. Зловещая новость, которую узнал он, полностью вывела его из душевного равновесия. На весах его души были на одной чаше Кунанбай, Нурганым, Базаралы, на другой чаше – Троекуров, Владимир Дубровский, Маша Троекурова. Весы эти покачивались, не сваливаясь окончательно ни на одну сторону. Так, впервые для Абая, правда искусства предстала равной жестокой и беспощадной правде жизни.

В свой аул Абай подъехал в глубоких сумерках. Людей снаружи юрт уже не было видно. Не прибежали навстречу дети как обычно. С отъездом муллы в Корык, в траурный аул, детей из школы тоже увезли туда их родители, участвующие



на похоронах и на молебнах по усопшему сыну Такежана. Строительные рабочие из «соседей», похоже, подались также туда, чтобы встретиться там со своими родичами. Подъехав на мягких переступах шагом идущего коня, Абай спешил за юртой и, привязав его, пошел в обход дома к двери.

Тут раздалась внутри юрты чудно исполняемая красивая песня. Услышав ее, услышав голос, Абай решил не прерывать пения и, подойдя к двери, присел на землю и стал слушать. Никто в доме не заметил его появления, только одна лишь Злиха, хлопотавшая у наружного земляного очага, увидела его и подбежала, желая открыть ему дверь. Но Абай тихо подал ей знак, чтобы она не шумела, подошла к нему.

– Злиха! Не утруждай себя. В дом сама тоже не заходи. Айгерим поет красивую песню, пожалуй, не будем ее прерывать, Злиха. Лучше послушаем! – шепотом произнес Абай.

– Но в юрте нет света! Пойду, зажгу лампу, – тихо ответила Злиха.

– И этого не стоит делать, айналайын! Испортишь только песню!

Злиха беззвучно засмеялась, в полутьме сверкнули ее белые, крупные, чудесные зубы. Молодая служанка поняла его настроение и, тихо отступив, растворилась во мгле сумерек. И вскоре ее силуэт мелькнул перед открытым пламенем земляного очага.

Абай же, сняв с головы тымак, шире распахнув под чапаном ворот белой рубахи, подставил лицо прохладному степному ветерку и, умиротворенный, счастливый, стал слушать песню Айгерим.

Она пела над своим маленьким первенцем: вместе с ее пением слышен был лепет ребенка. Потом он затих, видимо, дитя уснуло.

Айгерим пела песню Биржана «Карагоз», с нежной, прозрачной мелодией. В таинственной предночной тишине, в которую погружался уходящий день, звучала тихая песня грусти и печали. Айгерим пела не в полный голос, и так ее ис-



полнение раскрывало особенные, ранее не слышанные Абаем музыкальные богатства.

*Черноглазая красавица моя
Остается там, далеко...
Если ей без меня легко,
Что скажу, безутешный, я?*

Айгерим пела нежно, сердечно, отдельные строчки она сегодня исполнила, чуть изменив, и в слова припева вложила не только свою сокровенную сердечную тоску, но и сегодняшнюю тоску и тревогу Абая: его любимая жена, казалось, удивительным образом передавала все самые глубокие, тайно хранимые чувства его души.

После посещения сэре Биржана разнеслась по всей Арке молва об Айгерим, жене Абая, как о необыкновенной, большой певице, живущей в роду Иргизбай. Но в самом ауле Кунанбая эта слава воспринималась как нечто порочащее высокое достоинство богатого аула.

По возвращении Кунанбая из Мекки стали говорить о недопустимости того, чтобы коснулись ушей хаджи слухи, что одна из его невесток распевает песни среди акынов, – Кунанбай запретил в своих аулах всякие легкомысленные игры и развлечения. И от злых козней Дильды разошлось повсюду, среди многочисленных келин и золовок, мнение, что Абай попустительствует Айгерим, позволяя ей петь. И если случалось, что, оставаясь вдвоем, она, по просьбе Абая, что-нибудь пела для него, об этом начинали судачить по всему аулу как о безнаказанном зле – и при этом опять обвиняли Айгерим.

Поэтому любимое искусство пения, к которому она чувствовала истинное призвание, после замужества в род Иргизбай стало ей не в радость, а в горе. Однажды она попросила мужа, чтобы он больше не просил ее петь. Абай знал причину столь странной просьбы, высказанной со слезами на глазах.



Жалея свою любимую разумную жену, он старался больше не навлекать на Айгерим неприятностей. Но в душе он мучился тем, что, зная о большом таланте жены, он невольно помогает зарыть его в землю.

Он хотел принести ей хоть какое-то утешение, и вскоре она стала охотно внимать ему. Оставшись наедине, они садились напротив, и она с огромным наслаждением слушала его сочинения или исполнение Абаем известных в степи кюев. В такие мгновения жизни музыка приводила их любящие души к волшебному слиянию. В один из таких вечеров, глухой зимою в душном зимнике, где-то очень близко от старых родителей, в минуту, когда Абай закончил игру продолжительного, сложного кюя, Айгерим, словно неслышно охнув, бросилась лицом к нему на колени. Абай отложил домбру в сторону и, осторожно приподняв ее за плечи, спросил:

– Айналайын, Айгерим, что с тобою, любимая? – Обняв жену одной рукою за шею и приблизив свое лицо к ее лицу, он вдруг увидел, что ее глаза полны слез.

И тогда он произнес горькие, беспощадные обвинения против себя:

– Да, я знаю, что ты была соловьем! Ты пела – тебе бы всегда петь соловьем, на весь белый свет, всему живому миру на радость! Тебе бы петь перед истинными ценителями, всех приводя в восхищение! А вместо этого я, тот еще безумец, поймал соловья и запер в золотую клетку! Ты стала пленницей Иргизбая! Я вместе со своим аулом оказался душителем твоей песни, тюремщиком твоего редкого дара!

И вот сегодня плененный соловей тихо изливал свое горе, скрытый в тихом уголке своей невольничьей клетки. Мелодии «Карагоз» она придавала разные новые оттенки, ведя ее по новым утонченным и дивным путям. В Айгерим, кроме ее необыкновенного голоса, обнаружился музыкант, способный творить новые мелодии и обогащать уже существующие. В песне, которую она пела над уснувшим ребенком, слышались



ее и только ее душевные переживания. Она переводила в измененный напев свои чувства – материнской нежности, тревоги за маленького ребенка, спящего возле ее груди, и была в пении ее боль за свою судьбу, и тревога за самого Абая, и признание в великой любви к нему. Абай слушал ее, забыв обо всем на свете.

Долго пела Айгерим, почти до самой полуночи. Абай сидел у порога и слушал ее. Он вошел в юрту только после того, как смолк ее поющий голос. Увидев его, шагнувшего через порог, Айгерим смутилась, но и обрадовалась и живо вскочила на ноги.

– Когда вы приехали? – неуверенным голосом спросила она.

– А тогда, жаным, когда ребенок еще не спал, а ты начала петь «Карагоз».

Вошедшая вслед за ним Злиха наконец-то смогла разжечь масляную лампу.

В эту ночь Абай поделился с женою одним своим решением.

– Знаешь, что я надумал, пока сидел снаружи и слушал тебя? – начал он. – Сегодня я слышал плачи Каражан. Хоть она и мать умершего Макулбая, но оплакивать свою великую утрату она не умеет. Я слушал твое пение, и в моей голове стали складываться слова под напев «Карагоз». И вот что я решил: я напишу слова плача по бедняжке Макулбаю, а ты найдешь под них напев и споешь завтра в траурной юрте Такежана. Там будут все аксакалы и карасакалы наших аулов.

Айгерим поддержала его. В ту же ночь Абай написал слова плача. Айгерим сидела рядом и заглядывала через его плечо в тетрадку. Она обладала даром музыкального сочинительства, Абай восхищался ее новыми мелодиями, Айгерим же глубоко почитала его поэтический дар. И, глядя на то, как изящно летает его рука над бумагой, как он отрешенно сосредоточен, она по-



нимала, что присутствует при рождении нового выдающегося произведения поэта.

Эта ночь еще более сблизила их. Абай работал вдохновенно и за короткое время написал слова поминального плача.

*У сокола, что всех смелей,
Злой стрелок соколенка убил;
У дерева, что всех пышней,
Злой пожар вершину спалил;
Срезаны под корень без следа
Хвост и грива статного коня...
Любовалась на тебя родня –
Ты ее покинул навсегда.
Ты померк, и вспыхнуть не успев!
Ранней смерти рана тяжела...
Солнце греет ниву, а посев
Сгубит вьюга, холодна и зла...
Жалости у жадной смерти нет,
Жди не жди, приход ее жесток:
Губит все, стирает жизни след, –
Как не лить горячих слез поток?
Всеми был дарами наделен,
Ласков и разумен мой родной,
Рано этот мир покинул он,
Нас рыдать оставив над собой...*

Когда муж прочел вслух строки поминального причитания, Айгерим расплакалась. Она близко к сердцу восприняла смерть Макулбая, но в слезах ее также была скорбь всех матерей, которым приходилось терять своих детей. Абай прочел стихи несколько раз, и памятливая Айгерим запомнила их наизусть. И тут же в ее душе начала рождаться мелодия к словам.

На следующий день, забрав с собой поминальное приношение, Абай с Айгерим, вместе с неизменной служанкой Злихой,



отправились в траурный аул Такежана. Когда они приблизились к юртам, Айгерим своим бесподобным высоким голосом, исполненным беспредельной скорби, начала плач. Траурная юрта, как и вчера, была полна скорбящих. Айгерим, войдя, прошла к Каражан и села ниже ее, скромно отворачивая лицо от старших женщин семьи и от байбише соседних аулов. Сев боком к их почетному кругу, Айгерим подперлась руками в поясницу и, мерно раскачиваясь, продолжала свой нежный, скорбный плач. Вслушиваясь в него, все аксакалы во главе с Кунанбаем притихли и, потупив головы, замерли. Слова о безвременной смерти совсем еще юного, не пожившего ребенка и беспредельно печальный, хватающий за душу напев Айгерим растрогали и покорили всех. Рыдания, шедшие уже на убыль, вдруг возобновились с новой силой. Аксакалы и карасакалы плакали, как дети, и рукавами утирали слезы на глазах. Не выдержала и запричитала срывающимся голосом старая Улжан.

– Ойбай, жеребенок ты мой, рано покинувший этот свет! – жалобно вскричала она.

Потрясая головами, лия горячие слезы, карасакалы и аксакалы расплакались еще сильнее. И Абай, также сраженный скорбью по умершему ребенку и многими другими скорбями и печалью, случившимися в его жизни, и предчувствием неведомых еще потерь и утрат в будущем, бурно разрыдался.

Пение Айгерим траурного плача словно свело всеобщую печаль по умершему ребенку под один общий шанырак, и все почувствовали, что горе у них одно: смерть мальчика, так мало видевшего земную жизнь. И все плакали искренне, горько и безутешно.

После оплакивания настало время читать заупокойные молитвы из Корана. Когда они отзвучали, и в доме стало спокойнее, Кунанбай обратился к Улжан.

– Причитания по нашему внуку вполне можешь доверить своей младшей келин. Пусть она остается в твоём доме до сороковин, пока будут идти люди на жаназа. Пусть она проводит плачи по нашему маленькому Макулбаю.



Эти слова совпали с желанием самой Улжан. И в последующие дни Айгерим, находясь рядом с Абаем и сидя на скорбном месте возле Каражан, исполняла положенные по обряду плачи по умершему Макулбаю – вместо его родной матери.

2

Всю поминальную неделю Кунанбай оставался в доме Такежана, не возвращаясь в аул Нурганым. Эта задержка послужила причиной для тяжких наветов на кунанбаевскую токал, ибо в его отсутствие по-прежнему Базаралы оставался гостем дома, – Нурганым принимала его уже в отсутствие мужа. По аулам расползлись темные слухи, и хотя открыто ничего еще не было сказано, Оспан не знал, как обуздать свою неумную ненависть и нетерпимость к Нурганым. Он ненавидел младшую жену отца с самого первого ее появления под шаныраком Кунанбая, и со временем противостояние Оспана и Нурганым, скрытое от посторонних глаз, все больше нарастало, а в связи с последними обстоятельствами дошло до края.

За несколько дней до этого Базаралы приезжал к Кунанбаю, чтобы приветствовать вернувшегося домой хаджи. Кунанбай же всегда выделял Базаралы из всех джигитов Тобыкты, оказывал ему знаки внимания, каких не удостоился перед ним никто из его детей и родственников. Между ними бывало всякое, но Кунанбай неизменно считал его одним из самых славных казахов нового поколения. При встрече Кунанбай расспрашивал джигита, как дела у его родителей, правда ли, что они испытывают нужду, и внимательно выслушивал ответы.

Самолюбивый и гордый Базаралы никому не жаловался на свою бедность, но он рассказал Кунанбаю о сиротах сосланного Балагаза: его старшие дети пошли в наемные батраки к состоятельным родичам, младшие бедствуют, не имея даже ежедневного молока. Сам Базаралы приехал в плохонькой одежде, на захудалом коне. Увидев это, Кунанбай велел пере-



дать в его аул пару дойных коров, пять жеребых кобылиц, чтобы они могли доить их все лето. Поручил Нурганым, чтобы она заказала сшить для самого Базаралы тымак и всю верхнюю одежду. Не забыл напомнить, чтобы заказали и кожаные кебисы у сапожника.

Так что у Нурганым не было причин чураться достойного сородича, которого сам муж привечал. Она так и сделала, как он повелел: немедленно приступила к заказам разной одежды для Базаралы, а он по-прежнему жил у них как почетный гость. Но тут случилась смерть мальчика, и Кунанбай немедленно отбыл на его похороны и поминки, Базаралы же остался в его доме, что и дало повод для подозрений и глухой ярости Оспана. Однако Нурганым, обладавшая ясным умом и здравым смыслом, понимала, что ей не надо обращать внимания на него, если распоряжения по дому даны самим хаджи. Не раз посторонние люди говорили ей о гневе и угрозах Оспана, но своенравная красавица на это отвечала лишь одним словом: «Бешеный!»

И вчера, отправляя Акылбая за охотничьей добычей, Нурганым хотела лишний раз позлить Оспана, посмеяться над ним, хорошо зная, что воспоследует со стороны буйного и грубого кунанбаевского сынка. Вернувшийся Акылбай в точности подтвердил все ее предположения, рассказав, как нехорошо и нелепо поступил тот с племянником, который и знать не знал о тяжелой вражде между старшими родичами. Но и это не обеспокоило, а только развеселило Нурганым. Единственное, что задело ее, было откровенное выражение Оспаном своей вражды перед старшим братом, Абаем. Но тут она подумала: «Не может быть, чтобы Абай пошел у этого бешеного на поводу! Посмотрим!»

Прошло еще пару дней, и предел нарастающей злобе Оспана, казалось, наступил. Сегодня, ведя в поводу коня к водопою и проходя мимо отцовской юрты, он услышал, как Нурганым и Базаралы громко хохочут, потешаясь над какой-то шуткой. В темном бешенстве Оспан набросился на служанку из дома



Нурганым возле колодца, которая пришла за водой, и стал грубо прогонять ее:

– Убирайся отсюда, да поживее! Для Нурганым в этом колодце нет воды! Не позволю ей поганить свой колодец. Так и передай ей! И впредь, если кто подступит к колодцу за водой для Нурганым, – голову тому оторву!

И тут же, в присутствии замерших от страха и любопытства молодух, приказал своим джигитам, Масакбаю и Дархану: «Днем и ночью караулить колодец! Ни глотка воды не давать для Нурганым!»

Затем, осуществляя свое намерение, Оспан и на самом деле весь день маячил возле колодца, не позволяя никому из дома Нурганым взять воды. Сел на землю, положив рядом тяжелую толстую камчу. А то вдруг вскочил на своего гнедого коня и, выкрикивая страшные угрозы, стал разгонять целую толпу женщин из аула Нурганым, решивших штурмом брать колодец. Кое-кого из них даже огрел плетью.

Вечером заметил двух женщин, которые на верблюде везли в бочке воду, набрав ее в реке, до которой было не так уж и близко. Оспан подскакал к ним и велел слить воду из бочки, прямо с верблюда. При этом передал Нурганым салем: «Капли воды не получит. Пусть лучше сдохнет от жажды. Базаралы пусть поскорее выпроводит. Да поживее, пока его душа не расталась с телом! Пусть поторопится, если не хочет накликать на себя беду!»

Он не давал им воды целый день, всю ночь, наутро продолжалось то же самое. Оспан в это утро выглядел страшно: огромный, черный от гнева великан. Не находил места, где присесть, мрачно бродил по аулу, растопылив руки, потеряв всякое самообладание. Да и аул Нурганым стал терпеть самое настоящее бедствие, оставшись без воды. Но страшнее этого бедствия был для ее дома тот позор и унижение, что могло обрушиться на него безумное поведение Оспана. Обе стороны приближались к опасной черте.



Сама Нурганым была разгневана не менее Оспана. Молодая женщина не стала в угоду ему выпроваживать гостя. Более того, она удвоила внимание к нему, ничего не рассказывала про выходки Оспана. Если она, идя по аулу, была темнее тучи, то, входя в свой дом, принимала беззаботный вид и сияла улыбкой. Базаралы, умный человек, прекрасно видел все то, что происходило из-за него в ауле Нурганым со вчерашнего дня. Водяную осаду Оспана скрыть было невозможно: шум на два аула был великий. Обо всей недостойной семейной войне этой он подробно знал от одной из прислужниц Нурганым. Но, любуясь ее румяным, излучающим любовь радостным лицом, Базаралы делал вид, что ничего не замечает. Он восхищался ее стойкостью, ее бесстрашием и веселым характером, способностью закатиться громким заразительным хохотом в самую, казалось бы, неподходящую рискованную минуту. Он хорошо понимал, что может ожидать его любимую Нурганым и его самого, но пока что не в силах был ничего предотвратить. И не мог просто так уйти, оставив Нурганым одну отвечать за все, поэтому, следуя своему жизненному правилу, решил спокойно выждать. что же будет дальше?

А Нурганым тем временем нашла замечательный ход, как обойти водную осаду Оспана. Плоская луговина, на которой было разбито стойбище аула, являлась частью обширных заливных лугов, земля там была сырой у самой поверхности, а на небольшой глубине уже подходили грунтовые воды. Нурганым догадалась об этом и решила вырыть свой колодец. Продумав все, она пригласила трех молодых парней от соседей, завела в свою кухонную юрту и сказала:

– Выройте мне колодец прямо тут.

Зная, что с женге Нурганым никогда не надо спорить, джигиты тотчас принялись копать. А Нурганым, наблюдая за их работой, посмеивалась, заранее торжествуя:

– Пусть Оспан грозит своей дурной силой, а мы как раз и оставим его в дураках! Копайте, родные, копайте быстрее да ставьте скорее самовар!



И она со свойственной ей величавостью, грациозной поступью, поводя высокой грудью, гордо прошлась по аулу. Тяжелые шолпы в ее волосах вызывающе позванивали, словно посмеиваясь над Оспаном. Женщины обоих близлежащих аулов подивились дерзости и бесстрашию Нурганым, которая вскоре станет живой легендой среди людей этого края. Еще одной легендой о гордом, сильном характере степной женщины-казашки, которая беззаветно предана своей истинной любви и не побоится за нее отдать жизнь, если дело дойдет до этого...

В эти дни на прохладном, широком урочище Ералы, по долине реки Корык, верстах в пятнадцати от аула Кунанбая, готовились к выборам нового волостного старшины, и поднялась великая суета. Нынешней весной сюда подтянулось более ста аулов, – тут были Бокенши, Иргизбай, Жигитек, Котибак. Также прикочевало многочисленное племя Мамай, зимующее на горе Орда. Потому и проводить выборы было удобнее всего здесь, на Ералы. В стороне от аулов рядами были поставлены большие белые юрты, количеством более двадцати – целое юрточное городище, предназначенное для приема начальства уездного дуана. На этот раз ожидался начальником выборов не кто-нибудь из крупных чиновников корпуса, в сопровождении более мелких «чиноулыков», но сам семипалатинский уездный аким по фамилии Кошкин. Говорили, что он выехал лично сам в степь не только для выборов, но и для расследования какого-то важного дела.

Он появился в Ералы в сопровождении большого каравана из «чиноулыков», урядников, вооруженных стражников, многочисленных аткаминеров двух волостей. Повозки с тройками, с колокольчиками на дугах образовали целый поезд, впереди которого по обеим сторонам дороги скакали шабарманы с медными бляхами на груди и казенными сумками через плечо. В первый же день своего появления в степи, по дороге на выборы, уездный аким Кошкин подверг наказанию розгами двух волостных начальников, кызыладырского и чингизского,



имевших какие-то провинности, но тем не менее выехавших навстречу высокому начальству. И полетела впереди властного каравана зловещая весть, что едет не начальник, а зверь, и кличку ему дали мгновенно: Тентек-ояз, что означало – Бесноватый начальник.

Абай в эти дни вернулся в свой аул, чтобы пожить в уединении, но все его друзья присылали своих гонцов, настойчиво призывая его быть в Ералы на выборах. Пришлось выехать.

Отправившись из Акшоки по дороге вдоль реки Корык, Абай заехал в один бедный аул, находившийся совсем недалеко от временного чиновничьего городища.

Аул состоял из многочисленного скопища ветхих юрт, вид которых не радовал глаз путника. Юрты все были из серого, взлохмаченного войлока и смотрелись как грязная, залатанная одежда нищих, аул же напоминал их безрадостную толпу, бродившую после джута по степи в поисках пропитания. На пустоши вблизи аула не было видно ни одного привязанного сиротливого жеребенка, ни одной пасущейся лошади или верблюда. В самом ауле, на тех местах, где должны быть загоны для скота, не было видно овец. И лишь в некотором отдалении от аула маячили в полынной степи разрозненно пасущиеся коровы. Это все явилось картиной ужасающей бедности и полной беспросветности существования жителей аула.

Абай знал, что этот аул называется в народе Коп-жатак – то есть бедняк на бедняке. Здесь действительно собрались бедняки из самых разных племен и родов. Еще ранней весной, когда Абай перекочевал в одиночку на Акшоки, к нему за помощью приходили аксакалы из этого аула, который плохо перенес прошедшую зиму. Приходивших стариков звали Дандибай и Еренай. Тогда Абай оказал им посильную помощь, они увезли с собой продукты пропитания. В тот раз изможденный Дандибай поведал ему следующее:

– Мы, жатаки всей степи, из единого рода, и род наш можно назвать Жатак, бедняк то бишь. В наш Жатак пришли люди



разных племен и народов – сорок родов передали нам своих бедняков. Одна часть из нас зимует на Байгабыле, Миялы, другая часть – на Киндикти и Шолпан, эти урочища находятся недалеко от тебя. А в нашем Коп-жатаке живут те, что ушли искать свою судьбу из племени Мамай, зимующего у горы Орда, а также горемыки из разных родов, гоняющих скот через Чингиз по перевалу Кокше. Зимой всем скопом спасаемся, как можем, расползаемся по низинам, залезаем в брошенные зимники и пытаемся как-нибудь не замерзнуть да не помереть с голоду. С приходом весны, по теплу, сбиваемся в артель по три-четыре очага и принимаемся копать в земле. Знаем – кто копается в земле, тот не останется совсем без пропитания, поэтому и занялись земледелием. Для нас это хорошо, что вы строите зимовье возле нас, мы всегда будем готовы помочь вам чем угодно! Понадобятся рабочие руки – обращайтесь к нам!

В тот раз Абай не воспользовался предложением Дандибая, ответив так:

– Коли вы оказались в племени Жатак, и вам земледелие дает верную пищу, то и надо вам заниматься землей! А весна для земледельца самая ответственная и тяжелая пора – вам надо посеяться. Благодарю за вашу готовность помочь, но я не хочу отвлекать на себя ваши силы. Построить зимник – люди сейчас найдутся, а вот потом мне ваша помощь понадобится. Будем добрыми соседями!

И вот теперь он впервые попал в этот аул Коп-жатак. Абай решил свернуть сюда, прежде чем прибыть на выборы. Еще на подходах к аулу Абай с неизменным другом и спутником Ерболом молча переглянулись: кто здесь может жить? И догадались – жатаки.

– Да, это Коп-жатак. Апырай, как страшно может выглядеть нищета! Что это за кучи рухляди валяются по краям аула? – спрашивал Абай, остановив коня рядом с Ерболом, который невольно натянул повод, увидев жутковатый аул на пути.



Но это была не выброшенная рухлядь, не горы мусора и не свалка старых вещей – перед путниками, въехавшими в аул, предстали маленькие черные убогие балаганы, накрытые заплатанной во многих местах кошмой, приземистые, серые, скособоченные глиняные строения без окон, с плоской крышей. В тесных захламленных двориках в великом беспорядке валялись вперемешку старые сломанные деревянные кровати, старые выброшенные сундуки для хранения вяленого мяса, плетеные короба для перевозок на верблюдах, пришедшие в негодность выучные седла, воткнутые в землю рогатины. И кое-где посреди этого ералаша можно было увидеть черные круглые головы детишек, попадались на глаза укутанные в ветхие шубенки и чекмени старики и старухи, еле живые от своей старости и бедности.

Но Ербол воспринял всю эту картину безысходной разрухи совсем по-особенному.

– В Ералы иногда дуют страшные ветры. Думаю, что недавно здесь прошел такой ветер и порушил дома. Вон там, на той стороне аула, особенно сильно прошелся ураган, видишь, все юрты посрывало.

– Сейчас узнаем, что случилось, – отвечал Абай, заворачивая коня к низкому, кривому, подслеповатому саманному зимнику, окруженному толпой черных шалашей, покрытых старым войлочным драньем.

И тут навстречу вышел огромный костлявый старик Даркембай. Абай был поражен, что встретил его в этом поселке жатаков.

– Уа, Даркембай, и ты здесь? Как же я ничего не слышал об этом? – воскликнул Абай.

– Не слышал, потому что я перебрался сюда совсем недавно. Вот, думаю, жизнь доживать буду в этом ауле, среди этих людей, – не сразу ответил старик. – Тридцать-сорок очагов в ауле этом ничуть не богаче моего, но и не беднее, мы ровня. Оказалось, я ничего не нажил за свою долгую жизнь, плетясь



за стадами Суюндика и Сугира. А когда постарел, никто из их богатых домов не сказал мне: «Когда ты был молод и в силе, ты оказывался нашим защитником, стоял за нас с соилом в руках. Зимой ты охранял наши табуны. Пусть твои труды вознаграждаются тебе на старости лет. Да не станет тебе старость тяжелой обузой». Но удел мой таков, наверное, – ничего подобного я не услышал. И не стали звать меня, как будто не знают меня. Но и сам я не хочу больше плестись за их караваном, с трудом нести свое ветхое тело за стадами чужого скота. Я хочу успокоиться среди подобного мне люда. Буду заниматься тем же, чем занимаются они. – Так рассказывал Даркембай, стоя на дороге перед Абаем, с насупленными бровями, горько улыбаясь.

Путники спешили, привязали лошадей к ограде и уселись на земле вместе с Даркембаем.

– Есть ли у тебя здесь сородич, хоть какой-нибудь близкий человек есть? – спросил у него Ербол. – Говорится ведь, что даже яд легче принимать вместе с родичами. Когда уходил от своих, подумал ли о том, на кого ты можешь опереться, кто может заступиться за тебя?

Он спрашивал с таким видом, таким голосом, словно упрекал Даркембая, который был из того же рода Бокенши, что и Ербол. Старик, не оглянувшись на него, говорил одному Абаю.

– У меня и в Бокенши нет близкого человека, как и в Борсак. Никто не может заступиться за меня. Мои родственники теперь – сорок бедных очагов этого аула. Родственники не по крови, но по жизни. Братья по несчастью. Нас породнило общее горе.

Ербол хмуро посмотрел на него:

– Как же это так?

Даркембай, по-прежнему глядя на одного Абай и упорно не замечая Ербола, отвечал:

– А вот так, Абай.

Посидев в глубоком молчании, Даркембай вдруг поднял голову и, обводя концом толстой палки убогие лачуги аула Коп-жатак, снова заговорил. Теперь в его голосе не звучало



горечи и обиды, заговорил он спокойно, ровно. Лишь изредка едва заметно проскальзывала под седыми усами старика едкая улыбка.

– Вон там живут люди из родов Карабатыр и Анет, они круглый год пасли скот у иргизбаев Акберды, Мырзатая, да и у твоего отца в ауле Кунке. А вон там – «бедные соседи» аулов Божея, Байдалы и Тусипа. У этих баев люди ходили в прислугах, в пастухах, наемных батраках. И что же? Все они, так же, как и я, к старости оказались голыми и плешивыми, на большой дороге, с нищенским посохом в руках. Если спросят, какие же баи проживают в этом ауле, то скажут, что здесь проживает старый Даркембай, худосочный старик Дандибай и еле живой, хворый старик Еренай! Все – славные и богатые владельцы! Все пробегали жизнь за чужой скотиной, растратили здоровье, спасая чужие табуны и стада в лютые снежные бураны, спали на снегу, под голову подложив кусок льда! Зайдите в каждую из этих дырявых юрт – и увидите, о Алла, одних убогих, больных стариков, рядом с ними – их молодые сыновья, которых слишком рано убила бедность или какая-нибудь злая болезнь. Один болен грудью, кашляет, у другого суставы разнесло, трещат, у третьего руки отморожены. Кто-то лишился глаза, кто-то ноги – словом, одни калеки убогие! Вот это и есть жители рваных лачуг и черных шалашей, и все богатство их – немеряная нищета и бедность. Люди, оказавшиеся не в силах бежать за богатыми караванами Кунанбая, Божея, Байсала, Суюндика, Каратая – и брошенные на дорогах. Вроде того хлама и грязной ветоши, дырявых ведер, что остаются на месте становий, когда уходит аул. Да, и я такая же выброшенная ветошь – чем я лучше? Ербол, вот ты говоришь: «Даже яд принимать вместе с родственниками легче!» Ты прав. Но сегодня, сейчас, мои родственники – здесь. У меня общий с ними родовой клич: «Жатак!»

Глубоко задумавшись над словами Даркембая, Абай, ломая шапку в руках, то, сокрушенно вздыхая, то, хмурясь гневно,



беспокойно ворочался на месте. Наконец, близко склонившись к Даркембаю, молвил, заглядывая ему в глаза:

– Оу, Даркембай! Зло и бедность терзают народ. И это раскрыло тебе глаза. Ни к чему наше казахское красноречие, наше остроумие, искусное славословие, если слово не обладает силою правды! Какой же Кунанбай, какой Суюндик устоял бы перед разящей силой твоего правдивого слова? Неужели нашлась бы хоть одна честная, разумная душа, которая могла бы возразить Даркембаю? Нет, каждый бы сказал: «Всех разом, одним ударом уложил Даркембай!»

Тут к ним подошли еще несколько человек. Они выходили из разных дворов, выползая из-под лохмотьев старого войлока, из-под укрытий, сооруженных на скорую руку из каких-то старых, грязных тряпок, вылезая, словно нечистая сила преисподней, прямо из наваленных как попало мусорных гор. Тогда и спросил Абай, обращаясь сразу ко всем жатакам:

– Что это за люди, оставшиеся на улице без крыши над головой? Куда делись их юрты? А на домах зимников почему нет крыш? Объясните мне, люди добрые! Может, ураган разметал ваши дома?

Среди подошедших серых, темных, отощавших до предела жатаков оказались знакомые Абаю старики, Дандибай и Еренай. Выступила вперед кучковавшаяся отдельно ватага рыжеватых парней с мрачными глазами, которых привел с собой не жатак, а сын Караши – Абылгазы. Он со своими людьми был, оказывается, гостем аула. Поздоровавшись с Абаем и его собеседниками, Абылгазы присел рядом с ними. На недавний вопрос Абая ответил старик Дандибай.

– Абай, айналайын, ты спросил, не ураган ли развалил, разметал эти дома? Да, ты угадал, ураган налетел. Как бы могло быть такое большое разрушение без урагана? Однако этот ураган не Кудай наслал на нас за наши грехи – буря эта из начальников, из биев, аткаминеров и атшабаров. Вон, в той стороне, смотри хорошенько, построены белые юрты для на-



чальства, а за этими юртами – видишь? – стоят наши серые юрты, их около десятка.

И все вместе, путники и жатаки, обернулись в одну сторону и смотрели на построенный у реки юрточный городок. Действительно, поодаль от белых юрт на небольшом пространстве стояла кучка маленьких серых юрт, словно испуганно прижавшихся друг к другу.

После того как жатаки и их гости достаточно налюбовались на далекий белый городок чиновничьего аула, Дандибай вдруг смачно выругался и сказал:

– Белые юрты – начальству, а наши серые – для нашего позора и унижения.

– Как это? – не понял Ербол.

Жатаки заговорили разом, перебивая друг друга:

– А так! Их предназначили для арестованных!

– Из них сделали кухни, чтобы день и ночь варить пищу!

– Что там кухни! Наши юрты отдали под отхожие места!

– Все это сделано по воле старшины и его атшабаров!

– Пес его знает, когда наступит конец всему этому!

– Юрты забрали, а наши старухи, старики и маленькие дети сидят, укутавшись в тряпье!

Абылгазы постарался разъяснить:

– Насели на жатаков, как будто им выбирать волостного! Какую тяготу на них навалили! И согласия у них не спрашивали! А все это – происки Майбасара и его шабарманов! Приказали весь скарб из юрт выкинуть, юрты разобрать и перевезти туда!

Абай посмотрел на жатаков с большим удивлением.

– Эй, жатаки! Зачем вы отдали свои юрты? Неужели нельзя было отстоять их?

Жатаки зашумели:

– Ойбай, что вы такое говорите!

– Разве мы так можем?

– Они бы нам и пикнуть не дали!



Тут в ближнем дворе заплакал ребенок. Это был больной ребенок. Малыш лет четырех-пяти с синими прожилками на висках, с одутловатым лицом. Глаза его, рот и уши облепил густой рой мух. Глядя на него, Абай дрогнувшим голосом проговорил:

– На съедение мухам детей оставили! Что они делают с людьми! Уа, где твоя былая дерзость, дорогой Даркембай? Надо было дать как следует по голове шабарманам и прогнать их!

Даркембай на это только горько улыбнулся, потом сказал:

– И давали по башке, и прогоняли! Но только от этого еще хуже стало...

И он рассказал о том, что произошло.

Дней десять назад, проездом в аул Кунанбая через Ералы, в Коп-жатак заехал Базаралы вместе с Абылгазы. Даркембай и Базаралы, несмотря на большую разницу в возрасте, были хорошие товарищи, и во многом их суждения, желания, устремления совпадали. Их дружба длилась уже много лет. Мужественных, гордых и душевно отзывчивых джигитов связывало взаимное уважение и симпатия. Даркембай говорил о Базаралы: «Он как матерый вожак, отбившийся от стаи. Одинокий волк в глухой степи». Встретившись в ауле жатаков, старик изложил перед ним все, что накопилось на душе.

Погостив три дня, Базаралы успел побывать в каждой юрте бедных отщепенцев от родов Жигитек, Бокенши, Котибак, утешал их, как мог, забавлял веселыми рассказами, чтобы хоть немного приободрить их. И стал добрым другом для всего аула бедняков.

Он поведал им о том, что узнал сам, часто и подолгу разъезжая по разным краям беспредельной степи: аулы нищих, такие как Коп-жатак, разбросаны по всем пределам казахской земли. У горы Догалан есть аул жатаков из родов Сак, Тогалак и Тасболат; в долине Бильде – из родов Анет, Бакен и Котибак; возле горы Орда – из племени Мамай. А в урочище Миялы стоит аул



Коп-жатак, в котором собрались неимущие из сорока разных родов. И еще слышал Базаралы о многочисленных жатаках в далеком краю Керей, за Чингизским хребтом. И в отдаленной отсюда волости, в Кокенской, есть аулы жатаков, прозванные «сорокаюртными». Наконец, на расстоянии одного пикета от Семипалатинска обосновались жатаки из Балторака и Жалпака. Особо упомянул он о жатаках, которые обитают, по слухам, на берегах Иртыша, уйдя из родов Керей, Уак, Бура, Матай.

Все эти жатаки, не имеющие скота, из племен и родов кочевников, живут теперь за счет земледелия. Об этом говорил Базаралы людям из аула Коп-жатак.

– Не надоело вам обманывать себя пустой надеждой: «мол, родная земля, степь – золотая колыбель, не даст нам пропасть». Да, она родная колыбель – для тех, у кого есть скот. А для вас она может стать колыбелью, если вы научитесь сосать грудь земли. Объединитесь по два, по три дома, обрабатывайте хотя бы одну-две десятины земли, вложите свои силы в это дело, посейте хлеб! А летом займитесь заготовкой сена – режьте траву хоть одним серпиком, косите хоть одной косой – по всем просторным урочищам можно запасти немало сена. А осенью свезете в город и продадите, на вырученные деньги хотя бы чай-сахар купите!

Даркембаю понравились слова Базаралы. Он готов был их заучить наизусть. Советы своего младшего товарища решил претворять в жизнь в своем новом ауле, среди новых родичей племени Жатак.

Через три дня, когда Базаралы уже собирался уезжать, в аул бедняков нагрянули атшабары волостного старшины. До этого на Ералы караванами перебросили белые юрты и стали их устанавливать на берегу реки. Впереди караванов летел испуганный крик Такежана – Майбасара: «Пришла беда! Едет уездный ояз! Надо ставить юрты, гнать овец для убоя!» Теперь же, утром, когда Даркембай с гостями, Базаралы и Абылгазы, сидели за чаем, в аул влетели, словно вражья сила, три атша-



бара с бляхами на груди. Даркембай прислушивался к шуму, возникшему на другом конце аула, но еще ничего не сказал гостям. Базаралы высказался первым:

– Аксакал, не волки ли напали на ваш аул?

Не успел старик ответить, как к юрте подлетели трое верховых и стали кричать, не слезая с коней:

– Даркембай! Выходи сюда!

Базаралы молча переглянулся с Абылгазы, потом тихо сказал Даркембаю: «Не отвечай!» – и спокойным голосом, громко отозвался из юрты:

– Уа, джигиты! Вы кто такие будете? Слезайте с коней, заходите в дом, будем разговаривать!

Снаружи словно взбесились, тяжелые удары камчой посыпались на ветхую юрту, стали напирать лошадьми, грудью на стену, затрещали деревянные решетки кереге. Матерщинная брань и страшные угрозы обрушились снаружи на Даркембая.

– Эй, выходи, тебе говорят! Астапыралла, чего он возомнил? Ты, жатак поганый! Даркембай! Чего заставляешь горло драть шабарманов старшины?! Выходи сейчас же!

Старик Даркембай не выдержал и, вскочив с места, выбежал из юрты. И сразу был взят в плети с двух сторон, дюжие атшабары с коней хлестали по старику, который годился им в отцы.

Разъяренные Базаралы и Абылгазы выпрыгнули из юрты, как свирепые львы, и с яростными криками набросились на атшабаров. Их было трое, двоих Базаралы мигом стащил с коней и с размаху бросил на землю, третьего сдернул с седла и подмял под себя дюжий, коренастый Абылгазы. Усевшись на головы оглушенных, обмякших атшабаров, два могучих джигита принялись пороть их плетками.

– Сбежался весь Жатак, стар и млад, и повеселился от души, глядя, как нахлестывают по задницам этих негодяев! Никто за них не заступился, слова за них не сказал! Славный батыр Базаралы хорошо отделявал их, бил, пока рукоятка камчи не



переломилась! – Так весело рассказывал Даркембай сегодня Абаю и Ерболу, вспоминая события того дня.

Но затем смолк и потупился сумрачно. И тогда Ербол спросил у него:

– Но как же случилось, что они забрали у вас юрты?

И Даркембай коротко рассказал. Атшабары уехали, жатаки успокоились. Базаралы побыл у них еще два дня, потом отбыл по своим делам. На другой же день после его отъезда примчалось человек тридцать во главе с Такежаном, со старшинами, шабарманами – за мгновенье разобрали юрты и увезли их.

– Сущие прохвосты, собаки оголтелые! Стоит только хозяину науськать – могут даже кости своих предков разрыть из могилы! – говорил старик Абаю. – Ты недавно спрашивал: «Даркембай, почему ты им поддался?» А я тебе отвечу: ничего не осталось от Даркембая. Абай, свет мой ясный! Потерял я свою силу, не джигит я более, и юрты наши не смогу отнять у этих собак! Что им наши убогие домишки? Неужели у себя не могли найти что-нибудь получше для кухни и для отхожих мест, чем единственная и последняя юрта жатака?.. Абай, вся надежда на тебя. Сделай что-нибудь, чтобы нам вернули дома. Помоги избавиться от этой беды и унижений!

Абаю все, наконец, стало ясно. Не стоило больше говорить об этом. Он решительно встал на ноги, отряхнул полы чапана, засунул рукоятку камчи за пояс и коротко обратился к жатакам:

– Идемте со мной. Идемте все, и ты, Абылгазы, следуй с нами.

Абай с Ерболом не стали садиться на лошадей, повели их в поводу, толпа шумных жатаков последовала за ними. Направились пешком к белевшим в версте юртам чиновничьего городка. Когда толпа выходила из аула Коп-жатак, к ней присоединились многие его жители, выползая из-под войлочных укрытий, вылезая из черных от копоти шалашей. Среди присоединившихся и догонявших толпу людей оказалось вдруг немало молодых



и здоровых джигитов, с белыми косынками на головах, с оголенной грудью, будто они приготовились к бою.

Накануне приезда Абая на выборы по округе прошел переполох. Уездный правитель ехал, оказывается, не только с целью провести выборы. Он заявил, что будет вести дознание по одному серьезному делу. Но неизвестно было, касается ли это дознание смещения Такежана с поста волостного головы, которое должен был произвести Тентек-ояз Кошкин в связи с бесчисленными жалобами и челобитными от населения.

По дороге к белым юртам Абылгазы вполголоса сообщил Абаю: жатаки еще не знают о том, что взят под стражу Базаралы. Но не из-за того, что он заступился за жатаков, его арест произошел по другой причине, и подсуетился тут как раз Такежан. Он, до смерти напуганный предстоящим расследованием по делу Оралбая, который после своего исчезновения объявился через год разбойником-барымтачом, выдал его брата Базаралы, объявив его соучастником. Встревожены были, кроме волостного, бии Чингизского округа Жиренше и Оразбай, а также новый глава рода Бокенши – Асылбек. Все они в доносах Такежана названы «укрывателями разбойника Базаралы». И все они с нетерпением ожидали приезда Абая.

В самой середине юрточного городка для чиновников три большие белые юрты были составлены вместе и соединялись проходами. Это была выборная ставка Тентек-ояза Кошкина, вся оцепленная вооруженными стражниками и урядниками. По их угрюмому виду и по беготне чем-то встревоженных чиновников можно было предположить, что начальство не в духе, ожидается изрядная гроза.

Как только Абай появился возле белых юрт, его сразу же встретили Жиренше, Асылбек и Уразбай, отвели его в сторону и рассказали ему суть дела, перебивая друг друга.

Оказывается, вместе с Кошкиным приехали на сборы истцы из племени Найман, подавшие в суд исковое заявление по поводу крупных грабежей скота барымтой из Тобыктинского округа. Главарем барымтачей был назван тобыктинец Оралбай.



О судьбе Оралбая, который исчез из Тобыкты после потери Керимбалы, долго никто ничего не знал. И только недавно стало известно, что отчаявшийся и возненавидевший весь мир Оралбай собрал отпетых джигитов в чужих краях, раздобыл огнестрельное оружие и создал разбойничий отряд. И весь год угонял коней у найманов, у соседних с ними племен Керей и Сыбан, у самих тобыктинцев. Барымтачи скрывались в малоллюдных местах у кереев.

Многочисленные жалобы сходились в одном: Оралбай угонял табуны только у богатых владельцев и должностных лиц, грабил богатые лишь аулы. Этими жалобами были завалены канцелярии Семипалатинска и Жетысу, ибо на границе сопредельных уездов и действовала шайка. Наконец, жалобы дошли до канцелярии самого «жандарала», генерал-губернатора. Дерзкие разбойники не побоялись и царских войск, – в конце февраля заманили в глухую степь отряд казаков, отправленных из Семипалатинска в погоню за ними, и на одном из биваков, ночью, угнали всех коней. Отряд в сорок человек несколько дней скитался по степи, выживая без пищи и воды.

Было еще одно обвинение, о котором Жиренше и Оразбай говорили со смехом, дальновидный же и осторожный Асылбек ожидал от него больших неприятностей. На оживленном тракте между Аягузом и Шубарагашем был подвержен нападению и ограблен крестьянский начальник, ехавший из Семипалатинска в Капал под охраной двух вооруженных стражников. Найманы и это нападение приписали Оралбаю с его шайкой. Уездный голова приехал расследовать и это дело.

Пять найманов прибыли как истцы и как свидетели. Они приехали на выборный сход вместе Тентек-оязом и как зашли вместе с ним в трехъярточный дом, так и не выходили из него, требуя судебного решения от властей и не соглашаясь на улаживание дела по казахским обычаям. В жалобах найманов упоминалось также имя Базаралы, потому и уездный аким, как только прибыл на место, потребовал от биев, чтобы были за-



держаны и представлены пред его очи Оралбай и Базаралы. Грозно обвинял: «В ваших краях появился разбойник Оралбай. Он идет против закона, против царя, а вы все его укрываете! Виновниками допущения и укрытия этих преступлений являются прежде всего бии и волостной старшина, и за это все они предстанут перед судом!»

При встрече Жиренше говорил Абаю следующее:

– Тут мы разошлись с Такежаном. У него понимание и намерение другое, чем у нас. Мы-то хотим ответить: «Об Оралбае ничего не знаем. Он уже давно ушел из наших краев. Ни люди, ни Базаралы не знают, где он, куда скрылся. Ловите его сами и делайте с ним что хотите. Тобыкты не станет за него заступаться». Вчера мы договорились с Такежаном отвечать оязу именно так, а вечером к нему прискакал Дархан от Оспана и, наверное, что-то сообщил ему. Должно быть, произошла ссора между Базаралы и Оспаном. Этот велел передать Такежану: «Пускай оправдывается перед оязом и все валит на Базаралы. Он у меня в руках». Тогда Такежан посылает в отцовский аул своих шабарманов и четырех стражников с ружьями, Базаралы доставляют сюда и сегодня к полудню отдают в руки ояза. Базаралы, опасаясь, что Такежан хочет отправить его на каторгу, просит тебя прийти и дать ему совет. Что ты скажешь на все это?

Абай понимал, что дело зашло уже далеко. Беда, обрушившаяся на Базаралы извне, была куда как серьезнее вражды и угроз Оспана. Но вышло так, что эти две угрозы сошлись в одно и то же время, и, понимая даже лучше Асылбека о возможных последствиях, Абай помрачнел. Он невесело смотрел на три большие белые юрты, составленные вместе, на то, как возле них застыла грозная стража, как носятся взад-вперед атшабары, показывая свое усердие. Где-то в глубине этих юрт сидел ояз Кошкин, собиравшийся чинить суд и расправу.

Асылбеку хотелось скорее разговорить Абая, услышать его мнение.



– Прибывший начальник должен был начинать с выборов. Но он собрал народ пока не для этого. Дело Оралбая, видно, для него важнее, крепко взялся за него, вызывает волостных, допрашивает, давит на них, чуть что не по нему, сажает под замок. Даже наказывает розгами! Кое-кто доносит ему, что мы покрываем Базаралы. Если Такежан как волостной голова подтвердит это перед оязом, то плохо нам придется. Ведь начальник хочет одного: чтобы мы все обвиняли Базаралы. И не в наших силах остановить потоки доносов... А если мы попытаемся вступить за него, выставив невиновным, то что могут сделать с нами, как ты думаешь? – Так осторожно спрашивал Асылбек у Абая.

Но Абай продолжал молчать. Тогда высказался Оразбай:

– Вот, все как есть, мы рассказали тебе. Теперь скажи нам мнение вашего аула, а мы готовы присоединиться к нему. Но говори ясно: «Делайте так-то», «Не поступайте так-то».

Абай не успел ответить. Из начальнического помещения вышел атшабар, рядом с ним шагал стражник. Атшабар размахивал сложенной вдвое камчой и зычным голосом выкрикивал:

– Жиренше Шока-улы! Асылбек Суюндик-улы! Оразбай Аккулов!

– Вот, требует к себе Тентек-ояз! – сказал Жиренше и посмотрел на Абая, словно торопя его с ответом.

Но и здесь Абай не стал сразу говорить и лишь пристально посмотрел на своих друзей. А когда заговорил, то голос его был тверд, кулаки сжаты.

– Не будьте трусливыми перед оязом, не пугайтесь его угроз. Если Такежан захочет отыграться на Базаралы, бессильный перед Оралбаем, не позволяйте этого сделать. Оралбая пусть ловит сам Тентек-ояз, руки у него длинные. Жиренше все сказал верно, вы держитесь его слов. А что будет утверждать Такежан, мы уже знаем. Но нельзя допустить, чтобы из-за каких-то дрызг и обид доводить до унижения весь народ. Лучше сразу в могилу лечь, чем допустить его осквернение тем, чтобы заставить



людей подчиниться заведомой лжи и клевете. Сделайте все, чтобы не впутали Базаралы в эту скверну!

Подошли стражник и посыльный, повели трех биев в юрту начальника. Абай задержал на минуту атшабара, следовавшего последним:

– Е, за что ояз гневается на этих людей? Ты, пожалуй, послушай там, затем расскажешь мне. Никто не должен знать о моей просьбе, я поручаю это тебе одному.

Атшабар знал, кто перед ним. Выходец из этих краев, он, служа городскому начальству, не потерял уважения к знатным людям своей округи, особенно к известному в степи сыну Кунанбая. И он молча кивнул головой, соглашаясь и обещая.

Абай обратился к Ерболу и Абылгазы.

– Отправляйте людей по ближайшим аулам. Пусть все мужчины, конные и пешие, поспешат сюда. А сами идите, соберите всех людей, которые обслуживают этот белый аул начальства. И вообще всех, что пришли сюда, ведите на это место! Собирайте всех!

Между тем вокруг выборных юрт собралась внушительная толпа народу. Стражники, устрашающе покрикивая и размахивая плетками, иные – шашками в ножнах, не подпускали к юртам людей, старались их оттеснить дальше. Люди шарахались из стороны в сторону, и по их виду чувствовалось, что они настроены решительно. Абай понял, что грубые, жестокие действия Кошкина и исполнителей его воли привели степной народ к этому состоянию. Люди отходили, но недалеко, и вновь возвращались, и брожение толпы, ее беспокойство нарастали. Большинство знали, что Базаралы не виноват, все жалели его, а Такежана за его ложный донос резко осуждали. Собравшиеся большей частью были одеты затрапезно, серо, бедновато. Было много жатаков, пришедших вместе с Абаем. Здесь, в ауле ояза, они узнали об аресте Базаралы и сразу настроились воинственно. Насупив брови, молодые и старые жатаки угрюмо поглядывали вокруг себя и часто обращались



в сторону Абая с вопросом в глазах. Он же одиноко сидел в стороне, сосредоточенный и молчаливый.

Шабарман, которому Абай давал поручение, появился наконец и, подойдя к нему, сказал несколько слов. Абай тотчас поднялся и направился к тому краю толпы, где стояли Даркембай, Абылгазы и Ербол.

– Я иду в юрту ояза, – сказал Абай. – Пойдемте и вы со мной. Там допрашивают биев, Жиренше и других. Базаралы тоже там. Я узнал, что этот начальник порет людей, унижает достойных и позорит уважаемых среди нашего народа людей. Если он и сейчас займется подобным, это будет плевком нам всем в глаза. Нельзя допустить, чтобы он хоть концом плетки коснулся Базаралы или Асылбека. Мы не можем допустить, чтобы невинного клеймили позором, как преступника! Ербол, Абылгазы! Идите за мной!

Он направился вместе с ними к юрте Тентек-ояза.

В первой из трех составленных друг за другом юрт толпились только вооруженные стражники, урядники и чиновники мелкого разряда; никого из местного населения среди них не было. Допрос велся в следующей, средней, юрте. Проход туда был открыт, видно было начальство, сидящее за столом, покрытым зеленым шелком. Допрос вел сам ояз Кошкин, маленький, худощавый человек с торчащими в стороны белесыми усами. У него было холодное, напряженное, злое лицо. Он топал ногами, выкрикивал угрозы, налетая на Оразбая, которого допрашивал. Рядом с оязом, чуть позади него, стоял курносый, толстенький человек, толмач, переводивший для начальства.

Возможно, не выдержав больше грубости Кошкина или увидев через раскрытую дверь Абая и воспрянув духом, Оразбай принял свой обычный горделивый вид бия и громко обратился к толмачу:

– Ей! Передай оязу: я не Оралбай, я не обвиняемый и не ответчик! Ты хорошо меня понял? Слово в слово передай: Жиренше и Асылбек говорили истинную правду, ну и я скажу то же



самое: никто здесь за Оралбая отвечать не может! Не только эти люди, но и родители его, отец с матерью, не могут нести ответственность за сына, которого уже больше года не видели! Он пропал без вести и в этих местах не появлялся! Если за него кто и должен отвечать, то это само начальство, которое никак не может поймать этого отчаянного молодца! Базаралы также не при чем! Наш волостной Такежан хочет впутать его в это дело соучастником, но мы, бии этого края, поддерживать его не можем! Базаралы не виноват. Я все сказал! И пусть ояз не орет на меня, как бешеный, а спокойно делает свое дело, советуясь с уважаемыми людьми этого края. Так и передай ему, толмач!

Когда толмач начал переводить, Абай восхищенно прошептал Ерболу:

– Молодец Оразбай! Он, оказывается, настоящий джигит!

И он направился к средней двери, чтобы лучше слышать перевод толстенького толмача. Но один из двоих стоявших перед входом стражников шагнул навстречу и преградил путь.

– Стой! Куда? – гаркнул он.

Абай спокойно ответил по-русски:

– Не кричите. Мне надо пройти к уездному начальнику.

Стражник не сдвинулся с места. Стоявший в дверях чиновник, молодой красивый человек, удивленный тем, что степняк говорит по-русски, внимательно посмотрел на Абая и негромко спросил:

– Чего вы хотите? Кто вы?

Абай снял тымак и, слегка прикладывая его к груди, с достоинством поклонился.

– Я Ибрагим Кунанбаев. Просто человек из этого народа.

Чиновник оживился, вышел из средней юрты и, оттеснив в сторону стражника, близко подошел к Абаю. Еще раз внимательно оглядел его, улыбнулся и сказал:

– Так вы Ибрагим Кунанбаев! Я вас знаю, о вас мне много рассказывал ваш друг, Акбас Андреевич, как вы его зовете. Давайте знакомиться, я – советник Лосовский!



Отдав ему салем, Абай не мог больше сдержаться и сказал возмущенно:

– Что там происходит? Все это обижает народ...

Лосовский, обернувшись, строго посмотрел на стражника, тот возвратился на свое место. Наклонившись к Абаю, советник тихо произнес:

– Вы это верно заметили. Не только обижает народ, но и наносит вред государственному делу... Грубость и самодурство никогда не доводили до добра... Но ничего не поделаешь, каждый действует по-своему... – Говоря это, Лосовский покраснел. Оглянувшись и увидев, что другие чиновники, стоявшие в передней юрте, с насмешкой посматривают на него, вежливо разговаривающего с каким-то степняком, Лосовский сделал знак стражникам, чтобы Абая пропустили в среднюю юрту.

Толмач только что закончил переводить слова Оразбая. Взбешенный, Тентек-ояз вскочил с места и, выкатив глаза, закричал срывающимся голосом: «Я тебе покажу невиновных! Ты у меня тоже получишь свое!» И он махнул рукой стражникам. Двое набросились на Базаралы, схватили за руки, за плечи и повалили на пол, лицом вниз. Он не сопротивлялся. Два казака встали по сторонам и стали взмахивать над ним нагайками.

– Стой! Не смей! – загремел голос Абая, который ворвался в юрту.

Казаки опустили нагайки. У Тентек-ояза затряслись его наостренные громадные усы, глаза сыпали злые искры, он выскочил из-за стола и, подбежав к Абаю, в безумной ярости уставился на него.

– Ты кто такой? Зачем пустили его сюда? – заорал ояз Кошкин.

Абай ростом был выше Кошкина, он смотрел на него черными пылающими глазами – с неменьшей яростью и гневом. Кровь отхлынула от его лица.

– Я – человек! А вы не поступайте по-скотски! – крикнул Абай на русском языке. – Меня послал народ, который собрался. Быстро прекратите издеваться!



Задыхаясь от злобы, ояз Кошкин не стал отвечать Абаю, но повернулся к стражникам, отдал приказ: «Продолжайте! Бейте!» Потом снова повернулся к Абаю и, тыча пальцами в него, почти в глаза, крикнул:

– А тебя я сгною в тюрьме!

Абай продолжать кричать: «Не смейте бить! Стой! Не трогайте!» Но все было напрасно. Удары нагаек сыпались на Базаралы. Тентек-оязу и этого показалось мало: указывая на Жиренше, на Асылбека и Оразбая, трех биев, начальник кричал стражникам:

– Этому двадцать пять плетей! Этим – по тридцать! А этому – пятьдесят! – Последнее относилось к Базаралы, которому уже досталось и помимо всякого счета.

Абай был охвачен пламенем гнева, безрассудная отвага проснулась в его сердце. Не кровь бушевала в нем, а поток древней степной ярости. Бешеными глазами глянув на тщедушного ояза, Абай рявкнул:

– Теперь сам будешь в ответе за все! Запомни! Сам! – и широкими шагами устремился к выходу.

Проходя через переднюю юрту, громким, властным голосом приказал Ерболу и Абылгазы:

– Вперед, поднимайте народ! Крушите, ломайте все!

В среднюю юрту вбежал Лосовский. Призыв Абая показал ему, до какого предела дошло возмущение степняков, на что они могут решиться. Он подбежал к столу, ударил кулаком по столешнице и, уже не владея собой, резко бросил в лицо начальству:

– Прекратите безобразничать! Вы совершаете непоправимую ошибку! Так с ними нельзя обращаться! Немедленно прекратите экзекуцию!

Кошкин растерялся, не нашелся, что ответить. Нагайки, поднятые над Жиренше, Асылбеком и Оразбаем, замерли в воздухе. Базаралы поднялся на ноги, повернулся к Такежану, который в испуге держался ближе к русскому начальству.



– Ну ты и довел меня, Такежан! Берегись! Отныне мы враги. Буду жив – отомщу тебе.

Вдруг сильнейшие удары обрушились на стены юрты снаружи, затрещали деревянные решетки кереге, густая пыль выбилась из войлока и повисла в воздухе. Гнев людей, доведенных до края, излился бунтом.

Толпа плотным кругом сошлась под стенами тройной юрты, в руках у людей были короткие дубинки-шокпары и тяжелые плетки. Огромный, костлявый Даркембай кричал: «Ломай! Круши!» Удары барабанным боем обрушивались на стены белых юрт. Пыль взвилась клубами. Деревянный остов войлочного дома трещал и прогибался, юрта зашаталась под напором живых, взвихренных неистовством тел.

– Круши этот дом! Растащим их приют!

В юрте кто-то из стражников выстрелил в открытый шанрак, через короткую паузу выстрелил еще раз. И на этот раз прозвучал тонкий, отчаянный крик ояза: «Прекратить стрельбу!» Кое-кто из пожилых людей в толпе испугался, услышав ружейные выстрелы, попятился от белых юрт, но их оттеснили назад молодые, яростные, неудержимые джигиты.

Абай, услышавший команду начальника, громогласно выкрикнул во всеуслышание толпы:

– Не бойтесь! Больше они стрелять не посмеют!

Его крик подхватили Абылгазы, Ербол, Даркембай, выкрикивая каждый свое:

– Вали этот дом! Рви на куски! Сметай с земли! Навались!

Бунтующая толпа собралась с левой стороны средней юрты и, словно примериваясь, замерла на минуту. Впереди толпы стояли молодые жатаки, в повязанных до самых бровей косынках, с открытой шеей и грудью. Вдруг снова раздался крик: «Навались!», и толпа ринулась на юрту. Затрещал деревянный остов и прогнулся внутрь, юрта пошатнулась и стала заваливаться на одну сторону. Когда она рухнула окончательно, сложившись в безобразную кучу, перед толпой



открылись зияющие проходы в первую и последнюю юрты. Из клубившегося облака пыли, повисшего в проеме шириной в одну долю шестиканатной юрты, постепенно стали проступать фигуры перебежавших туда людей. И, как бы и тут продолжая оставаться первым лицом, впереди всех стоял потрепанный, обсыпанный пылью Тентек-ояз.

– Ты сам виноват. Ты не начальник и благодетель людям, а нарушитель их покоя! – подступив к нему, крикнул Абай.

Затем он протянул руку и, ухватив за чапан Базаралы, выдернул его из ошеломленной, растерянной толпы начальства, стражников и судей.

– Уходи!

Базаралы быстро проскользнул за спину Абая, исчез в толпе. В развалины юрты выскочили, пользуясь суматохой, Жиренше, Асылбек и Оразбай, без помех ушли в толпу. Пространство прежней средней юрты заполнил народ. Все были в гневе, в большом возбуждении. Крики людей настигали Тентек-ояза и его людей, как удары плетью. Доставалось крепко и Такежану. Абай уже не стал больше вмешиваться, предоставив людям действовать самим.

– Не дадим проводить выборы! – кричали они. – Ты не для выборов пришел сюда, а чтобы нас разорить! Убирайся, да побыстрее! Никто тебе подчиняться не будет!

Даркембай, Абылгазы и Ербол раскручивали в толпе водовороты страстей, и вокруг них раздавались крики, выражающие народный гнев и приговор:

– Не желаем участвовать в выборах! Такежан! Ты не достоин народного избрания! Теперь никто не будет выполнять твои приказы! Уходи отсюда, да поскорей!

Наряду с этими звучали другие выкрики:

– Эй, люди! Разбирайте и увозите свои дома!

– Расходитесь! Все уходите отсюда! Пусть здесь останется торчать один начальник, как голый пень!

Все дальнейшее произошло необыкновенно быстро. Поставленные для выборов юрты, кроме трех белых, состыкованных,



были мгновенно разобраны и увезены. Первыми возвратили свои дома жатаки.

Но дело не ограничилось этим. Неизвестно по чьей команде, вдруг отогнали с джайлау все табуны лошадей. Ближайшие аулы снялись с места и откочевали. И вскоре на ровном берегу реки остались стоять всего две скособочившиеся, как после урагана, наклонившиеся друг к дружке, белые выборные юрты.

Чиновничий отряд во главе с оязом Кошкиным оказался в самом нелепом, диком положении, брошенный в безлюдной степи.

Кругом до самого горизонта не было заметно никаких следов человека. Выйдя из полуразрушенной юрты на ровное место, советник Лосовский огляделся вокруг, развел руками и расхохотался.

– Это надо же! Даже собаки бродячей не видать! – воскликнул он и покачал головой.

Незадачливый уездный голова ходил взад и вперед возле юрты. Только теперь он стал понимать, что во всем случившемся виноват сам, но исправить положение было уже нельзя. И он задыхался в злобном, бессильном негодовании. Лосовский холодно обратился к нему с такими словами:

– Я знаю киргизскую степь уже много лет, и никогда еще не видел, чтобы население действовало так организовано. Ну что ж, мы заслужили все это. Совершили недопустимую ошибку. Ваш способ действовать в этих условиях непростителен и попросту дик. С выборными и населением вы вели себя как дикарь, наказывая их плетью без суда и следствия. Вот и добились бунта... Для очистки совести я вынужден буду обо всем доложить по инстанции. Предупреждаю заранее, я молчать не намерен.

Кошкин ничего не ответил, только махнул рукой, отвернулся и пошел вышагивать вперед-назад.

Из казахов при начальстве остался Такежан, а с ним – два его шабармана и двое старшин. Но всемогущий старшина волости



оказался бессильным в данных обстоятельствах. Сейчас он не смог бы добыть для начальства ни щепотки чая для заварки, ни одного баурсака и ни кусочка кислого сыра.

Было совершенно очевидно, что выборы сорваны, людей собрать больше не удастся. Надо было немедленно возвращаться в Семипалатинск. Ояз приказал волостному Такежану изыскать лошадей и отправить выборную команду обратно в город. Тот смог только впрячь своих коней в четыре оставшиеся телеги и уже под вечер отправить чиновников. Стражники последовали за ними в пешем порядке.

Перед самой отправкой Тентек-ояз, опросив Такежана и старшин, составил что-то вроде объяснительной записки по поводу срыва выборов. По этой бумаге выходило, что причина была в укрывательстве местными людьми разбойника Оралбая и его пособника и брата Базаралы. Пособниками укрывательства явились и местные бии. С ними заодно действует и родной брат управителя Чингизской волости Такежана Кунанбаева – Ибрагим Кунанбаев, по прозвищу Абай. Этот Абай и Базаралы организовали бунт самого низкого сословия, наемных батраков, и сорвали выборы. Волостной управитель Такежан Кунанбаев оказался непригоден к своей должности. Он не справляется с подчиненным ему местным населением. Ему оно не подчиняется, он не смог предотвратить враждебных выступлений против начальства. Он также не смог удержать на месте ни один аул, когда взбунтовавшие кочевники покинули свои места, оставив экспедицию в степи в совершенно беспомощном состоянии. Он не пытался противостоять, когда бунтари освобождали арестованного Базаралы. Все это свидетельствует о том, что волостной голова Такежан не имеет никакого влияния на кочевников, и поэтому не сумел подготовить волость к выборам. За это Такежан Кунанбаев освобождается от должности, а на его место временно назначается его помощник и заместитель Жабай, сын Божея.

Об этом ояз Кошкин объявил через толмача перед самым отъездом, прежде чем сесть в повозку.



Таким образом, Тентек-ояз попытался залепить свои раны бумажной писаниной, отдал приказ о снятии Такежана толстенькому толмачу, который оставался в Ералы, и отправился восвояси.

3

Вот уже десятый день Абай находился в арестантской части при Семипалатинском полицейском участке. Хотя каталажка, где он сидел, не тюремная камера, а место временного заключения арестанта до его суда, но порядки там были весьма строгие, соответствующие такого рода заведениям. Окна забраны решетками, дверь камеры всегда заперта, на массивной двери имелось маленькое окошечко, через которое можно было общаться с внешним миром, то есть со сторожами каталажки. Однако эти охранники не всегда являлись на зов арестанта. Охрана состояла сплошь из людей пожилых, с одинаковыми серыми лицами и сонными глазами, грузных, малоподвижных, по виду не воинственных, но украшенных казенным оружием – саблей через плечо. Абаю показалось, что некоторые из этих охранников были в степи вместе с экспедицией Кошкина.

Все здесь настолько разительно отличалось от вольной жизни в степи, что для Абая были бы невыносимы дни под арестом, если бы не книги. Чтение поглощало все его внимание, и время проходило незаметно. Вскоре он даже привык к такому размеренному и спокойному образу подневольной жизни.

Книги приносил Абаю давний его знакомый – адвокат Акбас Андреевич, помогавший ему по делу Балагаза. После заключения Абая в арестантскую на следующий же день Андреев навестил его. С тех пор, под предлогом ознакомления с делом, он через день навещал Абая, каждый раз принося ему все новые книги. Акбас Андреевич при этом шутил:

– Вот, привел новых друзей в вашу печальную темницу!

Встречи их происходили в дежурном помещении охраны, мало чем отличавшемся от камер каталажки, та же теснота,



духота, мухи... Андреев старался подольше бывать с Абаем, желая поддержать в нем спокойствие и бодрый дух. Однако адвокат не скрывал серьезности положения Абая.

– Оскорбление и унижение достоинства начальника уезда при исполнении служебных обязанностей – дело весьма серьезное, Абай Кунанбаевич, – говорил Андреев. – Вами руководили лучшие чувства и праведный гнев за унижение достоинства своих людей, это делает вам честь и возвышает вас в глазах народа. Однако в глазах закона и властей вы бунтовщик, и у чиновников ваш поступок вызовет только ярость и возмущение. Все это может привести ваше дело к нежелательным последствиям. Но посмотрим, какие выставят обвинения...

Еще до первой встречи с Абаем адвокат Андреев узнал все подробности этого события от советника Лосовского, с которым был давно в приятельских отношениях. Адвокат полагал, что в деле Абая показания Лосовского будут решающими для защиты, к тому же советник охотно соглашался выступить на суде. Он решительно не поддерживал начальника уезда в делах управления местным народонаселением, и всегда о Кошкине говорил с далеко не безобидным юмором, выставляя его тупым самодуром. Лосовский объяснял причину выступления народа только грубым произволом и оскорбительными действиями против него начальника Кошкина. Абай же, по его мнению, выступил как защитник чести и достоинства народа.

При этом разговоре в доме Андреева присутствовал еще один человек, входивший в круг их знакомства, некто Михайлов, человек лет за тридцать, с широкой окладистой бородой, могучим лысым черепом, с мягкими вдумчивыми глазами. Михайлов жил здесь под полицейским надзором, однако influentialным друзьям удалось устроить его на службу при гражданском управлении. Услышав, в каком дурацком положении оказался самодур Кошкин в степи, покинутый народом, которым он правил, Михайлов долго хохотал. Он попросил Андреева как-нибудь свести его со смелым степняком, сумевшим столь позорно наказать зарвавшегося держиморду.



Приход на помощь адвоката Андреева и все намеченные им действия успокоили и приободрили Абая. Отпустила глухая тревога неизвестности, когда его взялся защищать такой надежный, умный друг. Андреев сразу же добился того, чтобы Абаю разрешили пользоваться книгами. Для чтения ему не хватало светового дня, он хотел читать и по ночам, при свете камерного фонаря. Этот тусклый фонарь подвешивался под самый потолок арестантской камеры, и Абаю приходилось по вечерам читать, стоя под ним. Когда керосин кончался, и лампа начинала чадить и мигать, Абай подходил к двери, стучал по ней кулаком, вызывая надзирателя. Обычно в это время пожилые охранники укладывались поспать, а то и спали уже глубоким сном. Приходили они раздосадованные, сердито ворчали и покрикивали на арестанта.

– Гляди-ка, киргиз грамотеем заделался! Ты чего это надумал – и за отца своего, и за дедушку начитаться книг хочешь? Дня тебе мало?

Абай только посмеивался, слушая их. Знал он их по именам, одного звали Сергеем, другого Николаем, обоим удивляло спокойное, учтивое его поведение. Особенно дивился на непонятного киргиза старик Сергей. На его ворчание, ругань арестант отвечал лукавыми увещеваниями:

– Ты сам подумай, Сергей, твоя каталажка полна клопов, покою не дают, ну как тут спать! Со мной рядом нет ни друга, ни подруги, одни только книги в утешение... А ведь расходов на меня у вас никаких нет, кроме керосина, – я вашей казенной еды не беру, ем свое! Так что не жалеете для меня керосину!

Старик спорил, ругался, но кончалось все тем, что он приносил керосин и заправлял широкий, с двумя ушками, фонарь. А иногда он приносил и дополнительную лампу, и сам ее зажигал, продолжая ворчать:

– Нашел место где учиться. В школе учиться надо, киргиз, а не в тюрьме. Люди, вон, с детства раннего учатся, а ты дожидался до тюрьмы! Что, отец твой такой совет давал?



Абай и вправду не пользовался казенным содержанием. Кумыс, мясо, горячую сурпу приносили ему с воли неизменный друг Ербол или джигит Баймагамбет, приехавший в сопровождении Абая в качестве нукера. И сейчас в камере стояла большая чашка с кумысом, а завернутыми в белой скатерти лежат большой кусок вареного мяса и всякая провизия к чаю. И хотя ничто его особенно не угнетало, и недуг никакой не скрутил его, однако есть в заточении Абаю не хотелось, его мутило от вонючей духоты каталажки. То ли по этой причине, или от долгого пребывания без солнечного света, лицо Абая стало землисто-серым, бескровным. Большую часть приносимой пищи он отдавал надзирателю Сергею и другим охранникам. Жидкие щи, которые готовили для арестантов, Абай ни разу не отведал, даже местную воду не пробовал, пил только свой кумыс. И охранники поняли, насколько для них выгодно, когда под их опеку попадает какой-нибудь богатый степной киргиз.

Прошлой ночью Абай спал совсем немного, наутро, попив немного кумысу, продолжал чтение книги, захватившей его. Книга называлась «Сохатый» и рассказывала об одном справедливом мстителе, который создал шайку и скрывался в глухих недоступных лесах. Звали этого русского мстителя Сохатый. Он со своими людьми выходил на большую дорогу и нападал на знатных и чиновных людей, осуществляя свою праведную месть. И опять Абаю вспомнился Владимир Дубровский, о котором читал прошлой весной у себя в Акшоке: как он сжег вместе со своим родовым домом продажных чиновников-судопроизводителей. Благородный разбойник вызвал у Абая огромное уважение. Да, только так и должно быть, оскорбленная честь и унижение человеческого достоинства призывают только к такой мести! И перед нею все ничто, она не знает страха! И Абай вспомнил, как в тот день, еще не так давно, затрещал и рухнул, прогнувшись внутрь, остов средней юрты, и в открывшемся проеме дальней юрты стояли испуганные, жалкие Тентек-ояз и его люди. А перед ними колыхалась грозная тол-



па степняков, готовая взорваться от любой брошенной в нее искры призывного слова. О, это было так похоже! Месть тем, кто совершает насилие над невинными, кто приносит горькие обиды беззащитным, – выглядит одинаково благородно, в какой бы стране, среди каких бы народов она ни осуществлялась! И благородные мстители, в какой бы стране, в каком бы народе ни появились, похожи между собой, словно родные братья, как львы, свирепость которых не могут усмирить никакие ошейники, как беркуты, сохраняющие свой орлиный нрав, даже сидя с черным колпаком на голове!

Абай глубоко задумался над этим, с открытой книгой на коленях.

Скрежет открываемой двери вывел его из раздумья. Вошел старший надзиратель арестантской части Хомутов. Он появлялся в тех случаях, когда к Абаю приходили адвокат или следователь. Но сегодня Абай не ждал ни того, ни другого. Уж мелькнула было шальная мысль. не свобода ли пришла?.. Он быстро встал с кошмы и шагнул навстречу Хомутову. Но тот с обычным своим скучающим видом, без всякого выражения, скрипучим голосом объявил:

– Кунанбаев, в дежурную комнату! К тебе отец из аула приехал.

Абай, несколько разочарованный и удивленный одновременно, неторопливо отправился вслед за надзирателем. «Для чего понадобилось старику трястись в такую даль», – подумал он. Ему вовсе не хотелось слышать отцовской ругани и проклятий – равно как и назиданий.

В дежурке находились свои, из степи: шестерых привели с собой Ербол и Баймагамбет. Быстро поздоровавшись с ними, Абай стал искать глазами отца, но Кунанбая нигде не было видно.

– Сказали, что приехал отец. Где он? – спросил Абай.

Ербол незаметно ткнул его кулаком в бок, а сам, глядя на Баймагамбета и для отвода глаз стражников словно обращаясь к нему, быстро сказал:



– Твой отец на сегодня – Даркембай, стоящий перед тобой. Иначе бы не дали увидеться...

Абай все понял, улыбнулся и шагнул навстречу старому Даркембаю. Все еще могучий, костистый, седобородый Даркембай широко раскрыл свои объятия и совершенно искренне, от всей души приветствовал по-отцовски Абая.

– Айналайын, единственная опора! Шырагым, милый мой сынок! – и обняв его, поцеловал в щеку.

Ербол не поскупился на взятку Хомутову. Увидев арестанта в объятиях его отца, он спокойно ушел из дежурной комнаты, давая возможность родным спокойно пообщаться с Абаем.

Только теперь Абай разглядел всех остальных посетителей, узнал их – и удивили его, просто поразили двое из них! Абай подошел к ним, молча стоявшим в сторонке, и по очереди обнял каждого из рослых джигитов.

Этим двум жигитекам никак нельзя было появляться не только в Семипалатинске, рядом с дуаном Кошкина, но даже и в степи в аулах иргизбаев.

Иргизбаи свалили всю вину на жигитеков: мол, все началось из-за Оралбая, а привело это к смуте, поднятой Абылгазы и Базаралы. На них-то двоих Такежан и другие аткаминеры иргизбаев написали свои жалобы. Им приписали натравливание жатаков на выборный аул и организацию погромов юрт начальников. Из допросов следователей Абай понял, на кого они нацеливаются прежде всего, но он не называл их имен, хотя такое положение затягивало его личное пребывание под следствием.

После событий в Ералы волостного старшину Такежана сняли с должности, Абая вызвали в город на допрос и взяли под стражу, как только он появился. Но Базаралы и Абылгазы должны были скрываться, как главные обвиняемые и зачинщики беспорядков. И эти двое джигитов, вызвавшие неумную ярость всего уездного начальства, ставшие главной дичью в



следственной охоте, приехали в город и сами явились в полицейский участок!

Их появление поразило Абая. Он считал опасным приезд и старика Даркембая, на него тоже было состряпано немало обвинительных бумаг. И вот все трое, добродушно улыбаясь, стояли в дежурной комнате охраны следственной тюрьмы и радостными глазами смотрели на Абая! Эти самые лучшие люди рода Жигитек! Абай, тревожно глядя на них, сказал:

– Родные вы мои! Да кто же это надомил вас совать свои головы в пасть льву? Или же мой родной Иргизбай довел джигитов до такого состояния, что пища для вас превратилась в клей, а вода в отраву, и вы сами кинулись сюда? А может быть, вас привели сюда на поводке? Ну, рассказывайте про свои дела!

Ответил Базаралы.

– На этот раз ты ошибся, Абай. Конечно, если бы мог, Иргизбай весь Жигитек загнал сюда в тюрьму. Нет, никто меня не мог бы заставить прийти сюда. Твой «отец», старик Даркембай, и эта отчаянная голова, Абылгазы, и я порешили, что там, где сидишь ты, можно и нам посидеть без большой опаски. Сказать по правде, будь на твоём месте твой брат Такежан, мы бы так не подумали. Мы решили не с перепугу и не с умыслом каким это сделать. Просто-напросто вот эти два человека – твой «отец» Даркембай и этот крепкий, как чёрный шокпар, джигит Абылгазы так и заявили: «Рады будем сесть в каталажку рядом с ним. Мы бы чувствовали себя, как в роскошном дворце!» Так и твердят: «Хотим быть рядом с ним!»

Даркембай и Абылгазы вполне с серьёзным видом закивали головами, стоя рядом с Базаралы. Старый Даркембай отбросил шуточный тон и сказал вполне серьёзно:

– Не сидеть же тебе из-за нас... А хлопотать за тебя и защищать мы не сможем – ни ума у нас, ни учености...

Абылгазы его перебил:

– Мы решили сидеть вместо тебя. Какой от нас прок? А ты народу нужен, сможешь помочь людям, утрешь им слезы. А за-



хочешь за нас заступиться – вытащишь нас. Ты муж истинный, можешь бороться и побеждать. Вот мы и решили прийти: ты выходи, а мы сядем.

После недоброго разговора с Оспаном на ястребиной охоте Абай еще не виделся с Базаралы, если не считать минутной встречи во время разрушения чиновничьей юрты и освобождения джигита. Хотя он говорил от имени двух остальных, Абай понимал, что именно Базаралы привел сюда своих сородичей, заранее приутолив их к самому худшему. Он словно пришел сказать «прости» за все свои прегрешения, из-за которых Абаю, всегда беззаветно встававшему на его сторону, выпадало много неприятностей. Базаралы как бы пришел отблагодарить его, став над своей гордыней и своей судьбой.

Абай, потрясенный, склонив голову, напряженно думал, что ответить. Наконец он поднял ясные, черные глаза на своих друзей, улыбнулся и сказал:

– Дорогие мои, вы принесли мне великую радость. Я вижу здесь Даркембая, седого старика, всегда готового пойти на всякую жертву, если это понадобится мне. Я вижу вас, двух батыров, полных решимости к любому подвигу ради спасения друга. Да с таким-то огнем в груди – какого встречного огня нам бояться? А тогда – почему же мне надо бежать от опасности? – и Абай рассмеялся, сказав это. – Ведь ничего страшного нет. Я не собираюсь погибать от выстрелов Тентек-ояза холостыми зарядами. Все его обвинения против меня не опаснее укуса комара. К тому же у меня есть хороший русский друг, который и раньше мне помогал во всем. Он нашел еще и других, готовых помочь, и среди них один чиновник, человек умный и честный. Он был там, на Ералы, видел все безобразия и расправы Тентек-ояза, и обещал подтвердить все это на суде. Так что, как видите, дела мои не так уж плохи! На днях мы столкнемся с Тентек-оязом на допросе, будем грызться. И лучше мне с ним потягаться, чем уважаемому Данекену! – шутливо закончил он и весело взглянул на Даркембая.



Затем повернулся к Базаралы и лукаво прищурил глаза.

– А ты, Базеке, хотя и слынешь среди казахов самым красно-речивым, однако предоставь на этот раз мне вести свою тяжбу. Чем больше людей участвуют в ней, тем более затягивается спор, доносов и жалоб также больше, а этого нам не нужно, друзья мои! Пожалуй, вы сейчас здесь лишние, возвращайтесь-ка лучше в аул! – Так закончил эту встречу Абай и затем простился с жигитеками, приехавшими тайно повидаться с ним.

Даркембай и Базаралы, несмотря на слова Абая, решили оставаться в городе, дожидаясь решения властей над ним. Посоветовавшись с Ерболом, они стали на постой в татарской слободке, на окраинной улице города, куда почти не заходили степные казахи. Время от времени Ербол навещал их по ночам.

Они твердо решили, что если дело Абая осложнится, и ему будет грозить серьезное наказание, то оба сдадутся и всю вину за бунт жатаков и за события в Ералы возьмут на себя. Смелые, необычные действия Абая за народ, против беспредела властей, стали широко известны в степи, и не только Базаралы и Даркембай понимали, насколько важны его жизнь и безопасность для всего народа.

Базаралы был готов умереть, если понадобится, чтобы спасти Абая. Но мучили великого жигитека совесть и стыд перед ним. Он не мог отречься от своей любви к Нурганым, не мог и отвергнуть ее страстные, безоглядные, смелые чувства к себе. И вместе с нею он готов был встать против всего света, защищая их любовь, но только его убивали стыд и совесть перед другом Абаем. Базаралы представлялось, что если все дойдет до Абая, ему будет нанесена глубокая рана. И лучше было провалиться сквозь землю, чем это. Базаралы не знал, что Абаю уже все известно, что он закрыл свою душевную рану ради дружбы и ради общего дела.

После встречи в тюрьме и разговора с Абаем Базаралы поделился своими мыслями с Даркембаем и джигитами, сопровождавшими их в поездке в город:



– Ведь не зря же говорят: «Джигит, не нашедший достойного друга, станет жалким и потеряется, народ, не нашедший достойного вождя, утратит единство и рассеется». У меня есть достойный друг, он же для меня и достойный вождь. И пусть будет так: либо Абай благополучно освободится, и мы все вместе вернемся домой, ликуя и радуясь, либо Базаралы больше не увидит своего родного аула и отправится вместо Абая на каторгу. Базаралы отправится туда без сожаления: меня просветил Абай, что честь хранится в душе, а не выставляется на показ.

Даркембай соглашался с ним:

– Говорят ведь: врагу не кланяйся, для друга жизни не жалей.

Одинокое заключение Абая не только притянуло к нему друзей из родной дальней степи, но и собрало вокруг него немало новых друзей в городе. Но о том, что в последние дни большое участие принимала в судьбе Абая одна девушка, Ербол пока умолчал. Эта девушка-сэре по имени Салтанат была дочь Альдеке, свата Тыныбека, богатого купца, выходца из многочисленного рода Бура, населявшего берега Иртыша. Аулы этих казахов не были похожи на тобыктинские, жили они оседло, в бревенчатых домах, окруженных надворными постройками, занимались прииртышские казахи хлебопашеством и торговлей, часто ездили в город на базары и на ярмарки, стар и млад, собираясь большими родственными группами.

Салтанат была уже просватана в богатый род, но еще оставалась жить в родительском доме, удерживаемая аулом как всеобщая любимица, баловница, сладкоголосая девушка-сэре. Молодая гостья приехала в дом Тыныбека вместе с младшей матерью, токал отца, чтобы купить кое-что по домашности. Доставили их в нарядной повозке, запряженной тройкой отборных гнедых лошадей.

Выросшая в вольности красивая, гордая девушка, прекрасная певица, Салтанат была дружна с Макиш, невесткой этого



дома, старшей сестрой Абая. Прошлой зимой, в один из своих приездов, Салтанат с печалью поведала Макиш, что тяготится своим будущим замужеством, ибо ей не по душе ее жених. Затем стала спрашивать у Макиш об Абае, и сестра, рассказывая о нем, спела песню на его стихи.

*Сияют в небе солнце и луна –
Моя душа печальна и темна,
Мне в жизни не сыскать другой любимой,
Хоть лучшего, чем я, себе найдет она...*

Слушая песню, Салтанат загрустила. Склонив головку в со-
больем борике к плечу Макиш, Салтанат порывисто прижалась
к ней и сказала с чувством:

– Уа, неужели девушка, которой посвящена эта песня, может
пожелать себе лучших слов? – И больше в тот вечер она ничего
другого не сказала.

В этот приезд весть об аресте и заключении Абая сильно
ее взволновала. Когда на другое утро она и Макиш сидели у
байбише Тыныбека, в комнату вошел Ербол. Макиш и байбише
Тыныбека забросали его вопросами, расспрашивая о новостях
в деле Абая.

Ербол не знал молодую гостью и, смущенно глянув на нее,
замялся. Салтанат обратила к джигиту нетерпеливый взор,
словно приказывая ему: «Говори скорее!» Макиш также успо-
коила его:

– Говори, тут все свои.

И Ербол изложил вкратце:

– И адвокат, и Абай надеются, что ждать осталось совсем
мало. Но точно сказать о приговоре ничего нельзя. Адвокат
говорит, что на теперешнем перегоне можно взять Абая на по-
руки, внеся за него залог в тысячу рублей, тогда его выпустят
из тюрьмы. Поручителем может быть домовладелец из города
или купец. Вот с этой новостью я и пришел.



Ясно было, что Ербол пришел в дом Тыныбека за решением этого вопроса. Байбише тоже так поняла, но только лишь руками развела:

– Что же делать, карагым? Айналайын, не знаю я, что и сказать тебе. Ведь сам-то Тыныбек уехал, и два наших сына в отъезде. А денег свободных на руках тоже нет. Ойбай, нет дома хозяина, ничего не стоит этот дом! Поручиться и то некому! – закручинилась байбише.

Ербол и Макиш были в растерянности. Для Ербола вдруг стало ясным, что совершенно неожиданно для Абая самым сложным обстоятельством оказалось это.

– Апырай! Что же делать? Ехать в степь за скотом невозможно, аулы уже давно откочевали на джайлау. Человека, который мог дать залог и взять на поруки, не оказалось дома. Как быть, если залог потребуется в ближайшие дни? Байбише, посодействуйте тогда вот в чем, замолвите слово перед каким-нибудь городским баем-казахом, у кого есть свой дом. Вы только укажите его, а я сам схожу к нему от вашего имени и обо всем договорюсь.

Действительно, это был хороший выход. Однако выяснилось, что все знакомые баи и богатые купцы-домовладельцы, которых знала байбише Тыныбека, также находятся в данное время в отъезде по торговым делам. Макиш с недовольным видом воскликнула:

– Ну и дела! Как только приходит лето, они все на своих скрипучих арбах расползаются по степи! Никак им не уймется, на сидится на месте!

И в эту трудную для всех минуту, когда уныние охватило близких Абая, решение делу неожиданно нашла молчавшая до сих пор Салтанат. Она быстро повернулась к Ерболу.

– Надо ли друзей Абая искать только в городе? Говорят же, что долг платежом красен, что дружба дружбой отплачивается. Мой отец часто вспоминал, что и сам Абай, и отец его Кунанбай не раз выручали его в каком-нибудь деле. Передайте Абаю в



его тюрьму салем от меня и моей матери. Мы возьмем на себя внесение залога и поручительство. Поручителем назовите Алдекенова, моего отца.

Столь уверенное решение девушки обрадовало и ободрило сидящих в комнате. Развеселившийся и весь просиявший Ербол обратился к ней, благодарно, уважительно склонив голову:

– Карагым, сестричка! Вы проявили такую решительность и такое благородство, на что способен не каждый джигит. Что может быть благороднее, когда в трудный час протягивают дружескую руку помощи! Иншалла, пусть вам воздастся по вашей доброте! Куда же милостив, и освободится Абай, тогда он найдет слова для благодарности лучше, чем мои! А сейчас я пойду, переполненный радостью!

Светлый матовый лоб, тонкий с горбинкой нос, округлый, как яблоко, подбородок, сияющие глаза лани – необыкновенной красоты лицо юной Салтанат излучало свет чистой, доброй молодости. Густые, гладко зачесанные волосы ее были темно-каштанового цвета. Золотые браслеты на кистях рук, на локтях, множество колец на пальцах, золотые сквозные качающиеся серьги в ушах – все эти роскошные драгоценные изделия дополняли и завершали большую, чистую, редкостную красоту девушки. Узнав, что ее зовут Салтанат, Ербол подумал: «Да, она и на самом деле Салтанат¹ – и с виду, и душой своей!»

Двое стражников завели Абая на второй этаж «жандаральского дуана», в очень большую комнату. Посреди зала стоял длинный стол под зеленым сукном, поставленный поперек комнаты. Абая посадили перед столом на самый крайний, отстоящий чуть в стороне, стул. Через некоторое время появились чиновники в темных мундирах с блестящими пуговицами. Вместе с ними вошел адвокат Андреев, которого Абай вначале не заметил среди такого количества незнакомых людей. От-

¹ *Салтанат* – торжественность, царственность.



дельно появился советник Лосовский и вместе с ним – крупнотелый, высокий, со сверкающей лысиной бородатый человек. У него были внимательные, спокойные, наполненные внутренней силою глаза. Лосовский что-то сказал ему, и тот с улыбкой внимательно посмотрел на Абая. Оба они сели позади него.

Чиновники разместились за столом, председательствовал холеный седой старик с зачесанными назад редкими волосами и с пронзительными синими глазами. Открыв заседание губернской коллегии, он вызвал уездного начальника Кошкина. Тентек-ояз появился весь деревянный, негнувшийся, затянутый в мундир, с такими же тупыми, ожесточенными глазами, как и тогда на Ералы. Чеканя шаг военными сапогами, надменно оглядываясь, он прошел к столу и сел на стул далеко впереди Абая. Из людей степи в кабинете коллегии присутствовал, кроме Абая, один лишь плосколицый, корноухий толмач с жиденькими усами и длинно отращенными прямыми волосами. Часто, беспокойно моргая, он встал недалеко от председательствующего. Начался предварительный допрос – точно такой же, как и те, что уже были: задавались привычные вопросы.

Затем Абаю предложили описать события на Ералы. Абай ровным, спокойным голосом рассказывал о противозаконных действиях уездного ояза, оскорбительных для степного народа, о наказаниях розгами и нагайками. Особенно он подчеркнул, что понесли телесное наказание народные судьи-бии, люди почетные, избранные населением, утвержденные властями. Возмущение народа было вызвано в первую очередь этим. И такого начальника, от которого исходит подобное зло, люди не могут уважать. Однако его самого никто и пальцем не тронул, гордый кочевой народ, не пожелав унижения своего достоинства, попросту отказался участвовать в выборах и разошелся.

– Господа, разве это преступление, если я присутствовал при этом, был среди народа и по его поручению передавал слова народа начальнику? – закончил Абай.



Значительную часть своего выступления Абай зачитывал по бумажке, составленной адвокатом. Заученные из нее предложения бегло проговаривал, не читая. Но когда он говорил от себя, приводя новые подробности дела, русских слов ему не хватало, и он затруднялся в составлении правильной речи. Тогда он обращался к толмачу, говорил ему по-казахски, и требовал самого точного перевода, внимательно уставившись на него своими черными, блестящими глазами, словно приказывая: «Переводи точно!» Дав толмачу перевести какую-то часть, Абай снова вмешивался и говорил дальше сам. Абай в душе ликовал и торжествовал, что впервые за все время бесконечных допросов и заявлений он говорит на языке его судей. Он не смущался, что может допустить неправильности в русской речи, – только следил внимательно, чтобы самым точным образом были бы переданы суть и смысл дела. Некоторые приходившие на память образные выражения казахов он тут же переводил на русский язык. И чувствовал, что это нравится присутствующим.

Старик председатель, казалось, был строгий ревнитель законности и человек справедливый. Дело простого кочевника, «киргиза», он назначил к слушанию вместе с делом высокого царского чиновника, что вызвало у всех крайнее удивление. И то обстоятельство, что он позволил Абаю говорить долго, не перебивал его, давая возможность говорить по-русски или обращаться к помощи переводчика, выходило далеко за рамки обычного судопроизводства. Но за этим и за всеми послаблениями, допущенными им в ведении дела Абая, крылась мало кому известная подоплека.

Этот старый судья был весьма близким человеком к нынешнему генерал-губернатору, который приходился ему свояком. Генерал был женат на младшей сестре супруги старого судьи, они были близки домами. Но скрытая подоплека в поведении его состояла не в этом родстве, позволявшем судье много вольностей, а в том, что этот благообразный и очень сановный старик был отъявленный, убежденный, ненасытный взяточник.



Тентек-ояз Кошкин тоже был человек не без связей и высоких покровителей. Он оказался зятем председателя окружного суда, который, как было известно, также был близок к губернатору. Они оба хотели вначале попросту замять дело со служебным произволом Кошкина, не давать ему ход. Но вмешательство адвоката Андреева, его неотразимые исковые заявления не позволили положить дело под сукно: в любом случае Андреев мог перевести разбирательство дела Абая в окружной генерал-губернаторский дуан, и тогда дело Кошкина могло принять нежелательный для него оборот. Ко всему еще советник Лосовский успел представить губернатору свой отчет о сорванных выборах в Ералы, где подробно изложил обо всех противозаконных действиях уездного начальника. Замять скандал теперь представлялось делом невозможным, надо было в гражданском порядке как-то выгородить Кошкина, не выходя за пределы уезда, вынести приговор Абаю и закрыть дело. Поэтому и согласился губернатор, чтобы дело было рассмотрено не в суде, а в гражданском порядке, своей властью, и поручил это дело старому, опытному чиновнику Хорькову.

Беглым взглядом окинув дело Абая, Хорьков сразу понял, что если строго наказать Абая, приговорить к длительному сроку заключения, то опытный адвокат Андреев тут же подаст на апелляцию в окружной суд, и тогда Хорьков со своими безобразиями непременно всплывет в суде высокой инстанции. Поэтому он решил приговорить Абая к выплате штрафа и освободить его. А к делу Абая присоединить иски на Кошкина и покончить с его делом, особо не раздувая.

Но Хорькову хотелось на этом деле сорвать крупную взятку, нельзя было упускать такой удобный случай. Угодив одновременно и губернатору, и председателю окружного суда, он не хотел сам оставаться без выгоды. В разговоре с Андреевым он намекнул, что положение Абая можно значительно облегчить или даже добиться полного освобождения, если постараться кое-кого «уговорить». Адвокат отлично понял его и при очеред-



ной встрече с подзащитным с ядовитой усмешкой просветил его: «Председателю нужно немного подлечиться... Думаю, что на лекарства ему понадобится рублей пятьсот». Деньги были Ерболом доставлены по назначению.

Хорькову теперь оставалось разъяснить Тентек-оязу, как тот должен будет вести себя на разбирательстве в коллегии областного управления. Но неожиданно он натолкнулся на глухое сопротивление Кошкина, который, отлично зная о большой любви Хорькова к взяткам, понял дело таким образом, что взятку тот получил и теперь хочет выгородить киргиза Абая и унижить достоинство честного слуги царя и Отечества. Одна только мысль о том, что при разбирательстве его поставят на одну доску с диким кочевником, приводила начальника в бешенство. Он принял это за оскорбление и потребовал рассматривать его дело отдельно, без присутствия этого киргиза. Хорьков всячески пытался его переубедить, хотел даже припугнуть его тем, что обвинение в противозаконном избиинии выборных лиц грозит ему большими неприятностями.

В Кошкине проснулся тот самый зверь-самодур, который свирепствовал и бесчинствовал в Ералы. Тентек-ояз заявил, что огласки не боится и что ему придется отвечать только за рукоприкладство, других же неприглядных дел за ним не подразумевается – вроде вымогательства или взяточничества. И что он на любом суде сможет доказать необходимость тех решительных мер, к которым вынужден был прибегнуть ввиду особых обстоятельств. Далее он высказал в глаза Хорькову: судить его должны те, у кого совесть чиста, а не те, у кого рыльце в пушку. «Вы забыли, кажется, что дело заведено не на меня, что судят не меня!» – раскричался он.

Старый чиновник Хорьков, сам матерый зверь, злобно ощерился в ответ. Пригрозил, что немедленно доложит генерал-губернатору о дерзком поведении уездного начальника.

Таким образом, дело, в котором переплелось столько противоборствующих начал, пошло не совсем в том русле,



которое наметил председатель коллегии. С надменным видом войдя в зал заседаний, Кошкин сразу же заявил, что не желает сидеть как ответчик рядом с киргизом и, пощелкивая каблуками сапог, подошел и сел за зеленый стол заседаний. Хотя старик председатель старался сохранить видимость спокойствия и уверенности, он заметно нервничал, но действовал умело и торопливо подвел дело к завершению. Вынесен был Абаю мягкий приговор, после чего председательствующий заявил, что вопрос об уездном начальнике будет рассматриваться отдельно, без присутствия посторонних лиц.

Итак, искусное словопрение чиновников, правящих жизнью кочевого народа, подвело к такому решению. Но, дав высказаться Абаю, председатель все же задал ему каверзный вопрос:

– Уездный начальник имел отношения с выборными лицами. А Кауменов, и Шока-улы, и Суюндик-улы, как выборные лица, могут обращаться к уездному начальнику. Ну а ты почему вмешался, Кунанбаев?

Абай ответил, не смутившись:

– Меня попросил народ. Я говорю по-русски. Когда начальник Кошкин приказал бить нагайками Оразбая Аккулова, народ велел мне немедленно вступить за него.

При этих словах Тентек-ояз, и так уязвленный данной Абаю свободой говорить на русском, вновь не выдержал и взвился до потолка:

– А ты кто такой у этого твоего народа? – закричал он. – Кто дал тебе право говорить от имени народа? С чего это вдруг почувствовал в себе такую силу? Откуда у тебя взялась такая прыть, киргиз?

Его выкрики не затронули Абая, он спокойно отвечал:

– Этот человек говорит о силе. Нет, у меня не было такой силы, какая была у него с его солдатами, с ружьями. У народа не было ружей. Но есть сила, которая сильнее оружия. Сильнее приказов уездного начальника. Называется она – справедливость и честь. Наш народ говорит, – тут Абай повернулся к



толмачу и сказал: «Переведи все в точности!», – «Подчиняйся не силе, а правде. Несправедливости не подчиняйся, за справедливость стой, если даже головой придется заплатить».

Эти слова словно подытожили всю сегодняшнюю беспримерную борьбу Абая.

Когда толмач перевел его слова, Андреев, Лосовский и Михайлов, сидевшие сзади него, у противоположной стены, молча переглянулись между собой. Даже их, знавших его близко, удивило, как достойно держался сегодня Абай...

И тут судопроизводство вдруг перешло в словесный поединок между Тентек-оязом и Абаем.

– Ты защищаешь Кауменова Базаралы, Кунанбаев! А ведь он – родной брат разбойника Оралбая! – обвинил Кошкин Абая.

– Я помогал только выборным биям, которых вы избивали, – возразил Абай.

– Это ложь! Ты не только о них заботился! Твоя цель была – освободить Кауменова! Из-за него ты и возмутил народ и устроил беспорядки!

– Я не лгу! Но Кауменова я и вправду считаю невиновным.

– Так бы сразу и говорил! Скоро ты будешь выгораживать и его брата, этого разбойника Оралбая! – так говорил Тентек-ояз и, повернувшись к председателю, многозначительным тоном обратился к нему:

– Господин председатель! Прошу эти слова Кунанбаева занести в протокол!

Но и Абай попросил принять его заявление. Оралбай Каумен-улы уже больше года находится в бегах. Раньше он был смирным джигитом, жил у отца в ауле. Но вот пропал без вести, и о нем долго не было ничего слышно. И то, что он где-то совершил преступление, явилось для всего рода страшной вестью. Он потерян, считай, для народа, для своих родителей, для всех родичей. Господин председатель должен сам понимать: если крестьянский парень из Семипалатинского уезда сбежит в Оренбург и там натворит бед, а господин Кош-



кин приедет в его село и задаст розог старосте, волостному и писарю конторы – правильно ли это будет? И останется ли тогда господин Кошкин начальником уезда? Будет ли дальше получать чины и награды?

Кошкин растерялся и стал отрицать, что приказывал пороть выборных. Абай с презрением, брезгливо посмотрел на него.

– Мне не о чем с вами говорить, вы не только творите преступное беззаконие, но и лжете! – твердым, неумолимым голосом сказал он. – Если врет простой, слабый человек – это постыдно. Но если лжет начальство, которому вручена государственная власть, – это преступление. И вам не место за столом, рядом с моими судьями. Я удивлен, мне стыдно за вас, и отвечать на допросе я больше ничего не буду. Но я продолжаю утверждать, господин начальник уезда прибежал к порке. Об этом я прошу допросить советника Лосовского.

Абай замолчал. Старый председатель обратился с вопросами к Лосовскому, и тот полностью подтвердил заявление Абая.

– Господин уездный начальник позволил себе недозволенные законом действия не только на выборном пункте. Несколько человек он подверг телесным наказаниям, розгами и нагайками, по пути следования к месту выборов. Это я подтверждаю как непосредственный свидетель незаконных действий господина начальника уезда.

Но Кошкин и тут не потерял наглой самоуверенности.

– Я не отрицаю, господа, что немного погорячился. Кого угодно могут вывести из терпения эти туземцы, злостно покрывающие преступников и друг друга! И не велика беда – дать волю рукам, когда душа чиста, – с ехидцей проговорил он, шевеля встопорщенными, наостренными усами. – Зато я взятки не брал и свою совесть не продавал, как некоторые...

Лосовский только рассмеялся и, разводя руками, посмотрел на председателя, словно говоря: «Сами видите, что с него возьмешь?»



Следствие по делу Абая на этом закончилось. Обсуждать и принимать решение при казахе административный суд не счел нужным, и было приказано Абая увести. Его отвели в каталажку. Там он провел еще одну ночь. На следующее утро его освободили.

Но это не было полным оправданием – приговор гласил: «За учинение беспорядков и устройство препятствий, мешавших успешному проведению выборов волостного старшины уездному начальнику Кошкину, Кунанбаев Ибрагим присуждается к уплате штрафа в сумме одной тысячи рублей». Такой приговор имел целью явить перед кочевниками непреклонность закона, предписывающего слепое и беспрекословное подчинение любым приказаниям начальства и подвергающее неминуемому наказанию того, кто идет против него.

Уходя из суда вместе с Андреевым, бородатый, мужиковатый с виду Михайлов с возмущением говорил адвокату:

– Какой судебный произвол! Да ведь такой суд сам по себе – уже преступление! Потому что воодушевляет каждого такого Кошкина на все новые подвиги с избиением дубиной и плетью этого славного народа – и только за то, что он терпелив, благороден и безответен.

Абай не был посвящен в сложную подоплеку интриг судилица, да и это было ему безразлично, он просто радовался вновь обретенной свободе. Дело его было закончено, приговор суда вынесен, однако из него было выделено отдельное рассмотрение по обвинению двух других лиц. Это называлось. «Дело братьев Кауменовых – Оралбая и Базаралы». По этому новому заведенному делу выходило, что Базаралы, никогда никуда не скрывавшийся, никаких преступлений не совершивший, был объявлен состоящим под надзором и при поимке властями Оралбая подлежал немедленному аресту – в интересах следствия. Базаралы также мог быть арестован по любому доносу родовых старшин или главы волости и понести судебное наказание.



Когда Абай, освободившись, вышел из ворот тюрьмы на улицу, там его ждала коляска, запряженная тройкой гнедых. В коляске сидели сестра Макиш, Ербол и какая-то красивая незнакомая девушка, одетая богато и изысканно, в золотых браслетах на руках. Увидев его, выходящего из ворот, все трое сошли с коляски и бросились навстречу ему. Сестра и Ербол по очереди радостно обнимали его.

Абай еще ничего не знал о Салтанат. Во время следствия и суда Ербол не рассказывал про нее Абаю, просил о том же Макиш. Ербол опасался, что Абай сочтет неудобным принимать помощь и поручительство от незнакомой богатой девушки, откажется от денег, и тем самым дело намного задержится. И вот только теперь Макиш подвела Салтанат за руку к Абаю, стоявшему в некотором замешательстве. Улыбаясь, Макиш представила:

– Эту девушку зовут Салтанат. Ты раньше слышал о ней, наверное.

Абай молча кивнул головой.

Макиш продолжала:

– Эта девушка – одна из твоих самых верных друзей, хотя ты с нею и не встречался. И если ты раньше знал ее по имени, то теперь можешь полюбоваться на нее! Салтанат одна из твоих ходатаев, это она вносила залог и взяла поручительство на себя.

Удивленный Абай не мог произнести ни слова, сложное и непонятное ему самому чувство шевельнулось в его душе: досада, что близкие скрыли от него о возникших трудностях и вынуждены были искать деньги у чужих людей, и теперь он, оказывается, должник у этой молоденькой, горделивой с виду богатой девушки, чьей-то невесты, наверное; но и не только досада и смущение – что-то неожиданное, чудесное встретило его на пороге тюрьмы и озарило сердце внезапной радостью. Не разобравшись как следует с этими противоречивыми чувствами, Абай лишь молча пожал руку девушки обеими руками и потом склонил голову в поклоне, прижав руку к сердцу.



Салтанат, видимо, не этого ждала, она мгновенно вспыхнула от смущения и, тоже молча, потупилась. Казалось, она хотела услышать от него какие-то добрые слова и ждала их. Макиш оказалась сообразительнее их обоих в эту неловкую для них минуту и вмешалась, весело посмеиваясь:

– Абайжан! Ты что это? Всегда был у нас такой умный! Неужели не можешь сказать несколько теплых слов благодарности девушке, которая помогла тебе? Ты же это прекрасно делаешь, карагым!

Абай вежливо подал знак рукой женщинам, приглашая сесть в коляску, вслед за ними сел сам и только после этого заговорил, обращаясь к Салтанат:

– Предками нашими сказано: «Ум – это и есть красота человека, а самый верный спутник ума – сдержанность». Когда все это имеется, зачем еще что-то говорить, не правда ли, Салтанат?

– Согласна с вами! – улыбнулась девушка. – Радость должна быть немногословна.

Тройка с бубенцами, с двумя пристяжными, развернувшими головы набок, стремительно понеслась по дороге к мосту и через мост на другой берег, к богатому дому бая Тыныбека.

Следствие и суд были позади, но Абай еще надолго задержался в городе. Друзей-жигитеков во главе с Базаралы тотчас по выходу из тюрьмы отправил домой, чтобы они скорее донесли туда весть о его освобождении, а сам остался с Ерболом и Баймагамбетом. Остановился он не в доме Тыныбека, где в то время гостили токал и дочь Альдеке, – Абай выбрал для постоя привычный для него дом татарина Карима на другом берегу реки. У Тыныбека выбравшийся из заточения Абай прожил всего несколько дней.

Абай постепенно узнал, как много для него сделала Салтанат. Хотя она и была дочерью очень известного и богатого бая Альдеке, ей не разрешили взять на поруки Абая, пришлось ей уговаривать пойти на это семипалатинского богача и домовла-



дельца, войлочника Дюйсекена. Этот Дюйсекен был в большой дружбе с ее отцом и приходился ему нагаши, родственником со стороны жены. Войлочник был весьма осторожным, даже трусливым торговцем и к роду Тобыкты никакого отношения не имел, и даже по каким-то причинам недолюбливал тобыктинцев, но он не смог отказать своей любимице и баловнице, дочери друга. И все же уговорить его быть поручителем за Абая девушке было непросто. Денежный залог она внесла сама.

Чем больше узнавал Абай обо всех хлопотах Салтанат, тем большую неловкость начинал ощущать по отношению к девушке. Подобное проявление дружбы – дело непростое. Что кроется за подобной дружбой у молодой девушки, нелегко угадать.

Абай хотел откровенно поговорить с Салтанат, ему надо было знать, чем вызваны беспримерные заботы со стороны юной девушки, с которой он не был даже знаком. Ему бы не хотелось, чтобы за этим необычным поступком крылось что-нибудь большее, чем обычное человеческое благородство и сочувствие. И случай поговорить с нею вскоре представился. На другой день после освобождения Абая младшая мать Салтанат уехала на другой берег, что-то покупать в лавках, Макиш и Ербол поехали с нею, и Абай остался в доме наедине с Салтанат.

В большом доме Тыныбека стояла тишина. На окнах висели плотные занавески темного шелка, не пропускавшие солнечного света, и в комнатах был полумрак, было прохладно и уютно. Абай и Салтанат сидели за круглым низеньким столиком на мягких корпе, разостланных на полу, и вели учтивую беседу. Вскоре Абай заговорил о том, что занимало его ум в последние два дня. Начал он с того, что горячо поблагодарил девушку за все, что она сделала для него. Тревожно настороженную в душе, Салтанат стеснял этот разговор наедине, она предпочла молча слушать джигита. В ответ на его слова благодарности она лишь повела длинными пальцами белой руки, лежавшей



на столе, как бы говоря: «Перестаньте. Не стоит благодарности!» Подняла на него глаза, взгляд которых выразительно продолжил: «И не надо об этом больше говорить».

Находясь чуть в стороне от Абая, она искоса бросила на него быстрый взгляд, в котором просквозила легкая обида; но, как бы защищаясь от его пристойной велеречивости, она опять подняла руку и выставила на Абая, ладонью на него, – отстраняющим жестом. До сих пор на все его слова благодарности она ничего не отвечала, но наконец решила коротко высказаться: «К чему все это, Абай... Не стоит повторяться... Дело сделано, ну и, слава Всевышнему, все благополучно закончилось!» – и она смеялась мелодическими, звучными переливами голоса девушки-сэре. Далее она опять не произнесла ни слова, лишь загадочным взглядом посматривала на Абая, время от времени поднимая на него глаза. И Абай двойственно понимал значение этого взгляда: или она опасалась, что он воспримет ее помощь как некую попытку накинуть на него узду, или взгляд ее выражал мысль такую: «Ну-ка, посмотрим, что он станет делать? Я-то со своей стороны сделала все, как полагается». И Абай решительно настроился на то, чтобы внесена была полная ясность, и чтобы ни полслова от лукавства и лицемерия не проскочило в их разговоре.

Вошел Баймагамбет и поставил перед ними серебряную чашу с холодным кумысом. Абай, задумавшись, помешивал в кумысе роговой ложкой. Наполнил расписную пиалу и подал девушке.

– Салтанат!.. – наконец произнес он.

Смущенный, робкий взгляд красавицы со скрытой мольбой обратился к нему.

– В жизни мужчины немало выпадает случаев, когда он принимает помощь от своих истинных друзей. Это не удивительно, таков закон мужской дружбы. Но я никак не ожидал, что столь решительная и отважная помощь последует со стороны слабой женщины, да еще и почти сверстницы. Скажите мне со всей от-



кровенностью и прямотой – прямота ведь не порок, Салтанат? Что побудило вас помогать мне, не побоявшись того, что о вас могут подумать?

Салтанат, наверное, ждала такого вопроса. Она с решительным видом подняла голову, белое личико ее мгновенно вспыхнуло горячим румянцем. Краска пошла по всему лицу, ото лба до самого подбородка. Даже мочки ушей, в которых качались сережки, налились алой кровью.

Прекрасно владея собой, недрогнувшей рукою приняв от Абая чашу с кумысом, юная красавица отвечала, – но прежде посидев с раздумчивым видом и даже отпив глоток напитка:

– Я вмешалась только по своей воле и по собственному желанию. Простите, что сделала это без вашего ведома и вашего соизволения. Знайте только одно: меня вело желание помочь хорошему человеку. Примите это как знак искренней дружбы. И еще раз простите, что решилась пойти на такой шаг, хотя я могла предполагать, что у вас хватит настоящих друзей, готовых прийти к вам на помощь.

Абая такой ответ девушки привел в восхищение. Он понял, насколько велика ее душа и не по возрасту сильна и благородна ее воля. Абай не мог скрыть своего восхищения.

– Насколько достойны ваши слова, Салтанат! Я всегда буду помнить их, – сказал он.

Тут вошел в комнату какой-то огромного роста человек, в высоких войлочных сапогах-саптама, в шапке из черной мерлушки, сшитой на манер тобыктинских. По всему видно было, что человек этот из степей, и он только что прибыл оттуда. Войдя с яркого света в полутемную комнату, он еще не различал находившихся в помещении людей, но Абай сразу узнал его и, поздоровавшись, пригласил:

– Е, проходи сюда!

Вошедший осторожно продвинулся вперед и, нашарив место рядом с Абаем, тяжеловесно уселся. И только тут увидел перед собой Салтанат. Глаза его к этому времени уже привыкли к



полумраку комнаты, и он с изумлением выпучил на нее глаза, позабыв даже пригубить поданный ему кумыс в чашке. Прибывший гость был сын Кулыншака, один из бескаска – «пятерых удальцов» – Манас.

Он приехал по поручению Улжан. Когда он подъезжал к воротам подворья Тыныбека, оттуда как раз выехала повозка, запряженная тройкой гнедых. Остановив ее, Манас коротко переговорил с Макиш. Показывая на взмыленных коней, – рабочего, под собой, и заводного, в поводу, – Манас сказал, что скакал сюда днем и ночью, чтобы поскорее узнать вести про Абая. Макиш тут же успокоила его, сказав, что дело закончено и Абай уже дома. Манас заторопился его увидеть и, спешившись, тут же захотел войти в дом, но его задержал Баймагамбет, спрашивая о новостях аульных. Наконец Манас, в нетерпении отмахнувшись от Баймагамбета, ворвался в дом и сам пошел отыскивать Абая, заглядывая в каждую комнату, попадавшую на пути. Обнаружив Абая в темной комнате наедине с девушкой, Манас это объяснил себе по-своему, и то, что Баймагамбет удерживал его во дворе, – так же.

Наконец немного придя в себя от изумления, Манас рассказал, что приехал по поручению байбише Улжан, что аулы уже откочевали за Чингиз, дороги в степи стали совсем безлюдны, одинокому путнику ехать по ним небезопасно. Поэтому за новостями послали именно его, громадного джигита, силача и храбреца. Манас рассказал Абаю о том, что мать его от тревоги потеряла покой и сон и даже перестала есть. Что все в ауле, от ребятишек до аксакалов, переживают за него и крепко тревожатся, все думают: «Что с ним? Может, в тоске и унынии? Может, тоже потерял сон и покой, оказавшись в заточении?»

– Ночи не спят, все беспокоятся за тебя! Но слава Аллаху, я вижу, что все у тебя в порядке! Баймагамбет удерживал меня у двери, говоря: он беседует с человеком. Но у меня сил не хватило удержаться, как только узнал, что ты жив-здоров, хотелось скорее увидеть тебя, вот и ворвался сюда. Уж ты не



обижайся на меня. Там, в ауле, люди думают, что ты в беде, а ты, как я вижу, вовсе не бедуешь и даже не скучаешь!

И, оглушительным хохотом наполнив весь дом, Манас взял протянутую ему чашу с кумысом и стал отпивать. Воспользовавшись моментом, Абай не дал ему продолжить его шутки и сам стал говорить:

– Только вчера освободили меня, едва успел повидаться с родными. Но в суде не все еще кончено, вот, советуемся, что делать дальше, меня ведь только выпустили на поруки... Но об этом поговорим после.

Абай позвал Баймагамбета, коротко распорядился:

– Отведи его в гостевую комнату. Накорми, дай отдохнуть, устрой на ночлег.

Как только джигиты ушли, Абай стал продолжать прерванный разговор.

– Как я могу сердиться на то, что вы помогли мне освободиться из тюрьмы? О, Салтанат, я думаю сейчас только об одном: чем бы я мог достойно ответить на вашу доброту! Но вы были так смелы и великодушны, что трудно будет мне сравняться с вами, и это меня огорчает!

Салтанат слушала, не поднимая головы. Затем подняла глаза на него и сказала:

– Мне понравились ваши слова, сказанные вчера: сдержанность – это самый верный спутник ума. Я впервые говорю с вами, но от Макиш много слышала о вашей честности и о высоких свойствах вашего ума. Я подумала, что вы – человек, способный дать другим опору для души. И я оказалась права: все, что вы сегодня сказали мне, дало опору для моей души. Я поняла, я успокоилась... Вы очень многое дали мне, – Салтанат усмехнулась невесело и продолжила: – Хотя дом этот просторен, и мы в нем наедине, но дорога, по которой мы можем идти рядом, совсем коротка, и она, видимо, закончилась. Давайте на этом и разговор наш закончим, и разрешите мне уйти.



Абай поддержал ее под локоть, помогая встать. С улыбкой сказал ей:

– Салтанат, может ли возникнуть дружба между двумя искренними сердцами, если их разделяет занавес невысказанных чувств?

– А разве суфий Алаяр не говорил: «Пытаясь приоткрыть занавес души, смотри, не сорви нечаянно занавес чести!» – Так сказала Салтанат, выходя за дверь, открытую ей джигитом, и удаляясь спиной вперед. Бросив на него последний взгляд своих оленьих глаз, она быстро повернулась и ушла.

Проводив девушку, Абай с растерянным видом стоял у двери, снова и снова повторяя про себя: «Пытаясь приоткрыть занавес души, смотри, не сорви занавес чести...» Как хорошо сказано! У девушки редкий ум и красивая душа. Может быть, на своем жизненном пути он набрел на истинное сокровище? Он вспомнил, что сам говорил ей, немного рисуясь перед красивой девушкой, как и всякий джигит, – и устыдился себя. Кто из девушек степи мог бы совершить то, что совершила она? Конечно, ее толкнуло на этот шаг не просто женское легкомыслие. Нет, – у этой девушки сердце, исполненное великой человечности. И то, как сдержанно, с полным достоинством она вела разговор наедине с ним, убедило его, что девушка незаурядна! Абай твердо решил наложить запрет на всякое свое двусмысленное поведение в отношении этой девушки. «Люди подобного склада не приемлют лжи и лицемерия. С нею надо быть честным во всем, и за честь считать ее откровенные высказывания, направленные в твою сторону, какими бы они ни были». Так подумал Абай и решил немедленно уехать из дома Тыныбека, взять квартиру в другом месте.

Так он стал на квартиру в доме у старого своего знакомого Карима.

Каждое утро Абай садился на коня и в сопровождении Баймагамбета ехал в центр города. Там он подъезжал к белому двухэтажному каменному дому, расположенному в одном из



глухих тупичков на высоком берегу Иртыша. Сам спешивался, лошадь передавал Баймагамбету, и тот уезжал назад, с тем, чтобы вечером вернуться за Абаем. Дом, к которому подходил Абай, был городской библиотекой. Он днями напролет занимался в читальном зале. Если же библиотекарь в обещанный день выдавал ему книгу на руки, нукер не уезжал, а ждал его снаружи, и тогда Абай, получив или обменяв книги, выходил вскоре из библиотеки и с книжками в коржуне ехал домой.

Сегодня он как раз хотел взять книги на дом и оставил Баймагамбета дожидаться. В большой комнате читальни на этот раз оказалось много народу: мужчины и женщины разного возраста, по-разному одетые, в основном – учащаяся молодежь. Сидели за каждым столом, по два-три человека. «Здесь находится самое ценное из всего этого города», – подумал Абай, с радостным волнением переступая порог библиотеки.

Библиотекарь, скромно одетый старичок со стриженной клинышком седенькой бородкой, с живыми глазами, встретил Абая приятной улыбкой, как старого знакомого.

Недалеко от стола выдачи, возле выхода из читальни, сидел некий кудрявый чиновник с лихо закрученными усами. Он поглядывал масляными глазками на свою соседку за столом, нарядно одетую молодую даму, и что-то ей тихо говорил с победительной улыбкой на румяных губах. Заметив вошедшего в зал Абая, он указал пальцем на него и громко сказал своей собеседнице, в расчете на то, что и другие тоже услышат:

– Удивительное дело! С каких это пор в Гоголевскую библиотеку стали заходить верблюды?

Кое-кто из молодых людей, оторвавшись от книги, увидел Абая – в широком степном чапане, в вышитой шапочке, – фыркнул и бездумно рассмеялся. Молодая женщина, сидевшая рядом с кудрявым мужчиной, шутки его не восприняла, а, наоборот, густо покраснела, устыдясь за него, и опустила голову. И у Абая, заметившего это, стремительно вспыхнувший в нем



темный гнев не вздыбился яростью, но был укрощен спокойной усмешкой. Улыбнувшись, Абай ответил кудрявому:

– Почему бы сюда не зайти верблюду, господин чиновник, если здесь уже сидит осел?

На этот раз рассмеялись все. Задохнулась от смеха, откинулась на стуле молодая дама. Кудрявенький чиновник сначала весь побелел от злости, потом стал краснеть от досады и стыда. Молча уткнулся в свою книгу, пригнув свою курчавую голову. Абай обратился к старому библиотекарю, спрашивая у него номер «Русского вестника».

Между тем смех и оживление в зале сошли, снова установилась тишина. К разговаривавшим Абаю и библиотекарю шагнул стоявший рядом со столом выдачи высокий человек с окладистой бородой и могучим лысым черепом.

– Этот номер у меня, – произнес он густым басом. – Но я уже его просмотрел, могу отдать вам. Только скажите мне сначала, почему вы его спрашиваете?

– Там печатается новый роман Толстого. Я хочу его прочесть.

– Так вы знаете сочинения Толстого? А что в них заинтересовало вас? – живо спрашивал бородач. – И давно вы начали его читать?

– Нет, я еще совсем мало знаком с книгами Толстого, – отвечал Абай этому пытливому человеку с умными глазами, сразу проникая к нему доверием, – но я слышал, что это самый мудрый, самый великий сын своего народа. Вот я и хочу узнать, чему учит этот человек.

– О, это хорошо! Замечательно! – воодушевленно продолжал бородач. – А мне приходилось вас раньше видеть при других обстоятельствах, правда... не очень приятных. В канцелярии областного управления. Вы там хорошо проучили кое-кого. Но скажу вам честно, сегодня вы были великолепны и произвели на меня еще большее впечатление, чем тогда... Давайте познакомимся! Михайлов Евгений Петрович.



– Ибрагим Кунанбаев, – представился и Абай. – Я вас тоже знаю, наши друзья рассказывали... Очень рад нашему знакомству!

Они вместе вышли из библиотеки и отправились пешком по берегу Иртыша, продолжая разговаривать. Абай шагал, распахнув чапан, заложив руки за спину, держа в них камчу и тымак. Баймагамбет следовал сзади верхом на своем коне, держа повод Абаевой лошади в руке, весьма удивленный тем, что его бай идет пешком только для того, чтобы разговаривать на ходу с каким-то русским мужиком. Вскоре они дошли до белого каменного дома, одиноко стоявшего на высоком берегу, недалеко от водяной мельницы. Михайлов предложил:

– Зайдемте ко мне. Хотелось бы еще поговорить с вами.

Абай поблагодарил и согласился. Чувствуя, что Абай засидится в этом доме, Баймагамбет с лошадьми ушел на Иртыш.

Михайлов жил в просторной, светлой, чисто прибранной комнате. Радуюсь новому знакомству, Абай увлеченно проговорил с ним до самого вечера.

У Абая были причины интересоваться Михайловым. Раньше о нем много рассказывал адвокат Андреев, и по его словам, Михайлов был самым образованным и умным человеком во всем Семипалатинске. Оказывается, он свою жизнь посвятил общественному служению и еще в молодые годы подвергся гонению и преследованиям со стороны властей. Но эти гонения не сломили его дух, а послужили к вящему его укреплению, росту и совершенствованию; в ссылках и тюрьмах, встречаясь с заточенными в них лучшими умами России, он получил отменное образование и приумножил свои знания. По мнению Акбаса Андреевича, бородатый и лысый Михайлов, похожий на обыкновенного мужика, являлся одним из самых передовых людей своего народа и мог бы стать его гордостью, выпади ему судьба жить в другие времена. И вот Абай, наконец, встретился с этим человеком, мог с ним разговаривать.



Михайлов спрашивал, что успел прочесть по-русски Абай, и, одобряя его выбор, всячески поддерживал дальнейшее стремление Абая к самообразованию. Абаю порой казалось, что перед ним находится учитель, хорошо представляющий способности своего ученика, – Абай с улыбкой признался Михайлову, что чувствует себя робким учеником перед ним.

– Или, если вам будет угодно, вы как тот искусный табиб-костоправ, который находит своими чуткими руками место скрытого перелома и одним нежным движением вправляет кость. Вы обнаруживаете во мне мои самые потаенные раны, скрытые печали и чудесными словами врачуете меня!

Абай говорил по-русски, иногда с трудом подыскивая слова и составляя их в неверном порядке, но Михайлов, внимательно вслушиваясь в них, склонив свою лобастую, лысую голову, сразу понимал их смысловое значение и чувствовал силу мысли степного философа. Услышав красивое сравнение с костоправом, он даже засмеялся от удовольствия.

– У вас очень меткие сравнения. Я заметил это, когда у вас была перепалка с Кошкиным, – заметил Михайлов.

Упоминание о Тентек-оязе пробудило в Абае непреходящее возмущение и негодование чиновниками, которые управляют народом с помощью угроз, палок и нагаек.

– Да, трудно представить все зло, что приносит России орда таких чиновников, – согласился Михайлов. – Это особые существа, которые развелись во всех городах, от Петербурга и до Семипалатинска, и все они словно выпечены из одного теста. – Михайлов безнадежно махнул рукой. – Представить до конца все их зло лишь по тем видимым безобразиям, которые они творят, невозможно. А попробовать вмешаться в их дела, как попробовали вы, это значит – отсидеть потом месяц-другой в каталажке, труд не очень полезный и приятный. Вот у нас в России есть один писатель, Салтыков-Щедрин, так он попробовал раскусить натуру этого племени в своих книгах... Непременно прочитайте его книги!



Такое резкое и решительное выделение начальников-чиновников в отдельное племя, противостоящее народу, несколько озадачило Абая. Он-то считал, что люди так же неодинаковы, как пять пальцев на руке, и что среди чиновников также есть разные люди... Он попытался эту мысль выразить Михайлову, но тот лишь улыбнулся.

– Вы наивный человек, Кунанбаев! – сказал он. – Чиновники одинаковы все – и большие, и маленькие, и молодые, и старые, и толстые, и худые...

Увидев, что Абай хоть и отмалчивается, но не согласен с ним, Михайлов тоже решил прибегнуть к сравнению.

– Они как семена чертополоха, брошенные в одну и ту же землю... Да и сеет их одна и та же рука, которой водит один и тот же царственный руководитель...

Михайлов не стал далее углубляться в свою мысль, развивать свое сравнение. Но Абай понял его. Рука, сеющая одинаковые семена чертополоха, – это было понятно! Все больше нравился ему новый его знакомый. И уже вполне доверяясь ему, он не мог не задать вопрос, который для самого Абая был вполне ясен:

– Евгений Петрович, ваши слова кажутся убедительными. Но ведь советник Лосовский есть! Разве не показал он себя справедливым в деле с Тентек-оязом?

Но и тут Михайлов повернул разговор таким образом, что Абай призадумался, озадаченный.

– Итак, Ибрагим Кунанбаевич, мы утверждаем, значит, что Кошкин плохой, а Лосовский хороший? Вы считаете, что все дела решались бы справедливо, если бы Кошкиных было поменьше, а Лосовских больше, не так ли? Допустим, вы правы: Лосовский оказался лучше других чиновников. Не дай он свои показания, дело ваше обернулось бы для вас плохо. Вот вы и решили: это справедливый чиновник, такой, каким должен быть каждый чиновник, так ведь?



– Да, он показал себя справедливым. Вы же сами видели.

– Действительно, показал. Но это был всего лишь один случай. Я не говорю, что для народа вашего и для вас этот случай был бесполезен. Нет. Надо использовать все такие случаи и всех подобных Лосовских, если таковые пойдут на пользу простым людям. Я говорю лишь о том, чтобы вы особенно не прельщались правдивостью чиновников.

– Какие могут быть сомнения? Он сказал честные слова.

– Ну и ладно. Но хотелось бы вам знать, почему он оказался способным на такую правдивость?

– Да.

– Потому что он среди чиновников как белая ворона. У русских есть такое выражение. Говоря иносказательно – среди черных ворон иногда попадает белая, но это не означает, что она не ворона. Черная или белая, но ворона останется вороной и будет заниматься своим вороньим ремеслом.

– В нашем народе говорят: «Ворон ворону глаз не выклюет».

Михайлов снова рассмеялся, потом продолжал с серьезным видом:

– И у нас говорят так же. Вот и надо это понимать: раз ты ворона, оставайся вороной и не старайся казаться белым голубком. Ваш Лосовский для народа похуже, может быть, чем Кошкин. Уж лучше дело иметь с Кошкиным. Его мерзкая сущность, по крайней мере, ничем не прикрыта. А такие, как Лосовский, вводят вас в заблуждение и рождают несбыточные надежды: вам представляется, что государственное чиновничество может стать «хорошим чиновничеством». И вам кажется, что причина зла не в царском строе, породившем чиновничество, а в отдельных плохих чиновниках.

И вдруг Абай до конца понял мысль Михайлова. Она вся была проникнута беспредельной заботой о народе. Беспощадно отбрасывала всякий обман – откровенный или скрытый.



Абай и удивлялся, и любовался мощной духовной силой этого человека, и был благодарен ему за его откровенность.

– Вы мне словно открыли дверь в незнакомый мир, Евгений Петрович, – признался Абай. – Эта беседа для меня – великий урок.

Михайлов дружески похлопал Абая по плечу, с мягкой улыбкой заглянул ему в глаза.

– Вы должны учиться не только у меня, друг мой. Есть множество русских мыслителей, гораздо более мудрых, образованных и умных, чем ваш покорный слуга. Учитесь у них. Я обещаю вам давать книги таких людей, а если хотите и дальше заниматься самообразованием, то, с вашего разрешения, охотно берусь помочь в этом деле. Я вижу, что у вас огромное влечение к знаниям, которые невозможно обрести без получения системного образования, но в этом отношении, Ибрагим Кунанбаевич, вам помогут русские книги. Они станут для вас лучшими учителями и друзьями!

Для Абая, жаждущего знаний, ничего не могло быть дороже такого предложения. Он был бесконечно благодарен и рад Михайлову, как чудом обретенной родственной душе.

– Встреча с вами – это дар судьбы для меня. Ваше предложение – огромная для меня честь.

В первую их встречу Михайлов посоветовал Абаю начать знакомство с произведениями классиков: Гоголя, Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. Некоторые соответствующие книги нашлись у него. Из своей же библиотеки Евгений Петрович выдал Абаю и толковый словарь наиболее трудных русских слов. На листе бумаги написал длинный список писателей и книг, рекомендуемых им для обязательного прочтения. О, это было именно то, чего жаждал Абай! И он решил прочитать все эти книги именно в нынешнее свое пребывание в Семипалатинске. Только под самый вечер Абай покинул дом Михайлова.

После этой встречи Абай через каждые три дня приходил к нему. Они много разговаривали о жизни кочевников, об их



ежедневных заботах и многовековых устоях. Как-то однажды Михайлов стал спрашивать в подробностях о событиях в Ералы, столь достопамятных Абаю. Расспрашивал про Оралбая, находившегося в бегах.

Абай все рассказал своему русскому другу. С грустью поведал историю любви двух молодых, прекрасных людей, Оралбая и Керимбалы, о вмешательстве и насилии над ними со стороны родовых кланов обеих сторон, о тяжких невзгодах и отчаянной борьбе молодых за свою любовь, об унижениях и насильственной разлуке, на которые в конце концов их обрекли. О смерти Керимбалы, насильно отвезенной в племя жениха, где она быстро зачахла от горя, безнадежности и тоски. Рассказал о том, как Оралбай, не имевший достояния, потому и не сумевший привлечь на свою сторону вождей своего рода, оказался предан ими, не пожелавшими дать выкуп за невесту, а предпочетших выдать джигита преследователям и вернуть невесту. И он, потеряв ее, возненавидев свой род и племя, бросил все и ушел куда глаза глядят. А ведь молодые влюбленные оба были необыкновенно одаренными певцами степи! По своим природным голосам, по искусству игры на домбре они были на голову выше других... Обо всем этом Абай с тяжелым чувством на сердце рассказал Михайлову.

– Сегодня имя Оралбая стало именем вора и разбойника с большой дороги. Но если для властей он только вор и разбойник, то для народа Оралбай – отважный джигит, ставший на тропу справедливой мести. Я знаю, что и у русских немало таких же джигитов, которые стали на разбойный путь, не подчинившись насилию и произволу властей. Скажу вам откровенно, моя душа на их стороне, и вообще, я стал бы их скорее защищать, чем преследовать и судить. А как вы, Евгений Петрович? – завершил Абай вопросом свой рассказ.

Михайлов, с огромным интересом выслушав Абая, некоторое время оставался в молчании, с каким-то особенным вниманием вглядываясь в него. Затем ответил:



– Вы рассказали необыкновенную историю. Для писателя это целая книга. Но в подлинной жизни, особенно в жизни общественной, этот случай не должен быть примером для подражания. Ваша общественность еще молода, как этот ваш герой-джигит, поэтому вам кажется, что против насилия можно бороться только таким способом. Одиноким герой должен победить насилие. Но несправедливость властей к народу нельзя равнять с несправедливостью, допущенной к молодым влюбленным. Их бегство от общества, затем их озлобленность и обида, толкнувшие на разбой, – это не пример для борьбы народа против неправедных властей.

Михайлов старался углубить мысль Абая, направить ее в общественное русло. В понимании житейских сторон степного бытия Абай мог бы посчитать себя не менее сведущим, чем даже Кунанбай. Такие люди, как адвокат Акбас, были значительно образованнее и начитаннее Кунанбая, но в делах человеческих, повседневных, в подоплеке многосложных местных событий они были одного с ним уровня. В Михайлове же Абай увидел человека, гораздо большего размаха, представляющего себе общественные закономерности в отношении всей жизни. И Абаю захотелось узнать мнение нового друга о своем собственном поведении во время событий в Ералы. Он признался, что на деле-то взял руководство возмущенным народом в свои руки, и попросил Михайлова высказаться по этому поводу, дать оценку.

Михайлов ответил незамедлительно:

– Вы хорошо проучили Кошкина. Здесь вам помогло то, что вы хотели того же, чего хотел народ... И в народе обнаружилось большое единодушие. Просто замечательное! Ведь ваше дело будет куда как серьезнее дела о разбоях Оралбая. Не окажись на вашей стороне столько оправдательных мотивов, связанных с произволом Кошкина по отношению к народу, ваше дело легко можно было бы перевести в разряд политических. Но все доводы ваши в свою защиту были убедительными, вы очень хорошо выстроили ее и выиграли.



Михайлов в тот раз сообщил Абаю новости, ставшие известными в уездном и областном управлениях: Кошкина с должности начальника Семипалатинского уезда перевели в Усть-Каменогорск на точно такую же должность, а на его место получил назначение советник Лосовский. Областное управление поручило ему выехать в степь и повторно провести выборы на должности волостных старшин в Чингизской волости и прилегающих к ней Коныр-Кокчинской и Кызылмолинской волостях.

Михайлов, изложив эти новости, вдруг стал убеждать Абая, что ему следовало бы выехать на выборы вместе с Лосовским, чтобы помочь новому начальнику поставить на должности волостных действительно достойных людей. Вероятно, Лосовскому это будет приятно и полезно, ибо он благорасположенно настроен к Абаю. Совет свой Михайлов дал Абаю, исходя из самых дружеских чувств.

Подумав, Абай согласился. Через Андреева об этом было сообщено Лосовскому. Тот воспринял предложение весьма положительно и уже лично сам пригласил Абая к поездке на выборы.

Узнав о новой задержке Абая и понимая всю важность причины, ее вызвавшей, спутники Абая, Ербол и Баймагамбет, перестали докучать ему с просьбами скорее вернуться в аул. Они томились от скуки и городской духоты, Абая почти не видели, ибо он целыми днями напролет пропадал в библиотеке или засиживался у своих русских друзей. После освобождения Абая друзья ждали возвращения в аул уже на протяжении месяца, и вот опять задержка... Абай весь этот месяц ненасытно читал книги, сидя в библиотеке или забившись у себя в комнате, в доме татарина Карима.

Абай читал, размышлял о прочитанном помногу часов в уединении. Лишь изредка Ерболу удавалось вытащить его на прогулку, с выездом за город, или на другой берег Иртыша в дом Тыныбека.



Салтанат с младшей матерью все еще оставалась в этом доме, и однажды, по приезде туда Абая, им снова удалось поговорить наедине в комнате Макиш. Опять Макиш и младшей матери Салтанат не было дома, ушли в гости к соседям. Вышло ли это случайно или Ербол заранее все узнал и устроил, но он очень старался дать им возможность поговорить друг с другом без помех, вертелся в передних комнатах и, со свойственным ему умением, вместе с Баймагамбетом, отвлекал и развлекал прислугу Тыныбекова дома. Друг Ербол от всей души желал Абаю встреч с этой прекрасной девушкой.

Сидя рядом на высоком сундуке, застеленном ковром, они беседовали в час поздних сумерек, когда на улице уже было темно. Свет они не стали зажигать, и на фоне темного окна их фигуры были почти не видны. И проходящие по улице не видели их в комнате. Едва заметно колыхались занавески на открытых окнах. Абай поднял их свисающие концы и забросил на спинку кровати, стоявшей рядом с сундуком. Бледный отсвет далекой невидимой луны проник в комнату и явил бледное, взволнованное лицо девушки. Абай близко видел это лицо, с высокими дугами узких бровей, с широко раскрытыми глазами лани, с гладким сияющим матовым лбом.

Салтанат встретила Абая как старого друга и начала непринужденный разговор. Она расспрашивала о его семье, ждущей его в ауле, и мягко попеняла ему, что он так надолго оставил своих близких, заставляя их тосковать и скучать по себе.

Абай не скрыл того, что сам сильно тоскует по детям, заговорив о них, рассказал и о своей второй женитьбе на Айгерим, которая была встречена родными довольно прохладно, если даже и не враждебно. В свою очередь, Абай дружески спрашивал Салтанат о ее жизни, о ее сокровенных надеждах на будущее.

В этот раз у девушки не было прежней напряженности и замкнутости. Без усмешек и неясных умолканий, ровным красивым голосом рассказывала Салтанат о себе, гибкими пальцами



сплетая и расплетая на свисавшей с плеча большой темной косе кисточки серебряных подвесок... Взгляд ее удлинённых оленьих глаз был устремлен куда-то внутрь таинственных пространств ее души... Абай вовсе не представлялся ей как обычные джигиты из аулов, она действительно впервые почувствовала в мужчине надежного душевного друга и могла говорить с ним на полном доверии, делаясь с ним самыми сокровенными мыслями, горечь которых была в ней неизбывна.

– Меня балуют, я свободна, но моя свобода ничего не стоит. На самом деле я та же пленница, но только без цепей, однако этого никто не видит. Многие удивляются и завидуют, какая мне дана свобода, а ведь я похожа на сокола или ястреба, которых готовят к охоте и обучают, пуская летать на веревочке. Вот и моя свобода такая же. Осенью ко мне придет жених, я превращусь в его собственность. Не знаю, может быть, есть в этом человеке и что-нибудь хорошее. Но мне все равно, разве вы не знаете, сколько у нас несчастных девушек, которым страшно быть отданными в руки нелюбимого человека? Два раза посылала я и свою родную мать, и младшую мать к отцу, прося передать: «Не люблю его, потому и не отдавайте меня. За любого другого согласна выйти, но только не за него». Но отец не хочет слушать. Я единственная любимая дочь, меня и называли – Салтанат, я для родителей бесценное сокровище, мне в доме моем все разрешено, ни в чем не отказано. Но отцовский очаг, родное гнездо – наш дом стал для меня клеткой... Стоит только подумать о будущем, мне уже не хочется жить, и тогда я плачу и прошу у Бога: «О, Кудай, забрал бы Ты меня, пока на голову мою не накинули позорную узду! Не хочу сожалеть, не стану плакать, Ты только забери меня поскорее!»

Пригорюнившись, она утерла глаза платочком. Абай молчал, испытывая невероятную тяжесть на сердце. Салтанат подняла голову, взглянула на Абая и продолжала слабеющим голосом, стараясь удержаться:



– Абай, вы должны понимать молодое сердце. Есть девушки, которые, оказываясь на моем месте, рассуждают так: «Что меня ждет – еще посмотрим, а пока что буду жить в свое удовольствие. Зачем же обделять себя радостью!» И назло судьбе идут на легкомысленные поступки. Вы же знаете, у нас часто такое происходит... Но я на такое не способна. Мой страх и отчаяние перед моим будущим так велики, что душой уже сегодня я никакие радости не способна принимать. Порой мне вдруг померещится счастье, сердце вспыхнет, но тут же погаснет, остынет, увянет, и я отворачиваюсь от призрака счастья. Зачем? Ведь все равно меня поглотит бездонный, как пропасть, темный зиндан, куда меня бросит беспощадная судьба. И я кажусь сама себе маленькой птахой, которая присела на край зиндана и со страхом заглядывает в черную бездну.

Салтанат снова надолго замолкла. В темной комнате настала полная тишина. Абай не первый раз слышал печальные жалобы несчастной молодости, сам прошел через нее, но никогда еще не слышал признаний, высказанных с такой силой боли, с такой исступленностью, страстностью. Лишь в какой-то русской книге он прочел о чем-то похожем на эти признания: излив в исповеди всю сердечную тоску и все свое отчаяние, молодое чистое существо угасает... Видно, слова такой исповеди, слова книги души должны прозвучать не в присутствии многих людей, а на смертном одре, перед любимым человеком, который склонился над умирающим.

Абай повернулся к девушке и осторожно взял в свои ладони ее нежные, горячие, чуть влажные руки. Он поднес эти руки к лицу и поцеловал кончики пальцев. Девушка тихо, легким движением высвободила свои руки. Сердце Абая было переполнено болью сострадания.

– Салтанат, айналайын, послушайте меня. Жаным, дорогая моя, первый раз в жизни мне так искренне рассказывают о своей печали, и на такую искренность можно ответить только такой же искренностью. Салтанат! Я совершил бы тяжкий грех, если



после этого сказал бы хоть одно слово неправды... Выслушайте же и вы мою исповедь, узнайте про мое горе, убивающее меня всю мою жизнь...

Салтанат одним лишь легким порывистым движением, чуть переместившись в его сторону, дала знать, что она готова внимательно выслушать его. Абай заговорил:

– Вас мучает и гнетет мысль о нелюбимом, который придет к вам. Меня мучает тоска о любимой, печаль по далеким дням первой молодости, которых мне не забыть до могилы. Это было утро моей жизни. И никакие годы не смогут погасить свет того утра... Были совсем короткие минуты счастья, Салтанат, совсем крошечные – и ушли навсегда, безвозвратно. Счастье мое ушло, как закатившийся месяц. Оно было не предназначено мне судьбой. Имя счастья – Тогжан, она моя истинная неумирающая любовь. Ее у меня отняли, но, сколько бы ни прошло времени, я храню в моей памяти каждую ее мимолетную улыбку. Каждый наш разговор, короткий, длинный, радостный, печальный – я помню, помню, Салтанат! И память живет во мне, как та песня, что написана моей кровью. Макиш говорила мне, что вам понравилась эта песня...

Салтанат молча кивнула. Потом, накрыв опущенными ресницами глаза, стала тихо покачивать головой, словно про себя напевала эту песню. И золотые сережки в ее ушах стали переливаться яркими искорками сквозных узоров, словно радостно восклицая: «Мы знаем, мы слышим, мы свидетели...»

Абай продолжал:

– Судьба и меня соединила с нелюбимым человеком, я стал отцом милых детей, которые дали мне утешение. Но тоска в душе моей не угасает, тайная печаль не становится меньше. Как-то однажды я увидел во сне Тогжан, она пела. Проснулся и в полудреме продолжал слышать ее пение. Мне почудилось, что это живая Тогжан разбудила меня своим пением. Но это оказалась девушка, необыкновенно похожая на Тогжан, и со дня нашей встречи этот человек стал для меня и ожившей мечтой,



и красотой, и музыкой, и опорой души моей в этой жизни, и всем моим земным достоянием. Сейчас, когда я задерживаюсь в городе, по непонятным для многих людей причинам, никто из них не догадывается, как сильно я тоскую по своей жене Айгерим, которая пришла ко мне, заменив утраченную Тогжан...

Сказав это, Абай погрузился в долгое, выразительное молчание.

Салтанат сидела, смиренно опустив голову, словно застыв перед ним в благодарственном поклоне. Они обменялись сокровенными душевными тайнами. Больше ничего говорить было не нужно. У девушки не много будет счастья, когда выйдет замуж за нелюбимого, чуждого человека, но именно поэтому Абай не хотел легкомысленно воспользоваться ее чувствами, как это сделал бы какой-нибудь беспечный аульный джигит. Не хотелось ему и хоть в чем-то быть небезупречным перед Айгерим. Открыв перед ним двери тюрьмы, совершив решительные действия, не свойственные в степи женщинам, Салтанат возвысилась в глазах Абая, и он решительно отмел все те лукавые поползновения, всякую двусмысленность в душе своей, что явились бы не безупречными и в отношении Салтанат.

Она с глубоким, тихим вздохом восприняла все, что он не высказал вслух. В руке у нее появилась домбра, Салтанат протянула ее Абаю со словами:

– Прошу вас, спойте своими устами ту песню, которая нравится мне.

Абай не заставил себя ждать, он спел песню, посвященную Тогжан: «Сияют в небе солнце и луна...» и затем, не меняя напева, продолжил песню другими словами, теми, что встрепенулись и взлетели в его душе в минуту сложного, высокого волнения.

Это была песня-рассказ об их чудесной, странной, словно пронизанной светом лунной ночи, необыкновенной встрече. Она не забудется для каждого до конца их дней. Печальная повесть об одиночестве молодости не забывается. Их повесть



навсегда останется тайной только двух сердец, и никто из них не отречется от своих чистых чувств и высоких откровений. Драгоценный жемчуг их дружбы будет сиять в их жизни, хранимый в потаенном уголке души каждого. Песня звучала долго, словно никак не желая умолкнуть.

Ербол, находившийся в передней комнате, словно страж покоя двух молодых людей, услышал голос поющего Абая и решил, что пора зажечь лампу и внести к ним в комнату. Ербол велел Баймагамбету сходить за лампой, и когда тот принес ее, вошел в женскую половину дома, где и находились Абай и Салтанат. Они сидели на том же сундуке, на прежних своих местах, как оставил их Ербол, только теперь Абай в руках держал домбру, играл на ней. Он заканчивал свое пение, когда в комнату вошел Ербол с лампой. Бросив внимательный взгляд на поющего друга и девушку Салтанат, Ербол не заметил на их лицах того, что должно быть на лицах у влюбленных, оставленных на долгое время наедине, – лица у обоих были слишком спокойны и безмятежны...

С появлением света в доме все в нем оживилось и пришло в движение. Забегал по комнатам к прихожей и назад о чем-то хлопочущий Баймагамбет. Появилась женская прислуга, подготавливая дастархан к чаю. И как раз вскоре вернулась Макиш, с нею и остальные.

Вечер продолжился пением Абая и Ербола, они пели по очереди и вместе, пели по просьбе байбише Тыныбека и остальных женщин. Салтанат в общий разговор не вступала, сидела со сдержанным видом, отрешенным даже, и только оживилась, когда запели джигиты. Она заинтересовалась тобыктинской манерой исполнения песен и кюев. И уже поздним вечером, когда в комнате Макиш народу заметно поредело, а потом вдруг на какую-то минуту Абай и Салтанат остались снова одни, девушка сказала ему:

– Как быстро прошел вечер! Словно одно мгновение. Но я так много получила от вас. Ваши дружеские чувства, ваш



благородный ум, ваше открытое сердце и чистота ваших мыслей – все для меня необычно и все не так, как с нашими джигитами из аула. Я благодарна вам за вашу искренность. И ничего, кроме благодарности, никакой обиды или досады, я не чувствую к вам. Вы не такой, как другие, у вас другая жизнь. Будьте счастливы в этой жизни – всегда, во все свои дни! Будьте счастливы! Иншалла!

Абая поразили сила ее чувств, прямота, великое самообладание. Эта одна из красивейших, знатных, видных девушек степи была необыкновенно умна. Он не посмел ничего сказать ей в ответ, боясь каким-нибудь единственным неосторожным словом разрушить тот высокий настрой сердец, что возник между ними. Иншалла, пусть навсегда останется между ними эта высота!

Она отошла к окну и долго вглядывалась в темноту наступившей ночи глазами, полными слез...

Приблизился день отъезда Абая в степь. Во все предыдущие дни он постоянно навещал Михайлова. Однажды, возвращаясь откуда-то домой, он завернул к нему, и тот встретил его у порога дома, держа в руке раскрытую книгу. Одет он был в просторную полотняную одежду, в распах которой открывалась могучая волосатая грудь. Поздоровавшись, Евгений Петрович тут же подхватил Абая под локоть и повел коридором к своей комнате, на ходу говоря ему:

– Кунанбаев, я приготовил для вас книги не только русских писателей, но и по разным направлениям знаний.

Он подвел его к столу, на котором лежали вороха книг.

– По каким направлениям, Евгений Петрович? – спросил Абай.

– По общей истории. По истории и географии Европы. Все это постарайтесь прочесть и переварить в течение года. Часть книг я нашел сам, а изрядную часть запишете на себя у Кузьмича в библиотеке Гоголя. Я просил подобрать для вас нужные книги и передать вам для временного использования. Пойдите



к нему и возьмите их. – Так говорил Михайлов, довольный тем, как по-детски радуется Абай книгам. Улыбнувшись, Евгений Петрович добавил: – Вы же, как я понял из наших разговоров, не очень-то жаловали историю. А ведь она мать всех наук, Ибрагим Кунанбаевич!

На что Абай:

– Я читал историю ислама. Читал, что давали нам в медресе и что находил сам. Но скажу вам, Евгений Петрович: все, что я читал, думая, что это наука, – потеряло всякое значение после того, как я встретился с вами. Теперь я и не знаю, можно ли считать историей то, что я читал раньше? Все это улетучилось, как дым, после некоторых ваших книг, которые вы давали мне прочитать...

– Ну уж, как дым, скажете тоже! История ислама – это наука, и большая наука! Но следует знать, какая ее часть кем написана... – И Михайлов изложил солидную лекцию по истории ислама, по Востоку, которая поразила Абая.

Он узнал, со слов Михайлова, что исламская культура, арабская мысль на протяжении многих веков оказывала свое влияние на всю мировую науку и культуру, на развитие общечеловеческого сознания... Что ученые и мыслители арабского Востока явились первыми толкователями гениев античного мира, Сократа, Платона, Аристотеля, благодаря чему современный мир, через эпоху Возрождения, освоил их величайшее духовное достояние. Итак, для Абая все это стало настоящим откровением, о чем он не преминул сказать Михайлову.

– Евгений Петрович, честное слово, я признаюсь, что раньше думал о науке и мудрости Востока как о чем-то особенном, ни с чем не сравнимом и не имеющем своего продолжения и развития. Вы же оказались способны увидеть разрозненные куски моих познаний и, владея общим мировым знанием, объединить мои расползающиеся отрывочные представления в целое. И вы научили меня на все происходящее смотреть и расценивать,



прежде всего думая о благе общества и о справедливости по отношению к народу. Справедливость, правда, совесть – не это ли конечная цель всех раздумий мудрецов мира?

Эта последняя перед отъездом беседа с Михайловым особенно была полезна Абаю, и он не стал скрывать этого от Евгения Петровича. Абай сам разговорился, широко разворачивая мысль на просторах своих новых знаний. Оказалось, что мудрецы всего мира, к какому народу бы они ни принадлежали, стремились к знаниям, к истине, желая принести их во благо всего человечества. Люди очень далеко отстоящих друг от друга народов, мыслители разных эпох, творя для своего народа, в пределах своей эпохи, творили для всего человеческого мира и на все грядущие века.

Не потому ли и они с Евгением Петровичем так быстро и легко поняли друг друга в самых главных своих устремлениях? Оба они думали о благе для людей, оба были гуманистами, и потому у обоих, разделенных культурами, уровнем образования, возрастом, появилось в душе и с каждым днем все более крепко братственное чувство друг к другу.

Михайлов, развивая свою мысль о влиянии Востока на мировую историю и культуру, начал рассказывать собственно об истории казахов и приводил такие сведения, которых не знал сам Абай и которые совершенно поразили его. Михайлов сказал, что многое из истории и культуры казахов еще не известно мировой науке, что эти богатства неисчислимы и хранятся они в надежной кладези народной памяти, как золото самородное хранится в земле.

Расставаясь с Михайловым, Абай ощутил к нему родственное чувство особенного свойства – это было ощущение духовного братства, сильнее и слаще для сердца, чем даже чувство кровного родства. И в минуту прощания Абай сказал:

– Евгений Петрович, сегодня я хочу благодарить вас с особенным, глубоким чувством уважения! Вы мне раньше пред-



ставлялись разумом и устами только своей русской культуры, своего русского народа. А себя я считал поющим казахом, пришедшим к вам из глубины степей, чтобы спеть вам свои не очень понятные для вас песни. Но вы сотворили со мной чудо. Вы словно взяли меня за руку и вознесли на какую-то неимоверную вершину. И оттуда показали мне широчайший, бескрайний мир человеческого обитания. Открыли мне глаза на то, как этот мир выглядел в разные времена и эпохи. И показали мне, пусть издали, земное дитя человечества! Оказывается, оно – от одного, единого племени! И теперь я понимаю, Евгений Петрович, что нет на свете народа, который не нес бы в себе частичку мирового знания! И чувствую себя не только казахом, но и сыном человечества! Это самая большая моя радость, которую я знаю на сегодняшний день.

Михайлов по-доброму улыбнулся и, обняв Абая за плечи, притянул к себе.

– Будем надеяться, Кунанбаев, что наша дружба принесет много хорошего нам обоим! Только дайте мне обещание – не забывать в вашем далеком ауле о библиотеке и о Кузьмиче! – Так сердечно распрощался Михайлов с Абаем.

Перед отъездом Лосовского в степь на выборы Михайлов встретился с ним в доме адвоката Андреева. Михайлов с восторгом заговорил об удивительном степняке:

– У Кунанбаева огромная тяга к знаниям. По нему видно, как этот народ кочевников с жадностью тянется к свету современной науки.

Но Лосовский смотрел на это несколько по-другому.

– Один Кунанбаев – еще не весь народ, Евгений Петрович. А народ-то его – еще ох как далек от понимания, что им нужна русская наука и культура. Этот народ еще находится в глубокой вековой спячке. А что касается самого Кунанбаева, – это просто свойство молодости, когда хочется не быть хуже других, и научиться тому, чего еще сам не умеешь...



Михайлов спорить с Лосовским не стал. Заговорив с ним об Абае, он только хотел вызвать в советнике еще больший интерес к личности Кунанбаева.

– Есть у него одна любопытная черта, – начал Михайлов. – Много разговаривая с ним по-русски, а он говорит уже неплохо, я заметил, что Кунанбаев любит употреблять в разговоре такие понятия и слова, как «справедливость», «народ», «честно служить народу». Эти понятия у него не случайны, они прочно утвердились в его сознании. А ведь они близки и русскому сознанию! Далеко за примером не ходить, – посмотрим на самих себя. Но среди степняков, потомственных кочевников, мне такие люди еще не попадались... Вы киргизскую жизнь знаете, конечно, лучше моего, характер их взаимоотношений представляете намного лучше меня, вот и объясните мне, пожалуйста, – откуда у этого натурального степняка столь высокие гуманистические идеалы? Хотелось бы себе представить, как сложится у него жизнь с такими взглядами?

Михайлов не говорил, конечно, ничего этого самому Абаю, но сейчас при разговоре со своими, русскими, пытался характеризовать его остроаненно. Ему был очень интересен этот человек, и Евгений Петрович не скрывал этого. К нему присоединился и адвокат Андреев, обратился к Лосовскому с такими словами:

– Вот вы всегда утверждаете, что киргизские выборные управители почти всегда тупые неучи, люди низкие, нечистые на руку. Так пусть Кунанбаев и укажет вам приличных людей из среды своих степняков. Найдутся, наверное, такие. Во всяком случае, почему бы вам не попробовать? Проведите его людей на выборах, а там и проверите их на деле.

Лосовский, в соображение общего дела, не возражал на это, но у него были устойчивые сомнения.

– Старейшины киргизских родов мало понятны не только для нас, их русского начальства, но, я думаю, и для самого Кунанбаева. Я не думаю, что его люди будут сильно отличаться от остальных. Вряд ли надо ожидать от них другого ведения



дела. Киргизская степь велика и загадочна, господа, я давно знаю ее, и могу сказать с уверенностью: что-нибудь изменить в жизни и в привычках кочевников – дело почти невозможное. А попытаться – почему же не попытаться, провести новый опыт всегда интересно, – иронически усмехнулся Лосовский. – Итак, пожелаем себе удачи, господа, и годика через два посмотрим вместе с нашим Кунанбаевым, что из этого получится. – Так завершил Лосовский, и в его речи перед товарищами уже сквозила некая снисходительная начальственная нотка.

Спустя несколько дней Лосовский выехал с большой экспедицией на выборы в степь. Абай сопровождал его. Первая выборная сходка должна была пройти в Кызылмоле. Ербола и Баймагамбета Абай отправил с новостями в Чингиз, на джайлау, куда перекочевали аулы.

Лосовский выполнил свое обещание, данное в доме Андреева. На выборах в Кызылмолинской, Коныркокшинской, Чингизской волостях новый начальник уезда держал Абая при себе, всюду подчеркивал свое уважение к нему. Их везде принимали с большим почетом, ставили белые юрты, резали скот, выставляли обильное угощение. И все выборщики, приезжавшие на сход, постоянно видя Абая рядом с новым оязом, начинали понимать, что Абай вернулся из города, обретя большое доверие нового начальства. Народ считал его советником уездного начальника.

На выборах ни в одной из волостей не возникло затруднений в том, кого поставить волостным управителем, кому быть его заместителем, кого выбрать родовым бием. Абай предварительно советовался с самыми уважаемыми людьми родов и только после этого предлагал Лосовскому того или иного человека на должность. И ни разу не было, чтобы предложения Абая не проходили.

Постоянно недоверчиво относясь к степнякам-кочевникам, Лосовский все эти дни внимательно присматривался и к самому Абая. Но тот вызывал у чиновника только уважительные



чувства и за месяц совместной поездки по выборным местам убедил в своем глубоком уме и лучших человеческих качествах. Однажды Лосовский дружески пошутил над Абаем:

– А что, Ибрагим Кунанбаевич! Вот я безоговорочно принимаю все ваши предложения и утверждаю в должности ваших кандидатов, но вдруг они окажутся такими же взяточниками, вымогателями, будут составлять ложные приговоры, разжигать междоусобные распри? Как вы тогда посмотрите в глаза вашим друзьям, Михайлову и Акбасу Андреевичу?

Абай вполне понимал, и без этих шуточных намеков, всю огромную ответственность, которую брал на себя не только перед русскими друзьями, но, главное, перед своим народом. Он добился избрания на должности волостных старшин молодых джигитов, которые до этого сами и не думали о власти, и которых никто даже не предполагал увидеть волостными.

В Чингизской волости Абай выдвинул старшиной Асылбека, старшего брата Тогжан, которого знал с юных лет как человека разумного, честного, характером мягкого и доброжелательного к людям. Таким образом, эта должность, которую, после Такежана, не желал отдавать другим род Иргизбай, ушла в род Бокенши.

В Коныркокше Абай прокатил на выборах рвавшегося к власти богача, молодого хищного бая Абена, который пытался на выборщиков воздействовать взятками, потратив на это немало скота. Вместо него он рекомендовал Лосовскому спокойного и разумного джигита Шымырбая.

Волостным старшиной в Кызылмоле стараниями Абая был избран его младший брат Исхак. Абай знал его как своего преданного сторонника. Исхак был сыном Кунанбая от Улжан, но Кунанбай с малолетнего возраста его растил в доме Кунке вместе с Кудайберды. Долгое время Исхак подвергался влиянию Такежана, но в последние годы сблизился с Абаем, увидев в нем доброго, умного брата, отличного от властного и грубого Такежана. Абай хотел обрести в нем надежную опору.



Итак, завершился вспыхнувший этой весной в Ералы великий раздор между властями уезда и Абаем. Завершился победой и полным торжеством Абая. Голова его возвысилась в глазах народа, имя Абая получило еще большую известность в степи.

ПРЕГРАДЫ

1

— **Е**-е-й, Абай! Абай! Пусть не будет тебе удачи! Бросил нас одних в голой степи, обрек на мучения! Ни родных, ни близких рядом... ни тебя самого! Дом остался без хозяина, жена без мужа, дети без отца! Что мы тебе сделали, за что мучаешь нас? Жара несносная пришла в степь, мухи зеленые облепили наши глаза! Разве здесь место для стоянки аула? Пекло такое, словно небо рухнуло на наши головы! И это все ты, Абай! Не видать тебе никакого счастья! Не будет удачи тебе на всех твоих дорогах! За какие грехи ты караешь меня, Абай? – Так кричала Дильда своим резким, тягучим голосом, проходя по аулу, ругала мужа, который давно уже был в отъезде.

Не переставая браниться, Дильда вошла в юрту Айгерим. Прошла на тор и села выше токал, которая в одиночестве сидела дома. При появлении старшей жены, младшая вежливо привстала.

К этому времени Дильда, родившая уже нескольких детей, выглядела постаревшей, лицо и шею ее избородили морщины, резко выступили скулы. И смолоду сухощавая, угловатая, сейчас Дильда выглядела костлявой, жилистой байбише. Уже давно и привычно было для Айгерим слышать крики и ругань Дильды, но никогда еще надменная старшая жена не опускалась до того, чтобы ругать мужа в присутствии младшей жены, которую она ненавидела и презирала. Однако сегодняшний случай был особенным, и Дильду привело в дом соперницы



желание ударить ее по сердцу как можно больнее – благо, случай к тому представился. Ночью к ней в дом заехал Манас, возвращавшийся из города, отдохнул до утра и ближе к полудню отправился далее в сторону джайлау.

Здоровенный Манас, хороший боец с соилом в руках, был человек немудрствующий и, застав Абая наедине с дочерью Алдеке в полутемной комнате, рассудил по этому поводу вполне однозначно и прямолинейно:

– Тревожась по нем, потеряв сон и покой, старая Улжан послала меня с далекого джайлау в путь, которого ни одной собаке не осилить. Умоляла меня байбише: «Мой сын мучается в тюрьме, вестей не подает. Съезди, узнай, живой ли он!» И я несся в город несколько дней и ночей без отдыха, без остановок, все переживал: «Уа, и вправду мучается, наверное, бедняга!» А он, оказывается, уже не в тюрьме сидел, а жил в городе на свободе – и в полное свое удовольствие! – Высказав это, Манас еще и кое-что прибавил от себя.

Но жалея Дильду, думая, что она с ума сойдет от ревности, он говорил туманно, неуклюже пытаясь смягчить свой рассказ разными намеками. Однако Дильда восприняла рассказ Манаса без особых переживаний, только чуть воспламенилась легкой злостью и стала допытываться подробностей, словно любопытствующая молодая келин. Все подзадоривала Манаса: «Ну-ка, дорогой кайнага, не стесняйся, выкладывай, что знаешь, что видел! Все говори, ничего не утай, не то тебя Кудай накажет!» Так, шутя и зловеще посмеиваясь, Дильда заставила Манаса рассказать о том, что он видел и чего не видел и видеть не мог, однако выдал все это за вполне достоверное.

Манас свою речь по изблечению Абая держал перед Дильдой и еще несколькими женщинами, соседками и работницами по дому, были в юрте зашедшие послушать новость пастухи. Манас не считал суть важным всякую суету-маету между женщинами и джигитами, и поэтому, исходя из своего собственного понимания, доложил в самых простых и грубых словах про то



обстоятельство, что он застал в темной комнате с зарешеченными окнами Абая и красивую девушку:

– Уа, как я здорово разозлился на Абая! Не стерпел – и давай ругать его, прямо при девушке. Ты, келин, не сомневайся, я тебя не дал в обиду! Все ему высказал прямо в лицо! А то как же иначе? Даже собаки из одной своры не боятся гавкнуть друг на друга, а тут я, родной ему человек, – неужели не должен был поругать его? Мол, ты здесь разлеживаешься в объятиях дочери Альдеке, а дома жена-дети ночами не могут спать, скучая по тебе, и кусок им в горло не лезет! Ох, и рассердился я! – рассказывал Манас.

И вот теперь, отправив его в дальнейший путь, Дильда пришла к Айгерим, чтобы выложить перед нею все, что принес Манас из далекого города. Айгерим слушала ее и поначалу никак не могла понять того, о чем ей толкуют. Ее разум отказывался воспринимать это. А Дильда между тем говорила, не останавливаясь, захлебываясь словами, иногда злобно вскрикивая, а то и заливаясь смехом... И слова Дильды постепенно стали доходить до сознания Айгерим, ее душа начала впитывать ядовитую отраву. Убийственную сплетню привез из города Манас, Дильда добавила в нее своего яду.

Когда этот яд начал действовать на Айгерим, сначала ее пробил жаркий пот, потом лицо смертельно побледнело, и морозный озноб охватил все ее тело. Жгучая боль стегнула по сердцу, будто плетью. Ледяными пальцами вцепившись в руку Дильды, дрожащим, еле слышным голосом спросила:

– Это... о чем вы говорите? Про кого?..

Айгерим вся подалась в сторону Дильды, в глазах Айгерим показались слезы, но они не излились, они застыли в уголках глаз, как сверкающие камешки алмазов. После нескольких вопрошающих слов вначале, Айгерим больше не произнесла ни слова, она молча смотрела на Дильду расширенными, неподвижными глазами. Айгерим была близка к обмороку.

Но Дильда продолжала обрушиваться на нее своим мужеподобным, надтреснутым голосом, произносившим страшные



для Айгерим слова, Дильда в упор смотрела на нее, не отводя своего яростного взгляда. И, упираясь своим коленом в колено Айгерим, пригибаясь, кривя шею и заглядывая в лицо, терзала ее все яростнее и злее:

– Айгерим, это еще не все, ты только послушай! Это ужасно! Городская девка эта, гулящая, распутная, разъезжающая в по-исках мужей на тройке гнедых, эта самая плутовка Салтанат и говорит Абаю: «Теперь ты должен взять меня в жены! Вытаскивая тебя из тюрьмы, я потеряла в глазах людей свое девичье достоинство. От меня отказался мой нареченный жених. А я не тот человек, которого можно бросить на полдороге, чтобы он от тоски и обиды залез на вершину холма и завыл на луну, как волк. Нет, я не такая! И ты должен взять меня в жены!» На что Абай ей отвечает: «У меня жена, дети в ауле». А она: «Я не боюсь ее. Для меня не соперница какая-то степная девушка в пестром камзоле. Она передо мною будет на цыпочках ходить, шепотом разговаривать. Настоящая твоя токал – это я. К тебе я пришла по земле, не к лицу мне улетать от тебя по воздуху, словно боязливой птице! Возьмешь меня – и все разговоры! Наше супружество уже началось – лето проживем с тобой в городе, и ты дашь мне наслаждение, какого я хочу!» Вот как, Айгерим! Если хочешь знать, то я давно потеряла веру в мужа. Изменник Абай бросил нас с тобой в сухой степи, словно своих наемных жатаков, чтобы мы строили дом, а сам исчез от нас и не думает показываться. Не зря я заподозрила: неспроста он живет все лето в городе. Вот в чем оказалось дело! Наконец получили весточку о нем, теперь мы все знаем. Чтоб ему пусто было! Не видать ему удачи ни в чем! – закончила свои злые слова Дильда...

Между тем Абай, закончив выборную поездку с Лосовским, приехал на джайлау в Большой дом матери Улжан. И здесь его задержали больше двух недель: вся его родня, братья, старые матери, дядюшки и тетушки-женге – в ознаменование его выхода из тюрьмы устраивали праздник за праздником, радовались



за него со слезами на глазах. К тому же он был охвачен особенным благодарным вниманием своих друзей и сверстников, тех, кого в эту выборную кампанию провел во власть, воздействуя на Лосовского: стали волостными старшинами, помощниками волостных, биями, пятидесятниками. И в дни пребывания на джайлау Абай не расставался с Жиренше, Оразбаем – новым выбранным волостным, с Асылбеком, тоже волостным, и с его помощником Кунту, из рода Бокенши. Гостили по очередности в аулах Жигитек, Иргизбай, Бокенши, Котибак, ели мясо молодых барашков и приятно проводили время на прохладе горного джайлау. Долго пробывший в духоте города, наглотавшись пыли, измученный и исхудавший от тягот неволи, Абай только теперь оценил все райские прелести жизни на джайлау и с наслаждением отдался развлечениям и отдыху.

Домой собрался лишь тогда, когда на джайлау началась подготовка кочевки на склоны Чингиза. На этот раз с ним поехал только Баймагамбет, Ербол остался на джайлау до откочевки аулов на осенние пастбища.

Выехали они под вечер, на ночь глядя, и до утра успели одолеть перевал, спуститься к подножию Чингизского хребта. Ехали дальше без перерыва, несмотря на жару и духоту, чем встретила их степь. И уже к полудню достигли урочища Акшокы, где строился новый зимник Абая. Когда он весной уезжал отсюда, здесь только возводились стены, а теперь на одном из невысоких холмов возвышался уже подведенный под крышу дом, окруженный хозяйственными постройками. Абай и Баймагамбет подъехали к новому подворью, спешили у запертых ворот и вошли на широкий двор через открытую калитку.

Зимник полностью был отстроен, но еще ни одного человека в нем не было. Абай с нукером направился к жилому дому. Оказавшись в большой, длинной прихожей, Байгамбет сразу же принялся расхваливать высоту стен и надежность крыши постройки. Абай молча, неторопливо обошел весь двор, осмотрел сначала хозяйственные постройки, начав с двух складских



помещений для хранения продуктов и большой коптильни с вытяжной трубой, расположенных с правой стороны хозяйственного двора.

Постройку вели Оспан и Айгерим. Но план жилого дома и хозяйственных построек Абай начертил сам, и теперь проверял покомнатно, так ли все исполнено, как задумывалось. Рассматривая дверные и оконные проемы, он вспоминал свои чертежи. У Баймагамбета не хватило терпения следовать за Абаем, опередив его, нукер убежал вперед и быстро рассмотрел весь дом. Он привел Баймагамбета в полный восторг.

– Оу, Абай-ага, вы только посмотрите сюда – настоящий городской дом да и только! И потолок дощатый, и печь большая, с дымоходом!

Абай все так же неторопливо, любуясь и радуясь увиденному, проходил по комнатам. Ему тоже понравились комнаты, что расхваливал Баймагамбет. Лучшей комнатой в доме оказалась угловая, самая дальняя. Вход в нее был из длинной передней. За угловой, напротив нее, находилась небольшая комната, ею заканчивалось одно крыло дома, в котором должны были жить Дильда с детьми и мулла, их учитель.

Другая половина дома, с выходом в общую прихожую, предназначалась для него и Айгерим – так было по плану Абая. Но оказалось, что Айгерим изменила этот план, и у этой половины дома был отдельный вход, с противоположного угла дома, и к этому входу пристроена не предусмотренная Абаем просторная отдельная прихожая. Абай сразу понял: это сделано Айгерим для того, чтобы не сталкиваться с Дильдой.

Среди палящей степной жары в доме сохранялась благодатная прохлада, и это несло облегчение разгоряченному телу. В комнате Айгерим, предусмотренной в плане Абая, он постоял дольше всего, с приятностью в душе представляя, как и где будут размещаться ее красивые сундуки, висеть ковры и войлочные тускиизы, где встанет супружеская кровать. Закрыв



глаза, он представлял колыхающийся разноцветный полог, отгораживающий спальное место.

Баймагамбет пробежал все это время по двору, все осмотрел и вернулся в хозяйский дом, веселый и довольный. Все ему очень понравилось, понравились и помещения для байских слуг и работников, для нукеров, таких же, как он, Баймагамбет. Слушая его, Абай двинулся дальше, неторопливо осматривая все помещения подряд. Усталое тело после целой ночи верховой езды по горам, через перевал, сейчас отдыхало, ноги разминались, пока они медленно ходили по прохладным помещениям, переходя из одного в другое... Из внутреннего двора вели отдельные ворота на большой скотный двор, и там передний загон был для верблюдов, дальше – для коров, к ним были пристроены две просторные овчарни со множеством подпорок, с низкой кровлей, в которых были устроены круглые отдушины. Далее тянулась длинная конюшня, с отдельным въездом. Это было высокое добротное помещение, очень вместительное, верховых коней предполагалось держать довольно много – и для себя, и под седло для многочисленных гостей. Конюшня на широком проходе была уже без всяких подпорок, чтобы не расшибались о них лошади. Лишь вдоль стен тянулись ясли для сена и были устроены станки для особенно дорогих породистых скакунов.

Напротив скотных дворов, выведенных за отдельную ограду, рядом с жилым домом стоял просторный амбар для хранения продуктов, с широкими въездными воротами, построенный из самана в виде юрты, с круглой шатровой крышей. За амбаром был выстроен каретный сарай для повозок и саней.

Солнце уже перевалило за полдень, когда они закончили осмотр новостройки зимника. Кони, которых они по приезде напоили у колодца и, стреножив их и сняв с них седла, отпустили поpastись, ушли довольно далеко, Баймагамбет отправился за ними.

Перед его уходом Абай сказал:



– Счастья, благополучия этому дому! Иншалла! Ты же знаешь, в каких трудах и заботах строился он, но мы с тобой не могли взять на себя эти труды, все взяла на себя славная Айгерим! Она так постаралась, золотая моя, ты видишь, с какой работой справилась!

Баймагамбет долго ходил за конями, оказывается, путы наложил он на них слишком свободные, и они, стреноженные, ушли далеко. Абай ждал его с беспокойством и нетерпением, ему уже скорее хотелось попасть в аул Айгерим в урочище Ойкудук, недалеко от Ералы, куда аул откочевал. И, досадуя на нукера за его задержку, Абай одновременно непрерывно думал об Айгерим.

Его одинокий аул, отставший от всех других, что ушли за перевалы Чингиза на джайлау. Одинокий островок жизни среди степной пустыни, уже выжженной и пожелтевшей. Вокруг безграничные просторы безлюдных степей, полыхающих зноем одинокого в небе солнца. Степь тоже одинока и безмолвна. Ее голубые миражи – это сны и видения вечной степи, сказочные видения наяву, появляющиеся и исчезающие в воздухе яркого знойного дня. Абай созерцает мираж и представляет себе свой крошечный аул, притулившийся где-то у подножий этих величественных, колоссальных башен и стен города-миража. Сказочен, прекрасен мираж, но обманчив. Голубые грандиозные дворцы с башнями и куполами – призрачны. Они – суть порождения пустоты, и обещания сказочного счастья миражей – пусты. И видится Абаю, что от земли оторвалась более темная полоска какого-то воздушного сгустка и вознеслась в небо, и в этой полоске – о, диво! – можно ясно различить мирно пасущиеся стада овец и колышущийся на ветру караганник. И не аул ли на Ойкудуке вдруг возник в небесном мире, рядом с голубым исполинским городом? Мираж создает утешение из ничего. Мираж обманывает. Над далеким затуманенным горизонтом неисчислимый сонм призрачных образов зовет, манит к себе, и сама несбыточная мечта человека словно призывает его: «Иди сюда! Я здесь!»



«Надежда – это тоже одно лишь воображение, мираж. Ясно видимый глазами, причудливый и красивый переменчивый образ», – думает Абай. И он представляет себе, как человек, оставшийся один в бескрайней пустынной степи, обманчиво утешает себя какой-нибудь призрачной мечтой, несбыточными надеждами, чтобы не пропасть от чувства великого одиночества. Однако среди этих великих миражей и бескрайних безлюдных степей есть крошечный живой оазис – его маленький аул. И в этом ауле находятся его дети, о которых он вспоминает с тоской и любовью, которых жалеет, и ждет его там молодая, милая, бесконечно любимая нежная супруга, его истинная любовь.

Тонкие, длинные, гибкие стебли седого ковыля беспокойно колышутся на слабом ветру, пробегающем над самой землей.словно серебрястые волны, сверкая бликами гребешков, дышит ковыльное поле, поднимаясь и опадая, чуть слышно шелестя, словно шепча, в беспредельной тишине поднебесной степи. Вдали она вся светится, переливается, меняя цвета, будто накрытая полосами блестящего шелка, играющего на ветру под солнцем. Ранний ковыль уже поседел в своих метелках, а степной курай, что выбрасывал весной синие кисточки цветов, теперь уже стал красновато-бурым. Все свидетельствует о скоротечности счастья в природе, когда цветение, предваряющее будущее созревание, только лишь вспыхнув изначально, уже несет в этой яркой вспышке своей торжествующей красоты отсвет бренности и увядания.

Вдали показалась затянутая в голубоватую дымку марева долина Шолактерек, лежавшая, будто свернувшись калачиком. А еще дальше, в неимоверной глубине пространства, виднеются седые гряды хребтов Каскабулак, Шолпан. И весь этот открывшийся простор – пустынен, и нет никаких признаков присутствия человека. Абаю становится неуютно от чувства своей малости, одиночества и незначительности перед величием и пространственной широтой вечной природы. И снова



пронзила его сердце любовь и жалость к своему маленькому аулу, который затерялся среди этих предгорных просторов, и захотелось Абаю немедленно увидеть и обнять своих детей и близких, свою Айгерим.

Именно на этом последнем переходе к аулу Абай глубоко задумался о судьбе своего народа, о том, что ему выпало на долю тысячелетиями жить-обитать на этих огромных просторах благодатных степей, кочуя со своими стадами вслед за солнцем, – и жить столь трудно, порой вовсе невыносимо. Как жили среди этих беспредельных пространств небольшими аулами в войлочных юртах, так и живут до сих пор. Где бы ни обитали казахи, всюду они живут одинаково, словно места их обитания совсем не отличаются друг от друга. И везде малоллюдно, равномерно малоллюдно, и нет городских поселений с ремесленным людом.

Народ, привязанный к своей скотине, полгода пребывает в степи, ходит за ней, а полгода пасет ее на джайлау, и степь на все это время пустеет, и редкие аулы остаются на степных становьях, словно разбросанная горсть баурсаков на дастархане скупой хозяйки.

В свой аул на Ойкудуке Абай приехал уже вечером, когда солнце коснулось края земли. Когда они подъезжали к крайним юртам, навстречу им кинулся народ – шумные, радостные дети и взрослые, проходившие по подворьям и увидевшие всадников.

Среди тех, что стояли перед юртами, Абай сразу же издали заметил Айгерим. Но у нее было такое изменившееся, безрадостное лицо, что он, подъезжая, поглядывая вокруг на народ, все чаще с тревогой кидал взгляды в ее сторону. А когда Айгерим вышла навстречу и взяла его коня под уздцы, ему подумалось, что она чем-то больна. Выглядела исхудавшей, была бледна, и обычно сиявший на ее лице розоватый отсвет, – свет ее молодости, радости, счастья, совершенно угас. Расцеловав бросившихся навстречу детей, Абиша и Гульбадан, подхватив



на руки Магаша, который крепко обнял его за шею, Абай направился к дому Дильды, ведя за руку сынишку от Айгерим, очень похожего на нее красивого мальчика четырех лет, Тураша. И вся эта семейная группа, ведомая Абаем, зашла в юрту Дильды. Спокойно и приветливо глядя на нее, Абай расспрашивал о делах аульных, о родичах. И лишь после этого он, наконец, поздоровался с Айгерим.

Он не узнавал ее. Исчезло с ее лица то чудесное сияние любви и жизнерадостности, что так красило Айгерим и волновало Абая. После того как он поздоровался, согласно обычаю, сначала со старшей женой, а потом с токал, Айгерим села на торе, как и всегда, ниже Дильды и, сцепив на коленях руки, безмолвно замерла. Она ни разу не улыбнулась привычной для Абая приветливой, чарующей, загадочной улыбкой, которую он так любил. С замкнутым бледным лицом, вся натянутая, как струна, она казалась человеком, смертельно задетым чьим-то невыносимым оскорблением.

Накоротко беседа с соседями, с муллой Кишкене, Дарханом, Башеем и другими, Абай бросал на Айгерим тревожные взгляды. Лицо ее лишь на какие-то мгновения освещалось живым чувством, мимолетной улыбкой, и тут же гасло. Большие глаза ее вдруг наполнялись слезами... она сжималась как от удара. Абай не выдержал и, не желая больше сдерживаться, тихо, встревоженно обратился к ней:

– Айгерим, посмотри на меня! Что с тобой?

Они еще ни слова не сказали до этого друг другу, но мгновенно возникла между ними та прежняя душевная близость и взаимопонимание, что красили их супружество. Вспыхнув от радости, словно бы говоря: «Рада, что ты понял меня!» Айгерим подняла потеплевшие глаза на мужа и обратилась к нему с улыбкой:

– Вы что-то сказали мне, Абай?

Но эта улыбка и выражение ее больших глаз вступили в какое-то противоречие, отчего и выкатились на ее щеки две



крупные, как жемчужины, слезы и скользнули вниз. Широко раскрыв глаза, Абай почти вскрикнул тревожно:

– Айгерим, айналайын, что с тобой? Уж не больна ли ты, голубушка? Лицо у тебя такое бледное... Жаным, что случилось?

Сидевшая между ними Дильда заговорила прежде Айгерим. Скрипучим, деревянным голосом Дильда ответила вместо нее:

– Чего тут спрашивать о болезни? В этих краях народ не болеет, слава Аллаху! Не болезни нас убивают, а тоска и горе. Ты еще успеешь узнать, Абай, что это за горе, и вникнешь, что ты сам являешься причиной. Не торопись, Абай! – Так язвительно и грубо, без обиняков, по своему обыкновению, прямо в лицо Абаю высказалась Дильда.

По угнетенному виду Айгерим Абай вначале предположил, что имеет место обычное соперничество между женами, что Айгерим обиделась на его выбор – по прибытии зайти и отдать салею сначала в дом Дильды, а не в ее очаг. Но неужели Айгерим не поняла того, что Дильда для него больше ничего не значит? Однако по тому, как отреагировала Айгерим на грубое высказывание Дильды и, не взглянув на него, опустила голову, Абай вдруг начал понимать, что пресловутое соперничество жен тут ни при чем. Взглянув и на других сидевших вокруг женщин, по их ускользающим в сторону взглядам, он окончательно утвердился в понимании, что ревность жен тут вовсе не имеет места. И тогда, поразмыслив, больше не заглядывая в женские лица, Абай догадался о том, что причиной является его долгое отсутствие и проживание в Семипалатинске. До сих пор между Абаем и его любимой женой не было ни единой ссоры, не произошло ни одной даже самой маленькой размолвки. И что за колючки впились в сердце его возлюбленной Айгерим, и сколько этих колючек, Абай еще не мог знать. Выяснить же об этом на людях было бы постыдно, Абай перевел разговор на обсуждение новостройки, и после принятия вечерней пищи, после того как детей уложили спать, он покинул дом Дильды и отправился к очагу Айгерим.



В эту ночь Абай и Айгерим не сомкнули глаз до самого утра. Провели мучительную ночь печали. Ужасную ночь.

Айгерим плакала от обиды и ревности. С той минуты, как остались наедине, она и стала плакать и, плача, открыто высказала мужу о своем отчаянии и горе, к чему привел ее рассказ Манаса, вернувшегося из города. Плакала она горько и безутешно. Задыхаясь от слез, сквозь всхлипывания молвила:

– Абай... Вы предали. Вы изменили мне. Вы стали другим, таким, какого я вас еще не знала. Вы говорили, что этот дом строите для меня. Что это золотой дворец для нашей любви... Так вот, вы бросили меня в костер мучений, Абай. Спасения мне нет. Я сгораю. Отныне мой удел – лить слезы. Погас свет в вашем золотом дворце. И не найдете вы слов, что могли бы излечить мою душу. Не говорите ничего! Кончились дни мои в этой жизни!

И всю ночь, сидя у ног Абая, Айгерим предавалась скорби и проливала слезы.

Абай, словно оцепенев, долго не мог найти слов в свое оправдание. Промучившись в тоске, он смог только сдавленно вымолвить. «Слова Манаса – это его предположения. Он сказал неправду». Но сколько бы он ни пытался потом лаской и поцелуями успокоить ее, осушить ее слезы, как ни прижимал ее нежно к груди, но так и не смог он утешить и успокоить свою любимую жену.

Он раньше не замечал, что Айгерим так обидчива. И с ужасом понял, что никакие его уверения и признания в любви не помогут ему. Вдруг почувствовал он, как зашаталась под ним земля, грозя разрушить выстраданное им долгими мучительными годами утрат светлое счастье. И вслушиваясь в тяжкие удары своего сердца, он чувствовал, как все опрокидывается и летит в черную бездну – вся его жизнь. Прижав руку к груди, он просидел долго, не в силах даже шевельнуться.

Пришел мучительный рассвет, затрезвонили где-то над домом жаворонки, сыпля на раны оголенного сердца свою



безжалостную трель. Тьма победила сердце Айгерим, она вынесла безжалостный приговор. Помилования не последовало. Не прервав своего бесконечного плача, она вдруг мучительно и тяжело простонала, словно в агонии: «У-у-х-х!» и сквозь всхлипывание говорила что-то страшное:

– Прокляты дни пребывания женщины на этой земле! Проклят и тот последний день, когда угаснет, наконец, свет жизни для нее! На что годна женщина, кроме того, чтобы только сидеть и плакать? Но я боюсь, Абай, что мои слезы, которые лью всю ночь, вымоют из моей души все сокровенные чувства, ничего не оставив для вас. И мне кажется, что не осталось в сердце моем ни капельки жалости ни к вам, ни к себе самой. Там пусто, все угасло, и стало как в заброшенном углу давно покинутого дома.

Так Абай узнал о своей жене то, чего раньше не замечал за ней: она была беззащитна перед темными силами зла и словно ходила по краю бездны, и в порыве отчаяния могла сама броситься туда. Абай в душе содрогнулся, испугавшись за свою любимую жену-красавицу, которую всегда привык видеть веселой, ласковой, приветливой, гордой и сдержанной. То, что она говорила, звучало как приговор над их любовью. А слезы ее были траурными слезами скорби, оплакивавшими светлые дни их прошлого счастья.

Абай в ужасе привстал с ложа и склонился над Айгерим. Вглядываясь в ее глаза, словно стараясь взглядом этим вернуть жену к жизни, Абай в отчаянии вскричал:

– Что ты сказала! Сейчас же отрекись от своих слов! Не думай так! Я безгрешен перед тобой, пожалей меня! В прошлом все у нас было светло, так же светло должно быть в будущем! Айгерим, не губи нашего прошлого, не убивай наше счастье этими страшными словами! Отступись от них, сейчас же отступись!

В смутном голубоватом свете утра лицо Айгерим казалось серой маской. Ничего не ответила истинная женщина Арки на



мольбы мужа, так и не ожила. Словно приняла в душе непреклонное решение – и эта душа ее отлетела. Поднялась жена с постели, на которой просидела всю ночь, не прилегла ни на минуту. Накинула на голову черный чапан и направилась к выходу. Постояла в дверях, подставив лицо веющей навстречу утренней прохладе. И даже не оглянувшись, все так же накрытая с головой черной одеждой, жена шагнула за порог и покинула белую юрту.

С того дня прошло немало времени. Айгерим не изменилась. Ледяная обида в ее сердце не оттаяла. Абай не знал, чем можно избыть эту обиду. Невольно и с его стороны повеяло холодком в отношениях. Словно серые осенние тучи затянули прежде безоблачное небо их счастливого супружества. Абай не хотел и не мог найти никаких утешений в напавшем семейном горе. Опустошенной душе оставался только безутешный плач. Но он нашел спасение, – уединившись в комнате Айгерим, он днями и ночами напролет сидел над книгами, читал все, что привез с собой. Они стали для него в эти больные дни словно спасительный свежий воздух. Довольно быстро он прочитал все привезенное, потом еще два раза посылал в город Баймагамбета, который доставлял полными коржунами обмененные в библиотеке книги.

Айгерим всегда была для Абая и возлюбленной нежной женой, и незаменимым душевным другом, но вот между ними возникло отчуждение, которому не предвиделось конца. Ее страстной натуре, ее напряженной, сложной душе все это грозило зловещей бедой – какой-нибудь нервной болезнью или тяжелой незаживающей раной. Айгерим была одна из тех любящих женщин Арки, которые не в силах простить измены. Непримиримость ее искусно поддерживала и раздувала Дильда, и об этом Абай знал. Она же и навела клевету на него. И только теперь со всей беспощадной ясностью предстала перед ним его собственная вина и непоправимая ошибка. Он должен был дать развод Дильде и отпустить ее, но он этого сделать



не смог. И женился на Айгерим. «Чем я лучше тех наших степных джигитов, женолюбивых и любострастных, которые берут по много баб в жены? – казнил себя Абай. – Теперь отвечай за все. Терпи наказание. Пей яд, приготовленный собственными руками».

В его душевной угнетенности и сердечном несчастье Абаю нужен был, как спаситель, какой-нибудь умный друг-собеседник, рассудительный и внимательный. Этого друга заменяли книги.

Если в жизнь Абая тихо вкралась осень души его, то в окружающей природе настала ее серая, сумрачная, очередная вялотекущая осень. Над урочищами Ералы, Ойкудук небо затягивалось низкими войлочными тучами, истекало тяжело сочащимися дождями. Холодный ветер Арки по ночам приносил настоящий зимний холод и разукрашивал землю седым инеем. В эти дни многие аулы, спустившись с летних пастбищ Чингиза, прикочевывали в те места, где обосновался Абай, и гнали скот на осенние пастбища. Аулы Кунанбая быстро и расторопно, как и всегда, заняли места с обилием травы и воды, бьющей из родников и собирающейся в глубоких старинных колодцах. Через Ойкудук, Каскабулак и Акшоку протекало немало рек и речушек. В неуютную холодную осень кочевники охвачены лишь одной заботой – как можно лучше выгулять скот на осенней зрелой траве.

Очень скоро аул Абая, все лето одиноко стоявший на Ойкудуке, оказался в окружении многочисленных вновь прибывших аулов. И повсюду начались взаимные угощения – *ерулик*, когда прибывшие раньше помогали вновь прибывшим обустроиться и приносили к ним еду.

Однако Абай и Айгерим в гости никуда не ходили. Они не выходили из дома. словно некий книжник-суфий, Абай в уединении и тишине занимался за столом, не поднимая головы. Неуютный холод, особенно чувствительный по утрам и вечерам, один напоминал ему, что на дворе осень. Он уже



привык к одиночеству в своем собственном доме, склонен был считать, что это и есть его истинный удел в оставшиеся дни жизни. Но иногда ему казалось, что такое одиночество – просто застарелая привычная болезнь. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он иногда в предночную пору садился на коня и один, без всякой цели, разъезжал по степи. Иногда объезжал пасущиеся стада, поздно ночью возвращался домой. И, подъезжая к темной юрте, невольно начинал думать, что его, может быть, кто-то ждет дома. Но кто? Может быть, Айгерим, чье сердце вновь затеплилось трепетным огоньком к нему? И она встретит его приветливой улыбкой, любящим лучистым взглядом? Но тут же он отбрасывал прочь эту надежду: нет, Айгерим умерла для него. Она не хочет вернуть ему свое сердце, и он уже привык, смирился с этим и, пожалуй, тоже ничего не хочет от нее. «Но тогда кого я жду? Кого мне хочется увидеть, войдя в дом?» – спрашивал у себя Абай, однажды ночью подъезжая к своему аулу.

И ответ пришел быстро:

– Ербол! – воскликнул он. – Ах, если бы приехал Ербол! Навестил бы меня в эти печальные мои дни!

В эту хмурую осеннюю ночь Абай понял, как ему дорог и близок его верный друг юности, с кем вместе они прошли через столько жизненных дорог, месяцами были рядом, терпели вместе и жару, и холод, вместе росли и мужали, и ни разу их дружба не омрачилась ни обидой, ни размолвкой. От молодых лет и до зрелости жизнь у них была общей, пройден был единый путь на двоих, только в последние несколько лет они стали разлучаться надолго – их разводили то зима, то лето на кочевых путях-дорогах.

Когда Абай женился на Айгерим, Ербол тоже справил свадьбу со своей Дамели, и у него родился сын Смагул в один год с Турашем. Абай проявлял заботу о доме Ербола не меньше его самого. Когда-то очаг Ербола был самым последним в богатом ауле Суюндика, порой даже не имел и одного коня под седло,



и все надежды свои связывал с тем, чтобы брать на откорм и выдойку рогатый скот у своих богатых сородичей. Теперь же Ербол имел свое хорошее стадо, и уже мог не тащиться вслед за аулом Суюндика, и на кочевье выходил со своим аулом, в котором были собраны семь хозяйств его бедных родичей. И теперь светло-серая шестистворчатая юрта Ербола располагалась посреди маленького аула, разбивавшего свой стан вдали от Большого аула Суюндика. После своих долгих поездок с Абаем, длившихся иногда месяцами, Ербол всегда возвращался домой не с пустыми руками: пригонял то небольшое стадо овец, то коров, то лошадей, чем существенно увеличивал свое достояние... В эти дни Ербол, по ком истосковался его друг, не последовал за кочевыми караванами и остался в горах, на своем зимовье в Карашоке, чтобы скосить и уложить в стога сено, готовясь к зиме. Абай знал о его хозяйственных заботах и, несмотря на свое желание увидеть друга, проявлял терпение и ждал его попозже, когда корма повсеместно будут заготовлены. О, тогда Ербол непременно примчится к другу, не задерживаясь ни на один день!

Но, находясь на далеком склоне Чингиза, Ербол словно почувствовал, как часто в последние дни думает о нем Абай и как скучает без него. И однажды вечером, когда уже в привычном молчании и гнетущей тишине разладившегося очага зажгли масляную лампу, и Абай только что склонился над книгой, начиная вечернюю работу, вдруг вскинулся край войлочного полога на двери и в юрту ввалился с шумным приветствием:

– Асалаумагалекум! – сам Ербол!

Абай не помнил, как вскочил с места, перелетел через всю юрту к двери и, счастливо смеясь, заключил друга в объятия. И, не выпуская его из рук, радуясь, как ребенок, повел его к тору.

– Ну, как же так! Идем, идем скорее, раздевайся, садись! Я тут без тебя как без воздуха. Задыхаюсь! Одичал совсем! Эй, Айгерим! Постели корпе!



Глядя на Абая, не в меру разволновавшегося по поводу неожиданного приезда Ербола, Айгерим не выдержала и тихонько прыснула в ладонь. За долгое время это был первый ее смех. Она снова увидела в муже того прежнего Абая, который был мил и дорог для нее. И порывистый шквал каких-то счастливых воспоминаний прежних дней за один миг пролетел в ее памяти. Вспомнила, что стоило друзьям дня не видеться, как потом при встрече кидались друг к другу с объятиями, лобызались, как телята. И представив светлые радости тех дней, сгинувших навсегда, Айгерим испытала саднящую грусть в душе. И еще она почувствовала к Ерболу что-то вроде болезненной ревности, сходной с ее ревностью к Абаю.

Она подумала о том, что в завязавшихся ненавистных для нее отношениях Абая с городской девушкой Салтанат не последнее значение имела, наверное, помощь и соучастие Ербола. Так ведь было всегда: Ербол – самый верный помощник во всех делах Абая.

И в безудержном завихрении нового порыва ревности, Айгерим решила, что такая неистовая радость Абая при встрече с другом связана, должно быть, с ожиданием новостей от Салтанат, которые принес Ербол. У них общие тайны, и поэтому они с полуслова понимают друг друга.

Выпив чашку кумыса у Айгерим, Ербол с беззлобной шутливостью изобразил свою крайнюю озабоченность, говоря:

– Айгерим, ты приготовь, айналайын, угощение для меня, как это положено: мясо давай, чай поставь. Ведь кроме глотка чая, выпитого в Карашоке ранним утром, у меня во рту ничего не было! А сейчас я быстро сбегаю в дом Дильды, быстро покажусь ей, понюхаю лобики ее детей – и затем быстро вернусь обратно. Если я этого не сделаю, завтра дочь Алшинбая прибежит сюда ни свет ни заря и раскричится, вся разобиженная! Схожу, поздороваюсь с нею! А ты, давай, не очень-то задавайся, келин, помни, кто я для тебя! – И этим рассмешив Айгерим и Абая, Ербол поспешно удалился.



Обойдя все юрты в ауле Абая, словно в своем родном ауле, он вскоре вернулся обратно.

Усевшись поудобнее, он принялся за еду и сообщил большую новость: в ауле Ескожи завтра предстоит свадебный той, будут выдавать любимицу и баловницу аула, красавицу и щеголиху Умитей. Жених уже не раз приезжал к ее родителям, звали его Дутбай, был он сыном Алатая из рода Кокше, близкого родственника премудрого бая Каратая. И вот пришла пора играть свадьбу этой самой знатной во всем роду Олжай невесте, златоголосой певице, знаменитой девушке-сэре. Весть, доставленная Ерболом, порадовала всех в ауле Абая.

В эту же ночь аул через гонца получил приглашение на свадебный той. Наутро женщины во главе с Айгерим несколькими группами верхом на лошадях отправились в сторону аула Ескожи. Абай, Ербол и Баймагамбет прибыли туда к полудню.

На улице кипело несусветное оживление. У дверей свадебных юрт толпилась, крутилась молодежь. Всюду бегала, шумела детвора. Пожилые женщины в жаулыках и карасакалы в надвинутых на глаза тымаках стояли поодаль и увлеченно следили за свадьбой со стороны. Слышны были шумные возгласы, громкие переделки.

– Уа, вон идут салы!

– Э, что они так вырядились?

– Ничего себе! Что это за одежда на них?

– О, Алла, не разберешь, мужчины то или женщины!

– А вон тот, видать, самый главный у них! В руках домбра, украшена перьями!

– Смотри, у других такие же домбры.

– Идут-то, посмотри, как! Вышагивают-то!

– А эти баловни так и должны ходить! Все эти салы, сэре! Ты что, не знал, что ли? Одеты должны быть не так, как другие!

Детвора, народ бесцеремонный, оглашала воздух звонкими криками:



– Глянь-глянь! Шапки-то как саукеле¹ у девушек!

– А штаны-то, штаны какие широченные!

– Не-ет, не штаны это, а юбки бабские! Подолы волочатся по земле!

– А вон у того, глянь, что-то тащится за ним, – как послед у отелившейся коровы! Ха!

– Собак напустить на них! В клочья разнесли бы их штаны! Ха-ха!

Среди гостей, сидевших в доме Ескожи, находился Изгутты. Выглянув в открытую дверь и увидев зеленую молодежь, прибывшую на свадьбу как почетные салы и сэре, он остался недоволен этим и выразил вслух свое недовольство:

– Откуда такие взялись? Кто звал?

Ескожа, видимо, тоже был смущен их появлением, но примирительным тоном молвил:

– Да свои вроде. Их Амир пригласил.

Абай и Ербол слышали, что несколько джигитов во главе с Амиром летом разъезжали по аулам, выступая как салы и сэре. Но еще никто не отзывался о них как об истинных музыкантах и песенниках, поэтому Абаю было любопытно посмотреть на то, что они умеют делать. Вместе с Ерболом он вышел из юрты – и был весьма удивлен увиденным.

Салы уже подошли к трем поставленным в ряд жениховским юртам, в середине находилась большая восьмистворчатая белая юрта, верхние кошмы которой были разукрашены пришитыми узорами, вырезанными из зеленого бархата, и окаймлены полосами из красного сукна. У входа толпились разнаряженные девушки в куньих шапочках, увенчанных султанами из перьев филина, косы девичьи были украшены шолпами. Посреди девушек стояла Умитей, выделявшаяся особенно нарядной и богатой одеждой, в шапочке из черного соболя, надетой кокетливо, слегка набекрень. Воистину она в толпе подруг была как звезда Шолпан среди других звезд на небосклоне,

¹ Саукеле – высокий головной убор невесты.



девушки стояли перед юртой и поджидали приближавшихся джигитов – салов и сэре. Когда те были уже недалеко, девушки рассыпались веером и во главе с Уमितей двинулись навстречу им, с громким смехом и веселыми шутками.

В первых рядах причудливо и пестро разнаряженных сэре шли молодые женщины. Баймагамбет с удивленным лицом обернулся к Абаю и Ерболу.

– Уа, а среди них есть, оказывается, и бабы! Кто это?

Ербол знал кто, и с улыбкой заметил:

– Если и есть женщина-сэре, то это, я думаю, непременно наша Айгерим. А остальные – это келин из этого рода, которые вышли встречать гостей и встретили далеко от аула.

И на самом деле, совсем незадолго до своего появления в ауле певцы и музыканты прислали туда своих верховых гонцов, которые подняли веселый шум и потребовали, чтобы навстречу каравану музыкантов аул выслал отряд молодых и пригожих келин. Так и было сделано, – и теперь причудливо разнаряженные, с кинжалами за поясами, салы и сэре, сойдя с лошадей, шли длинной вереницей, каждый рука об руку с молодицей в белом платке.

С громкой хоровой песней, словно предупреждая издали: «Мы идем!», певцы и музыканты вели под руку или же обнимая за плечи молодых келин из аула. Впереди всех шел самый почетный сэре, его с двух сторон сопровождали молодки, которые шагали, каждая положив свою руку на плечо певца. Это был самый старший из всех молодых музыкантов – высокий, статный темнобровый Байтас. И домбра у него была необычно большого размера, пышно украшенная пучком перьев филина и погремушками, окатанная жемчужным бисером. Казалось, даже его домбра говорила: «Смотрите! Я домбра славного сэре!» Во время игры на ходу Байтас иногда, прерывая ее, поднимал домбру за гриф и покачивал ею из стороны в сторону. По этому знаку все остальные салы и сэре, поднимали обеими руками свои домбры над головами и дружно хором запевали



последующий куплет полюбившейся в Тобыкты песни акына Зилькара «Жиырма-бес».

Абай и Ербол удивлялись, что певцы пели слаженным хором: в степи поют обычно по одному голосу, а если и поют вместе, то не более двух голосов разом, если даже полна юрта певцами. Такое новшество, – должно быть, придумка Амира, – весьма понравилось Абая.

*Торопись веселиться – тебе двадцать пять,
Эти годы к тебе не вернутся опять!..*

Так говорилось в песне, и, видимо, этот припев стал главным мотивом у того поколения молодых людей, которые сейчас хором распевали старую песню новыми молодыми голосами...

Девушки с невестой Уमितей во главе шли навстречу гостям с той же песней «Жиырма-бес», распеваемой хором, и когда обе вереницы молодежи встретились, то мощным общим пением завершили припев, объединив свои голоса.

Тут молодые келин в белых платках, шедшие в первых рядах джигитов, быстро отступили назад. На их места встали девушки из свиты Уमितей. И опять впереди был Байтас, и его с двух сторон вели под руки стройные прелестные девушки. А позади них, рядом с Уमितей, оказался Амир.

Когда вся эта веселая пестрая толпа двинулась к свадебным юртам, навстречу со свирепыми криками выскочила толпа джигитов, изображающая шабарманов от прибывших сэре и салов. Это они первыми прискакали в аул и погнали навстречу приближавшимся музыкантам молодух-келин в белых платках. Целый день они надоедали местному люду своими дерзкими шутками и розыгрышами. Теперь эти грозные на вид посыльные сэре и салов, числом около десяти, пошли впереди толпы молодежи и, разбившись на две группы, размахивая увесистыми, разукрашенными ленточками камчами, начали разгонять народ, взрослых и детей, расчищая путь перед процессией



музыкантов. В толпе любопытствующих, возле главной жениховской юрты, стоял и Абай со своими друзьями, находилась тут и свита жениха, и сваты, однако атшабары певцов ни с кем не считались и отбрасывали народ на две стороны. Тому, кто замешкался и не успел посторониться, доставалось плетью по ноге или спине, иногда очень даже чувствительно, но никто не обижался на это, и потерпевший с хохотом отбегал в сторону.

- Тайт! Расступись!
- А ну-ка, в сторону!
- Пошел отсюда!

Грозными криками, размахивая плетью, эти посыльные от салов и сэре оттеснили гостей в две стороны и создали широкий проход для своих повелителей. На эту роль «шабарманов» были подобраны джигиты рослые, батыры с виду, – принимая угрожающий вид, страшно вращая глазами, эти добровольные актеры пугали и развлекали публику.

Шествие певцов привлекло внимание множества зрителей. Некоторые, прискакав на лошадях, теперь с седла обзревали процессию сэре и салов, прибывших на свадьбу в немалом количестве – около сорока человек. Их яркие, причудливые одежды и шапки, необычное поведение и красивыми голосами распеваемые песни изумляли, возмущали и восхищали людей.

Впереди по-прежнему шагал Байтас, выставив вперед рыжую бороду и большой горбатый нос, его с двух сторон обнимали девушки. Сэре-агай шел с невозмутимым видом, словно никого не замечая вокруг себя. Приблизясь к юрте жениха, он снова в повелительном жесте поднял домбру над головой, и все, певшие «Жиырма-бес» негромко, словно заповедывая песню друг другу, вдруг разом усилили свои голоса и грянули песню могучим хором.

За Байтасом, обособившись от всех остальных, шли Умитей и Амир, тесно обнявшись, словно влюбленные, свидетели



после долгой разлуки. Их голоса выделялись из всего хора, высоко взмывали над другими голосами. Они двое вели общее пение. Байтас лишь возглавлял шествие певцов, но запевалями в хоре салов и сэре являлись Умитей и Амир.

Необыкновенная красота и яркость этой пары привлекали к ним внимание так же, как и чудесные их голоса, и казалось, говоря изысканным слогом сэре и салов, что «их соединил промысел Божий».

Невеста на своей свадьбе выделялась среди всех девушек и красотой нарядов, и богатством драгоценностей на ней, и особенным, лучезарным светом счастья, который исходил от ее прекрасного лица. Но этот свет был направлен на того, кто был рядом с нею, кто нежно обнимал ее и шел, глядя только на нее одну, никого не замечая вокруг.

Амир также выделялся среди всех своей юной утонченной красотой, светлым ликом, черными бровями и усиками, ярким нарядом из темно-коричневого атласа, что ладно облегал его высокую стройную фигуру. Амир смотрел на Умитей счастливыми, сияющими глазами, и взгляд его был почти молитвенным. Пел он, казалось, только для нее одной. Девушка отвечала ему зачарованной улыбкой, раскрыв алые губы, блистая белоснежными зубами. Не отрывая глаз друг от друга, они не шли по земле – плыли на волнах своего счастья.

Казалось, еще одно мгновение и, воспламенившись страстью, юноша и девушка готовы будут слиться в бесконечном поцелуе, замереть навеки в первом своем и последнем неудержимом объятии.

Ербол внимательно следил за ними, сопровождая тревожным взглядом каждый их шаг. Абай также был встревожен поведением своих молодых друзей. Тяжелое чувство легло на его сердце, и Абай стал выбираться из толпы. Пока проходил к самым задним рядам, он наслышался достаточно много возгласов удивления и возмущения. Они были словно оплеухи, что сыпались именно на него, Абая.



– Ей, посмотри на Амира и Умитей! Ты видишь, как они идут? – говорила какая-то байбише своему пожилому супругу. – Как будто одни, и никого кругом нету!

– Астапыралла! Это что же – сегодня свадьба у Дутбая или у Амира? – возмущался некий карасакал с проседью в бороде.

– Точно встретились влюбленные голубки, после долгой разлуки! – сочувственно молвил женский голос за спиной Абая.

Эти возгласы – осуждения ли, сочувствия – одинаково били Абая по ушам.

– Видать, не терпится им!

– Влюбишься, сам потеряешь терпение!

– Не успели, должно быть, угомонить свои страстишки!

– Ойбай, разве такой огонь можно скрыть? Видно же, как им не терпится! – шепчет кто-то в уши Абаю, нагнувшись к нему с коня. Словно открывает большую тайну.

Абаю было не по себе. Мучительно стыдно стало за поведение Амира и Умитей – перед людьми, и перед ее женихом, Дутбаем. Абай хорошо знал его и очень уважал этого достойного джигита. Если скверные слухи дойдут до него, то плохо придется и ему самому, и этим двоим.

Абай потерял всякое желание оставаться на свадебном тое. Не сказав никому, покинул веселье, оживленную толпу пеших и конных, кипевшую возле свадебных юрт, и выехал из аула.

Перед его глазами стояли лица Умитей и Амира, охваченные нежностью и безумием. Абай досадовал на влюбленных, и в то же время жалел их. Ибо воочию увидел перед собой пламя той волшебной страсти, которая сильнее всех законов и запретов, о чем он не раз читал в книгах.

Глаза невероятно красивой девушки-сэре и глаза юноши-сэре. Эти глаза ничего не видят вокруг, смотрят только друг на друга, и души их опьянены любовью... Глубоко задумавшись, Абай ехал по степи, сам не зная куда. И как всегда бывало в минуты сокрушенности души, откуда-то стали всплывать слова, складываясь в строки стихов. Они были столь же не-



исповедимы и самовольны, как страсть юных влюбленных. И одновременно со словами, вместе с ними, пришел напев новой песни. Так сложилась новая импровизация:

Речь влюбленных не знает слов.

У любви язык таков:

Дрогнет бровь, чуть вспыхнут глаза –

Вопрос иль ответ готов...

Эти прилетевшие откуда-то слова, вместе с мелодией, несущей их, уводили Абая все дальше в степь, в неизведанные дали. Он покачивался на тихо шагающем коне, бормоча и напевая слова рождающейся новой песни.

Свадебный той лишь в продолжение первого дня проходил в беззаботном веселье и красочных играх. В последующие дни надвинулся и навалился на свадебное торжество темный морок, беспокойный предвестник несчастья. С той минуты, когда Уमितей вошла в жениховскую юрту рука об руку с Амиром, свадебный праздник, казалось, превратился в его торжество. Слух об этом мгновенно, быстрее степного пожара в ветреный день, распространился по всей округе.

Свадьба была богатая, были приглашены роды Иргизбай, Анет, Жигитек, Мамай, стоявшие на осенних станах в Ойкудуке и Ералы. Кроме этого, на свадьбу приехало много людей из рода Кокше, который сватал Уमितей. Оттуда прибыли джигиты, чтобы поучаствовать на скачках и на кокпаре, силачи-палваны, чтобы померяться силами с местными борцами. Скверная молва об Амуре и Уमितей обрушилась на все эти роды Тобыкты к всеобщему стыду и конфузу. «Амир бросил весь Иргизбай в позорную яму перед Кокше» – злорадно поговаривали те, что ненавидели род Иргизбай. Расползались темные слухи, что невеста сама пригласила Амира: «Проводи меня на свадьбе, проводи своей песней, будь до последнего рядом со мной».



Но что бы ни говорили, все три дня свадьбы Амир и Умитей были неразлучны. Все три ночи звучали в свадебных юртах песни, распеваемые ими вместе. Прощание невесты со сверстницами и сверстниками проходило в беспрерывных песнопениях. Пели все сорок сэре и салов, прибывшие на свадьбу. Много и охотно пела Айгерим, как будто отпуская из души на волю все те песни, что были заперты в ней по жизни в аулах Кунанбая. Словно вырвавшийся из клетки соловей, Айгерим пела неустанно все три дня и три ночи.

Жених из Кокше, джигит Дутбай, был одним из самых уважаемых, серьезных и привлекательных молодых джигитов рода Кокше. Многими заметными добрыми делами он обрел известность не только в своем роду. И этот достойнейший юноша тяжело переживал в эти дни зло наветов и отвратительных сплетен, оказавшись перед ними совершенно беспомощным.

Вначале он никого не хотел слушать и пытался заткнуть рты своим дружкам и родичам, обратился, было, к самой Умитей с мягкими увещеваниями: «Может, хватит тебе водить за собой этих сэре? Может, нам лучше уединиться вдвоем?» Красавица невеста ему безумно нравилась, он весь трепетал, когда она приближалась к нему. Не мог нарадоваться, твердил без конца: «Взял в жены самую лучшую из всего Тобыкты! Чистую, словно белый марал!» Он боялся не то, чтобы в чем-то винить ее, но и воспользоваться правом жениха и поцеловать ее. И во все дни свадьбы горел страстным желанием оказаться с нею наедине, прильнуть губами к ее губам.

Однако Умитей смогла его призвать к сдержанности: «Я ведь гуляю со своими подругами и сверстниками последний раз! Дозволь мне попрощаться с отчим краем, с любимыми родичами, ведь я уеду отсюда уже навсегда! И хоть тебе будет тяжело, – я прошу тебя, айналайын, дать мне полную свободу на эти дни!» Просьба Умитей, вкрадчивая, настойчивая, возымела действие на Дутбая.



Несмотря на молодость, он хорошо разбирался в людях, был решительным, деятельным джигитом, и с присущим ему упорством и настойчивостью всегда добивался своего. В Кокше он был одним из самых близких молодых сподвижников премудрого Каратая, и за Дутбаем на родовых советах всегда оставалось веское слово. Ему очень не нравилось присутствие на свадьбе разнаряженных салов и сэре, но после просьбы Умитей он решил не обращать на них внимания. И все же по истечении трех дней терпение его истощилось. Свита и дружки жениха извели его насмешками, намеками и откровенными поддразниваниями. Наконец то, о чем ему со всех сторон говорили, предстало перед ним в самом недвусмысленном виде. О, это было в глухой час на исходе ночи, когда всех свалила усталость, и на дворе было безлюдно и пусто. Дутбай набрел между двумя темными юртами на юную парочку, стоявшую, крепко сплетясь в объятии, накрывшись с головою черным чапаном. Когда Дутбай бешеной рукой сдернул этот чапан, то увидел, что Умитей и Амир, словно умерев для этого мира, с мокрыми от слез лицами, слились в беспмятном поцелуе.

Бросив чапан на землю, Дутбай вбежал в гостевую юрту, разбудил дружек и свою свиту, велел быстро собираться и седлать лошадей, немедленно изловив их на пастбище. Он даже стал приказывать своему главному свату и аксакалам: «Пусть сейчас же садятся на лошадей и уезжают, глотка воды не выпив!» И приказы его были настолько решительными, что никто не стал ему возражать. С восходом солнца жених из Кокше и вся его свита покинули аул Ескожи, ни с кем не простившись.

Это было тяжким, неслыханным позором не только для девушки, от которой отказывался жених, объявляя *талак*, отбрасывая невесту назад родне, но и для всего аула, из которого была девушка. Ескожа спешно собрал всех стариков и почтенных людей аула и вместе с ними погнался за главным сватом. Догнав его в степи, преградил ему дорогу конем и надел на него:



– Е, не надо нас убивать! Не говорите ничего такого, когда приедете домой, а говорите, что выехали немного раньше невесты! Неужели так и разъедемся – в ссоре? Не дело это! Вот что я скажу: мы сейчас вернемся, тут же разберем очаг невесты, а потом сами, родители и родственники, привезем невесту к вам! Вот это – дело!

И как было сказано, после отъезда сватов из Кокше к полудню была разобрана юрта Умитей, отправлена вместе с нею вслед за женихом. Амир молча стоял в стороне и смотрел на сборы каравана темными, потухшими глазами. Не утирая слез, повернулся и удалился прочь, не оглядываясь.

Айгерим вернулась домой этим же вечером. Абай и приехавший к нему накануне Ербол встретили ее у юрты. Вид Айгерим поразил друзей: лицо у нее было радостное, счастливое, сияющее прежней красотой. Сойдя с повозки и сбросив на руки Злихи верхний камзол, Айгерим подошла к Абаю и Ерболу, стоявшим рядом, и веселым, оживленным голосом спросила, все ли благополучно в ауле. Абай смотрел на нее широко раскрытыми глазами.

– Взгляни-ка на нее, друг Ербол! Ты узнаешь ее? Да она вся расцвела! Что могли сделать ее любимые песни!

– Твоя правда! – отвечал ему Ербол. – Она как та красная лисица, которая повалялась на первом снегу!

Айгерим по-доброму улыбнулась.

– А что же вы не захотели послушать эти песни? – шутливо упрекала она. – Оставили меня одну с моими песнями, уехали с праздника без меня! А теперь смеетесь надо мной!

Абай и на самом деле весело засмеялся.

– Что ты, жаным, кто же над тобой смеется! Это мы любимся тобой, айналайын! Ты похожа на ловчего ястреба, которого выпустили на охоту в ветреный день, и он вволю налетался в потоках ветра и вернулся назад, совершенно счастливый! А мы держали тебя в неволе! Но ты счастлива еще и потому, наверное, что там, на свободе, нашла себе достойных друзей,



с кем вместе распевала свои самые лучшие песни, которых мы еще не слышали! Не так ли, Айгерим?

Хотя все трое и смеялись этим шуткам, чувствовалось, что Айгерим смущена. Лицо ее слегка покраснело, и, не переставая улыбаться, она протестующе заговорила:

– Найдется ли у меня хоть одна песня, Абай, которую бы утаила от вас? Хоть что-нибудь я могла бы скрыть от своего супруга? Вы все шутите: то лисица я, то ловчая птица. Но если и птица – то свободная ли? Или держат на привязи, постоянно испытывают, не улетит ли? – И она, снова изменившись в лице, чуть нахмурилась и ушла в юрту.

С отъездом Уमितей безрассудство Амира не прекратилось. Убитый отчаянием, уехал со своими друзьями-сэре из аула Ескожи по другой дороге. Едва аул скрылся из глаз за холмами, Амир упал на гриву коня лицом и разразился безумными рыданиями. Джигиты стали утешать его, и кто-то, разжалобившись, вдруг предложил повернуть коней назад, догнать свадебный караван и дать возможность влюбленным проститься в последний раз.

Амир тут же вострепнулся и выпрямился в седле.

– Е-е, слушайте меня! – вскричал он. – С этими кокше Уमितей связывает сватовство, а меня с нею связал сам Кудай! И воля Всевышнего главнее сватовства. Не думайте, что я говорю как зеленый юнец. Все решено, друзья! Сама судьба бросила меня в этот огонь, я пойду до конца, пусть даже и сгорю! Без Уमितей мне все равно жизни нет! Поворачивайте коней в сторону Кокше! Догоним караван Уमितей! – И Амир, выкрикнув это, первым развернул коня и поскакал назад по дороге. Друзья кинулись за ним. Среди них был молодой джигит, но уже известный в округе сэре и акын, по имени Мухамеджан. Он среди других горячее всех принял к сердцу разлуку влюбленных Амира и Уमितей, он и бросил первым клич – повернуться и догнать караван невесты. И теперь, когда Амир так быстро принял решение, Мухамеджан не мог скрыть своего восхищения:



– Уай, вот это дело! Джигиты, не оставим Амира! – крикнул он. – Друзья, чуть помедленнее коней, я хочу спеть песнь этой славной минуты!

И когда яркая кавалькада сэре попридержала лошадей и пошла по дороге быстрым шагом, Мухамеджан запел своим высоким, чистым голосом – песню от имени Амира, рожденную сиюминутным вдохновением степного творца:

*Очнулась душа, рассеялся мрак,
Готов я неслыханный сделать шаг.
В погоню!.. Увозят свет жизни моей!..
Гоните, друзья, белогрудых коней!*

Амир и его друзья подхватили повтором последние две строки, новая песня грянула на всю степь. Затем пустили вскачь своих коней и понеслись по ровной дороге. Вся ватага сэре, разодетая в яркие, пестрые одежды, ехала на специально подобранных к празднику одинаковых светло-серых конях. Только один Амир был на саврасом, с черной гривой. Их скачка была красивой, буйной, стремительной.

Караван Умитей двигался посреди плоской желтоватой равнины. Это был разнаряженный свадебный караван, перевозивший богатый очаг невесты на десяти верблюдах, разукрашенных лентами и увешанных бубенцами. Караван окружали верховые на конях, множество мужчин и женщин. Джигиты во главе с Амиром мчались вдогон свадебной кочевки.

Ничто не могло вразумить Умитей, даже внезапный отъезд жениха. Прощаясь в ауле с Амиром, рыдая в его объятиях, и далее в пути, непрерывно плача в седле, она и не думала скрывать от людей своего отчаяния. Горестно ссутулившись, она утирала слезы рукой и поминутно оглядывалась назад, туда, где остался ее возлюбленный. Вдруг заметила она ватагу стремительно скачущих всадников в ярких одеждах, нагоняющих караван. Сердце ее забило сильно, радостно.



Аксакалы, ехавшие впереди каравана, тоже увидели нагнавших джигитов. Ескожа переглянулся с Изгутты.

– Е, что за скачка!

– Откуда этих вынесло?

Опередив остальных на расстояние полета стрелы, на саврасом коне, припав головой к его черной гриве, летел Амир. Подскакав к Уमितей, он осадил коня и, нагнувшись к ней с седла, крепко обнял ее, задыхаясь от сдерживаемых рыданий. Стал целовать ее лицо, глаза, мокрые от слез. Джигиты Амира подскакали к ним и, окружив замершую посреди дороги парочку, создали для них живой очаг из своих светло-серых коней. Молодые сэре хором запели «Козы кош», песню, сочиненную славным акыном Биржаном в минуту расставания с друзьями.

*Прощайте, юные друзья!..
Здесь с вами юным был и я,
Уйду в далекие края –
Уйдет и молодость моя...*

Исполненная хором, с неожиданным повтором двух строк припева, песня вдруг обрела новый смысл, печальный и торжественный. Амир и Уमितей замерли в объятии, прижавшись друг к другу заплаканными лицами, закрыв глаза и никого не видя вокруг себя. Их лошади смиренно стояли рядом.

И тут на полном скаку к ним подлетели Изгутты и Ескожа. Проскочив сквозь живое кольцо светло-серых лошадей, надвинулись на плачущих влюбленных, схватили их коней под уздцы.

– Довольно! Негодник, добился своего? Отступись сейчас же! – кричал Ескожа.

– Амир, угомонись! Жа! Попрощался – и ступай себе! – наседали Изгутты.

В его голосе клокотала злоба. С силой рванул на себя повод коня Уमितей. Рыжий иноходец от неожиданности прынул



скачком с места, и Уमितей была вырвана из объятий Амира. Она протяжно, отчаянно закричала:

– Амир! Не уходи! Проводи, жаным, до самого костра! Меня мои родичи бросают в огонь! Не покидай, карагым, свою Уमितей! И вы, милые друзья, не оставляйте меня, – проводите до самого огня! Все поезжайте за мной!

Она перестала плакать, слезы мгновенно высохли в ее глазах. Глядя сурово, почти гневно, на своих друзей, салов и сэре, она крикнула:

– Посмотрим, на что он горазд! – она имела в виду жениха. – Пусть только попробует встать поперек! Едем все! Проводите до конца!

Она схватила под уздцы коня Амира и повела за собой. Амир наклонился с седла и обнял ее тонкий стан, и целовал ее в лицо.

– Айналайын, лунолика моя! Пусть дыхание мое прервется, но не погаснет свет твой на моих небесах! Если суждено мне умереть – да приму смерть на твоих глазах, любовь моя! Еду с тобой!

Амир привстал на стременах и обернулся к своим друзьям:

– Едем все! – крикнул он.

Джигиты придвинулись и оттеснили Изгутты с Ескожой, тесным кольцом окружили Уमितей и двинулись вперед по дороге, в направлении урочища Шолактерек... Свадебный караван построился к ним сзади. Аксакалы и сваты выдвинулись вперед и поехали в некотором отдалении, не в силах помешать тому, что свершалось на их глазах.

В ауле жениха большая восьмистворчатая юрта невесты была уже поставлена и ждала ее. Молодая келин вошла в юрту, поддерживаемая под руку ее друзьями, Амиром и Байтасом. Перед нею заносили в дом растянутый шелковый полог для новобрачных – сэре на этот раз точно соблюдали обычай.



Несмотря на это, жители аула Шолактерек встретили их без радостных возгласов, молчаливо и настороженно.

Однако за порогом Молодой юрты невесту встретили женге, сверстники и сверстницы радушными восклицаниями, пожеланиями добра и счастья, осыпая ее голову дождем всевозможных угощений – шашу. И никто будто не замечал присутствия рядом с невестой Амира.

Этот добрый прием невесты и забота о сохранении ее чести исходили от жениха, от самого Дутбая. Он сделал это, не испрашивая совета ни у старейшин рода Кокше, ни у своего родного отца Алатая. Набравшись мужества и терпения, Дутбай решил скрыть позор. Однако в тот же вечер, поручив гостей вниманию своей матери, умной и энергичной байбише Алатая, Дутбай спешно отправился в аул Каратая. Он был самое главное лицо в роду Кокше и всеми уважаемый мудрый аксакал.

И только наедине с агаем Дутбай изложил ему все о своих страшных унижениях, испытанных от невесты и Амира. Обычно сдержанный, доброжелательный Каратай на этот раз словно окаменел от гнева.

– Поезжайте к Кунанбаю и расскажите из своих уст ему обо всех пакостях, которые творят его волчата. Пусть он сам подавит и смоев этот позор. Иначе он может считать, что между Иргизбаем и Кокше все испортилось, нарушилось, – и настанет неслыханный раздор между нашими родами. – Так говорил Дутбай, и старик слушал его, не перебивая.

Старый, мудрый Каратай не помнил, чтобы в малочисленном и не очень богатом Кокше был такой вот молодой джигит, который со спокойной твердостью и мужеством выказывает готовность к борьбе и вражде с самим Кунанбаем, всесильным владельцем и в прошлом самым сильным властителем во всем Тобыкты. И Каратай с открытым любованием взирал на рослого, статного молодого джигита с широким открытым лбом, смелыми и решительными глазами, в которых, как у ястреба, вспыхивали глубинные золотистые искорки. Старый



Каратай говорил про себя: «Наверное, ты и станешь тем достойным сыном рода Кокше, который поведет за собой народ после меня!»

Выслушав мучительный рассказ Дутбая до конца, Каратай поднял на него немигающие глаза и коротко сказал:

– Вели седлать мне коня. Найди провожатых. Поеду немедленно.

Дутбай попросил сопровождать Каратая своего отца Алатая и одного из почтенных старейшин рода – Бозамбая.

Маленький аул Кунанбая стоял на отшибе у реки Корык, старый хаджи отделился от всего остального Иргизбая, стоявшего сейчас на Ойкудуке. Не прощая обиды, нанесенной Оспаном, токал Кунанбая, Нурганым, настояла на том, чтобы хаджи построил себе отдельный небольшой зимник. Ей хотелось пожить вдали от старших соперниц, от их взрослых неприветливых и надменных сыновей. Ее просьба совпала с желанием самого Кунанбая, искавшего покой и уединение. Летом он раньше других оставил джайлау и, перекочевав на Корык, призвал туда многих своих джигитов, которые и поставили ему небольшой зимник – только для него лишь и Нурганым. Сейчас старый хаджи жил в этом доме, в тишине и покое, похожем на загробный покой смерти.

Каратай со спутниками прибыл на Корык в преддверии ночи. Почти весь аул уже улегся спать, и только в домике Кунанбая еще горел свет. Услышав лай собак и топот лошадиных копыт, Нурганым решила, что заехали какие-то чужие люди, ибо свои, родичи и близкие, объезжали аул Кунанбая, словно место, зараженное черной болезнью. Старик-хаджи не выходил из-за занавески, если гости заезжали в его дом даже среди дня. А по ночам никому из близлежащих аулов не пришло бы в голову навестить этот унылый дом в маленьком одиноком ауле.

Когда вошли люди Кокше, Нурганым, сидевшая у ног Кунанбая, отклонилась в сторону и выглянула из-за наполовину



сдвинутой занавески. Повернувшись затем в другую сторону, сообщила спокойным голосом:

– Приехал Каратай.

Кунанбай сидел на кровати, обложенный подушками, перебирал костлявыми пальцами четки, опустив голову. Услышав голос жены, быстро поднял голову, и с его лица мгновенно исчезло выражение смиренной отрешенности. Не успели гости пройти до тора, как он резким движением, одним рывком, до конца раздвинул занавес, обычно висевший задернутым с самого утра. Старик даже не ответил на приветствие прибывших. Зловеще сверкнув своим желтым единственным глазом, он столь яростно уставился на Каратая, что тот весь сжался, как пред внезапно надвинувшейся опасностью. Каратая поразило злое, исполненное звериной жестокости лицо старого хаджи: таким его ночной гость не видел, наверное, уже лет десять. Старому Каратаю стало не по себе: словно он, оступившись, провалился в логово спящего хищника, свалился прямо ему на голову и разбудил его.

Кунанбай уже знал причину появления Каратая. Накануне заезжала Айгыз, ехавшая домой со свадьбы из аула Ескожи. Она была глубоко возмущена, что свадьба превратилась в позор и посмешище для всего рода, – перед тем как покинуть ее, об этом прямо высказала в лицо хозяину аула, который приходился ей близким родственником. И во всем были виноваты эти нечестивые сэре и салы, которых она так невзлюбила. Но Ескожа в ответ сам стал жаловаться на них и просил родственницу рассказать Кунанбаю обо всем, чтобы он призвал к порядку своего внука. «Если бы не Амир привел в мой дом этих проклятых сэре, с их пестрыми тряпками и песнями, всех погнал бы прочь!» – говорил Ескожа.

Айгыз не только передала Кунанбаю его слова, но еще многое добавила от себя.

– Не боятся ничего! Разве на них нет управы? Что они думают о себе? – побледнев от злости, твердила Айгыз. – Пока ты



ездил в Мекку, они и наш аул опозорили, пели, плясали у нас на головах! Твой прощальный взгляд еще стоял перед нашими глазами, мы еще пребывали в грусти по твоем отъезде, а эти устроили гнездовье шайтанов в нашем ауле!

Айгыз всю свою давнюю нелюбовь к тем, кто беспечен, молод и беззаботно весел, выплеснула на колени Кунанбаю, и уехала от него лишь после того, как увидела, что в глазу старого мужа загорелся его прежний хищный огонь.

У ложа Кунанбая горела свеча. Трепетала тревожным желтым пламенем, который отражался в зрачке старого хаджи – тот же дьявольский, хищный пламень. И снова он готов был, как и всю свою прежнюю жизнь до хаджа, – или к яростной защите, или к свирепому нападению. Горящий глаз его бегал по лицам людей, сидевших перед ним, оглядывая одного за другим. Впился сначала в Каратая, потом перешел на отца жениха, Алатая, метнулся к богачу из Кокше – Бозамбаю, стал сверлить его взглядом. До остальных, простых джигитов из байских нукеров, Кунанбаю и дела не было, он их не замечал.

Баи приехали от имени всего рода Кокше. В эту темную глухую пору ночное собрание напряженных, с хмурыми лицами, неприязненно глядящих на Кунанбая людей снова могло предвещать новую распрю и кровавое столкновение в Тобыкты. Сжав в руке конец отдернутого занавеса, Кунанбай первым нарушил затянувшееся молчание.

– Какая буря пригнала тебя сюда, Каратай? Что за недобрую весть принес ты в мой дом? Рассказывай, – глухим голосом произнес Кунанбай.

Распираемый досадой и возмущением Каратай молча смотрел на одноглазого хаджи. Он так давно знал его. Из всех современных им друзей-товарищей, с кем вместе они и пировали, и враждовали, уже никого не осталось в живых – и только они двое, словно старые полуразрушенные башни, стояли посреди всего родового пространства. Оба старика понимали друг друга по одному движению бровей, по единственному взгляду,



по легкому мановению руки. Обычно Каратай дружелюбно спускал Кунанбаю многое, сочувствуя его угрюмому и тяжкому одиночеству, на которое суровый хаджи обрек себя во имя Аллаха. Но в эту ночь намерения его и приготовленные слова не содержали в себе ни капли жалости или снисхождения. И глядя на холодное, каменно напряженное лицо Каратая, старый Кунанбай подумал: «Нет, не с таким лицом приходит тот, кто ищет не мести, но примирения».

Каратай также угадал мысли Кунанбая, и больше сдерживаться не стал, дал волю своему возмущению и гневу. Он говорил об Амуре, Умитей и Дутбае, ничего не скрывая из того, что знал. Говорил, что Амир привел с собой «развратников, шайтанов, джиннов, которые именуют себя салами и сэре» и которые несут с собой распутство и греховность последних дней мира. Позор и стыд пали на весь род Тобыкты. Разврат пришел, называя себя искусством, песней, высоким мастерством, выставляя себя самым завидным, желанным в жизни. Молодежь в этот разврат втянута. Вырядились в красное и зеленое тряпье, нацепили на шапки вороньи перья, насмежаются над всем пристойным и добродетельным!

– Они не только на наши головы сели – они оскверняют могилы предков, кривляются в непристойных плясках у мазаров. И нас с тобой, Кунанбай, старших в роду, перед смертью закидают черной грязью, чтобы мы предстали у белых чертогов Кудая нечистыми. Жалею тебя и не хочу говорить тебе такие слова, но что я могу поделать? Кому другому выскажу свою боль? На кого я могу положиться в это нечестивое время? Никогда не прибегал я к жалобам тебе, даже у твоих собак не просил снисхождения, чтоб они не кусались, но сейчас ты должен меня выслушать. Положи конец этому позору! Разбери по совести дело. Накинь узду на нечестивца!

Говорить больше было не о чем. Кунанбай велел Нурганым отвести гостей в отдельную юрту и подать им угощение. Затем приказал позвать, выбрав одного из многих в ауле, джигита Кенжекана, младшего брата Нурганым, и повелел ему:



– Бери двух коней, скачи в аул Алатая на Шолактерек. Найди Изгутты и передай ему: до восхода солнца доставить ко мне Амира! Если тот будет противиться – связать по рукам и ногам. Хоть избитого до полусмерти, но доставить сюда.

Кенжеккан был джигит крутой и решительный, ни перед кем не отступавший. Он был очень похож на Нурганым, с юношески круглым лицом, но с огромным полноватым телом борца-палвана. Внимательно выслушал приказ Кунанбая, словно впитывая в себя не только его содержание, но и всю ярость, клокотавшую в груди старого хаджи.

Кунанбай так и просидел на месте всю ночь – сжимая в кулаке скомканный край занавески, не закрывая глаз и не шевелясь, словно степной каменный истукан. Стариковская злоба, неутоленный гнев и нетерпение мести исказили его лицо, набросив на него сеть глубоких страшных морщин.

Забрезжил смутный рассвет. Потом край степи засветился ярко – и вспыхнул алый огонь солнечного круга. Все кругом мигом залило неимоверно яркими багровыми и розовыми красками. Юрты аула вспыхнули на свету утренней зари, словно загорелись. И в этот час, в этот миг в дом Кунанбая вошли Изгутты и Амир. Красивое лицо джигита было мертвенно бледным. Глаза потухли, губы побелели.

Кунанбай давно не встречался с внуком. Тяжелым взглядом единственного глаза уставился на него. Вдруг молча, странно протянул вперед обе руки, как бы приглашая юношу подойти поближе и прийти в его объятия.

Амир поспешно отложил шапку и плетъ, подошел к старику и, пригибаясь, хотел сесть перед ним на колени. В это мгновение, словно два удава метнулись навстречу ему, – и старые, но еще могучие руки Кунанбая сомкнулись на его шее. Старик притянул его к себе и, стискивая обнаженное горло костлявыми пальцами, начал трясти и встряхивать внука, не давая ему вздохнуть. Амир посинел и, теряя сознание, беспомощно откинул голову. Сомкнувшиеся на его горле пальцы, словно стальные клещи, не



выпускали его. Юноша захрипел и, весь обмякнув, упал на пол рядом с кроватью, Кунанбай навалился на него и продолжал душить. Казалось, еще миг, и все будет кончено.

– Опомнись! Пусть он хуже собаки, но он твое семя! – крикнул испуганный Изгутты и кинулся к ним.

Налитый кровью, единственный глаз Кунанбая уставился на названного брата и с такой силой лютости вонзился в него, что Изгутты невольно отшатнулся. Бросилась к мужу Нурганым, понимая, что он хочет умертвить юношу, вцепилась в руки обезумевшего старика.

– Хаджи, ради Аллаха, опомнитесь! Айналайын, свет мой ясный, простите его! – закричала она и, навалившись всем своим сильным телом, отторгла джигита от него. Кунанбай вынужден был разжать руки. Но, злобно ощерившись, он снизу вверх ударил ее коленом в грудь. Нурганым опрокинулась навзничь и, сильно ударившись головой об пол, потеряла сознание.

Внезапно войлочный полог на двери откинулся, на пороге встал Абай. Он успел увидеть, как упала Нурганым, а обезумевший от злобы Кунанбай повернулся к лежавшему неподвижно Амиру, собираясь вновь кинуться на него и схватить за горло.

– Стой! – грянул тут голос Абая, и он одним прыжком перескочил через всю свободную часть юрты, пал на колени и, обеими руками схватив руки отца со скрюченными пальцами, отбросил их от Амира.

– Он нечистый! – неистово возопил Кунанбай.

– Не дам его убить! – столь же неистово крикнул Абай.

Стоя на коленях, лицом к лицу, они прожигали друг друга взглядами, полными ярости и взаимной ненависти. Абай не отвел своих глаз, в нем уже не осталось никаких сыновних чувств к отцу. И слова, которые он произнес, были жестокими, как удары кинжала.

– С Аллахом на устах, вы снова хотите убивать? Снова кровь? Она уже у вас на руках! Когда-то именем шариата вы пролили невинную кровь!



Казнь Кодара, увиденная им и засевшая как пуля в сердце, когда Абаю было всего тринадцать лет, ясно предстала сейчас перед Абаем, словно только что совершенное преступление Кунанбая.

– Шариат запрещает убийство, а вы снова хотите убить! Вы лежите здесь, словно суфий, отгородившийся от мира, и замышляете убийство! Обет молчания, который вы давали, и ваши молитвы – разве не в покаяние вашей души? Вы лжете перед Богом и людьми! За молитвами прячете свой звериный нрав!

К Кунанбаю, наконец, вернулся дар речи.

– Вон отсюда! Прочь с глаз моих, кафир!

– Я не уйду!

– Ты совратитель! Все от тебя! Ты всех сбиваешь с пути истинного!

– Пусть так и будет! Все от меня! Но вы-то – почему не можете умереть спокойно? Ваше время отошло, теперь наше время, зачем вы мешаєте нам жить?

– Е-е, вот ты как заговорил! И ты смеешь?! – почти шепотом заговорил Кунанбай. И вдруг замолк.

Он вытянул перед собой руки, ладони выставил на Абая и едва пришедшего в себя Амира, словно отталкивая их, и приступил к своему страшному замыслу.

Увидев это, Изгутты и пришедшая в себя Нурганым одновременно вскрикнули:

– Кудай, не прими его проклятия!

– Кудай, он хочет проклясть своих детей! Горе! Не внимли ему, Создатель!

Кунанбай не замечал их. Он не видел никого. Опустившись на колени, он внятно и громко произносил слова проклятия, указывая рукой то на Абая, то на лежавшего Амира:

– На заре утренней, в час багрового рассвета... Изрекаю слова отцовского проклятия. Эти двое – мое злосчастное семя,



моя испоганенная кровь... О, Создатель! Всемогущий Аллах, Творец мира сущего! Ты не дал мне умертвить моими руками этого выродка, так прими теперь единственную мольбу раба твоего верного! Возьми этих двоих! Наведи на них неизбежную смерть! Пусть сгинут они, проклятые, пока не отравили других своим ядом! Пусть умрет их зло вместе с ними! – Так прозвучали страшные слова отцовского проклятия. И, произнеся их, старик провел по лицу руками, но не молитвенно, ладонями по щекам, а тыльными сторонами рук.

Проведя так несколько раз по лицу, сообразно обряду проклятия, он клопочущим от ярости голосом прохрипел:

– Теперь прочь! Прочь с глаз моих! Если течет в ваших жилах моя кровь, она сгнила, жертвую этой кровью! Обоих в жертву отдаю! Идите и погибните скорее! Прочь!

Абай поднялся на ноги и с негодованием смотрел на отца. Он не содрогнулся от страшных слов проклятия, лишь коротко произнес в ответ:

– Уйду. Пусть будет по-вашему. Уйду навсегда.

Кунанбай резким движением руки задернул занавеску, скрылся за ней. Прилег на подушки, стал перебирать четки, шевеля губами. После слов проклятия он перешел к покаянной молитве.

Очнувшийся Амир поднялся с пола, присел, опираясь рукой на колено. Затем, помолчав, надел тымак на голову, подобрал камчу и произнес, глядя влажными от слез глазами на неподвижно висевший занавес:

– Накликаешь на меня смерть, а мне не страшно! Куда же мне дал жизнь, он и заберет ее, а ты ему не прикажешь. Ни в чем не раскаюсь, – даже если будут жечь в огне, не раскаюсь! Не боюсь я тебя!

Абай помог ему встать на ноги и под руку вывел его из юрты. Он благодарил Бога, что не опоздал, что удалось спасти Амира. Тревожная весть, что Изгутты увез его к Кунанбаю, дошла



до Абая на исходе ночи. Весть принес Мырзагул, друг Амира. Мырзагул и разбудил Абая, а он, зная бешеный нрав отца, не стал дожидаться, пока приведут и оседлают ему коня, а вскочил на лошадь Мырзагула – и в последнюю минуту прискакал к дому отца.

2

К исходу осени кочевой народ, отгуливавший свой скот на осенних пастбищах, уже закончил стрижку овец. Близилось время откочевки на зимники. Однако стояли ясные дни погожей осени, на просторных пастбищах отава выросла богатая, и никто еще не собирался трогаться со своих стоянок. Вокруг Ойкудука расположилось довольно много аулов, и вблизи них уголья были до голой земли вытоптаны стадами. Но отгоняя их подальше в степь, можно было вволю насытить скотину на пушистом, как войлок, ковыле и отавной зелени. В серую и желтую осеннюю пору скот особенно жадно тянулся к зеленой траве. Избавившись, наконец, от удушливой жары и нещадного солнцепека, стада усердно паслись на тучных кормах и нагуливали вес. И случавшиеся осенние дожди и холодные ветра не особенно беспокоили кочевников.

Большие летние юрты были разобраны, народ жил в маленьких теплых времянках. В осенней тесной юрте Айгерим все было обустроено уютно, удобно, стены увешаны коврами, утеплены цветными войлочными кошмами. Вместо кровати постель занимала место за очагом, устланное многими слоями толстого корпе. Перед постелью пол был застелен выделанными овечьими и жеребьячьими шкурками, там пили чай и садились за трапезу. Середину юрты занимал очаг с подвешенным казаном.

Место, где занимался Абай – читал книгу, держа ее в руке и опираясь спиной на подушки, – было застелено шкурой архара с густым длинным мехом. Обычно рядом с мужем



сидела Айгерим, с шитьем или вышивкой в руках. Она сшила себе легкий бешмет, с меховой подкладкой из лисьих лапок, по вороту обшитый куньим мехом, с застежками из кораллов и с накрученными серебряными пуговицами, изготовленными ювелирным мастером.

Абай был одет уже по-зимнему: в бешмет, теплые штаны, на ногах саптама из мягкого войлока, поверх бешмета обычно накидывал серый кафтан – купи, покрытый тонким сукном.

Мирные осенние будни. Айгерим что-то вышивает. Ербол и Баймагамбет играют в тогыз-кумалак, попивая кумыс. В казане уже сварилось мясо, пора обедать, огонь в очаге догорал, и поваливший едкий дым не уходил в тундук, а расползлся по юрте, ел глаза и першил в горле. Хозяйка отложила вышивание и предложила всем помыть руки и садиться за трапезу. Абай закрыл книгу, которую читал с утра, и с неудовольствием посмотрел вверх, на шанырак.

– Открыть бы пошире тундук, – молвил он.

Но выход для дыма нельзя было открыть шире, – струйки дождя проникали в юрту и через то малое отверстие, что оставили в шаныраке. Абай вздохнул.

– Уф, пай-пай! Что за погода! Вот жизнь... Откроешь тундук – дождем заливаает, закроешь – от дыма задохнешься...

Со двора послышались чьи-то голоса, подъехали люди, стали спешиваться. Вскоре в юрту вошли двое: племянник Абая – Шаке, старший брат Амира, и охотник Башей. Шаке был чем-то сильно озабочен, и как только поели мяса, сразу же обратился к дяде:

– Абай-ага, надо посоветоваться. Хочу поговорить об Амире.

И он умолк, собираясь с мыслями. Абай и Айгерим встревоженно смотрели на него.

– Его, проклятого своим предком, который стоит на пороге смерти, осудил весь аул и вся округа. Все сородичи стали сторониться его. И он сам всех сторонится. Зайдет в дом – молчит,



и домашние не решаются заговорить с ним. Стал он словно дух с того света, которому все живые сородичи не нужны. Ойбай, к чему это может привести? Упрямо пошел против всех, или гордыня его заела, кто знает? А тут еще в эту ненастную пору – снова вроде бы взялся за старое! Вчера вызвал к себе всех своих друзей, салов и сэре, опять напялили на себя пестрые тряпки и, похоже, затевают что-то. А утром я слышал, что они зачем-то собираются поехать в Кокше! Уж не затевают ли открытую вражду объявить? Что скажет на это старый хаджи, если узнает? Ведь он и так проклял его. А эти кокше! Так и ждут случая, чтобы отомстить Амиру за нанесенное им оскорбление! Пойдут на любое зло! Не знаю, что и думать, Абай-ага! Дайте совет.

Абай молча выслушал все, неотрывно глядя на Шаке. Айгерим тоже слушала молча, и в глазах ее было такое же выражение боли и сочувствия, как у мужа.

– Здоров ли он? – спросила она. – Не заболел ли чем братик мой младшенький? Уа, стал он чужим среди своих, бедный! Не тоскует он? Выглядит ли таким же беззаботным, как раньше?

Ответ Шаке прозвучал не очень уверенно.

– Что у него внутри, не показывает. Болезни какой-нибудь вроде бы нет. Просто молчит, всюду ходит один. Но по всему видно, что тоскует. От этой тоски и худеет, и чахнет. Уединяется с домброй, и только ей одной изливает свою душу. Однажды я стоял снаружи и слушал, как он играет на домбре, сидя в своей юрте. Он за последнее время стал отменным домбристом. Пожалуй, во всей округе не найти такого. Я просто заслушался!

– Нет, нам нельзя его оставлять одного в беде. Такое горе может довести его до гибели, – говорил Абай. – Что-то надо делать с парнем.

И он опять замолчал, призадумавшись. Затем удивил всех неожиданным решением.

– Отец не отступится от своего проклятия. Но жертвовать жизнью юного Амира, чтобы свершилось проклятие, этого Бог



не допустит. Если бы такой джигит жил в другое время, то была бы ему и судьба другая. В кругу людей будущего, потомков проклявшего его хаджи, он сидел бы среди самых славных и одаренных. Но подумайте только, какое наказание для юноши – проклятие из уст одного человека и осуждение со стороны многих. Амиру можно только посочувствовать, друзья. Ведь его как будто камчой хлестнули по глазам – бедняга завертелся на месте от боли! Так пусть хоть не скажет потом, что его гнали все – и конный и пеший, пусть почувствует, что не все его осуждают. Шаке, не надо препятствовать ему! Хочет братишка ехать в Кокше – пусть едет! Отец все равно не захочет снять с него проклятия, а Кокше уже давно успокоились, я думаю. Не мешай ему – пусть хоть в песнях успокоится его душа, боль утихнет. И снова добрая молва о нем пройдет в народе.

Ербол и Шаке, подумав, молча согласились с ним. Но не поддержала Айгерим.

– Какой прок от сладких речей и восхвалений родичей, если они не станут на защиту человека, когда он будет нуждаться в ней? Какое же тут утешение обиженной душе? – сказала она с посуровевшим лицом и отвернулась лицом к двери.

С того времени, как Абай возвратился из Семипалатинска, он испытывал гнетущее, горькое чувство, что потерял прежнюю Айгерим. Она и раньше не часто вмешивалась в разговоры Абая с друзьями, но она сама была ему друг, и все, что позволяла себе говорить, было в дополнение мыслей Абая или в созвучие его словам. Теперь Айгерим была другая, и прежнего ласкового, дружелюбного, улыбчивого согласия с ним не проявляла. В словах ее теперь больше отзывались внутренняя холодность и тихое, упорное несогласие.

Абай сильно тревожился за своего любимого братишку-племянника Амира, в домашней жизни он чувствовал свою беспомощность пред охлаждением любви и доверия Айгерим. Солнечная, радостная, безоблачная семейная жизнь вдруг внезапно, в одночасье исчезла и сменилась буднями обычного



безрадостного супружества. В светлом очаге их любви поселилась тоска. И настала серая преждевременная осень жизни с ее холодом, с бессмысленными мелочными обидами, упреками, размолвками. И причиной всему этому была Салтанат, ни в чем не повинная Салтанат!

Возражение Айгерим больно задело Абая, и прежде всего не словом, а тем тоном явного отчуждения, с каким оно было произнесено. Защита? Разве не в защиту несчастного Амира осмелился Абай впервые схватить за руку отца? Он вспомнил, с каким лютым изуверством проклял его отец, и горестно усмехнулся. С одной стороны, проклятье Кунанбая, который призывает Бога, чтобы он наслал смерть на сына, а с другой стороны – ледяное отчуждение Айгерим, что была ему самым верным, близким другом на этой земле. И откуда это отчуждение? Разве он стал другим или совершил какое-нибудь зло по отношению к своей любимой? Или хоть на миг предпочел Салтанат своей жене Айгерим? Нет же, не было этого! Не было! Ничего такого не было, что думает и предполагает Айгерим.

Конечно, Абай часто возвращался к воспоминаниям о Салтанат, но он думал о ней с чувством глубокого уважения и восхищения перед чистотой и благородством этой девушки. Тщательно просматривая свое поведение и вспоминая их разговоры с Салтанат, Абай ни в чем не мог упрекнуть себя, и даже чувствовал некоторую гордость за свою мужскую честь и пристойность. Он думал, что если бы снова встретилась ему женщина, подобная Салтанат, он отнесся бы к ней точно так же. Это качество души, что открыл он в себе, было дорого ему как нечто новое, высокое, совершенно не свойственное обычному степному джигиту. Проявлению такого достоинства он был обязан знакомству с русскими книгами. Это нарождающееся новое качество молодежи Арки новых времен, получающей истинное образование. И русская книга здесь лучший воспитатель человечности и чистых отношений между людьми.



Да, он сейчас одинок, но душа его наполнена глубоким удовлетворением. «Это значит, что я получаю не только знания. Я получаю еще и воспитание чувств, – думал Абай. – И доказательство этому – мои отношения с Салтанат!»

Но Айгерим этого не поняла. Она и не предполагала того, что между девушкой и джигитом могут возникнуть чисто дружеские отношения, исполненные возвышенных чувств. Ей это неизвестно, привычной к сокровенности природных отношений мужчины и женщины. Чтобы возвыситься до этого понимания, надо пройти через большое внутреннее воспитание чувств, обрести новое знание об отношениях между людьми. И в этом Айгерим далеко отстоит от Абая. Он не нашел путей, которыми смог бы привести любимую к новому пониманию вещей.

Он не нашел снадобья, которое волшебным образом преобразило бы нравственное лицо Айгерим. Неоднократно он пытался рассказать ей о своих отношениях с Салтанат, но, мгновенно замыкаясь в себе, Айгерим плохо слушала его. И тогда Абай видел, что они находятся на двух разных берегах реки, не зная брода. Сейчас, выслушав едкий упрек Айгерим, он ощутил то же самое: да, они на разных берегах.

Айгерим же ясно поняла, что ее слова больно задела мужа, и, повернувшись к нему, чуть ли не насмешливо посмотрела на него. Абай ответил ей пристальным, опечаленным взглядом, затем вздохнул и обратился к Ерболу:

– Эх, друг Ербол! Что-то жить стало скучновато... Придумай, карагым, куда бы нам отправиться, чтобы развеять тоску. Может, в степь широкую отправимся, поедем, куда глаза глядят, встряхнемся?

Ербол, как всегда, нашел подходящее решение. Посоветовавшись с Шаке, Баймагамбетом и метким стрелком Баше-ем, предложил Абаю выехать на *салбурын*, осеннюю охоту с ловчими птицами. Шаке как раз собирался отправиться на дальний джайлау в горы, по ту сторону Чингиза. В эту пору,



перед откочевкой с осенних пастбищ на зимники, и начинались у джигитов большие охоты.

Абаю раньше не приходилось выезжать на салбурын, но вместе с друзьями и близкими он отправился бы с большим желанием.

Дней двадцать спустя Абай с участниками салбурын был на зверовой охоте. Три охотничьих шалаша были поставлены в ущелье, в горах Баканаса. Вокруг громоздились крутые островерхие утесы гряды Кыргыз, поросшие лесами по крутым склонам. Шалаша стояли под горой Киши-аулие – Младший святой, название которой было дано из-за глубокой пещеры, подходящей для отшельника, черневшей на одном плече горы, у самой вершины. В горах Чингиза была еще одна пещера, которая носила название Коныр-аулие – коричневый святой, а так как пещера на гряде Кыргыз-Шата из них двух была поменьше размером, ее и называли Киши-аулие.

Охотничий стан был разбит у подножия, на одной из ровных площадок. Спереди по дну распадка, густо заросшего деревьями и кустарником, протекала небольшая речка. Позади шалашей поднимался отвесный утес.

В эти дни выпал первый снежок, еще мелкий и рассыпчатый. По легкой пороше началась охота с собаками и беркутом – *сонар*. Охотники затемно выезжали по ночному звериному следу. За десять дней охоты с одним только беркутом и гончей-тазы добыли немало лисиц. Меткие стрелки, Шаке и Башей, уходя в горы с фитильными ружьями на сошках, настреляли немало крупного зверья и завалили лагерь мясом и шкурами архаров.

Охотники ложились спать с наступлением сумерек, вставали при первых проблесках утра. Жили в суровых условиях охотничьего быта. Нукеры с утра готовили чай, после горячего чая расходились по охотам, кто по распадкам за лисами, кто в горы за архарами.



Этот день охоты начался с необыкновенной удачи. В то утро Абай еще спал крепким сном, когда, толкая его в плечо, Ербол разбудил друга. Они разместились в довольно просторном шалаше, утепленном толстым войлоком. Абай поднял голову и увидел в полутьме Ербола, тормозившего его. Ербол тихо сказал ему:

– Ты только посмотри! Что он собирается делать? – и поворотом головы, поведя подбородком в сторону, указал в глубину шалаша.

Абай повернулся и увидел, как меткий стрелок Башей, стоя под дымоходом в кровле, целится куда-то в небо из ружья. Абай не успел еще ничего сообразить, как оглушительно грохнул выстрел из фитильного ружья. Все жильё заволкло кислым пороховым дымом, ничего не стало видно. И в этом дыму, еще невидимый, стрелок Башей закричал хриплым возбужденным голосом:

– Попал! Под лопатку попал! – и метнулся к выходу.

Ербол едва успел схватить полу его кафтана.

– В кого стрелял? – спросил Ербол.

– В архара! – крикнул Башей и выскочил из шалаша, и уже снаружи тревожно возопил. – Архар матерый! С юрту будет! Валится вниз! Прямо на нас падает! Е-ей, берегитесь все!

Никто еще и двинуться с места не успел, как снаружи рядом с шалашом ряздался тяжкий удар. Дрогнула земля под ногами. Выскочив из своих шалашей, закричали нукеры Баймагамбет и Масакбай, готовившие мясо:

– Кто стрелял?

– Откуда стреляли?

– Ойбай! Я думал, прямо на нас упадет! Прямо на шалаш!

Абай и Ербол, на ходу кутаясь в кафтаны-купи, выскочили наружу. И увидели на белом снежку очертания лежавшего на боку, откинув голову с круто загнутыми рогами, громадного серого архара. Тот еще тяжело, с присвистом, хрипло дышал,



поводя боком и перебирая, дергая ногами, загребавшими пушистый снег.

Башей, подскочив, прирезал его ножом.

– Ну и архар! Чисто бык! Разве такие бывают? Не больной ли он?

– Как его сюда занесло?

– Не слепой ли? Должно быть, одряхлел от старости, осторожность потерял. Сам вышел под выстрел, – предположил Абай.

Башей, только что прирезавший добычу, лишь криво улыбнулся на эти слова. Он знал цену своему меткому выстрелу. Не сдержав себя от некоторой обиды, язвительно молвил:

– Если бы этот архар был слепым, то он пришел бы днем и встал перед вами, чтобы вы, Абай-ага, с вашим Ерболом могли сами его подстрелить. – Довольный, что удачно срезал Абая, Башей говорил дальше, самодовольно усмехаясь: – Нос свой даю на отсечение, если у этого архара подбрюшный жир не будет с палец толщиной! Скажите лучше, что вы просто завидуете меткому ружью Башея. Оно у меня бьет без промаха, валит архаров днем и ночью!

Охотники сочли этот случай знаком большой удачи, ожидающей их. Зверь сам подошел к ним, стал их первой добычей дня. Да еще какой добычей! Как примета – это обещало им еще большую удачу.

– Это к добру! Будет сегодня большая добыча!

– Ей, жди трех косяков по девяти голов!

– Приводите, седлайте коней, управляйтесь поскорее с чаем! – распорядился старшой по салбурын, беркутчи Турганбай.

Шаке, который уже возился со своим беркутом, разминал ему ноги, мышцы предплечья, готовил птицу к охоте на лис, тоже бодро покрикивал:

– Хорошенько подготовьте коней! Сегодня пускаем беркутов. Будет скачка по горам.



Абай и Ербол, хотя и называли себя охотниками, но им было не угнаться за настоящими беркутчи и зверовиками, искусными горными стрелками с фитильным ружьем. Несмотря на то, что Абай и его друг изо всех сил старались не отставать от других, слушать опытных полевиков и стрелков, они вечно тянулись в хвосте и последними оказывались в седле.

И в тот день зимнего салбурын, когда архар будто сам свалился к ним с неба, друзья молча переглядывались друг с другом, стоя рядом с охотником, разделявавшим непомерно большого горного козла, прекрасно понимая друг друга без слов. И Ербол, обращаясь к старшему, Турганбай, показал на разделяваемого архара и сказал:

– Чего ты всех торопишь? Пристаешь ко всем! Поели бы куырдака из свежины!

Но у салбурын были свои законы – здесь властвует и распоряжается самый опытный ловчий и содержатель лучшей ловчей птицы. Таковым являлся беркутчи Турганбай, и ему подчинялась жизнь всех трех шалашей. Он во время охотничьей страды был непримирим, суров ко всякому полевому неприлежанию и лености. Слова Ербола не понравились ему, в них он услышал проявление неуважения и легкомыслия к святому для него делу – охоте салбурын.

Довольно резко и сурово Турганбай выговорил Абаю с Ерболом:

– Вы вечно застреваете на ровном месте. Других заставляете ждать. Вы что, охотиться приехали или спать да объедаться? Вас поднимать, посадить на коней и вывести в поле – стоит мне большего труда, чем поднять на ноги полудохлую клячу! Куырдак пускай жарится, вы, как хотите, лежите здесь, дождитесь. А мы обшарим склоны Аулие, проверим скалы с Шаке и вернемся назад. Все на коней!

И с беркутом на руке Турганбай направился к оседланному коню. Абай и Ербол, шутливо повздыхав, пошли к своим лошадям. Когда добрались до вершины Аулие, солнце уже окрасило



самые высокие заснеженные скалы гряды Кыргыз-Шат багровым сиянием. На одной из возвышенностей встал кусбеги Турганбай со своим беркутом, на соседней вершине остановился Шаке, на третью площадку горной гряды поднялся Смагул, брат Абая по младшей матери, Айгыз. Каждый из них снял с головы своего беркута колпачок-томага, готовя его к броску.

Абай и Ербол держались возле старшого Турганбая. Загонщиком был отправлен Баймагамбет на легкой и верткой лошади. На руке Турганбая сидел знаменитый беркут Карашолак, предмет зависти всех беркутчи края, выученный самим Тулаком. Птицу Абай купил прошлым летом у этого беркутчи, отдав за нее десять отборных коров.

Задумав завести себе орлиную охоту, Абай стал расспрашивать у всех, где можно достать хорошего беркута. И Турганбай посоветовал ему ничего не пожалеть и приобрести лучшего из всех известных ему беркутов по кличке Карашегир. Ловчая птица принадлежала Жабая, сыну Божея. Но Жабай продавать беркута решительно отказался. Тогда Турганбай и Шаке указали на беркута Карашолака, владельцем которого являлся беркутчи Тулак, из племени Тука, рода Сыбан: «Назло Жабая надо приобрести эту птицу. Пусть даже запросят столько же, сколько за невесту». Турганбай обязался содержать беркута у себя, дожидаясь от него приплода, и все это время ухаживать за птицей. Что он и сделал.

Карашолак показал свою силу и могущество, достойные его славе. Места, где охотились Абай и другие, простирались до самого хребта Акшатау, в горных урочищах между грядями Кыргыз, Жанибек, Карашоки, Тезек, Казбала. Позади были гряды Байкошкар. И в продолжение десяти дней, по тонкой пороше, пока не начинались еще сильные снегопады, охотники вволю натешились на этих пространствах, отполевали его вдоль и поперек. Добытых только с помощью Карашолака лисиц было более двадцати. Без добычи не были ни дня. А в



иные дни беркут брал по две-три лисицы, причем никому из них не давал малейшей возможности для сопротивления. Он хватал и бил их с лета, поражая насмерть.

Когда сняли с головы колпачок-томага, Карашолак метнул свой острый, неистовый взгляд по всему пространству перед собой, словно примериваясь и раздумывая. И вдруг мгновенно сорвался с руки ловчего и бесшумно полетел вперед. Охотники же ничего не заметили. Одновременно со стремительным взлетом птицы, снизу послышался условный крик Баймагамбета: «Кеу!», что значило: есть лиса! Судя по знаку, прозвучавшему резко и сильно, было понятно, что лиса близко. Охотники напряженным взором следили за полетом беркута.

Обыденное состояние Карашолака беркутчи безошибочно определял по первым же взмахам крыльев орла, когда тот слетал с его руки. И если видел, что громадная птица летит, несоответственно часто взмахивая крыльями, самыми их концами, а хвост у нее при этом как бы порывисто встряхивается и провисает в полете, то охотник улыбался в усы и радовался: Карашолак увидел добычу.

– Мой родной Жанбауыр¹ нынче усерден! – говорил самому себе охотник.

Он знал, что такой беспокойный полет предвещает скорый бросок беркута вперед, затем падение вниз, – и можно не спешить, Карашолак до его прихода уже возьмет лису, убьет ее и будет ждать, крепко вкогтившись в зверя, распахнув полураскрытые крылья, раскрыв грозный каменный клюв. Вынув из-за голенища продолговатую желтую табакерку, зверолов неторопливо заложил в нос щепотку насыбая, тронул коня и направился по склону в ту сторону, куда полетел беркут. Карашолака ловчий Турганбай считал потомком легендарного беркута Жанбауыра, воспетого в песне. Эту песенку сейчас он и замурлыкал под нос:

¹ *Жанбауыр* – легендарный охотничий беркут.



*От Жанбауыра никто не уйдет!
Пот у коня с потника не сойдет,
С сумки охотничьей кровь не сойдет!
Если взлетает мой Жанбауыр,
Знаю – спасения дичь не найдет!..*

Но сегодня он не смог допеть песенку: Карашолак, летевший необычно для него низко, вдруг круто взмыл вверх, перед отвесным утесом.

– Е! Что это с ним? – воскликнул Турганбай, забыв о песенке, о насыбае.

Пришпорив лошадь, он доскакал до этого утеса и почти уперся храпом коня в него. Нигде не было видно лисы. Беркут уже взмыл, был далеко – и, плавно ложась на одно крыло, заворачивал назад. Турганбай повернул коня и поскакал в обратную сторону – и тут понял причину странного поведения его славного Жанбауыра.

Со склона горы вниз обвалом рушились вниз Абай и Ербол, спеша, видимо, увидеть, как упадет беркут на лису. С шумом и грохотом скатываясь вниз вместе с отчаянно оседавшими назад конями и мелко-каменной осыпью, Абай и Ербол, спускаясь навстречу лисице, спугнули ее, и она шмыгнула в сторону и скрылась в расселинах меж камнями. Беркут, летевший вдогонку лисе, которая бежала вверх по склону, должен был теперь круто взмыть вверх и набирать высоту для нового преследования и поиска.

По своей охотничьей неопытности, Абай и Ербол стали спускаться с горы не там, где надо, а навстречу лисе, которая должна была по тому же склону выбежать вверх на плоскую вершину. Там беркут бы и накрыл ее. Спугнув зверя, Абай с Ерболом напрочь испортили охоту. Турганбай в отчаянии заорал на них:

– Пустоголовые! Апырай, тысячу шайтанов на них! Откуда такие бестолковые берутся?! Одни только неудачи от них!



Беркут снизу вверх взлетел вдоль склона к плоской вершине и ждал там лису, медленно кружась в воздухе. Он потерял ее из виду, лиса затаилась в уступах отвесной скалы. Она оказалась опытной, матерой. Ее могли заметить люди, но из двух зол она выбрала менее страшное – ничего более страшного, чем падающее с неба чудовище с крючьями острых когтей, она не предвидела. И никакие отчаянные, громкие крики Турганбая не смогли выгнать ее из схоронки.

Беркут в поисках лисы снова полетел вниз, опережая Абая. Не увидев зверя, вновь развернулся по широкому кругу и, уже тяжело махая крыльями, едва не цепляя их концами валуны, опять полетел вдоль склона вверх. На глазах беркутчи знаменитая птица совершала ошибку, словно какой-нибудь обыкновенный неопытный беркут. Вместо того, чтобы взмыть повыше и уже оттуда, с высоты, вновь высматривать упущенную добычу, а потом бросаться на нее сверху вниз, Карашолак снова летел над самой землей, снизу вверх, тяжело загребая крыльями воздух, едва не касаясь ими камней. Не долетев до лисьей схоронки совсем немного, обессилевший беркут почти плюхнулся на большой валун и, едва удержавшись на нем, замер с полураскрытыми крыльями. Зверь тотчас выбежал из схоронки и ловко устремился по склону вверх, уверенный, что беркут уже не сможет его преследовать. Лиса ушла.

Так сегодня Турганбай впервые испытал неудачу с охотничьим беркутом. Он подскакал к камню, на котором сидел обессилевший беркут, и прыгнул с коня. Схватив в горсть снега, намял его в продолговатый ледяной катышек, размером с курт, и втиснул его в раскрытый клюв птицы, с тем, чтобы Карашолак скорее почувствовал голод. Ледяной катышек стал проталкивать в зоб птицы, проминая пальцами ее шею.

Подскакали Абай и Ербол на своих подхрапывающих конях, остановились рядом. Даже не взглянув на них, не сказав ни слова, Турганбай взял на руку беркута, сел на коня и поехал прочь. Два друга поняли, что не только рассердили беркутчи,



но невольно явились причиной большого позора Карашолака и тем самым унизили его воспитателя-кусбеги. И, понимая это, сильно удрученные, Абай и Ербол поехали следом.

Выбрав подходящую высотку, Турганбай вновь снял колпачок с глаз беркута и, махнув рукою Баймагамбету, дал знак, чтобы тот выгонял и травил зверя вдоль каменистого распадка. Абай и Ербол смиренно подъехали к беркутчи, но тот, заметив их, досадливо махнул на них рукою и криком остановил их:

– Стой! Куда прете, бестолковые! Кто лису должен брать, вы или птица? Чего вы вечно суетесь вперед? Стой, говорю, на месте! Ни на шаг дальше!

Смущенные Абай и Ербол остановили лошадей, стали рядом. Они выглядели как провинившиеся ученики перед наставником-хазретом. Вдруг снова послышался клич Баймагамбета: «Кеу!» – предупреждавший о появлении зверя. И Карашолак могуче сорвался с места и взмыл в воздух, сильно махая крылами. Пошел набирать высоту, делая неширокие плавные круги. Сделал два-три круга – и набрал высоту. Теперь он летел медленно, парил почти на месте. Увидел лису, бегущую вокруг горы, у ее подножия – и резко пошел вниз, летя невысоко над склоном.

И опять Абай и Ербол, стоявшие сзади Турганбая, не выдержали и тоже кинулись на своих лошадях вниз по склону, проскочили мимо беркутчи – с криками «Упал! Упал!» – «Взял!» – «О, аруахи! Удача!» – хотя сами ничего еще не увидели и не могли увидеть. Особенно Абай – разгоряченный, азартный, как мальчишка, он не заметил, что подпруга ослабла и седло под ним съехало на шею лошади, и ему грозит падение. Но, спустившись благополучно до подножия, он наконец-то увидел, как его Карашолак впереди, на расстоянии полета пули, вступил в схватку с лисой. Это был старый лис с седым брюхом, тот самый, возможно, который недавно столь удачно скрылся от когтей беркута. Абай наконец заметил, что может слететь на землю вместе с седлом и потником, и тогда он перескочил



назад, на хребтину коня, и, пришпорив его, поскакал уже без седла, которое теперь болталось на шее коня.

Красная лисица на белом снегу и черный беркут сошлись в вихре смертельной борьбы, лиса опрокидывалась спиной на снег и окусывалась, беркут падал на нее сверху, вытянув когтистые лапы. Кувыркнувшись через голову, матерый лис пытался уйти в сторону, беркут вновь настигал его, – и Абай вскрикнул в восторге торжества: «Удача! Олжа!.. Карашолак!» И вдруг он увидел картину, вспыхнувшую в его глазах, о которой и не мыслил за мгновение до этого: купание нагой белотелой красавицы с длинными черными волосами. Беркут закогтил красную лису, сбил ее на снег и сидел на ней, она билась на ослепительно белом снегу, изворачиваясь всем телом. Черные крылья и перья беркута казались ниспадающими волосами красавицы. И проскочила, как молния, стихотворная строка:

...с купаньем красавицы схож этот миг...

Эта поэтическая строка с красавицей, плывущей в ней, ушла в глубину его сознания, чтобы вновь и вновь возникать в нем, никак не имея своего продолжения...

Когда Абай оказался вблизи отработавшего беркута, с лисой было все покончено, и Карашолак сидел на ней, широко расставив ноги с вонзившимися в зверя когтями. Вид у беркута был усталый, он шевелил изогнутыми предплечиями, – словно та самая красавица из стихотворной строчки, надломив руки в локтях, поправляла и встряхивала волосы, закрывавшие ее спину.

Взяв лису в торока, охотники поднялись по заросшему кустарником склону распадка Кыргыз, в сторону горы Жанибек. Турганбай намеревался еще раз снять колпачок-томага с беркута, стоя на вершине высоты, и после этой попытки вернуться в лагерь.



Выезжая на охоту, Абай и его спутники никогда не спрашивали у Турганбая, «куда направляемся, что будем делать». Старшой был суров и малоречив. Абай и Ербол, ничего не зная, боялись о чем-нибудь спросить. Оказавшись у высоты, имевшей название Черной сопки, Турганбай вновь назначил в загон молодого Баймагамбета, велел ему остаться у подножия горы. Сметливый, живой Баймагамбет был более по душе Турганбаю, чем Абай и Ербол, люди, мало сведущие в охоте и не приученные к простоте охотничьей жизни. Пока кусбеги Турганбай с беркутом взбирался на вершину, Баймагамбет стоял на месте и, внимательно оглядывая распадок, терпеливо ждал. Только когда Турганбай въехал наверх и, остановив коня на видном месте, снял колпачок с беркута и подал знак рукою, загонщик тронулся с места. Беркутчи обернулся к Абаю и произнес со значением:

– Вот с кем надо выходить на охоту, только с Баймагамбетом, да сбудутся его желания.

Загонщик, медленно продвигаясь по распадку, постукивал рукояткой камчи по валунам, иногда приостанавливался и стучал по луке седла. Тишина установилась в горах и горных долинах, стук разносился далеко по распадку. В воздухе не было ни дуновения, казалось, все вокруг замерло, ожидая нового взлета Карашолака. Со своей высоты Турганбай бросил взгляд в сторону ущелья, в котором скрылись два других беркутчи, Шаке и Смагул. И на верхнем гребне утеса, предстоящем у входа в ущелье, Турганбай увидел неподвижно стоявшего всадника и предположил, что это, должно быть, молодой Шаке, державший на руке своего беркута. Намного дальше него, уже еле различимый, замер на вершине скалы силуэт другого всадника, и это мог быть Смагул.

И вот, наконец, раздался привычный для ушей Турганбая высокий голос загонщика: «Кеу!», и Карашолак взметнулся.

На этот раз он взлетел не стремительно, мощно, как утром, а спокойно набрал высоту и полетел неторопливо, медленно



взмахивая крыльями. Лиса выбежала прямо под ним, и беркут на мгновение словно остановился в воздухе – затем камнем пошел вниз. И в этот миг с правой стороны, от соседней сопки, метнулась черной молнией другая ловчая птица – стремившаяся к той же добыче. Чужой громадный беркут, со шнурком на лапке, словно стремительная черная тень, метнулся к лисе и на глазах Баймагамбета рвался перехватить добычу. Охотники, стоявшие на вершине, тоже успели заметить чужака, и, хотя не было произнесено ни слова, все трое одинаково встревоженно замерли, затаив дыхание.

Чужой беркут, хоть и был дальше, налетал с более удобной стороны, наперехват к бегущей лисе. И он должен был раньше Карашолака достигнуть лисы, но тот, заметив соперника, мгновенно перестроился и, часто, мощно замахав крыльями, ринулся вниз и успел раньше чужака упасть на лису. Застигнув ее среди камней, схватил за хребет и, подняв в воздух, плавно перенес добычу по воздуху, почти под копыта скачущего коня Баймагамбета на землю, и начал добивать лису. Испугавшись, что чужой беркут падет на Карашолака и порвет его, Баймагамбет спрыгнул с коня и отважно решил противостоять чужаку, размахивая над головой плеткой и прыгая на него. Причем джигит подставлял свое тело, прикрывая им все еще борющихся беркута и лису. Тем временем три охотника обвалом рушились вниз по склону на своих конях – Абай, Ербол и Турганбай. Громадный беркут-чужак, с веревочкой на лапе, в тяжком свисте воздуха пронесся над самой головой загонщика и улетел в сторону, перемахнул за вершину небольшой скальной гряды.

Когда он пролетал мимо, то беркутчи Турганбай, задрав бороду, смотрел на птицу, потом вдруг вскричал возбужденно:

– Ойбай, это же Карашегир!

Абай с Ерболом, хотя и были весьма неосведомлены в делах охоты с ловчими птицами, испугались, что пришлый беркут налетит на Карашолака, желая отнять добычу, и сильно поранит его. Турганбай так же, как и они, кричал, суетился и волновался,



издали наблюдая беспримерную битву беркута и зверя, глядя на отважное противостояние Баймагамбета могучему чужому орлу. Но опытный кусбеги, Турганбай знал, что Карашегир не выведен из яйца в неволе, а взят дикарем из природы, и был вполне уверен, что тот не будет нападать на другого орла, желая отнять у него добычу. Он волновался не из-за этого: в нем буйно разыграл дух соперничества, он кричал, ликовал из-за того, что его Карашолак сумел опередить грозного Карашегира и унес почти из-под когтей легендарного беркута спорную добычу. К тому же беркутчи изо всех сил спешил к месту событий и ради того, чтобы понаблюдать в непосредственной близости за знаменитым Карашегиром в деле.

Карашегир же, в негодовании умчавшийся за вершину каменистой сопки, вдруг снова появился на глазах у взволнованных охотников, но на этот раз в спокойном высоком парении, неторопливо кружась над всем горным распадом.

Этот беркут не стал нападать на соперника из-за добычи. Но он не испытал, очевидно, и завистливой обиды и не сел на какой-нибудь отдаленный камень, чтобы издали проводить вожаком, угрюмым взглядом упущенную добычу. Нет, эта гордая птица предпочла отдалиться – летала теперь над горной долиной, как бы говоря: «Вот он, я, Карашегир. Знай меня. А добыча у меня все равно будет». И Турганбай, задрав к небу бороду, с молчаливым восхищением смотрел на него, уважая чувства орла.

Теперь он, понаблюдав за Карашегиром, мог определенно сделать вывод, что этот беркут летает мощно и стремительно и представляет охотничьи качества отнюдь не как ручная ловчая птица, но как вольный хищник природы. И это могло быть следствием природных качеств беркута, но могло явиться и результатом выучки мастера-кусбеги. Научить летать одинаково мощно, легко, стремительно как вверх, к небу, так и вниз, к земле, – это и есть главный показатель мастерства воспитателя ловчих птиц. И Турганбай оценил мастерство кусбеги Караше-



гира, как только первый раз посмотрел вблизи на полеты этого прославленного беркута.

Карашегир перешел к тобыктинцам из рук легендарного кусбеги, кого почитали все охотники большого округа степной Арки. Когда среди племен Керей, Сыбан, соседствующих с Тобыкты, спрашивали: «Кто сейчас самый лучший кусбеги среди казахов?» – то неизменно следовал ответ: «После жившего в старину Шора из рода Жалайыр, лучший знаток и воспитатель ловчих птиц – Кул из рода Керей». Дикого беркута Карашегира в трехлетнем возрасте поймали сыновья Кула, а он содержал птицу около десяти лет, воспитывал ее, не выпуская из рук.

Абай, Ербол и Баймагамбет, торжествуя и радуясь, взяли зверя из лап беркута, приторочили, после чего Ербол торжественно водрузил птицу на перчатку, сел в седло и, поглаживая беркута по голове, повез в лагерь. Охотники закончили полевать на этот день. Пошли восторженные разговоры, похвалы.

– Молодец мой Карашолак! Знаменитого Карашегира, считай, приторочил к седлу! Вырвал добычу из-под самых его когтей! – радостно разливался Ербол.

Но Турганбаю было не до его разглагольствований. Он внимательно следил за Карашегиром, продолжавшим парить кругами над ними. Вдруг он круто пошел вниз, пролетел низко над головами охотников и, мерно, могуче работая крыльями, почти отвесно взлетел к вершине утеса и там сел на торчавший высокий камень. Турганбай, отведя от него свой взгляд, задумчиво молвил:

– Пускай даже не взял лису. Но зато как легко взлетел к вершине, как плавно сел на камень! Словно не тяжелый беркут, а легкий речет.

Хотя беркутчи и не высказался вслух, что в мастерстве полета Карашегир несравнимо выше их Карашолака, но мысль об этом не переставала колоть, беспокоить его душу.

Когда охотники стали выбираться из распадка, навстречу им выехало из-за поворота пятеро всадников. Обе ватаги охотни-



ков встретились, и Абылгазы, который был в группе встречных, даже не поздоровался и без обиняков спросил:

– Уай, Турганбай, скажи-ка мне, ты видел, как Карашегир одним махом перелетел через ту вершину? Как он устремился к твоей лисе, хотел взять ее с ходу! Но что случилось? Отчего твой Карашолак раньше упал на лисицу? Он же летел, мы видели, высоко и медленно. Расскажи честно, айналайын, как все было!

Среди четырех спутников Абылгазы находился и хозяин Карашегира, сын Божея – Жабай. Карашегир, под черным колпачком-тамага, уже сидел на его рукавице. Это был широколицый, бородатый, осанистый, человек. Одет в черную мерлушковую шубу, из такой же мерлушки тымак. Он приходился ровесником Абаю, Абылгазы и другим из всей охотничьей компании, но из-за своей длинной густой бороды казался намного старше. Он сказал, обращаясь к Турганбаю:

– Вот, еду и спорю с этим хитрецом Абылгазы. Расскажи, как все было, когда моя птица подлетела к лисе. И как ваша птица сумела взять лису? Расскажи, как было.

Среди охотников был Жиренше, вовсе не выглядевший заядлым охотником, в обычном наряде, он подъехал к Абаю и Ерболу, тепло их поприветствовал. Остальные окружили Турганбая, и у них пошел шумный разговор про охоту. Жиренше подмигнул, обернувшись к Ерболу и Абаю, кивнул на споривших и рассмеялся, широко осклабившись.

Разговор у охотников зашел о том, почему беркут Карашегир, сидевший сейчас зачехленным на руке Жабая, не смог взять лису, хотя был к ней ближе беркута Карашолака, сидевшего теперь на руке Ербола. Турганбай сказал, что Карашегир подлетал с удобной стороны, и мог раньше напасть на лису.

– Но полет у него был не очень быстрый. Что-то непонятное с ним происходило сегодня. Он чего-то медлил. А Карашолак, хотя и вылетел позже и был дальше, первым подлетел к зверю и с ходу взял его. Затем полетел в обратную сторону, пересек



путь Карашегира под самым его носом и сел на пути нашего загонщика Баймагамбета. А Карашегир растерялся и сел на камень. Вот как было дело. – Так рассказывал охотник-беркутчи Турганбай, почти во всем оставаясь правдивым, и только в конце существенно приврал, чтобы подвести под сомнение выучку птицы соперника.

Абай с Жиренше переглянулись и, потешаясь над охотничьими рассказами, искусным хвастовством и явным враньем джигитов, перемигнулись и закатились громким смехом.

Между тем Жабай рассказывал Турганбаю, почему сегодня сплеховал Карашегир.

– Он же с утра в Жанибеке упал на лису и взял ее. А она ушла из рук вот этого джигита, – сказал он, указывая на своего младшего брата Адила, от токал Божея, очень похожего лицом и осанкой на него. – Усы твои выдрать, торчащие, как клочья от старого голенища саптама! Нет, чтобы соскочить с коня и добить зверя! А он колючек испугался, увидел, что кругом все шенгелем заросло. Карашегир-то на колючки и напоролся, крылья себе поранил и лису упустил.

– Получается, что не Карашегир виноват, а кустарники и Адиль. Получается, что ты не сам испортил птицу, – грохотал своим густым голосом Абылгазы. – Еще раз я говорю тебе: птица не Адиль и не Абылгазы, которых ты можешь ругать сколько хочешь, с утра до вечера. Птицу надо воспитывать. Карашегир не понять, что ты знатного рода, сын самого Божея, птице внимание нужно, ее надо больше облетывать. Почему Карашегир уступил лисицу Карашолаку? Да потому что он медленнее летает. Вот и Турганбай говорит, что твой беркут был ближе, а что получилось? Позор вышел, пай-пай! И это при первой встрече с Карашолаком! Слушался бы ты меня, не портил птицу!

И Абылгазы громоподобно расхохотался, открыто издеваясь на Жабаем. Тот вспылил, считая поведение сородича недопустимым, предательским: дух соперничества между жигите-



ками и иргизбаями держался издавна и проявлялся во всем, большом и малом, даже в орлиной охоте...

– Язык что помело, глупости болтаешь! – резко бросил Жабай. – Уж если беркут испорчен, то по твоей вине. Суешься со своими советами, не даешь мне самому заняться птицей. Вот и возьмусь за нее сам, а ты забирай свой шалаш и уходи на все четыре стороны!

Жабай явно позволял себе лишнее на правах старшего, и охотники отнеслись к его гневу с примирительным смехом. Абай внимательно всматривался в знаменитого беркута, которого видел впервые, и попросил Жабая снять с него томага. Осмотрев его со значением еще раз, отвернулся и, достав портсигар, прикурил папиросу от поднесенной Баймагамбетом спички.

– Оказывается, Карашегир самый обыкновенный беркут, шести-семи лет. Ничего в нем особенного, – небрежно сказал Абай и затянулся папироской. – Сколько лис взяли?

Джигит – загонщик охоты Жабая ответил: уже около десятка. Абай и тут усмехнулся, поддразнивая Жабая.

– Ну, какая это охота. Наши три шалаша все уже набиты лисьими шкурами. И Башей со своими людьми настроляли архаров, косуль, мясо некуда девать. Если выбежит лиса на камни, Карашолак уж не даст ей уйти. Если убежит в кусты – наши собаки-тазы вытащат ее. Это охота! – Так сказал Абай и, тронув с места коня, поехал прочь от соперника, оставляя его в великой досаде и раздражении.

Жабай смотрел ему вслед, покачивая головой, прицокивая языком, и сказал, обращаясь к сидевшему рядом на коне загонщику Бибала:

– Чего тут расхвастался! Уезжает – даже спина не гнется от гордости!

Абай и его товарищи намеревались ехать в охотничий лагерь, предвкушая, как будут есть горячий куырдак из печенки и мяса архара, но по-другому рассудил старшой охоты, Турганбай.



– Сегодня я недоволен Карашолаком, он был ничуть не лучше Карашегира. Надо птицу нашу испытать еще раз. Ведь еще рановато возвращаться, солнце только перевалило за полдень. Пока вернемся да потом соберемся выехать обратно – наступит вечер, зря потеряем полдня. Лучше съездим сейчас за гряды Кыргыз, пополюем еще немного. Поворачивайте вот сюда! – И Турганбай решительным жестом указал Баймагамбету направление и пропустил его вперед себя.

В этот день охотники вернулись в шалаши к глубоким сумеркам. Вернулись без добычи. Баймагамбет два раза удачно выгонял лис на камни, однако Карашолак работал плохо, без всякого желания. Оба раза, мечась из стороны в сторону, беркут терял зверя из виду. Лисы прятались в расщелины и, когда беркут отлетал в сторону, стремглав проשמывали вперед, к спасительным глубоким расселинам меж больших камней. Возвращаясь в шалаши, охотники на ходу обсудили поведение Карашолака и нашли, что оно непонятно и даже загадочно.

Ведь до этого он спокойно брал за день по две-три лисы. Дважды брал по четыре зверя. Раздумывали: может, потерял норы, ослабел от чрезмерной работы? И три лисы в день – это все же многовато для него? Четыре охотника задумчиво поглядывали на беркута, нахохлившегося с невеселым видом на руке Ербола.

Вернувшись в лагерь, Абай застал в своем шалаше гостей – Абылгазы и Жиренше.

Жиренше давно имел славу устроителя разных каверз и веселых розыгрышей. Он прославился на весь многолюдный Котибак как человек, известный своим красноречием и живым, гибким умом. Знали его не только в Котибак, но на соседних с Чингизской волостью землях, где проживали племена Мамай, Керей, Уак. Он стал известен по разным другим краям благодаря Абаю, который часто брал его с собой в дальние поездки. И при решении даже самых важных споров и разбирательствах Жиренше умел найти что-нибудь этакое смешное и забавное,



что веселило народ и содействовало более успешному завершению дела. Неистошимый на всякие искусные выдумки, он порой играл людьми, словно беркут, настигнувший лисицу и играющий с нею.

Сейчас он придумал новое развлечение. Ему хотелось подурочить и Жабая, и Абая – с их обоюдным чванством и безудержным охотничьим хвастовством насчет своих ловчих беркутов. Он решил обоих гордых баев сделать дичью для своей охоты. Над Жабаем он уже достаточно потешился – с помощью Абылгазы, которого настроил открыто говорить о недостатках знаменитого беркута Карашегира и о вредных, глупых приемах его воспитания. Оставалось для Жиренше – осадить Абая в его горделивых поползновениях считать себя владельцем самого лучшего в мире охотничьего беркута.

– Жабай злится и негодует справедливо, Абай задел его не по делу. Птица Жабая все-таки лучше обучена. И вообще, Абай повел себя так, как будто он намного выше Жабая. Так давай накажем Абая и немножечко отомстим ему за сына Божея. Ты мне поможешь, друг, и мы славно подшутим над Абаем и отучим его хвастаться своим Карашолаком. – Так убеждал Жиренше своего друга Абылгазы.

Но Абылгазы заколебался, он любил Абая, и давно, искренне был во всем за него.

– Не стоит... Еще обидится Абай. Огорчится, что я помогал тебе.

Жиренше рассмеялся.

– Брось! Ведь не о невесте идет речь, а о какой-то птице! Это Жабай не понимает шуток и всегда обижается, как будто его смертельно оскорбили. Абай умнее! Да и на что ему можно будет обидеться? Мы устроим ему шуточку с его Карашолаком, чтобы он поменьше хвастался, а потом все вместе и посмеемся.

– Ойбай, но с Карашолаком шуточки не пройдут! Он ведь всегда на руках Турганбая! А тот всякую птицу до самого нутра



насквозь видит, все знает о ней. Нет, чтоб ему ослепнуть, но Турганбая не проведешь...

– Конечно, птиц он знает хорошо, но ума у него не много, к тому же упрям чрезвычайно, и характер у него скверный. Вот и подловим на чем-нибудь – попадется! С твоей стороны надо, чтобы ты как следует присмотрелся к птице и рассказал мне о ее состоянии, о том, как ее кормят, чем кормят, как ухаживают... А уж я-то знаю, что делать потом. Им обоим, Турганбаю и Абаю, носы-то скручу, когда попадутся мне на аркан! Покатятся они у меня, как шары перекасти-поля по степи!

И Жиренше посвятил Абылгазы во все подробности своего коварного замысла.

Когда беркута внесли в шалаш, Жиренше толкнул локтем друга Абылгазы. Тот попросил дать ему на руку Карашолака, стал поглаживать его по перу, по голове, незаметно прощупывая бойцовые мышцы ловчей птицы, и стал нахваливать беркута, приводя его славную родословную, восхищаясь крупной костью, клювом, мощными лапами и другими признаками особой породистости степного орла. При этом Абылгазы то и дело заводил разговор об особенностях выучки и кормления, он и тут выражал вслух лестное мнение о приемах кусбеги Турганбая и ни словом не обмолвился о сегодняшних промашках его именитого питомца, дабы не рассердить беркутчи и не сбить с пути откровенных высказываний.

В хорошо утепленном шалаше горел яркий огонь, дым ровным столбом уходил через продух шанырака, было уютно, славно, и Абай угощал гостей добрым чаем из красивой китайской упаковки. Он был настроен благодушно, чаю и приветливых слов для гостей не жалел, от Абылгазы никакой каверзы не ожидал, и сам раза два-три просил его хорошенько осмотреть птицу, дать ей самую правдивую оценку и найти, чего ей не достает, чтобы она работала безупречно. Абаю очень хотелось узнать, почему Карашолак совершил сегодня столько промахов, но Абылгазы от прямых ответов на вопросы



уходил и лишь отделялся общими похвалами знаменитой птице да перечислениями ее достоинств. И Абай, наконец, не выдержал, с досадой молвил:

– Да что ты все о породе да о породе заладил! Абылгазы, дружище, ты лучше меня просвети: отчего он сегодня так срезался, отчего аж двух лис упустил, дал им скинуться в камнях, и даже не пошел падать на них? Что с ним случилось? Может, уход не такой или корм неподходящий? Чем бы ты, например, кормил его?

Но Абылгазы смотрел на Абая невинными глазами и отвечал:

– Что я могу тут подсказать, когда кусбеги Турганбай обо всем гораздо лучше моего знает. – Абылгазы не хотел раскрываться.

Орлятнику же Турганбаю очень не понравилось, что Абай спрашивает совета у постороннего насчет кормления беркута. Из презрения к разговаривавшим, он молча отсел в сторонку и начал готовить кровавую пищу для беркута, не делая из этого тайны. Он отрезал кусок ляжки от туши добытой сегодня лисицы и начал мягчить насечками еще кровоточащее мясо. Такую пищу обычно скармливают истощенным, обессиленным птицам, у которых начали дряблеть мышцы крыл, видимо, Турганбай считал, что сегодняшние неудачи Карашолака объясняются его истощением. Но Абылгазы, незаметно, но тщательно прощупавший всю мускулатуру беркута, действительно не обнаружил никакого жира на его ляжках и на груди, однако, ощупывая под крыльями, обнаружил довольно обширные комковатые залежи жира. Чуткие пальцы Абылгазы определили жир, но Турганбай, видимо, принимал их за мешки для оснований маховых перьев в орлиных крыльях.

И далее, осторожно ощупав всю птицу, ни в каких частях ее могучего тела, даже в заднем проходе – *сангуыр*, больше не обнаружил жира – одни лишь тугие мышцы. И сидя с заколпаченным беркутом на руке, выслушав подробный рассказ о



неудачах сегодняшней охоты Карашолака, опытный Абылгазы уже вполне ясно представлял всю картину происшедших событий и знал об их причинах. И только от одного лишь его желания зависело, умолчит ли он о них и тем самым даст Жиренше завершить успешно его интригу, но вместе с этим нанесет вред славному беркуту...

Абылгазы теперь знал, почему сегодня к вечеру так неохотно поднимался на крыло беркут, почему он сбивался и не падал вовремя на третью лису, на четвертую – беркут был слишком упитан, и голод не гнал его на очередную охоту.

Особенно неправильным было то, что Турганбай давал на корм беркуту свежее, неотжатое от крови мясо жирной осенней лисицы. Это могло забить, заглушить весь боевой дух хищной ловчей птицы, и Абылгазы стало жалко ее, и он собрался высказать вслух то, что стало ему известно. Однако Жиренше, разгадав такое намерение по лицу своего друга, изо всех сил ущипнул его за ляжку, и только тем удержал его от излишних слов. Он подхватил с руки Абылгазы беркута, со словами:

– Ну-ка, дай и мне посмотреть на него, – и, небрежно погладив его упрятанную под колпак голову, тут же передал Карашолака Абая. И назидательным тоном молвил: – Птица у тебя добрая, мой брат, но за птицей нужен не такой уход, тебе надо подумать об этом.

Резко повернувшись, Турганбай метнул на него сверкающий взгляд, но смолчал и продолжал насекать ножом кровавое мясо. Абай же решил пресечь Жиренше, который заведомо хотел обидеть самолюбивого кусбеги:

– Оу, если тебе вскружили голову похвалы со всех сторон: «Жиренше рассудит, Жиренше знает», – то ты, наверное, полагаешь, что и в птицах разбираешься лучше всех? Однако скажу тебе, что все, что тебе известно о них, знает не только Турганбай, но знаю даже я! Так что не особенно надувайся, а подожди-ка лучше задницу и помалкивай, пей чай, охотник!

Замечание Абая понравилось самому Жиренше, и он от души расхохотался. Потом со смиренным видом ответил:



– Куда уж нам! Мы ведь русских книг не читали. Там, должно быть, написано: «Абай должен так-то и так-то охотиться с Карашолаком, которого он взял у Тулака». А написали это, наверное, сам Пошкин или же Тулстой, о которых мы слышаны от тебя. Поэтому я умолкаю! Абылгазы, друг мой, пойдём-ка мы с тобою да отведем наших лошадок на лужайку, где трава поуще! Где уж нам спорить с Пошкиным!

И друзья, посмеиваясь, вышли из охотничьего шалаша. Снаружи, оставшись наедине с Абылгазы, Жиренше спрашивал у него, что случилось с беркутом Абая. После разговора оба снова зашли в шалаш и увидели, что кусбеги Турганбай собирается кормить беркута кровавым мясом, но как будто не торопится, словно сомневаясь в чём-то. И Абай в эту минуту спрашивал у него:

– Как называется этот корм?

На что Турганбай не очень охотно отвечал:

– Ойтамак называется...

И Абай, и остальные охотники были удивлены, потому что никто из них раньше не слышал о таком названии корма. Оно означало: «еда-задумайся», но было непонятно, о чем тут надо было думать.

Абай начал допытываться, почему такое странное название корма, но кусбеги ничего не ответил, подкладывая беркуту изрядный кусок окровавленной лисьей ляжки.

Жиренше шепотом спросил у Абылгазы:

– Чего ожидать от птицы завтра на охоте?

Тот также шепотом ответил:

– Возьмет лису. Но потом упустит ее.

Развалившись на торе, упираясь локтем в подушку, Жиренше начал говорить, пряча усмешку в усы и темную густую бороду:

– Вот что я скажу: если ты, кусбеги, накормишь этой едой орла, то он завтра потеряет свою силу. Схватит лису, а удерживать ее не сможет.



Произнеся это, Жиренше прикрыл глаза, словно собираясь уснуть, но сам потихоньку продолжал следить за кормлением беркута. Его интересовало, весь ли окорочок крупного лисовина скормит беркутчи птице. Турганбай же с самого начала засомневался, не много ли будет для птицы ойтмака, но насмешливый предсказатель Жиренше разозлил его, и кусбеги в сердцах бросил беркуту всю лисью ляжку. Когда беркут насытился и у него от обильной еды заметно раздулся зоб, Жиренше с головою укрылся шубой и, в наплыве чувств, ущипнув за ногу лежавшего рядом друга, беззвучно засмеялся. Именно на самолюбие и упрямство Турганбая рассчитывал Жиренше, замышляя свое коварное дело. Ни один беркутчи не потерпит, чтобы ему высказали в глаза, что он неправильно кормит птицу, и Турганбай, сам чувствовавший, что для охотничьей птицы слишком грузный корм нежелателен, накормил ее до отвала, строптиво противостоя словам Жиренше: «Накормишь этой едой орла, он завтра потеряет силу...»

Наутро Жиренше и Абылгазы выехали с охотой Абая. Зверь долго не попадался, и только за полдень джигиты-загонщики выгнали со склона, поросшего густым кустарником, матерого лисовина. Несмотря на то что беркут Абылгазы так и рвался с его руки, Жиренше не позволил ему пускать птицу, и в воздух поднялся один лишь Карашолак. Он быстро достигал зверя.

Абай, Жиренше и Абылгазы сидели на конях рядом, Абай залюбовался стремительным полетом своего беркута и с ликованием, насмешливо крикнул Жиренше:

– Смотри, как пошел! Что ты скажешь теперь, предсказатель Жиренше?

– Ладно, посмотрим! – отвечал ему Жиренше. – Лиса еще не приторочена к твоему седлу! Рано еще ликовать!

Лиса металась в кустах, беркут мощно и стремительно упал на нее с воздуха. От удара зверь был мгновенно придавлен к земле, распластан на ней, огромная птица сидела на его спине.



– Взят! Замял когтями! – вскричал Абай.

Он и Ербол во весь дух поскакали к кустам, где беркут тяжело трепетал крылами. Турганбай и Жиренше поскакали следом.

И вдруг лисица, отчаянно извернувшись, смогла вырваться из когтей беркута, сбросить его с себя, и нырнула под колючий куст. Это случилось, когда всадники были почти рядом. Пошатываясь, она показалась с другой стороны кустов, мелькнула по прогалине и скрылась в густых неприступных зарослях колючки. Абай и Ербол осадили коней перед их стеной. С досадой хлопая себя по бедрам ладонями, кружились на своих лошадях перед кустами. Лиса исчезла.

Подъехал Жиренше, ничего не стал говорить, лишь ухмыльнулся, покачиваясь в седле и с откровенным издевательством поглядывая на Абая и его кусбеги Турганбая. А те принялись, как вчера Жабай, неудачу свою сваливать на колючие кусты.

Турганбай с угрюмым видом бормотал, сажая на руку ловчего беркута:

– В Карашолаке течет кровь Жанбауыра... Идите вы все... Кто больше всех знал об этих птицах? Не Уали-тюре, разве? Конечно, он! И Уали-тюре говорил: «От когтей Жанбауыра никакой лисе не уйти. Но в колючих кустах он не начнет бой со зверем...»

Утешили ли эти слова самого кусбеги, было непонятно.

Охоту на этом пришлось закончить, лис больше не попадалось. Вскоре обе группы вернулись к шалашам. Жиренше всю дорогу допекал Абая тем, что он еще и сам не знает, какой у него великолепный беркут.

В шалаше упрямый Турганбай опять кормил досыта ловчую птицу своим кровавым оятамаком.

Абылгазы и в сегодняшний вечер тайком проверил, каков жир под крыльями Карашолака, и убедился, что жировые комочки стали больше. И с большей уверенностью, чем вчера, высказал такое мнение:



– Завтра Карашолак даже не схватит лисицу. Мимо пролетит, не упадет на нее.

– Ну, ты говори да не заговаривайся! – рассердился на него Абай. – Шайтан, что ли, развязывает тебе язык? В Кыргыз-Шаты объявился новый шаман-бахсы! Тоже мне, прорицатель!

А Жиренше, как и вчера вечером, накрылся с головою шубой и вдоволь нахохотался под нею. Высунув бородатую голову из-под нее, добавил ко всему сказанному им:

– В таком случае, могу еще вам предсказать: за целую неделю ваш беркут не возьмет ни одной лисы.

Следующим утром обе охоты вышли полевать раньше обычного. Но и в этот день зверь не попадался. Лишь под самый вечер спугнули одну лисицу. И тут все убедились, что предсказание Жиренше верно: Карашолак стремительно полетел на добычу, настиг зверя, но не упал на него, пролетел мимо, самым нелепым образом сел на камень и смотрел, как лиса уходит в расщелину меж валунами.

Жиренше цели своей достиг: Абай, Ербол и Турганбай совсем пали духом и с унынием посматривали на своего прославленного беркута. Хитроумный насмешник, Жиренше сел на коня, кликнул с собой своего джигита-загонщика и, даже не попрощавшись с Абаем, удалился мелкой рысцой восвояси, к своему прежнему охотничьему лагерю Жабая. Он звал с собой и Абылгазы, но тот, не желая больше принимать участия в охотничьих распрях против Абая, отпал от Жиренше и остался в лагере Абая. Беркутчи Турганбаю прямодушный Абылгазы неліцеприятно сказал:

– Ты оплошал с Карашолаком. Отдай его на три дня мне, и я выправлю его. Здесь не место обидам.

Теперь и Абай начал понимать, что кусбеги Турганбай в чем-то ошибается.

– Делай, как он сказал. Не настаивай на своем, оставь свое упрямство.



Пока птицу выправляли, приводили в боевое охотничье состояние, Абай не выезжал на охоту, оставался в лагере. Он понимал, что Жиренше хотел его выставить на смех и добился своего, но обиды на него не имел, осознав, насколько сам зашел далеко, увлекаемый охотничьим тщеславием и самомнением. Абай на три дня засел за книги, что прихватил с собой в коржуне. Приказав жарче развести огонь в шалаше, целыми днями жарил обильный куырдак из жирного архарьего мяса и печенки, насыщался телом и духом, читал, отдыхал, наслаждался жизнью на свободе.

Вскоре Абылгазы и Турганбай объявили, что беркут выправился, и вновь начались охоты. Но несмотря на то что Карашолак работал с прежней неутомимостью и охотничьей страстью, добычи с полевания приносили мало. Зверь не попадался – за четыре дня загонщики выгнали на беркута всего двух лисиц.

Тогда, посоветовавшись меж собой, охотники пришли к Абаю со своим решением. Зверя здесь, на Кыргыз-Шата, не осталось, лисы ушли по распадкам на высокогорный безлюдный участок Машан. Охоту надо перевести туда, и пока снег еще не глубок, перекочевать, не теряя времени. Меткий стрелок Башей присоединился к мнению беркутчи: добыв немалое число архаров и оленей, он также объявил, что зверь ушел на высокогорный Машан и на Бугылы.

Машан не относился к Чингизской волости, и там, на пограничье, проживали самые дальние из племен Тобыкты, с которыми Абай никогда еще не встречался. С ними соседствовал род Каракесек. Абаю было неизвестно, остаются ли в тех местах на зиму люди, и ехать в такую даль, глядя на быстро надвигающиеся холода, ему вовсе не хотелось. Он начал читать – и ему уже ничего другого не хотелось, охотничий пыл в нем угас. Если зверя уже не стало, то надо вернуться домой, полагал он. Однако вся охотничья ватага, включая и стрелков из фитильного ружья, желала продолжать охоту, и Абаю ничего не оставалось, как подчиниться общему решению. Иначе его



друзья, заядлые охотники, могли подумать, что он отказывается от дальнейшей охоты по малодушию и лени. И Абай решил переключиться вместе со всеми на Машан, а уже оттуда, через перевал Чингиза, миновав гору Кыдыр, вернуться в свой родовой аул Жидебай.

Расспрашивая более осведомленного Абылгазы об округе Машан, Абай составил себе общую картину: в предгорье, называемом Карасу Есболата, можно устроить временный перевалочный лагерь, откуда и отправиться объединенным охотам в нагорье Машан через отроги Бугылы. «Соберемся там, а наутро ущельями Бугылы проберемся на Машан, успеем поставить шалаши еще засветло» – рассуждал Абылгазы.

Так и договорились. Абылгазы уехал к своим общим с Жиренше шалашам, чтобы, переночевав там, на следующий день дожидаться охотничьего каравана Абая и затем отправиться общим караваном в Карасу Есболата.

Утром охотничий лагерь был разобран, добыча собрана в поклажи и погружена на вьючных лошадей. С ними к стоянке Абылгазы – Жиренше были отправлены Смагул, Турганбай и остальные охотники. Абай же решил выехать к Карасу отсюда напрямик, с ним остались только Ербол, Шаке и Баймагамбет.

К полудню четверо путников, выбравшись из ущелья Кыргыз-Шата, спустились в долину Ботакана. И здесь снег лежал тонким слоем. Места были всем знакомы, сюда каждое лето прибывали кочевья аулов Иргизбая. Выстоянные, хорошо откормленные, надежно подкованные крепкие лошади шли ровным бодрым ходом, известным как *булан куйрук* – степной аллюр. Белый снег, выпавший в прозрачные студеные дни, лежал нетронутым, пушистым и чистым. Никакой помехи конскому ходу не было от него. Но, учитывая, что снежный покров был все же выше лошадиных бабок, всадники шли по бездорожью друг за другом вслед, гуськом.



Головным ехал Шаке, он был моложе всех, но слыл отменным наездником, к тому же часто охотился в этих местах и хорошо знал их. Старшие, Абай и Ербол, охотно доверились его опыту и расторопности.

С утра день выдался туманным и мгlistым. Позднее туман поднялся, явил взору путников дальние вершины Баканаса, Казбалы, но солнце не проглянуло. По серому небу побежали к северу быстрые тучи, похожие на горбы огромного стада верблюдов. Но в небе иногда появлялись недолгие белесовато-желтые просветы, словно бы обещавшие скорое вёдро. В воздухе стоял бодрящий легкий морозец без ветра.

Абай, поручив племяннику быть ведущим, ни о чем не беспокоился в пути и, не оглядываясь вокруг, весь ушел в думы и воспоминания. Они были сладки и печальны, светлы и пасмурны – ведь в этих местах, на Ботакане, прошли годы его детства и отрочества. В душе его проснулась благодарная любовь к умершей бабушке Зере, к матери Улжан. Проезжая краем долины Ботакана, по месту стоянки аулов, безошибочным взором детской любви узнал ложбинку, где много лет назад находилась их белая Большая юрта. Именно здесь, на этом месте, он ощутил свой человеческий разум и впервые понял, что уже способен на большие взрослые дела...

Был жаркий полдень, когда Абай и Ербол, еле живые от усталости, вернулись с поминального аса Божея. И мама Улжан положила их отдыхать в отдельной юрте, и они, почти не спавшие три дня и три ночи, рухнули на приготовленные для них постели и мгновенно уснули мертвым сном. А когда через двое суток проснулись, его милые матери закололи ягненка и преподнесли ему – на блюде, как взрослому джигиту – голову барана. Ему было тогда шестнадцать лет, и все это случилось здесь, в этой припорошенной белым снегом холодной долине Ботакана.

Здесь перед ним витает дух и образ старенькой бабушки Зере – ему представляется, что стоит только закрыть глаза и



протянуть руки, как они охватят сухонькую, легкую руку ветхой старушки. Ее негнущиеся, скрюченные от болезни и старости пальцы гладят его по голове... Он не заметил, как слезы навернулись на его глаза. Призвав священный аруах своей бабушки, Абай прочитал молитву из Корана и просил Бога благословить и упокоить ее душу. Помолившись, провел ладонями по лицу и просветленными глазами посмотрел вокруг.

Правоверные читали молитвы на могилах, за дастарханом или в установленные дни, такие, как айт, но Абай молился всякий раз, когда давно усопшая бабушка ясно представала перед его внутренним взором, вот как сейчас, и он начинал сильно тосковать по ней, ощущая с пронзительной болью утраты, что ее уже нет на земле. Обернувшись в седле, он долго смотрел назад, на предзимнюю заснеженную долину Карашоки, на убеленные горы Казбалы, с ясной мыслью: «Надо запомнить, как они выглядят зимой!»

Воспоминание о летнем дне в Ботакане пробудило в его памяти еще одно давнее, незабываемое, далекое...

В облачном небе воссиял лучезарный облик возлюбленной юности Абая – Тогжан. Вон там, на одном из невысоких холмов Ботакана, стоял он, и к нему прискакал друг Ербол, принес чудесную весть от Тогжан. Затем была поездка в Жанибек, и возвращение... Было свидание в зарослях прибрежного тальника, страстные поцелуи с любимой при луне, ночь шорохов листвы и трав, ночь шепотов из уст в уста, – все это в один миг проснулось и ожило в душе Абая. Воскресшие мгновения счастья, воссиявшие в памяти картины той лунной ночи в Жанибеке, – уйдя в эти томящие душу миражи прошлого, Абай не представлял, где он сейчас находится, куда едет по этой заснеженной степи. Он словно впал в какое-то продолжительное беспамятство. Закрыв глаза, он словно читал книгу несбывшейся мечты, написанную кровью сердца. Тяжко вздохнув, он снова оплакивал в душе утрату своей Тогжан.



Непонятно было, сколько прошло времени в этом безумстве грез и мечтаний – и вдруг подлинная жизнь ворвалась в этот мир фантазий. Абай вздрогнул. Его словно пробудили от сна, где он находился в объятиях любимой. Он пришел в себя.

Конь его стоял. Рядом были спутники, лошади их также стояли на месте, сбившись в кучу. Дул сильный ветер, разносивший мелкий снег, белесая мгла закрыла дали. Всадники и кони старались встать спиной к ветру, вокруг них взвихривался, словно дымился, белый снег. Абай не заметил, как сильно изменилась погода. Он встревоженно спросил у Шаке:

– Что это? Поземка? Или буран?

– Сам не пойму. Снег валит сверху, закидывает снизу. Круговерть какая-то.

– Только бы не заблудиться. Оу, парень, ты уверен? Правильно мы едем? – спросил Ербол у юного Шаке.

Но у того уверенности не было. Поэтому он и остановился, чтобы посоветоваться со старшими.

– Для попавших в буран проводник – ветер. Надо было по ветру определить, как двигаться к Карасу Есболат. Но мы ехали по знакомым местам, и я не следил за ветром. Немного задумался – вы же знаете, степь водит. Когда долго едешь, всегда задумываешься. И даже не заметил я, откуда пришел ветер. Может, вы заметили, ага? – неуверенным голосом спрашивал Шаке у Абая.

Но Абай всех удивил, спрашивая:

– Е, а ветер-то когда начался? – он говорил, словно только что проснувшийся человек.

Синеглазый, с красным от холода лицом, Баймагамбет прыснул в кулак, глядя на Абая. Выяснилось, что только он один из четверых проследил, с какой стороны пришел ветер, и смог определить, какого направления надо держаться.

– Надо ехать так, чтобы ветер дул в лицо чуть справа. Тогда и не упрямся в какое-нибудь ущелье.

Однако Шаке не согласился с ним.



– Тебе показалось, что ветер пришел справа. Он начал дуть прямо в лицо, нам теперь так и надо ехать. Чтобы ветер – прямо в лоб коню.

Заспорили. Тогда Шаке обратился к старшим:

– Если будем стоять здесь и разбираться, то совсем собьемся с дороги. Надо ехать. Или ведите сами, или дайте мне вести. Я уверен – ехать надо против ветра! Решайте скорее, стоять на месте нельзя!

Абай видел, что Шаке среди них – самый решительный, и он положил, что надо довериться ему. Абай больше не колебался. Он невольно залюбовался мужественным юношей.

– Айналайын, Шаке, полагаемся на тебя. Трогай коня, мы за тобой!

– Тогда надвиньте поглубже тымаки, и вперед! Укутайтесь хорошенько! Надвигается большой буран!

Шаке поставил своего темно-серого навстречу ветру и, хлестнув коня камчой, с места взял крупной рысью.

За ним последовал Абай, надвинув тымак на самые брови и плотно запахнув на груди шубу. Круп темно-серого жеребца Шаке раскачивался впереди, округлый, словно перевернутая чаша для кумыса, Абай не отрывал взгляда от него, вплотную следуя за конем передового – след в след. Снежные махи бурана накрыли всадников с головой, и они ринулись в белую клокочущую мглу степи.

Шаке не снижал рыси своего скакуна, хотя тому было нелегко пробиваться сквозь снежную колючую муть. Мягкие хлопья снега, с утра падавшие с неба, сменились теперь ледяной крупой, которая хлестала в лицо всаднику и в лоб коню. Ехать против ветра становилось все труднее.

Жеребец под Шаке начал все чаще изгибать шею и коситься назад, ему хотелось самому следовать за другими лошадьми, пряча морду за их широкими крупами. Сильные порывы ветра относили его темную длинную челку назад, словно стремясь вырвать ее по волоску ледяными пальцами. Шаке видел, что



его коню все труднее бороться с ветром, и хозяин все чаще пускал в ход плетку, чего раньше он никогда не позволял себе делать.

Саврасый скакун Абая шел за передовым, словно прилипнув лбом к его крупу: конь сам догадался, что так ему легче пробиваться через ледяной ветер. Но самого Абая передний всадник ничуть не спасал от хлестких ударов ветра в лицо, и скоро усы, борода, брови и ресницы всадника покрылись снежной сединой. Он низко склонился к луке седла, пытаясь укрыться под козырьком тымака, но все было напрасно. Ветер безжалостно проникал под тымак ледяным лезвием и колол, резал виски и щеки, бросал в шею, за шиворот пригоршни снега.

Холод начинал одолевать Абая. Опасаясь обморозить лицо, он пытался растирать его рукой, но очень быстро пальцы его онемели и стали как ледяные култышки, было трудно удерживать поводья и камчу. Непроизвольно тело его начало раскачиваться в седле, клонясь то на одну сторону, то на другую, то, припадая, на гриву коня. Абай выбивался из сил. Ветер, свободно гулявший под просторной шапкой, невыносимо холодил виски, в голове началась ломота. Руки окончательно задубели, Абай не мог запахнуть полы шубы, ветер разносил их в стороны, колени обмерзли до бесчувствия.

Он долго крепился, стараясь не показывать другим своего состояния, но вскоре окончательно изнемог и вынужден был попросить отдыха. Крикнул Шаке, и тот остановил коня, который тотчас повернулся хвостом на ветер. Другие кони тоже встали, отвернувшись от ветра и низко опустив головы.

Путники спрыгнули с лошадей и, укрываясь за ними, сойдясь вместе, сблизили головы и стали разговаривать в крик.

– Апырмай! Мороз-то как крепчает! – заметил Ербол. – Буран усиливается!

– Только бы не затянулся! А то беда! – крикнул Абай. – Против ветра идти невозможно – голову не поднимешь! И ничего



не видно! – Он почти с тоской заозирался на сплошную, завихревшую, воющую белую мглу.

Воспользовавшись передышкой, все вытащили платки и обвязали головы, поверх натянули тымаки.

Шаке, молодой джигит, закаленный на охотах, с красным от мороза лицом, выглядел лучше других. Он с решительным видом сказал:

– Надо ехать! Если мы неверно применились к ветру, то уже ничего не поделаешь. А если верно, то даже таким ходом будем к вечеру в Карасу Есболата. Быстрее идти не сможем, буран мешает. Торопиться не будем – если сбились с пути, то зачем спешить! А ехать потихоньку, осматривая местность, тоже не можем – мороз крепчает, да и не видно ничего. Абай-ага, крепитесь, нам предстоит еще один длинный переход без остановок. – Так закончил Шаке и, подойдя к своему темно-серому, крепче подтянул подпруги, проворно вскочил в седло.

Абай и остальные молча сели на коней и привычно последовали за молодым джигитом Шаке.

В буран непонятен был ход времени – то ли много его прошло, то ли остановилось на месте. Лошади безостановочно шли быстрой рысью. Ветер, ровно и уныло свистевший в уши, временами вдруг принимался выть, визжать, словно впадая в неистовство. И устанавливался постоянный унылый свист, от которого, казалось, глохли уши – ничего другого не было слышно. От холода немело и ослабевало измученное тело. И вдруг вдали возникали странные звуки: то ли принимались выть волки, алчущие свежей крови, или чей-то нечеловеческий голос как будто принимался читать утреннюю молитву.

О, это была родная степь, великая Арка, вмиг превратившаяся из доброй матери в злую мачеху. Вот в этих самых местах, где сейчас принимает мучения Абай, на весенних джайлау прошло детство его, здесь была золотая его колыбель! Теперь от холодного дыхания степи веяло смертью. Она словно готовила ему ледяную могилу.



Говорят: мир показался с ладошку. Это когда все исчезает, остается одно страдание. Нет больше ни степи, ни гор, ни высокого неба. Только одна вихрящаяся снежная пелена, волчий вой ветра и четыре коня... Мир сжался в комочек, его можно зажать в ладони. Название тому, что открылось сейчас Абая, он прочитал в русских книгах: х а о с, с т и х и я. Он запомнил: в начале был хаос. Как игра кипящей воды. Как обрушивающаяся морская волна, перемешивающая водовороты, пену, прибрежный песок. Истинно – всякому человеку, видящему хаос в преддверии своей гибели, мир может показаться с ладошку.

И вдруг ветер сразу стих, будто оборвался.

Абай воспрянул, в нем пробудилась надежда. «Апырмай! Неужели спасен?.. Услышаны мои недавние мольбы... похожие на безнадежный, сиротский зов».

Шаке натянул поводья, остановил коня. Другие всадники тоже остановились, сгрудились вокруг него, оживленно заговорили.

– Кажется, утихло! Неужели погода сама захотела помочь нам? – воскликнул молодой Шаке. – Но где мы? Давайте посоветуемся.

Снег продолжал идти, но больше не сек лицо ледянистыми крупинками, а плавно падал сверху легкими хлопьями. Ветер улегся совсем, однако вдруг нагнало сплошного густого зимнего туману. Снег валил все гуще. Путники пообтряхивались, разминали ноги и бодрыми голосами начали совет. Но к этому времени короткий зимний день уже закатывался, подступила ночь. И к тому, что надвинулась темнота, добавилась густая непроницаемая мгла зимнего тумана, сквозь которую ничего нельзя было различить.

Напряженно всматривающиеся во мглу глаза что-то начинают видеть – однако, что там чернеет впереди? Неужели зимовье? Или вдруг возникают перед глазами какие-то темные комочки, похожие на овец в бегущем стаде. Каждый из



путников видел что-нибудь подобное, но, боясь ошибиться, никак не обозначал своих зыбких видений. Лишь слышались настороженные восклицания.

– Ей, что там виднеется?

– Что-то чернеет!

– Сзади, посмотри, мы проскочили! Уж не зимник ли чей?

Четверо стояли на снегу, указывая в разные стороны туманной мглы, но все оказывалось напрасным. Темные крыши зимника оборачивались каменными выступами на крутосклоне близкого холма, стадо овец превращалось в верхушки кустов тавологи, пригнетенных снежной шапкой.

Путники снова начали терять надежду. Самым тревожным было то, что, несмотря на утихший буран, было неясно, куда же направиться в этом бескрайнем белом безмолвии ночи. Баймагамбет, с самого начала не соглашавшийся с Шаке, теперь винил его в том, что вел их неправильно: при такой быстрой езде, сплошь на рысях, они давно уже могли бы вступить в Карасу Есболата. И он повторял, когда они проезжали мимо какого-нибудь приметного места: оврага ли, ложбинки или одинокого холма:

– Да не похоже это на окрестности Карасу! Я их хорошо знаю! Там все ковыльные холмы идут, каменные сопки, начинаются отроги хребта, а здесь, посмотрите! Одна луговая низина, да речки малые, да озера с камышами. Мы далеко уклонились в сторону! – уверял Баймагамбет.

Маленькая ватага всадников двинулась вперед в сомнениях и тревогах. Солнце село, сразу стало темно, как глухой ночью. Путники ехали в неизвестность. Чтобы дать хоть какую-то передышку коням, остановились у неизвестного родника, пустили их попасть на подножном корму. Абай с трудом сполз с седла и мешком рухнул там, где его ноги коснулись земли. Поговорил с Ерболом о выборе дальнейшего пути, но и тот не мог сказать ничего утешительного. Он тоже был на исходе сил. Однако,



даже несмотря на крайнее утомление и тревогу, не преминул бросить шутку:

– Мы с тобой всегда были выносливы при езде по ровной столбовой дороге. Мы преодолевали бесконечно долгие пути, про которые можно было сказать: «Кудай велит идти, ну и шагай себе!» Да-а, у нас с тобой еще не было случая, чтобы мы заблудились, даже в безлунные осенние ночи, – помнишь? А сейчас совсем другой оборот, Абайжан. Оказалось, что мы с тобой ни на что больше не годны, дружище. И не нам с тобой дано отыскать в этой огромной степи маленький охотничий шалашик! Да еще и в неразберихе такого бурана, да еще ночью по бездорожью! Воистину так: легче найти иголку в стоге сена, чем в ночи этот шалаш, размером с клубок ниток! Так что помалкивай, дружище, пусть лучше Шаке справляется! Или ты, может быть, владеешь особенным искусством совершать чудеса?

Абай никаким таким искусством не владел, он только через силу усмехнулся. Шутка Ербола ввергла его в печаль. Тревожные сомнения не оставляли Абая.

Когда после короткого отдыха вновь сели на коней и тронулись в путь, как и прежде, под предводительством Шаке, в мутном, темном пространстве ночи вдруг раздался грозный шум.

Этот свистящий, воющий, надвигающийся шум означал грозное предвестие нового урагана, еще более страшного, чем утренний. Буран утром ревел и выл, словно голодная смерть, а этот ночной – завыл как бездомная великая сука окаянной ночи. Мороз теперь навалился намного свирепее, чем днем. За считанные мгновения путники степи вновь потеряли всю свою уверенность и надежду.

Заохали, неуклюже по-мужски запричитали.

- Апырмай! Опять буран налетает!
- Как нам быть, о милосердный Кудай!
- Беда! Большая беда надвигается!



– Идти дальше, не видя ни зги? Или остановиться и переночевать, укрывшись где-нибудь?

– Шаке, ветер переменялся! Что будем делать? – этот вопрос задал Ербол, когда остальные высказали свое и умолкли.

Шаке ответил, что не надо прекращать движения, но и не нужно продвигаться быстро. Надо избрать медленный путь. А заночевать можно только в человеческом жилье, иначе – смерть от холода.

И снова путники потянулись за юным Шаке. И опять был бесконечно долгий, мучительный переход. На этот раз к пыткам холодом и голодом присоединилось мучительство сна. С утра люди не ели ничего, намерзлись, но испытание голодом было менее опасным, чем соблазн сна на морозе. Всадники еле держались на седлах. И вдруг раздался возглас Абая:

– У меня ноги заоченели! Я не чувствую своих ног! Никогда не знал, что у человека ноги мерзнут на коне! А у тебя как, Баймагамбет?

Молодой нукер тоже сильно замерз и ослабел.

– Может быть, остановимся где-нибудь, отдохнем, попробуем вздремнуть? – предложил он.

Остановились, снова стали совещаться. Опять мир для этих людей сузился до размеров пространства, куда едва помещались четыре конские головы. Лошади тоже были измучены, буря, снег и холод изнурили животных не меньше, чем людей. Люди же выглядели совсем беспомощными, покорными. Степь поймала кочевников в свою западню.

– Если будем ложиться, то надо хоть валун какой-нибудь найти, с подветренной стороны лечь.

Еле державшийся в седле Ербол вскричал:

– Какой еще валун! Где ты найдешь его? Предадимся воле Аллаха, ляжем под брюхо лошадям!

Так и сделали. Поставили коней по кругу, сами легли, тесно прижавшись один к другому, прямо на снег на том месте, над которым склонились сдвинутые лошадиные головы.



Дикий ночной ветер завывал в темноте, казалось, метель решила за что-то мстить людям и довести свою месть до конца. Абай лежал, уперевшись головою в колени Ербола. Абаю представлялось, что все тело его кружится в холодном пространстве, наполненном воем ветра, и вокруг него кружились тела его спутников и их лошадей, и сама земля уносится, кружась, словно шар перекаати-поля под ударами вселенского урагана. И голова кружится, сама по себе, отделившись от тела и от всей остальной буранной круговерти. В ушах стоит несмолкаемый гул. От холода, глубоко проникшего внутрь тела, – тошнит. Мир внешний постепенно исчезает, мысли путаются, как в бреду. Абай впал в тяжелое забытье.

...Неизвестно, сколько времени спали. Первым пришел в себя Ербол.

– Ей, джигиты! Не хватало еще, чтобы сон убивал! Вставайте! На таком морозе сон – это смерть! Поднимайтесь, встряхнитесь, джигиты! – Так кричал Ербол, и спутники его тяжело просыпались, разгребали снег, засыпавший их тела, поднимались на ноги.

По-прежнему была глубокая черная ночь, и белесая муть пурги, и волчий вой ветра. Все четверо кочевников стряхивали с себя снег, энергично охлопываясь. Сильно замерзли и молодые джигиты, они стали счищать рукавами, плетками снег, запорошивший лошадей, и быстро согрелись. Абай же чувствовал, что от холода ему никак не отойти.

– О, Аллах праведный, не помню я, чтобы когда-нибудь так мерз! – пожаловался он. – Холод пробрал до костей.

Он стал расхаживать взад-вперед, охлопываясь крест-накрест под мышками, подтопывая ногами, стараясь разогнать кровь.

Вновь усевшись на коней, четверо двинулись в путь.

– Ясное дело, что заблудились, – говорил Абай перед тем, как выехать. – Теперь поедем хоть куда-нибудь. Только для на-



чала, чтобы коней разогреть, надо с часок проскакать быстрой рысью.

И действительно, от быстрой езды согрелись и лошади, и всадники. Так они ехали долго. Наконец в белесой мутной мгле ночи неясно обозначился рассвет дня. Где-то вверху, в небесной вышине, засияла тоненькая желтоватая полоска. Шаке, жалея лошадей, перевел их на мелкую рысь.

Время подвигалось к полудню. Солнечный свет едва пробивался сквозь буранную пелену. Метель не прекращалась.

Шел второй мучительный день блужданий кочевников по буранной степи. Они ехали сквозь метель по бесконечному снежному пространству мимо незнакомых холмов, по глубоким ложбинам, оврагам. Не разговаривали. Каждый ушел в себя, мысль у всех была одна: когда-то ведь должен утихнуть буран. Он продолжался весь день. Стали через каждый час делать остановки, чтобы подкормить лошадей.

Наконец все решили, что надо попробовать ехать так, как советовал Баймагамбет: чтобы ветер дул не в лоб, а чуть сбоку. Если он прав, то отряд охотников ушел далеко в сторону от Карасу Есболата. И они могли оказаться возле самого дальнего джайлау тобыктинцев – Улкен Карасенгир. А возможно, они ушли намного южнее и проникли на земли рода Керей, которые уходили в беспредельные безлюдные степи. Пугающею была мысль: если все оказалось так, то на какое же расстояние они ушли в сторону от цели и сколько времени и сил понадобится теперь, чтобы выправить путь и добраться, наконец, до Карасу Есболата? Измученный разум кочевников, оголодавших, ослабевших, сосредоточен был только на этой мысли.

Теперь дальнейший путь определял Баймагамбет, он ехал впереди отряда.

Абай чувствовал, что он болен. Если быстрое движение, постоянная тряска в седле порой согревали его тело, то где-то глубоко внутри него засел леденящий колючий озноб. От него



расползалась по всему его существу нехорошая слабость. К вечеру, когда они вновь остановились передохнуть, Абай едва мог слезть с коня и, передав поводья Баймагамбету, тут же рухнул возле большого камня.

Его спутники тоже, спешившись, пристроились на земле, кто как мог. Никто ни с кем не разговаривал. Все были смертельно измучены. Каждый оставался со своими мыслями наедине.

Абая притягивала к себе земля. Одеревеневшее, бесчувственное тело раскинулось на ней, ощущая великий ее покой. Он подумал, что близится час его прощания с жизнью. Но на душе не было страха. Наоборот: какая-то облегчительная радость сопровождала его мысль о смерти. «Приди, забери и успокой», – почти с ликованием думал он. И вновь пришли вчерашние воспоминания: о бабушке Зере, о милой матери, о светлых днях его юности, о первой любви. Вчера эти воспоминания были грубо прерваны внезапно начавшимся бураном, а теперь они вернулись, и он лежит на земле, и, может быть, умирает, и прощается с милыми его душе людьми этого мира... Тогжан! Она тоже прощается с ним, оставаясь на земле. И бабушка Зере прощается с ним, давно покинувшая эту землю.

Абай сидел, прислонившись к холодному камню. И горькая скорбь, наконец, подкатила к его сердцу: «Неужели это мое прощание с теми, кого я любил на этой земле? Так ли уж близка моя смерть?»

Вдруг ему показалось, что он слышит слабый человеческий голос, чей-то далекий крик. Абай вздрогнул: наверное, он сходит с ума. Спутники его, каждый скорчившись по-своему, спали вокруг на снегу. И тут голос явственно послышался снова. Теперь Абай уверился: это был настоящий живой человеческий голос!

Абай вскочил на ноги. Он вдруг почувствовал, что совершенно здоров. Выпрямившись во весь рост, он выгнул грудь и трижды громко, протяжно крикнул в ответ. Измученные, ле-



жавшие на земле кони подняли свои головы и наострили уши. Ербол и два молодых джигита испуганно вскочили с места, разбуженные внезапным криком Абая.

Ербол бросился к Абаю:

– Что случилось, Абай, почему ты кричишь? – спрашивал он, схватив за плечи и тревожно глядя на друга, полагая, что он застал его в бреду горячки.

Но Абай отстранил его и возбужденно ответил:

– Кричите! Все кричите! Я только что слышал человеческий голос! Кричите громче!

Буран свирепствовал с прежней силой. Все четверо закричали вместе, потом прислушались. Наконец им показалось, что с подветренной стороны движется среди снежных вихрей в их сторону какое-то темное пятно. Четверо снова закричали, замахали руками. И в ответ донесся слабенький крик, относимый ветром. И вскоре из белой буранной круговерти, из дымящейся снежной мути вывалился и оказался совсем вблизи четверых путников всадник. Высокий джигит сидел на выбеленном снегом коне, сам весь обсыпанный с головы до ног снежными хлопьями. В поводу он вел за собой второго коня.

– Уа, живы ли вы? Живы-здоровы, милые мои? – радостно прокричал он, спрыгивая с коня.

И Абай первым узнал его по голосу.

– Абылгазы, родной! – вскричал он. – Айналайын, да неужто ты, Абылгазы? – кинувшись к нему, он порывисто обнял его. Это действительно был Абылгазы.

– Откуда?

– Как откуда? Разыскиваю вас! Аллах милосердный, дай нам всегда такую удачу! Разве мог я надеяться, что найду вас в такую бурю! Я просто места себе не находил, не мог сидеть спокойно, решил искать вас, чтобы хоть самому успокоиться! Не обморозились? Обессилели, наверное! Как ваши кони? Еще держатся? Скорее садитесь в седла, дотемна разыщем жильё, там и отогреетесь!



Веселый, бодрый его голос словно влил силы в измученных путников, Шаке и Баймагамбет побежали за лошадьми и вскоре привели их, успевших изрядно отдохнуть. Все вскочили в седла и тронулись за Абылгазы.

Они оказались недалеко от горы Машан. Теперь впереди скакал Абылгазы, с заводной лошадью в поводу. Рядом попевал, разговаривая с ним, Ербол. Абай, вновь ощутивший упадок сил, пустил своего саврасого, ничуть не потерявшего резвости за эти два тяжелых дня, вплотную за их лошадьми. После взрыва радости от встречи с Абылгазы Абай вроде почувствовал себя совсем здоровым, но теперь снова вернулись к нему слабость и дурнота. Все тело его ломило, будто избитое. Порою, когда он прикрывал глаза, ему казалось, что он стоит на месте, а горы и вся земля, тонущая в вихре степной метелицы, бегут мимо него. И выплывая из этого зыбкого состояния полубреда, Абай снова пытался разобраться в том, болен он или нет. «А может быть, меня одолел сон, и все это я вижу во сне? Или я на самом деле заболел?» – думал он. И тут же проваливался в какие-то зыбкие беспокойные грезы, изломанные половинчатые мысли. Изредка до его сознания доходили обрывки разговора Ербола и Абылгазы.

Ехавший вплотную к Абылгазы, Ербол льнул к нему и все спрашивал, жутко улыбаясь своим мохнатым от налипшего снега лицом:

– Нет, ты все же расскажи мне, как ты сумел разыскать нас? Тебе что – ведомо ясновидение? Разве обыкновенный человек отважится пойти один на поиски в такую погоду?

– Уж и не говори! Но сегодня можешь не называть меня человеком! Сегодня, братишка, я серый волк из этой долины.

– Так ведь и волк не выходит на добычу в такую погоду! Он рвет то, что попадет в близости от своего логова...

– Думаю, во мне совесть заговорила. Я все время хотел заглядывать свою вину перед Абаем за то, что помогал Жиренше разыгрывать его из-за беркута. А уже вчера около полудня



вдруг подумал, что вы можете заблудиться в метель. Утром я видел, как вы поднимались к Ботакану – смотрел с вершины Шакпака. И когда началась метель, вы остановились и стали совещаться. Если дальше вы не сбились бы с пути, то как раз мы встретились бы где-то за Жыланды. Но не встретились. И мне стало ясно, что вы сбились с дороги и заблудились. Не приметив, откуда подул ветер, направились на Коксенгир, в земли рода Керей, в степи без конца и края. А мы вовремя прибыли на Машан, в Карасу Есболата. Начался буран, стали кричать вам, голос подавать, чтобы вы знали, где мы находимся. Утром отправил свое кочевье дальше, на Машан, а сам кинулся разыскивать вас.

– И где ты думал нас найти?

– Поехал наугад, полагаясь на свое чутье. Я знал, что если вы будете держаться одного направления, привязываясь к ветру, то рано или поздно поймете, что заблудились, и потом отыщете правильную дорогу. Все равно выйдете к склонам Бугалы или Машана. Вот я и крутился целый день между горами. Перед вечером напал на ваши следы, но на открытых местах их уже замело. Тогда я взял направление наугад и поскакал, и все время подавал голос, всякий раз кричал через такое время, за которое успеет вскипеть чай.

– А не думал ты, что сам можешь заблудиться?.. Я тебе скажу, Абылгазы, ты не простой человек! На худой конец – ты, наверное, ясновидец-бахсы. Открой свою тайну, Абеке!

Абылгазы всерьез воспринял шутку. Он был кочевник, тысячелетние обычаи и верования народа были в его крови, он верил в гадания на бобах: кумалакши, гадальщики на кумалаках, имелись среди его предков. Но что бы там ни было, Абылгазы мог, если это было необходимо, в безлунную ненастную ночь найти в открытой степи какой-нибудь маленький одинокий кустик тобылги, намеченный заранее. В кромешную метель, когда и ушей коня не видно, Абылгазы выезжал в дальний путь и мог безостановочно ехать хоть неделю, причем следовал по ров-



ному, словно пущенная стрела, пути и всегда выходил точно к тому месту, куда следовал... Эту свою природную способность кочевник не называл ясновидением или шаманством, ему она не представлялась сверхъестественной. Он ехал и буднично рассказывал Ерболу о том, как действовал, чтобы найти их.

– То, что я не плутаю в степи или горах, – это не бахсы во мне подсказывает. Тайны тут никакой нет. А просто я научился этому у одного очень умного старика, он был слепой, и его звали Токпай. В любую погоду этот слепой старик в одиночку осиливал самый сложный перевал. Из аула в аул ходил всегда один, без поводырей. А ведь был совершенно слеп на оба глаза. О, Алла, он мог на расстоянии одного ягнячьего перехода найти дом в местности, на которой он никогда раньше не бывал! Когда я спрашивал: «Токе, как вы так можете ходить?», он отвечал: «Если ты ходишь, сообразуясь с приметам на дороге, я хожу, прислушиваясь к голосу ветра». И я в ночной дождь, в буран и снегопад хожу, как слепец Токпай. Я слушаю голос ветра. И это не ясновидение бахсы. А ветер бывает слышимый и неслышимый. На неизвестном пути, в тяжелое ненастье, надо положиться на неслышимый ветер. Вот и вся моя тайна. – Так говорил Абылгазы Ерболу на этой буранной дороге.

Остановившись, прервав разговор, Абылгазы подождал остальных и предложил им:

– Вы, джигиты, я вижу, продрогли до смерти на морозе. Не будем искать наши охотничьи шалаши. Но в ущельях Машана издавна располагались зимники аулов из рода Жуантаяк и рода Мотыш. Я думаю, мы скоро наткнемся на какой-нибудь из них. Надо мне довести вас до теплого жилья, посадить вокруг казана, в котором будет вариться мясо, и поручить ваши души заботам хозяев.

– Веди! Веди! – только и могли воскликнуть иззябшие путники. – Доведи до какого хочешь жилья! Теперь мы спасены!

И, благодаря Всевышнего, вверили свою судьбу Абылгазы.



Они уже довольно долго ехали по ущелью, поросшему мелколесьем, когда вдруг донесся до них далекий лай собак. Неопишуемая радость охватила измученных путников. Раздались истовые восклицания.

– О, Кудай милосердный! Слава тебе! Спасены!

– Жертвую тебе, Всевышний, белую овцу!

– Спаслись от неминуемой смерти!

Когда путники объехали березовую рощицу, заваленную сугробами, и выбрались на широкий простор горной долины, их встретил дружный лай множества аульных псов, гулким эхом отдававшийся в скалах ущелья... Абылгазы подстегнул лошадь, вырвался вперед и затем остановился, повернув коня боком к подъезжавшим. Абай и Ербол подскакали и стали рядом на каменном выступе. Внизу, на дне горного распадка, краснели огоньки в освещенных зимниках.

– Люди! Оу, люди! – вскричал Ербол, привскакивая на стремянах и призывно взмахивая рукой отставшим Шаке и Баймагамбету. – Славный аул! Благословенный аул! Не спит еще!

– Окошек светится много! Большое зимовье! Большой аул, богатый, наверное! Уж повезло нам, джигиты! – басовито воскликнул Абылгазы.

И, опять опередив других, он доскакал до первой зимовки, прыгнул с коня и принялся стучать в ворота.

Абай уже не помнил, как остановился, слез с коня. Поводья у него перехватил Баймагамбет, Шаке взял его под руку. Кони, люди, дома, дальние горы – все кружилось в глазах Абая, в ушах стоял звон, и он еле мог услышать отдельные слова из разговора своих людей с двумя джигитами, что вышли навстречу к ним. «Мотыш... Догал... Найман... Аккож...»

Шаке и Баймагамбет ввели под руки Абая в просторную гостиную в два окна. Мгновенно гостей обдало живительным духом теплого жилья, запахом вареной конины, сладким дымком овечьего кизяка, горевшего желтым пламенем в очаге. Гостей встретила пожилая прислужница, у очага стоял мужчина,



варивший в казане мясо. Какой-то из встречавших джигитов открыл дверь в соседнюю комнату. Хорошо освещенная, уютная, она от противоположной стены до самого порога была устлана расшитыми кошмами, полосатыми дорожками, на стенах были развешаны яркие узорчатые алаша. Первыми вошли Абылгазы, Ербол, шедшие впереди. Поздоровались с хозяйкой, что стояла справа, возле высокой костяной кровати, и прошли к тору.

С трудом перешагнув через порог, вошел Абай. Чуть сзади, поддерживая его, шел юный Шаке. Вначале, подняв глаза, Абай увидел лишь ярко-красный занавес справа, отгораживавший кровать. Краем глаза он заметил пышную перину, белоснежную подушку на костяной кровати. Высокая стопка сложенных одеял лежала рядом с подушкой. Медленно переведя непослушные глаза в сторону, вглядевшись сквозь болезненную пелену, он увидел перед собой хозяйку.

– Ах, душа моя! Ты? Это ты?! – вскрикнул Абай и пошатнулся, стал падать. Его подхватили.

Между изножием кровати и прямоугольной беленой печью стояла молодая женщина. Одета в светлое платье, в черном камзоле, в платке, надетом в виде кимешек для замужней женщины, она метнулась вперед, звеня тяжелыми шолпы, вплетенными в ее волосы.

– О, Создатель! Создатель! Неужели это Абай?! Боже все-милостивый! Ты дал нам увидеться снова! О, Абай, жаным, родной мой! – Так вскрикнула женщина и, бросившись к Абаю, упала в его объятия.

Оба замерли. Абай стоял, закрыв глаза, теряя сознание, и он исступленно хотел слышать эти звуки, еще и еще, – как звенят знакомые шолпы. Но звоны шолпы смолкли. Не в силах стоять, Абай тяжело навалился спиной на косяк. Женщина, обняв его за шею, плакала на его груди. Он тоже хотел ее обнять, прижать к себе, но не было сил даже поднять рук. И он ласкал ее нежным взглядом. Горло его перекрыло горячим комом, он



начал задыхаться и, закрыв глаза, стал медленно оседать на пол возле двери.

Ербол и Абылгазы, уже садившиеся на тор, быстро подскочили к нему и подхватили под руки. Подвели к почетному месту, усадили, прислонив спиной к стене. Шаке и Баймагамбет развязали ему пояс, сняли с него шубу, распахнули чапан на груди.

– Он замерзал... Измучился, – говорили его товарищи.

– Кажется, он заболел... Видно, у него бред начался...

– Оу, Куда, Куда! Что вы говорите? Неужели заболел?

– порывисто произнесла женщина и, быстро сняв с кровати подушки, заложила их за спину Абая. Расстегнув ему ворот бешмета, присела с ним рядом и рукой, с нанизанными на нее браслетами, стала трогать его распаренный лоб, растирать ему грудь. Абай медленно открыл влажные от слез глаза, взял ее руку со своей груди и прижал к глазам. Затем поднес руку к губам и стал целовать ее. И на теплую ладонь женщины за капали тяжелые, частые слезы джигита. Он едва слышно заговорил, и это были не слова, а шепот души:

– Моя Тогжан... Мне нечего больше желать... Я хочу умереть возле тебя. – Так было сказано Абаем в то мгновение, когда душа его готова была расстаться с телом.

Только теперь Ербол, сидевший рядом с Абаем, узнал Тогжан.

– Милая моя, жаным, душа моя! Что он сказал, о Боже? Неужели ты Тогжан? – радостно вскричал Ербол и бросился к ней. – Я ведь твой Ербол, золотая моя, айналайын! Ербол я!

Голос его прерывался, он плакал, всхлипывая, как ребенок. Тогжан тоже плакала, подняв к нему лицо, залитое слезами. Она крепко прижала к себе голову Ербола и рыдала, отчаянными глазами глядя на Абая.

Двое джигитов, сопроводивших гостей в дом, давно уже были в недоумении, наблюдая встречу Абая и Тогжан. Но теперь, когда они увидели, как Тогжан с такой же радостью



встретилась и с Ерболом, сразу же успокоились, решив, что гости – близкие родственники их невестки аула. Эти двое джигитов не были из семьи мужа Тогжан. Один из них был мулла, человек скромный, учтивый, с рыжими усами и бородой, другой – родственник из аула, разноглазый, с лукавым лицом, с оттопыренной губой, под который был заложен насыбай. Одет он был небогато, звали его Дуйсен. Этому джигиту обычно поручалось встречать гостей и ухаживать за ними. Разводя руками от удивления, они говорили юному Шаке:

– Апырмай! Так это что выходит? Вы, значит, родичи Тогжан?

– Мы-то гадаем, кого это Аллах послал нам в гости в такую страшную непогоду – а это ее родня!

– Ты только погляди, как она обрадовалась! Ойбай, до чего соскучилась по родному аулу! Разревелась, точно верблюжонок по матери! На то они и родные края, золотая колыбель!

– Уа, как она все это держала в душе!

Абай и Тогжан, не сводя друг с друга глаз, сидели, держась за руки. Но поговорить им не удалось. К Тогжан поминутно подходили то старая прислужница, то молоденькая келин, тихим голосом спрашивая ее распоряжений. Два молодых джигита внесли круглый раскладной стол и, поставив его посреди комнаты, перенесли на него масляную лампу.

Абай полулежал на подложенных подушках. Сняв сапоги-саптама, он остался в мягких ичигах, на нем был серый бешмет ногайского фасона, со стоячим воротником, сшитый из дорогого сукна. Из нагрудного кармашка черной жилетки, надетой поверх белой рубашки, свисала золотая цепочка от часов. На голове – черная тюбетейка с прямым околышем, пользующаяся большим спросом. Большой, широкий лоб Абая, обычно спрятанный от солнца и ветра под тымаком, отличался бледностью и холеностью от остального лица, обветренного и обмороженного. Глаза были опухшими и покраснели. Дышал он порывисто, в груди хрипело, щеки горели лихорадочным



румянцем. Он был в жару, но, казалось, забыл о своей болезни и не сводил восторженных глаз с Тогжан.

Тогжан теперь была еще красивее и привлекательнее, чем в те далекие годы. Черты ее лица обрели полную завершенность особенной красоты. Это была торжествующая красота зрелой степной женщины. Точеный носик с легкой горбинкой утратил былую нежную расплывчатость и теперь смотрелся безупречно. Но взгляд удлинённых, ярких глаз ее под ровными дугами бровей стал строже, холоднее, и от юного трепета и шаловливого веселья, которое так очаровывало когда-то Абая, мало что осталось. И ему с болью подумалось, что тоска несбывшихся надежд оставила на этом прекрасном лице свой печальный след.

Дом наполнился гомоном оживленных голосов, но больной Абай и Тогжан, оба в потрясении от встречи, не слышали, не вникали в происходящие разговоры, и только смотрели друг на друга.

Ербол, Шаке и Баймагамбет наперебой рассказывали мулле и Дуйсену о своих двухдневных блужданиях в буране, в результате чего оказались в этих местах. Призвав послушать и Тогжан, поведали о невероятной сметливости Абылгазы, благодаря которому остались живы.

Принесли чай, Тогжан подседа к столу и сама подавала гостям пиалы с густым чаем, начав с Абая. Он с трудом приподнялся с подушек, но от сильного головокружения вынужден был низко склониться вперед, опираясь на руки. Лихорадка бросила его тело в дрожь.словно издали донесся до него голос Тогжан: «Выпейте чаю, вам станет легче». Через силу он сделал несколько глотков, и не почувствовал вкуса чая. Он отдал назад пиалу и сидел, опустив голову на грудь, сжимая пальцами виски. Было ясно, что он тяжело заболел. Тогжан сильно встревожилась. Ербол обеспокоенно смотрел на друга.

– У тебя лицо горит, глаза слезятся. Абай, ты сильно простудился, тебе надо закутаться и лечь, – решил Ербол. – Выпей



горячего чаю, надень шапку и ложись. Тебе, брат, необходимо хорошенько пропотеть.

Тогжан тотчас привстала, надела на Абая тымак, накрыла его колени шубой и велела вновь налить ему чаю. Положила в горячий чай ложку коровьего масла, поставила перед ним чашечку с сахаром. Абай через силу выпил пиалу чая.

– Не пойму, что это со мной... Голова болит, разламывается, все кости ноют, во рту вкуса не чувствую... У меня сильный жар. – Сказав это, Абай снова сжал пальцами виски.

Подступила тошнота. Больше не мог сделать ни глотка. И, словно опасаясь, что может потерять сознание, торопливо прошептал:

– Боже милосердный... за что такие мучения... Это кара твоя, Кудай... Оказаться больным в такой час... Ведь я всю жизнь только этого и ждал...

Горе мучило его больше болезни, страдания души были намного сильнее телесной боли. Тогжан это поняла, и горькие слезы пролились из ее глаз. Абай в изнеможении упал навзничь на подушки. Стало понятным, с какими невероятными усилиями он до сих пор превозмогал себя. Тогжан укрыла его поверх шубы стеганым одеялом, аккуратно подоткнула края.

– Душенька моя... Драгоценная... Моя единственная, – прошептал он и, закрыв глаза, впал в забытие.

Всем показалось, что он уснул, решив отдохнуть до приготовления мяса. А его мозг в это время изнемогал от нескончаемых перемен горячечных видений и бредовых наваждений. Вдруг видел он суровое лицо Айгерим, склонившейся над ним. И тут же тройка саврасых уносила его в повозке по улице Семипалатинска. Держа на руке беркута, спускался на коне с отвесной скалы в ущелье Киши-аулие, внизу зияла бездонная черная пропасть. Конь срывается с крутизны, а он, слетев с седла, вместе с беркутом падает в эту бездну. Вздогнув и очнувшись на миг, приподнимает голову – и тут же роняет ее назад на подушку.



Улетая в новый бред, видит какой-то беспредельный красный мир, полыхающий в пламени, пустынное, красное огненное пространство. Он летит над ним. Внезапно оказывается среди бушующих стремительных волн, над которыми реют, трепыхаются отвратительные чудища, бесноватые твари. Они словно хотят убить его видом своего безобразия. Кружат над ним, беспомощно увлекаемым волнами, и заывают его на разные голоса: «С нами полетим! Будь одним из нас!» В изнеможении, он готов соединиться с тварями, но тут появляется Тогжан, схватывает его за руку: «Не оставляй больше меня! Я с тобой!» И она прижимается своим лицом к его лицу. Омывает его слезами. И он бормочет сквозь бред:

– Нет, не оставляю тебя, родная! Буду всегда рядом с тобой!
– и тут приходит в себя.

На него тревожными глазами смотрит Ербол:

– Апырмай! Заболел он, мечется в горячке! – говорит он. – Легкое ли дело – два дня и целую ночь блуждать по метели! Видно, прохватил его мороз. Застудил он грудь.

Абай стал срывать с себя одеяло, хриплым голосом бормоча: «Все горит! Всюду огонь! Убери, убери!»

Тогжан снова прикрыла его и, потрогав ладонью грудь, сказала:

– Тело у него горячее, руку жжет. О, Алла, сколько лет не видела его... и вот как встретились! Беспомощный, измученный...

Она тихо запричитала над ним, склонившись к его лицу:

– Не ты один, несчастный мой, но и я тоже – всю жизнь мучились одной и той же мукой. Не только твоя жизнь, но и моя без тебя оказалась ущербной. Одной мечтой жила: «Увидеться хотя бы раз...» Вот и увиделись. Что же ты, мой любимый, неужели решил еще добавить мне горя, и так горемычной и несчастной?

Тогжан что-то произносила вслух, не заботясь о том, что ее могут услышать другие, что-то нашептывала в ухо Абаю, бес-



помощно лежавшему перед ней, и плакала, плакала, не утирая своих слез. Словно убаюкивала его своим плачем.

Принесли мясо, но Абай есть не смог. Уносимому горячечным вихрем, ему было не до еды, он нуждался только в постели и покое. Ербол и Шаке раздели его до белья, вместе с Тогжан они стали переводить его на кровать, до которой Абай не смог пройти нескольких шагов: ноги его подломились в коленях. Его перенесли на руках и бережно уложили в постель.

Болезнь взялась круто, проходила остро, мучительно, тяжело.

Ночью, укладываясь рядом с Абаем, Ербол поделился с Тогжан своими тревогами.

– Он расхворался еще вчера, потом сутки мы мотались на конях по бурану. И на снегу спали. Сюда он приехал уже совсем больным. Я это понял, когда он слез с коня и упал как подкошенный. В степи он не замерз, но все равно – как бы беды не случилось. Что-то беспокойно у меня на душе.

Несмотря на смертельную усталость, как и у всех остальных спутников, Ербол всю ночь ухаживал за Абаем, почти не смыкая глаз. Тогжан чуть прикрутила огонь в лампе и ушла в дом родителей мужа. После полуночи Абай заметался в сильном жару, начал бредить, задышал тяжело, шумно. Тогжан, находясь вдали, почувствовала его муки и словно услышала его тяжелое дыхание. Она вернулась в гостевой дом, тихо вошла в дверь и, ступая осторожно, зажав руками шолпы, чтобы не звенели, подошла к постели Абая, села в ногах. Она не сводила глаз с лица любимого. Больной задышал с хрипом, тяжело. Тогжан приложила руку к его пылающему лбу и бесшумно заплакала.

Абая же снова мучили видения. Он вновь претерпевал страдания буранной ночи. Бешеная круговерть метели бушевала вокруг. Белый мир холода и снега хотел поглотить его. Но белизна эта не была чистой – страшным образом текла в этом мире мутным потоком белая грязь. Этот движущийся поток липкой грязи облепляет все тело, возносит его ввысь,



головокружительно раскачивает, а потом низвергает вниз, в бездну, и тащит куда-то с собой. Этот липкий, как клей, омерзительный поток обволакивает все тело, всасывает в себя и не отпускает, вот-вот поглотит всего – и нет никакого спасения, никто не поможет. Руки и ноги склеены, не шевельнуть ими. В отчаянии он кричит: «Да помогите же! Спасите!» И тогда снова предстает перед ним Тогжан. Но она не протягивает ему руку помощи. Остановившись рядом, говорит: «Спой песню. Ту самую песню, которую ты сочинил для меня». Он согласен, он хочет спеть песню, но никак не может вспомнить стихи, которые сам и сочинил. А Тогжан ждет, с нетерпением смотрит на него, требовательно взмахивает рукой. «Что же это была за песня? – растерянно бормочет он. – Какие были слова?..» – и вновь приходит в себя. И видит перед собой сидящую Тогжан, что-то спрашивающую у него с озабоченным видом. «Опять я в бреду!» – думает он и закрывает глаза. Но чувствует, что Тогжан ждет от него ответа. И оттого, вспомнит ли он слова песни, зависит самое главное: останется с ним Тогжан или навсегда уйдет. И тогда черная смерть настигнет его. Но слова песни не вспоминаются. Стихи не приходят на ум. Он не может воссоздать ни единой строчки. И хриплым шепотом говорит прильнувшей к нему Тогжан: «Куда... они ушли? Теперь я... снова потеряю тебя». И непонятно, сколько времени прошло, пока Абай, беспокойно ворочаясь в объятиях болезни, томясь и досадуя, пытался найти слова своей песни.

Женщина чувствует, что беспокойство бредящего Абая имеет отношение к ней. Исходя к нему великой жалостью и любовью, она ласкает его, гладит ладонью пылающее в жару лицо, прижимает его голову к своей груди, плачет и тихонько смеется от счастья: все же она еще раз встретила его в этой жизни.

Вдруг в воспаленном мозгу Абая словно молния сверкнула – пришли, пришли слова!



*Сияют в небе солнце и луна,
Моя душа печальна и темна...*

И далее все вспомнилось легко, ясно, радостно и дошло до последних заключительных слов четверостишия, которое пелось на мотив «Топайкок»:

*Мне в жизни не найти другой любимой,
Хоть лучшего, чем я, себе найдет она...*

Все эти слова Абай пропел, прохрипел голосом задышающимся, как прощальный свет угасающего дня, произнося слова невнятно, на последнем вздохе.

Тогжан все услышала, все поняла. Она сидела в темноте, тихо поглаживая ладонью лицо Абая, и горько плакала. Взяла обеими руками его руку, поднесла к своим губам и целовала.

– Свет мой ясный! Это же не твои слова, а мои! – говорила она, утирая слезы платочком. – Ты этими словами мое сердце раскрыл. О, несчастная моя судьба! Мне бы лучше умереть там, на родине, перед тобой, чем быть увезенной на чужбину, лишившись тебя! Почему в те дни ты не забрал меня, любимый мой?! – Эти слова ее были горьки и мучительны для Абая, мучительнее, чем его болезнь.

Тогжан долго плакала – тяжело, горестно, безысходно.

«Пить!» – еле слышно попросил Абай. И, как будто спавший, отвернувшись к стене, Ербол быстро и бесшумно вскочил, принес воды из кувшина, стоявшего в углу у печки. Абай припал к ковшику, но выпить много не смог, сделал несколько глотков, смочил воспаленные губы. После этого бессильно упал на подушки.

– Что со мной делается, Ербол? Меня разламывает на куски, – ясным, свежим голосом произнес Абай и, вздохнув глубоко, вновь забылся.



Дыхание его вырывалось из груди с хрипом, там как будто что-то разрывалось, клокотало, вспенивалось.

Всю ночь Абай метался в мучительном жару, в бреду. Ербол и Тогжан до утра не сомкнули глаз. Когда совсем рассвело, пришли люди и сказали, что в Большом доме уже встали, только тогда она поднялась и тихо покинула комнату. Баймагамбет, проснувшись, поднял голову, взглянул на уходящую Тогжан и не узнал ее. В лице ее не было ни кровинки, веки покраснели и опухли, она сама выглядела больной, смертельно изнуренной. В глазах ее застыло горе, словно она только что пережила смерть близкого человека.

Десять дней пролежал Абай больным в этом ауле. Опасной была вся первая неделя, когда он метался в жару, бредил, никого не узнавал, и друзья его, и Тогжан, и жители аула опасались самого худшего. Старейшиной аула был бай по имени Найман, причину появления у них неожиданных гостей он узнал со стороны, от своих. Когда на другое утро все путники, кроме больного Абая, явились в Большой дом отдать салем баю Найману, то поведали, кто они и откуда и по какой беде оказались в их ауле. Найман и его байбише приходили в приютивший путников дом навестить больного Абая и пожелали ему «скорее найти снадобье от болезни».

Аул отнесся сочувственно к беде Абая и его спутников, им были оказаны достаточные внимание и забота, однако какими-то путями проникли к аулчанам некие темные слухи насчет прошлого их невестки Тогжан и гостя Абая. Мулла с рыжей бородкой и джигит Дуйсен эти слухи посчитали досужими и неуместными, так как видели трогательную встречу истосковавшейся Тогжан с родичами. И тогда стали интересоваться, в каком родстве находятся Абай и молодая келин их аула, и выяснилось, что они в близком родстве не состоят, являются лишь дальними сородичами. Возникло подозрение: «ночное их пребывание рядом и странная близость, забота и внимание друг к другу – неспроста». Один из работников бая Наймана,



скотник Садыр, обычно ночевавший в доме Тогжан, без утайки рассказал свекрови Тогжан, что она всю ночь просидела возле постели больного и наутро ушла, вся заплаканная.

После этого Тогжан больше не допустили ухаживать за Абаем, в дом стала приходиться сама байбише Наймана.

– За сыном Кунеке я буду ухаживать сама. Кунанбай мне родич, ты мне тоже как сын, не чужая я тебе, могу своими руками поправить подушку, принести попить. Иншалла, ты только поскорее выздоравливай! Пусть наши заботы пойдут тебе во благо. – Так говорила высокая, сухощавая, с суровым лицом старуха. Взявшись быть сиделкой для больного Абая, в помощь себе взяла рыжебородого муллу.

После этого наступило ухудшение, и Абай три дня находился в беспамятстве. Теперь Тогжан не могла быть подолгу возле Абая, разве что – заглянуть на минутку. И байбише сразу же выпроваживала ее, говоря: «Ты иди, ухаживай за свекром, айналайын, будь в Большом доме, не задерживайся здесь, голубушка!»

Спустя несколько дней вернулся молодой мырза Аккожа, муж Тогжан, сын бая Наймана.

Среди тобыктинцев люди рода Мотыш, к которому относился аул Аккожи, отличались крупным, плотным телосложением, были они светловолосые, с голубыми глазами. Муж Тогжан как раз и был таким: рыжеволосый, массивный, с дородным телом, с ярко-синими глазами. Вздернутый нос его словно был обрублен на кончике, но эта курносость не портила его внушительного вида. С тяжелой челюстью, со слегка обвислыми щеками, широким лбом, молодой Аккожа казался человеком суровым, необщительным. Он ни разу не заговорил с гостями своего дома, казалось, даже не обратил внимания на них.

Его поведение удивило Ербола, Абылгазы и юного Шаке. Так не водилось в степи среди кочевников. Тогжан больше в доме не появлялась.



Спустя неделю болезнь начала отступать, исхудавший, обессиленный Абай стал приходить в себя. К нему вернулся спокойный сон, он начал хорошо есть. И как только Абаю стало легче, старая байбише начала заговаривать с молодыми Баймагамбетом и Шаке об отъезде гостей:

– Слава Аллаху, сын Кунанбая поправился, и вы больше не задерживайтесь здесь, дорогие мои! Аулы ваши уже на зимниках, совсем недалеко отсюда, будете переезжать от родича к родичу – и быстро доберетесь до дома. Скорее везите Абая к его матери, небось, тревожится о нем, извелась вся...
– Она ясно высказалась о том, что им надо уже покидать аул Аккожи.

Через три дня Абай решил уезжать. Накануне отъезда Тогжан пришла к нему ночью. Опустившись возле его постели на колени, она разбудила его. Проснувшись, Абай порывисто устремился к ней и обнял ее. Но она мягко, решительно высвободилась из его объятий.

– Абай, я пришла проститься с тобой, – сказала она, положив руку ему на плечо. – Хочу сказать тебе все, что у меня на душе.

Но Абай не захотел ее слушать и снова попытался страстно обнять ее. И вновь она отстранилась.

– Айналайын, что с тобой? О чем ты хочешь сказать в такую минуту? Разве мы чужие друг другу? – сказал Абай.

Тогжан печально заговорила, держа его за руки:

– Судьба не захотела соединить нас. Если бы ты приехал сюда за мною здоровым и благополучным, я пошла бы за тобой, чтобы вернуть себе то счастье и утешение, что было отнято у меня. Но, видно, не сбыться моей мечте – ты пришел больным, слабым, умирающим, и не до возвращения чувств любви нам было. И, наверное, не для того судьба позволила нам увидеться. Сердце, которое любит, не может утешиться радостью, полученной украдкой. Я поняла это и решила не тревожить чувств моего мужа. И еще я поняла за эти дни,



родной мой Абай, что пусть судьба и наложила запрет на наши чувства, но мы остались верны своей любви, мы пронесли ее через всю жизнь – и унесем с собой в могилу. Она уйдет с этой земли вместе с нами – чистая и незапятнанная.

Абай, опечаленный, воспринял ее слова всем сердцем.

– Ты сказала все – за себя и за меня. В твоих словах я слышу безутешную печаль – это и моя печаль. Ты во всем права, твое сердце знает истину, в нем царит чистота, иначе ты не была бы моя Тогжан. И не пристало мне домогаться иных чувств, чем те, которые исходят от этой чистоты. Спасибо тебе за искренность! За честность истинной любви. – Так сказал Абай, прощаясь с Тогжан.

Он поцеловал ее в лоб и, склонив голову, закрыл ладонями свои глаза и так и оставался сидеть, пока Тогжан не вышла тихо из комнаты. Услышав шорох и тихий стук закрывшейся двери, отнял руки от лица и отчаянными глазами посмотрел на дверь. Он просидел на месте до утра, и до самого рассвета в темноте проливал бесшумные горькие слезы. Порой он едва слышно всхлипывал, дрожа всем телом, вздрагивая широкими плечами, покачиваясь, словно могучее дерево, заливаемое потоками сильного весеннего половодья...

По возвращении с охоты Абай поселился в своем новом зимнике Акшоки. Всю зиму он просидел над книгами. Баймагамбет несколько раз съездил в город, привозя полные коржуны с книгами. Они теперь были для Абая единственным утешением для души. Айгерим больше не была возмутительницей покоя этой души.

После возвращения мужа с охоты она узнала, что целых десять дней он находился в ауле Тогжан. Ни словом она не обмолвилась мужу, что знает об этом, и глубоко затаила в своей скрытной душе ревность и обиду. Первый удар ее безмятежному счастью, нанесенный вестями о Салтанат, с прошлой весны охладил ее чувства к Абаю. Эта первая размолвка выявила их человеческое различие – даже не объяснившись достаточно,



они впали во взаимное отчуждение. Встреча же Абая с Тогжан совсем отбросила Айгерим от мужа.

Абай ясно понимал причины ее отчуждения и хотел говорить с женою о Тогжан, но что-то удерживало его от этого разговора. Оказалось, что он не может раскрыть свою душу перед Айгерим. Душа его сторонилась замкнутости и отчужденности Айгерим.

И теперь единственной утешительницей этой души, подвергшей себя жестокому запрету касаться всех обольщений юных дней и всяких воспоминаний о былом счастье, – была для Абая книга. Только книга.

ПЕРЕВАЛ

1

Было начало апреля. Зима в этом году закончилась рано, обнажившаяся земля исподволь покрывалась дымчатой зеленью. Прошел весенний окот мелкого скота, и на пастбища тянулись из аула козы и овцы, погнаться на прошлогодней траве и пощипать зеленой нови, а вслед за ними, уже к вечеру, на ближайšie пригорки выгоняли вереницы ягнят и козлят. Жители аула Акшоки еще оставались в зимниках, и только белая юрта Айгерим да рядом серый очаг Башея и Злихи стали на зеленой лужайке, недалеко от зимних домов.

С этой весны взялась у Абая ежедневная привычка – выходить вместе с Баймагамбетом на холмик, что с тыльной стороны зимовья, и там просиживать, среди колышущихся на ветерке метелок прошлогоднего ковыля, часок-другой за спокойными разговорами. Порой к ним присоединялись соседи по зимовью, присматривавшие ягнят-козлят на ближайшем к аулу вечернем пастбище. Вот и сегодня, подъехав на конях к холму, спешившись в виду недалекого стада, к ним поднялись Байторы, Байкадам, сели рядом, а вскоре ко всем присоединился и мулла Кишкене. Пастухи знали, что Абай в эти часы ведет с Баймагамбетом интересные разговоры, и им хотелось их послушать, мулла же Кишкене и сам был непрочь принять участие в разговоре.

Байторы в прошлом проживал «соседом» в ауле Кунанбая, всю жизнь работал на него, пока не заполучил сильнейший прострел в поясницу и перестал быть нужен старому хозяи-



ну. Абай переселил его с семьей к себе, вылечил, и дал ему, наконец, почувствовать себя человеком. Старого доильщика кобыл Буркитбая он тоже взял к себе, когда тот с пораженными болезнью руками был изгнан Такежаном из его аула. А старый батрак Байкадам, также больной и немощный, обошел многие аулы Кунанбая, но, наконец, сам попросился к Абаю, и Абай его принял. Верный нукер Абая Баймагамбет давно перешел жить к Абаю вместе со всеми многочисленными младшими братьями, терпевшими раньше большую нужду, – теперь Баймагамбет был самый надежный сосед Абая, хозяин, крепко стоявший на ногах.

И непредвиденно получилось, что аул Абая стал оазисом милосердия, в котором нашли спокойное убежище престарелые бедняки, промыкавшие жизнь «соседями» у баев. Здесь нашли они не только приют и помощь на старости лет, но и сердечное внимание и доброе отношение к себе со стороны Абая. Он всегда с большой искренностью общался с этими мудрыми, старыми людьми, прожившими истинно большую трудовую жизнь, охотно слушал их непродуманные поучительные рассказы из жизни. И всегда предпочитал больше слушать, чем говорить самому.

На этот раз повел беседу Баймагамбет. Сидя напротив Абая, он с невозмутимым видом говорил пастухам:

– Вот, послушайте. В стране Недерлан, в городе Лейден, был суд, который назывался *Ынквызыц...*

В минувшую зиму, когда по вечерам Абай рассказывал Ерболу, своим детям и мулле Кишкене о прочитанных им книгах, Баймагамбет всегда был рядом и внимательно прислушивался. С одного раза он запомнил любой роман с множеством запутанных действий и со всеми действующими лицами, не забывая ни про кого, а потом с увлечением часами пересказывал многочисленным слушателям – пастухам, дояркам овец, скотникам, домашним прислужницам, их чадам и домочадцам. Слава о замечательном рассказчике Баймагамбете облетела



не только аулы Акшоки и Корык, но и окрестности, от Чингиза до Семипалатинска. Сейчас он начал пересказ одного большого романа, в котором повествовалось о зловещих событиях, происшедших во времена средневековья в европейской стране «Недерлан».

Близился закат солнца. На холм пришли, вслед за муллой Кишкене, дети Абая, – Акылбай, не поехавший к Нурганым в аул Корык, мальчик уже большой, почти юноша, и Абиш, учившийся в домашней школе Абая, и Магаш, общий любимец, очень способный, умный ребенок. И дети, и взрослые, слушавшие рассказ Баймагамбета, были словно зачарованы этим странным повествованием о чужедальной старине, звучавшем в час багрового заката, под шелест прохладного ветра, пробегающего по метелкам прошлогоднего ковыля. Обратившись в слух, глядя на уста рассказчика, слушатели не заметили, как к их холму на полном скаку приближался какой-то всадник.

Когда вестник, спрыгнув с коня, поднялся на холмик, Абай узнал в нем Асылбая, табунщика из большого аула в Жидебае. Его гнедая лошадь была вся темной от пота. Оказалось, он возвращается из Семипалатинска в аул байбише Улжан. После взаимных приветствий Абай спросил, какие новости, *хабар*, везет с собою Асылбай. И тот сразу же всех чрезвычайно удивил, сказав:

– Вы что, ничего еще не знаете? В город пришла страшная весть: умер белый царь, который правил нами. И не просто умер – его убили, говорят! Из ружья застрелили, вот как!

Кишкене-мулла прикрыл глаза, зашевелил губами, потом провел ладонями по лицу и бороде. Глядя на него, старик Байторы тоже поднял руки и прикрыл глаза, хотя и не знал, какую молитву надо читать по такому случаю. Абай приступил с вопросами к посыльному:

– Откуда хабар? Где ты слышал? Кто убил царя? Когда?

– Оу, наверное, с месяц назад. Теперь об этом говорит весь Семипалатинск. Русские уже давно отслужили в церкви,



в мечети тоже прошел поминальный намаз. На трон сел сын царя, убийцу, говорят, поймали. А в Семипалатинске поднялся большой переполох, всех заставили присягу принимать. Это весь хабар, больше ничего не знаю.

Вместе с вестью «убили царя» Абаю сразу же вспомнился его друг Михайлов. И Абай понял, что выстрел в царя прозвучал и сотряс, наверное, всю Россию. Нашлись люди, способные на беспредельные дела и поступки, и это, должно быть, не простые люди. Задумавшись обо всем этом, Абай ушел в себя. Между тем старики Байторы, Дархан и вместе с ними мулла Кишкене убийство чужеродного царя восприняли как ужасное злодеяние. Каждый из них старался выразить свое возмущение по этому поводу.

– Оу, как же это получается? Обычно по велению царя убивают преступников, а тут, выходит, можно убить и самого царя?

– Астапыралла, у этого убийцы, видно, сердце как у льва? Кто же решился на такое дело?

– Нет, он не из простых, этот убийца! Я думаю, что если он не из царской семьи, то, по крайней мере, из тех, кто стоял близко к нему. Видимо, из тех, которые мечтают о могуществе и считают: «Чем я хуже царя?» А простому человеку – зачем противостоять царю? Что, других мало, с кем можно бы почитаться?

– Е, я вам скажу, все равно это оказался бесстрашный ба-тыр!

По лицам сидевших на холме в багровом свете заката разговаривавших кочевников и не видно было, чтобы они сильно переживали смерть царя. Их больше интересовал тот, кто осмелился на такой беспримерный по смелости шаг, и то обстоятельство, что в этом мире можно, оказывается, убить и самого царя, словно зверя подстрелить. Мулла Кишкене покачал головою, с накрученной чалмой, и молвил поучительным тоном:



– В шариате прописано, что всем народам надо заботиться и поклоняться тому, кто является султаном или ханом страны. Приверженцем какой бы веры ни был народ, но царь, поставленный над ним Всевышним, есть царь, и сказать тут больше нечего. То, что произошло, – это прискорбное событие. Недоброе предзнаменование! Народ в царстве теряет всякие нравственные устои! А это придвигает к самым порогам наших очагов неминуемый конец света! – Так закончил свою назидательную речь рыжебородый мулла.

Абай, услышавший последние слова Кишкене-муллы, лишь усмехнулся в сторону и молча поднялся на ноги.

– Там, где большое насилие, всегда возникает и большое злодеяние, дорогой молдеке, – сказал Абай. – Что вы можете предполагать здесь, сидя на горке? Какая сила, какой гнев могли водить рукой человека, который решился стрелять в самого царя? – сказав это, он неторопливо зашагал в сторону аула.

По дороге он сказал Баймагамбету:

– Баке, ты завтра отправляйся в Семипалатинск. Не хочу оставаться в неведении по поводу такой новости. Свезешь мое письмо в город, привезешь ответ, и сам тоже постарайся узнать как можно больше об этом событии.

Письмо Абая было к Михайлову. Из города через три дня Баймагамбет снова привез коржун книг и ответ от Михайлова, а также газету «Областные ведомости», которую выпускала генерал-губернаторская администрация в Семипалатинске. В ответном письме Михайлов написал: «Излагаю события, ссылаясь на официальные сообщения. Первого марта в Петербурге между часом и двумя часами дня в царя, возвращавшегося с прогулки во дворец, стреляли люди, ожидавшие его в засаде. Доставленный в Зимний дворец, царь вскоре умер от полученных ран. Говорят, что некоторые из организаторов покушения схвачены. И это сообщение соответствует истине, ибо об этом своей телеграммой в тот же день – первого марта – сообщил всему народу министр внутренних дел генерал-адъютант



граф Лорис-Меликов. Вторым таким сообщением, письмом-циркуляром от министра иностранных дел статс-секретаря Гирца, были оповещены иностранные государства».

Евгений Петрович сообщил и другие, сугубо городские, новости: по приказу краевого генерал-губернатора городской голова Семипалатинска, собрав весь военный гарнизон города, второго марта провел панихиду по умершему царю, затем привел к присяге новому царю Александру Третьему всех, начиная с солдат и младших должностных лиц. В письме Евгений Петрович также сообщал, что сам он уволен со службы без разъяснений, секретным распоряжением. «Вот какие у нас творятся дела, дорогой Ибрагим Кунанбаевич. А не мешало бы вам самому приехать в город и разузнать все на месте, а не через вашего Баймагамбета. Как ни хороша ваша жизнь в Акшоки, но и про город не забывайте!»

Ни одна семипалатинская газета не смогла бы так хорошо осведомить Абая об этих событиях, как письмо Михайлова, газеты были на удивление немногословны по поводу такого трагического события всероссийского значения. А ведь по поводу несравнимо более мелких событий газеты поднимали шумную трескотню, отпускались язвительные насмешки, захлебывались в угрозах. Что случилось с властями? То ли нос себе разбили о камень, то ли просто растерялись, словно их стегнули по глазам плеткой.

Получив письмо, Абай на следующий же день отправился вместе с тем же Баймагамбетом в Семипалатинск – он внял совету Михайлова. В лицо дул легкий свежий ветерок, земля уже хорошо подсохла, степная дорога установилась, грязевые потоки и ямы исчезли. Округлые холмы и длинные увалы, покрытые самой свежей дымчатой зеленью, дышали радостью новой весны. Низкорослая полынь, широчайшие ковры степных тюльпанов, кусты таволги, на которых только что раскрылись почки, покрывали плавно бегущие к горизонту степные взгорья. Попадавшие на пути, от Акшоки до Семипалатинска,



многочисленные озерки были окаймлены зеленым шелком новых трав.

В путь отправились на тройке саврасых, добротных, хорошо ухоженных заботами Баймагамбета коней. От самого дома и до города он гнал их ровной, размашистой рысью, и такая езда в повозке не утомляла путников. Колеса весело перестукивались на твердой дороге. Подгоняя длинным кнутом лошадей, Баймагамбет продолжал прерванный приездом Асылбая пересказ романа, чтобы Абай выслушал его и поправил бы в тех местах, где он ошибется, или добавил бы то, что он забудет. Но добавить Абаю было нечего, он лишь поражался тому, с какой точностью запоминал его нукер очень сложные, запутанные романские ходы и многочисленные сюжетные околичности.

Баймагамбет «выдавал роман» *«Черный век и Марта»*, героем которого был замечательный джигит Дик. У Дика была своя вера, преследуемая властями. Был у него друг и единоверец, отважный великан – батыр по имени Красная Борода. Имело место коварное соглядатайство и жестокость палачей инквизиции, порождения Черного века. А отважная девушка, хитроумная Марта, являлась с самого начала как ненавистница инквизиции и всего Черного века – она сторонница Дика, спасающая его от инквизиции. Ибо кровавый суд города Лейден преследует Дика и Красную Бороду, желая расправиться с ними, и в этом суде инквизиторов сидят совершенно безжалостные служители той религии, которая именем Бога отправляет на мучительную смерть немало народу, подвергает ни в чем не повинных людей неслыханным пыткам. В романе имелось много туманных, чистых грез, много молодой пылкой любви, непорочной и прекрасной, как игра лунного света на поверхности ночных вод. И была коварная соперница, предательница, чье сердце подобно глухому подземелью, в котором прячутся злые силы Черного века.

В передаче Баймагамбета каждый персонаж являл свое лицо и свой характер, говорил своим языком и представлял



перед слушателями в связи с тем тайным замыслом, который имел в виду сочинитель романа. Баймагамбет тут не стремился стать выше или умнее автора, но старался как можно точнее передать все придуманные им детали, не выпуская из виду ни одной, не выходя из русла повествования.

Прежние его пересказы казахских сказок, отдельные сказки из «Тысячи и одной ночи», устные повторы персидских «Сорока павлинов», тюркских «Бактажар» он сам считал уже пройденным уроком, почти не возвращался к их исполнению. Таким образом, передавая другим то, что внове услышал от Абая, он словно внушал им: «Баймагамбета вы еще не знали... Теперь вот послушайте это, и будете знать...» Баймагамбет чувствовал, что он интересен и нужен людям, и стал ценить и уважать то место пересказчика возле Абая, которое сам и создал. Из восточных сказаний он рассказывал чаще других о Рустеме, Джамшиде, о Шаркен, о трех слепцах, о Сейтбаттале, а также и казахские легенды о Едиль – Жайык, Жупар – Коррыга и Ер-Тостик. Они словно были навсегда вписаны в памяти Баймагамбета и стали постоянными книгами в библиотеке его живого сознания. В любое время дня и ночи он мог начать свое выступление с любой из этих «книг» и мог вести повествование, сменяя одно произведение другим. До времени, когда сварится мясо, он мог рассказать одно, что-нибудь из казахской старины, а после трапезы мог хоть до утра продолжить пересказом какого-нибудь длинного и сложного европейского романа – вплоть до утреннего чая, – и в общей сложности часов пять-шесть кряду. Таким образом, он поведал своим слушателям в доступной и приятной для них манере свои любимые русские «романы» – «Петр Великий», который стал звучать у него как «Петр Пелекей», «Дубровский», «Сохатый», и заграничные – «Валентин Луи, или Чистое сердце», потом – «Ягуар», «Хромой француз» и, наконец, последнее пополнение «библиотеки» – захватывающий внимание слушателей «Черный век и Марта».



Баймагамбет никогда не учился грамоте – ни по-арабски, ни по-русски, но запоминая все, что прочитывал Абай и затем пересказывал ему, он как бы стал образованным человеком, и безо всякой грамоты. А природный дар великолепной памяти, что помог ему создать бесценное хранилище устных книг, преобразил самого Баймагамбета, и он с годами стал выглядеть как почтенный ученый человек или как маститый исполнитель-жырау.

Теперь, слушая его, Абай улыбнулся и пришел к мысли, что Баймагамбет, пожалуй, выглядит отнюдь не как его нукер и конюх, но как случайный спутник, выходец из каких-то чужедальних стран, а не из родного степного края. Широкая раскидистая рыжеватая борода, насупленные густые брови, орлиный нос – Баймагамбет и впрямь не походил на степного казаха, кочевника бескрайней Арки. А когда он с жаром принялся рассказывать, как батыр Красная Борода с беспримерным мужеством, презрев всякую опасность, успешно освобождал плененного Дика, то было видно, насколько близко чувства самого Баймагамбета отважной самоотверженности Красной Бороды. Сейчас Баймагамбет был столь же прям и несокрушим в борьбе за правду, и даже под угрозой смерти он не позволил бы себе криводушия, лживости или вероломства. Баймагамбету ныне можно было доверить любую тайну, и он свято сохранит ее, надежней родного брата. А вообще-то джигит так изменился под воздействием таких новых друзей, как Красная Борода, что его было не узнать. Баймагамбет стал настолько человеком прямым, непреклонно честным и беспощадно правдивым, что второго такого во всем Тобыкты было не найти. Хранить тайну, быть верным данному им слову он мог непоколебимо, беззаветно и твердо. Хоть голову ему руби – он не станет выдавать друга. Айгерим как-то зимой сказала:

– Баке умеет крепко хранить тайны Абая! Я спрашиваю у него, что, мол, говорил Абай сегодня утром нашему сыну Турашу, а он отвечает: «Оу, откуда мне знать, спроси у него самого».



И она, всегда очень верно определявшая людей, убеждала Абая в следующем:

– Он много наслышался от вас о русских, от этого, оказывается, и сам захотел походить на них. Он уже не хочет, как казах, говорить велеречиво да прятаться по закоулкам ума, а говорит все как есть, прямо в лицо, если даже человеку от этого не по себе и он сгорает от стыда. Наверное, русский человек, благородный и честный, должен так вести себя!

Абай понимал, что кроется за словами Айгерим, но и, понимая, как необычно воздействуют на его нукера Баймагамбета русские книги, которые он ему пересказывает на досуге, Абай в душе оставался доволен этим. И впервые задумался над тем, как на него самого, читающего эти книги, они воздействуют, в смысле воспитания чувств. Он признавался про себя: «Я раньше не замечал, как книги воздействуют на меня. Также я увидел, как сильно воздействуют они на молодого Баймагамбета. И словно самого себя увидел в зеркале – ведь я тоже далеко ушел в сторону от многих наших родных закоулков. Но Баймагамбет моложе меня, он не прошел и половины того пути, который уже прошел я...»

Не стал ничего об этом Абай говорить своему молодому спутнику. О том, что он – зеркало, в котором отражаются перемены самого Абая. Быть может, зеркало кривоватое. Нет, говорить это Баймагамбету означало бы обидеть его. И Абай предпочел молча слушать и созерцать это странное преломление в другом человеке тех знаний и жизнеощущений, которые он сам добывал через огромную работу с русскими книгами... По окончании пересказа романа Абай обошелся тем, что подправил некоторые искажения в содержательной канве да придавал большую выразительность некоторым разговорам, выявляющим характеры Красной Бороды и его благородного друга Дика.

Первую остановку на отдых они сделали в Кушикбае. Подкрепились взятыми из дому припасами, затем отправились



дальше и ехали без остановок до самых ворот дома Тыныбека. Туда постучались уже в поздние сумерки, в час, когда люди готовятся отойти ко сну.

В этот приезд в Семипалатинск Абай встречался с Михайловым гораздо чаще, чем раньше, и беседы их стали намного продолжительнее. Теперь Евгений Петрович не служил, а потому они могли видаться в любое время. Встретил он Абая как близкого друга. О многих сторонах главной новости, о чем не мог написать Михайлов в письме, теперь он рассказал Абаю при встрече. Рассказал, что попытки убить царя были и раньше, поведал степному другу о том, из какой среды русской жизни берутся люди, которых даже смерть не страшит в их борьбе с царем. Рассказал о Желябове и о смелой русской девушке Софье Перовской, что их недавно повесили в Петербурге. И на этот раз, когда убийство царя произошло, власти были сильно напуганы. Правительство наконец-то обратило внимание на положение и нужды всего народа, обозначив в Манифесте ряд хозяйственных и общественных вопросов, касающихся низких сословий.

– В Манифест попало даже такое слово, как «социальный», – усмехнувшись, сказал Михайлов. – Для царских уст – это невозможное, страшное слово! Однако оно сказано, а это значит, что они напуганы, что революции опасаются серьезно! Царский трон зашатался!

Абай хотел знать все, он жадно расспрашивал Михайлова о революции, о значении ее для народа, о ее целях. Несмотря на то что, он чувствовал, его вопросы звучат наивно, Абай не стеснялся спрашивать.

– Евгений Петрович, если правительство напугано, как вы говорите, то отчего же оно не делает послабления ссыльным, таким как вы? – задал Абай вопрос. – Почему чиновники в Семипалатинске не изменяют отношения к вам? Они должны бояться вас. Вместо этого губернатор увольняет вас со службы! Как же так?



Михайлов лишь улыбнулся, развел руками и оставил вопрос Абая без ответа. И лишь спустя некоторое время ответил:

– Ибрагим Кунанбаевич, когда борьба уже разгорится, вдруг выясняется, что борющиеся мало что знают друг о друге. Меня действительно тут мало знали, когда брали на службу. Было известно, что я фигура не очень значительная и не очень опасная. Я был сослан на третьем курсе университета. А работу я получил потому, что в том была большая нужда в администрации: им нужен был статистик, а такового здесь, кроме меня, не оказалось. Из столицы пришло предписание: наладить статистическую службу, а как это сделать, местные чиновники и понятия не имели. Я же интересовался статистикой еще в университетские годы, изрядно преуспел в этой науке, и здесь, когда мне предложили место, я с удовольствием согласился. Все, не буду скучать, сказал я себе, почему не попробовать. Но потом, когда начал деятельность, я увлекся и нашел для себя много интересного! Видно, таким я уродился, Ибрагим Кунанбаевич, не могу я к любой работе относиться по-казенному! Занимаясь чисто статистикой, я вдруг обнаружил всю сложность хозяйствования и трудовой деятельности у вас, в ваших степных краях. Мне открылась ограниченность этой деятельности, отсутствие путей для прогрессивных начал, и я задумался о возможных рекомендациях и разработках... А тут, бац! – события в Петербурге, и в глухой провинции единственного статистика Михайлова отстраняют от должности... За что, почему я вдруг утратил их доверие – разве можно понять? Нет, мы не понимаем друг друга. Однако хоть я и остался не у дел, статистику не собираюсь бросать, и начатое дело буду продолжать самостоятельно. Тешу себя надеждой, что напишу книгу, которая будет полезна вашему народу, Ибрагим Кунанбаевич. – Так закончил Михайлов рассказ о себе и замолк, с тихой улыбкой в своих добрых глазах.

Абай попросил его рассказать об истории борьбы русских людей с царизмом в России.



И Михайлов поведал ему о далеких истоках этой борьбы, начиная с пушкинских времен, с декабристов, и далее, перейдя ко временам Белинского, Герцена, а потом и о современной народнической борьбе под влиянием Чернышевского. Рассказал о выстреле Каракозова, первым из народников попытавшегося убить царя. О том, что Каракозов был повешен, а его сподвижники замучены и казнены. Рассказал про Ишутина, двоюродного старшего брата Каракозова, который руководил группой боевиков, о том, что, не вынеся истязаний, Ишутин сошел с ума, и сумасшедшим отбывал наказание в Сибири, где и умер, всего лишь два года назад.

Абай соболезнавал братьям, особенно младшему, Каракозову, который стрелял почти в упор и не смог попасть в цель.

– Ну что за бедолага! Какой невезучий! Царя не убил, а на виселицу попал!

От Михайлова же Абай узнал о том, какие страшные зинданы приуготовила царская власть врагам-бунтовщикам, революционерам и заговорщикам, Абай запомнил их по названиям: Шлиссельбургская тюрьма, Алексеевский равелин, Александровский централ в Иркутске. Эти царские зинданы были подлинным адом на земле, где ужасными пытками и истязаниями вынимали души из людей.

– Не думайте, Ибрагим, я не самый большой из революционеров, – говорил Михайлов. – Какая может исходить опасность от революционера возрастом двадцати двух лет, слушателя на третьем курсе университета? С таким, как я, власти не очень-то возились. Но у русской революции был идейный вождь, это Чернышевский. С ним обошлись намного суровее. Чернышевский пропадал на каторге в Якутском крае, в проклятом Богом местечке Вилюйске. Вы, Ибрагим, пришли ко мне в удачное время! Только сегодня я получил из дома письмо с сообщением, что Чернышевский возвращен в Россию, поселен в Астрахани.

– Евгений Петрович, раз главному человеку революции сделали послабление, то почему не могут сделать то же самое в отношении вас?



Михайлов без улыбки, серьезно посмотрел на Абая и сказал:

– Я рад, конечно, за Чернышевского. Но это всего лишь коварная уловка царизма, чтобы не будоражить народ.

Абай спросил, можно ли Чернышевского считать вдохновителем цареубийц, на что получил ответ:

– Чернышевский не имеет никакого отношения к убийству царя.

– Ну, сам он не имел, конечно, но его идеи, слова?

– Ни мысли, ни слова его не имели отношения к убийству царя, – повторил Михайлов. – Сделавшие это люди неверно поняли революционные идеи Чернышевского. Убийство одного человека, пусть даже и царя, – это не тот путь, к которому звал Чернышевский. Он призывал к борьбе против царизма широкие массы крестьянства, старался пробудить миллионы людей. Он написал известное обращение «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», в виде прокламаций оно было распространено в народе. Вот там он призывает крестьян взяться за топоры и расправиться со всем царским строем, а не с отдельным царем. В этой же прокламации говорится, что свобода в стране означает полную и всеохватную власть народа. А многочисленные чиновники пусть будут подчинены народу.

Абаю все это показалось правильным, справедливым и неоспоримым. Только сам народ может покончить с произволом и жестокостью властей, вступив с ними в борьбу. И долг истинного сына своего народа – пробуждать его к этой борьбе!

Великое удивление Абая вызвал рассказ Михайлова о гражданской казни Чернышевского в Петербурге, на Мытнинской площади. Он подробно рассказывал об унижительном ритуале казни, через который прошел этот известный на всю страну народный вождь 31 мая 1864 года.

Позже, когда Абай встречался и беседовал с адвокатом Андреевым, тот, на восхищенные выражения признательно-



сти Абая к Михайлову, рассказавшему ему о Чернышевском, спросил у него:

– А он рассказывал вам, Ибрагим, об одном особенном событии в тот день, на Мытнинской площади? Говорил ли вам Евгений Петрович о своей старшей сестре?

– Нет.

И Андреев поведал Абаю то, чего из скромности не рассказал ему Евгений Петрович.

– В таком случае послушайте. Перед зачитыванием приговора из толпы к эшафоту подходит молодая девушка, бросает к его ногам букет цветов и выкрикивает: «Прощай, друг!» Эта девушка была старшей сестрой Евгения Петровича.

Только теперь, вспоминая свои встречи с Михайловым и все его рассказы о революционном движении в России, Абай вспомнил, что меньше всего в этих рассказах присутствовало сведений о его собственных жертвах и страданиях, понесенных ради народного дела. Оказалось, что революции отдали всего себя, и даже свою жизнь, многие из семьи и близких Михайлова. А одна из них – родная сестра, Мария Михайлова, стала известна на всю Россию, и ею гордился русский народ.

Чтобы чаще и без всяких помех встречаться с русским другом, Абай перешел от свата Тыныбека к своему старому знакомцу, татарину Кариму на другом берегу Иртыша. В виду островков на Иртыше, густо заросших зелеными деревьями, Абай и Михайлов вольно прогуливались по высокому берегу реки. Иногда они брали лодку, отправлялись на Полковничий остров и, уединившись там, беседовали долгими часами. Михайлов был старше Абая всего на четыре года, но его жизнь, полная сложных событий и прошедшая в бесконечных мытарствах по свету, вся отданная большому общественному делу, сделала из него настоящего мудреца и мыслителя, в котором Абай видел героя какого-то ненаписанного величественного дастана.



Однажды Абай подумал, что если у народа есть такие могучие батыры духа, как этот скромный Михайлов, то этому народу присущи, должно быть, великие силы и мощь в сотворении своей судьбы. Абаю захотелось больше узнать о самом Михайлове, расспросить подробнее о его жизни. С этим желанием он пришел на другой день к дому друга и постучал в дверь. За нею раздался недовольный голос старухи Домны, ведущей хозяйство Михайлова, она с ворчливой бранью загремела запорами и приоткрыла дверь. Но, увидев Абая, распахнула ее шире и улыбнулась вполне добродушно.

– Это ты, голуба, проходи, Абрагим! Ждет тебя твой дружок, – сказала старуха Домна, а затем, пропустив Абая и следуя за ним, вновь принялась ворчать: – А я подумала, что опять появился этот пес шелудивый, Силантий-жандар, ну, проходу от него нет! Одно знает, морочить мне голову! «Сицилист, – говорит, – твой барин». Вот старый пес! Всякую мелочь выспрашивает: чего ест, чего пьет, кто ходит к нему в дом да куда он сам ходит. Нешто только мне бы одной голову морочил: дак ведь толстую Коновалиху, мясничиху с базара, подговорил выспрашивать у меня про барина! Она мне и баит, дура: «Еще на чью жизнь покушается твой сицилист, убивши батюшку царя? И не страшно тебе, Домнушка, жить с ним в одном доме?» Вот ведь как задурил голову мясничихе, пес энтот старый, Силантий-жандар!

Сняв с себя в передней верхний чапан, отдавая его в руки Домны, Абай с любопытством прислушивался к ворчанию и брани старухи, отлично понимая всю подоплеку разговора. Уже давно Михайлов просветил его, что за ним в местном околотке установлен надзор, и осуществлять его должен пожилой жандарм Силантий. Этот служивый был стар, нерасторопен, глуп и нерадив, и из рук вон плохо справлялся с делом тайного надзора над ссыльным. Филерские сведения он пытался добыть единственно со слов служанки Домны, хотел запугать эту простую душу или настроить ее против барина. Об этом



секретном поручении жандарму – следить за Михайловым – знали уже во всей городской округе, и сам Михайлов наперед знал обо всех предпринимаемых мерах старого полицейского по шпионской слежке за ним. Каждый раз, когда Силантий снова подбирался к Домне с расспросами, Михайлов с любопытством выслушивал ее шумные жалобы, добродушно посматривая на славную старуху. И на этот раз, выйдя из кабинета встретить Абая, хозяин издали молча кивнул Абаю, приветствуя его, а сам взглядом и движением головы приглашал гостя послушать ее. Абай улыбнулся и обратился к простодушной старушке:

– Домна-апай, тебя что, сегодня Силантий сильно обидел?

– Обидел, злодей!

– Чего? Снова говорила с ним?

– Сначала не с ним, а соседкой Сидорихой. Пошла я утром на Иртыш белье полоскать, а Сидориха уже там. Как ляпнет мне: твой сицилист, может, бомбу собирает, чтобы кого-нибудь подорвать? Я ей: какую бомбу, дуреха? Окстись! А она тогда спрашивает: чего это зачистил в ваш дом киргиз? То тебя касается, Абрагим. спрашивает: может, барин твой хочет свои антихристовы наставления сеять среди киргизов? Плюнула я, пошла домой, а на дороге стоит энтот старый пес, Силантий-то, стоит-дожидается. Он и говорит мне: «Должно быть, барин немалые тебе деньги дает, чтобы ты язык за зубами держала? Ты ведь смиренная старушка, в церковь ходишь, Бога боишься. А чего тогда защищаешь нехорошего человека? Он, мол, выступает против веры, Бога и батюшки царя. А ты покрываешь его дела. Теперь, мол, так больше не делай, а лучше подслушай ночью в замочную скважину: такие отчаянные люди во сне, бывает, пробалтываются. Скажут то, чего наяву никогда не скажут. А ты подслушай, старушка, запомни и потом доложишь мне». Я ему говорю: «Силантий, у тебя же есть жена, дети, и сам ты уже пожилой. Тебе бы не собирать всякие сплетни, точно баба, а лучше бы покаяться перед Богом! Лучше сдохнуть тебе под



забором, псу шелудивому, чем вот так-то ходить и напускать всякую напраслину на людей! Не живется тебе по-человечески, честным трудом!» Тогда он, старый пьяница, вон какую уловку придумал! Пойдешь, говорит, на Пасху причащаться к батюшке, и отец Киприян спросит у тебя, почему подсобляешь крамольному человеку, – чего ответишь ему? Сицилисту твоему что – сегодня он здесь, а завтра окажется на каторге, ему не привыкать. Только и поминай как звали, а тебе ведь оставаться здесь. Твои соседи будут в лицо тебе плевать. Станешь одна бродить по городу. Вот же что наговорил, старый пес!

И Домна Фадеевна, неторопливо покачиваясь, по-старушечьи косолапя, ушла в другую комнату. Михайлов, явно огорченный словами старушки, встревоженно смотрел ей вслед. Затем, опустив голову, сложив руки на спине, походил взад и вперед по комнате, озабоченно вздыхая, шевеля густыми бровями. Но вскоре он пришел в обычное свое состояние духа, ласково взглянул на Абая, подошел к нему и сел рядом на диван.

– Я хотел у вас спросить, Евгений Петрович, давно хотел... – начал разговор Абай. – Не знаю, уместно это или нет... Но за что вы пошли в ссылку?

Михайлов ответил коротко. В университете он увлекся идеями Чернышевского и вошел в кружок Шелгунова, мужа своей старшей сестры. Арестовали его за участие в студенческих волнениях. Дело завершилось исключением из университета и ссылкой в Петрозаводск – вместе с несколькими другими студентами. Через год эта группа ссыльных подала прошение на высочайшее имя, с ходатайством о смягчении наказания. И вдруг, вместо этого, их всех, всю группу, выслали из Петрозаводска в Сибирь! Причину этого Михайлов узнал уже здесь, от Лосовского, которому рассказал губернатор. Оказалось, царь прочитал первую страницу длинного прошения, смягчился и соизволил молвить: «Полноте, да это же еще дети! Вряд ли испорчены окончательно... К тому же отбыли год наказания, наверное, одумались, пожалуй, можно и простить...» Но, к ве-



ликому сожалению, на второй странице, куда августейшая рука должна была ставить резолюцию, очутилась жирная клякса, которая, правда, была тщательно вылизана одним из просителей. Эта клякса навсегда испортила судьбу нескольких молодых, умных, одаренных русских людей, – в гневе царь отшвырнул бумагу и озвучил устный приказ: «В столицу не возвращать! Пусть прокатятся дальше!» Михайлову и его друзьям вместо облегчения наказания вышла кара еще более строгая...

Рассказывал это Михайлов с юмором, посмеиваясь в бороду, но все же просквозило в рассказе то, что тяготило его всю жизнь:

– Полиция ищет в моих действиях злонамерение, чуть ли не новое покушение на царя... Или что подведу бомбу под губернаторский дом. Ладно, пусть проявляют бдительность и усердие – не беда! А беда в том, Ибрагим Кунанбаевич, что скосили меня под корень совсем молодым. Кто знает, может быть, и я сделал бы что-нибудь стоящее на этом свете, а? Вот вы считаете, добрый мой друг, меня каким-то лицом значительным в революционном движении нашего общества, чуть ли не вожаком. А на самом деле я – давно уже на отшибе, мои надзиратели в этом постарались, и никакой я оказываюсь не вождь, а самый настоящий рядовой, и по возрасту – уже в отставке...

Абай выслушал и через продолжительное молчание сказал:

– Я понимаю, о чем вы говорите, Евгений Петрович... Но послушайте меня! Какой счастливый ваш народ! Как высоко ваше общество! Я вижу, какого яркого рассвета дождется ваша страна! И рассеется перед ней ночная тьма!

– Отчего вы так думаете, Ибрагим Кунанбаевич?

– А оттого, что не может быть несчастен народ, у которого заступников не меньше, чем обидчиков, и если общество, которое борется за хорошее будущее народа, имеет таких рядовых, как вы. Вот я и говорю, что русский народ – счастливый народ.



И снова помолчав, Абай продолжил:

– Несчастный народ, бедная страна – это не страна русских людей, а моя страна, мой степной народ. Мы много веков беспечно спим под толстым одеялом своего невежества и темноты.

Эта тема стала для друзей одной из самых важных в их ежедневных беседах. Михайлов показал себя человеком, для которого не безразличен народ, среди которого он оказался волею судьбы. И он много, серьезно, с научным подходом, думал о возможных путях его будущего.

По его мнению, колонизация Россией имела для степи злое начало и доброе. Злое – очевидно для всех, его трудно не заметить: это имперская власть, чиновники, местная власть, общие интересы которых сводятся к единому: взятки, подкупы, чины, должности. Добро – это русская культура. Но она для нынешнего кочевника – вещь непонятная, тайна за семью печатями, малодоступная. Вместо культуры казахи получают от русских властей тупость, грубость, низкое самодовольство таких, как Тентек-ояз, «жандар» Силантий. И только отдельные казахи, такие как Абай, способны разобраться в том, что для остальных еще скрыто. Величие и богатство русской культуры, наука и просвещение, книги писателей, признанные во всем мире, открываются перед гибким разумом кочевника, готовым воспринять все эти духовные сокровища, подобными которым степь не одарила его за тысячелетия кочевий вслед за солнцем: с джайлау весеннего на джайлау летнее, с летних пастбищ – на осенние. Но чтобы пробудить у казахов желание взять сокровища света, духа, разума у русских, с тем, чтобы стать с ними наравне, а после идти дальше своим путем по миру – казахам нужны свои мудрецы-просветители, подобные Чернышевскому у русских. Так считал Абай.

– Если Чернышевский приехал бы сюда, то что он сказал бы нам, казахам, какой бы дал совет? – спрашивал он у Михайлова.



– Ибрагим Кунанбаевич! Нельзя жизнь оценивать по разумению одного какого-нибудь мудреца, каким бы великим он ни был! – воскликнул в ответ Михайлов. – Вы как-то приводили одну замечательную казахскую поговорку, кажется, она звучала так: «Мать любой дороги – одинокий след». Вы же сами понимаете, что кому-нибудь из вас надо начинать торить эту дорогу. От одного семени вырастают сотни, тысячи семян. Среди наших мудрецов тоже родилось изречение: «Из искры возгорится пламя!» Помните, что все начинается с малого, и надо идти своим путем. И необходимо терпение! И необходима учеба! Учеба и учеба, чего бы это ни стоило! Вашим детям, Ибрагим, я пожелал бы только этого: учебы! И учиться надо им на русском языке. Полученные знания надо нести в народ. Пусть в руке всего одна лампа, или лучина, или факел, но ты должен нести свет знания в степь. Ваш народ – удивительно поэтический народ. И любит музыкальное искусство. Любит красивое слово, крылатые выражения, ценит красноречие. Так вот, надо постараться, чтобы все постигнутое самыми первыми из вас распространялось бы в народе через ваши поэмы, песни, кюи. Хорошо было бы, если бы в свои сочинения ваши акыны вносили общественную струю, заговорили бы в них о конкретных чаяниях и заботах народа. Подобные идеи, должен вам сказать, в нашем обществе вносились писателями через их книги. У вас своих книг пока нет, но есть акыны, есть свое поэтическое творчество, любимое народом, вот и надо пробуждать народ через эти творения... Ну вот, кажется, я начинаю давать вам весьма ценные советы! – усмехнувшись, иронизировал над самим собой Михайлов и дружески похлопал по колену Абая.

Еще раньше, при разговоре о Чернышевском, Абай спрашивал у него: «Если бы Чернышевский попал в ссылку к нам, то, увидев нашу жизнь, что посоветовал тем из нас, которые уже кое-что начали понимать и захотели выйти из кочевнической спячки?» Вспомнив об этом, Михайлов теперь сказал:



– Конечно, будь здесь на моем месте Чернышевский, он, возможно, совсем не одобрил мои советы. Возможно, с его точки зрения, мои просветительские идеи подсказывают вам недопустимо медленный путь развития. Однако меня заставляет так говорить историческое положение вашего народа: ведь вы еще не вышли за пределы кочевой цивилизации... Чернышевский основную надежду возлагал на остро отточенный крестьянский топор, но для вашего народа, не прошедшего пути просвещения, путь восстания не мог бы привести ни к какой цели, потому что ее попросту нет. А кровавый мятеж не может являться этой целью!

Абай охотно поддержал слова Михайлова.

– Я вас понимаю, Евгений Петрович. Не прорасти зимой семенам, брошенным в промерзлую землю. Вы полагаете, что не все семена, брошенные Чернышевским на нашу кочевническую землю, могли бы взойти?

Михайлов оценил тонкую восприимчивость живого ума Абая.

– Чернышевский с его остро наточенным топором всего лишь одна подсказка среди многих в нашем человеческом мире бытующих. Но уверен, что применительно к вашим обстоятельствам он такого совета не дал бы. А какой бы совет дал – того я и сам не разумею, Ибрагим Кунанбаевич. Слишком мало я разбираюсь в вашей жизни, толком еще не знаю вашего народа. Но то, в чем я совершенно уверен: самый верный путь борьбы за счастье народное – дорога познания, путь просвещения.

Эти слова Михайлова вновь показали его собственными словами. Абай был глубоко признателен другу за его могучую поддержку. Она придала Абаю больше уверенности.

В конце разговора Михайлов стал расспрашивать Абая про его детей, обучавшихся в ауле в мусульманской школе. Сообщив, что двое старших сыновей, Абиш и Магаш, а также дочь Гульбадан уже закончили начальное обучение, Абай поделился с Михайловым своей давнишней мечтой – обучать



их дальше на русском языке и попросил по этому важному вопросу совета у друга.

– Для начала надо, чтобы детишки пожили в русской семье, – сразу же посоветовал Михайлов. – Тогда они очень быстро научатся понимать и разговаривать по-русски. Потом надо определять в школу. Везите их сюда, мы что-нибудь придумаем. Только давайте договоримся с самого начала: пусть ваши дети учатся не для того, чтобы стать чиновниками и жить в городе. Пусть каждый из них хорошо усвоит мысль: «Я учусь для себя! Я первая ласточка! Я вырасту, выучусь и принесу знания своему народу!»

Абай вдруг увидел своих сыновей, Абиша и Магаша, выросшими и похожими на таких людей, как Михайлов. Образованных, с благородными манерами, одетых не в тобыктинские чапаны и саптама, а в городские одежды. Уверенных, смелых и свободных, охотно склоняющихся над книгой. Кто-то из них будет, возможно, носить очки или пенсне... Они – заступники народа, головные всадники в колонне молодежи нового поколения. Счастливая будущность! «Только бы дожить до этого светлого времени! Только бы успеть сказать им: я состарился, ухожу, но я ни о чем не жалею, глядя на вас, дети мои! Дело мое передано в ваши руки. Я счастливейший из отцов...»

Пришел новый гость, невольно прервав грезы Абая. Это был адвокат Андреев, с кем он тоже встречался почти каждый день. Андреев пришел с новостями из уездной канцелярии. Новости касались всего большого Тобыкты, и он считал нужным сообщить их Абаю. Оказывается, не только канцелярия уездного акима, но и канцелярии областного «жандарала» и мирового судьи завалены жалобами, приговорами, неисчислимыми ябедами и доносами старейшин, баев, родовых аткаминеров, аульных старшин и рядовых тобыктинцев. Все бумаги были с тамгой – с оттисками пальцев жалобщиков. Жалобы оказывались самые разные, порой просто невероятные, чудовищные –



от обвинения в поджогах, в набегах на аулы до приговора «о доведении беременных женщин до выкидыша».

– Вы представить себе не можете, Ибрагим, что сейчас творят ваши волостные и их помощники, и пятидесятники, и бии – все, кого вы в свое время привели на выборах к власти, – говорил Акбас Андреевич. – В этом году состоятся новые перевыборы, вот и стараются, наверное, показать свое усердие перед уездным начальством.

Михайлов, долгое время работавший в канцелярии «жандарала», хорошо знал, что большинство жалоб и приговоров являются ни чем иным, как самой откровенной клеветой и бессовестными наветами. Он как-то говорил Абаю: «Русская административная власть развратила киргизов, в степи всюду воцарились такие порядки, когда без взятки или подарка никакое дело не решается. Ложные доносы стали обыкновением. Порядки русских канцелярий и департаментов совершенно не подходят для ведения казенных дел в степных волостях. Между народом и властями образовалась непреодолимая пропасть, взаимное непонимание и недоверие, а то и прямая вражда и ненависть. И в результате всего киргиз стал считать, что солгать перед властями и перед законом – ничего не стоит, а возвести ложное обвинение – это всего лишь дело сутяжного искусства!

– На кого жалуются? – спросил Абай.

– Все жалобы – на волостные власти. Как раз на тех, которых вы с Лосовским провели на прошлых выборах. И если мне не изменяет память, вы уверяли, что эти люди будут друзьями народа! – иронически улыбаясь, отвечал Андреев. – Мне кажется, что в этой огромной куче лживых жалоб есть только одна, требующая серьезного внимания. Это жалоба от жатаков. Они как-то приезжали ко мне, просили заступиться. Мол, управители ложно обвиняют их, а сами творят над ними насилие.

– И в чем обвинение? – спросил Абай.

– Обвиняют жатаков в воровстве.



- Кто обвиняет? – спрашивал Михайлов.
- Как раз те, на кого подали жалобу бедняки.
- И эти тоже из тех кандидатов, которых рекомендовал Ибрагим Кунанбаевич?
- К сожалению, да.
- Что же, я понимаю, почему это происходит. Близится срок новых перевыборов, волостные и старшины хотят усидеть на месте, а их поджимают другие. Жатаки за власть не борются, не присоединяются ни к тем, ни к другим. Ну их и стараются запугать и те, и другие, чтобы перетянуть на свою сторону... А вы-то думали, что ваши люди будут отличаться от прежних начальников и станут служить людям, а не своим интересам! Наверное, многое вам обещали, – только они ведь не дураки, чтобы из-за обещанного вам забыть о своей выгоде. А городскому начальству только такие и нужны: оно убытку не терпит и оставаться без подарков не желает, – так говорил Михайлов, отвечая Андрееву и Абаю.

Абаю было нестерпимо стыдно слышать все это о людях, которых он сам проводил во власть на предыдущих выборах, которых объявлял перед своими друзьями, Андреевым и Михайловым, «заступниками народа». И один из этих заступников – был брат Абая Исхак. И вышло так, что свои беззакония он творил чуть ли не именем Абая...

В дальнейшем разговоре Абай не участвовал: попрощался с друзьями и ушел, потемневший, сумрачный и глубоко опечаленный.

2

Возвращавшиеся из города домой Абай и Баймагамбет в пути заночевали у жатаков, в ауле Ералы. Возле серой юрты, посреди большого аула бедняков, стояла их распряженная повозка, с задранными вверх оглоблями. В юрте только что закончили пить чай, и хозяин, с густой бурой бородою Дар-



кембай, накинув на плечи поверх старой вылинявшей рубашки изношенный чапан, подогнув под себя босые ноги, разговаривал с Абаем. Даркембай был рад гостю, лицо его светилось довольством, и он счастлив был собственноручно ухаживать за ним.

И хозяйка очага, пожилая, смуглая, худощавая Саркытапа, ополаскивавшая пиалы, с улыбкой прислушивалась к их беседе, довольная тем, что такой дорогой гость заночевал в их доме. Суровое, морщинистое лицо ее разгладилось, она с явным удовольствием слушала веселый разговор мужчин, посмеивалась в тех местах, где звучали вольные шутки. По всей юрте видны были разбросанные пестрые бумажки от конфет – видно, десятилетнему сынишке Мукашу тоже перепала радость от приезда гостей.

Даркембай возвратился к ночному разговору, который произошел у них сразу по приезде Абая.

– Е-е, что мы можем услышать кроме умных слов наших аксакалов и карасакалов? Если начнет говорить сильный человек, богатый человек, он только и хвалится своей силой да своим богатством. Хитрец начнет говорить, так хитро завернет, что и сам запутается. А заговорит бедняк, такой же, как все мы здесь, то услышишь про одни только беды, невзгоды, несчастья, лишения. Твоя же новость про тех людей, которые ради простого народа не боятся с самим царем спорить, а если он не слушается их, то даже осмеливаются убить его, – это великая новость. Такого мы еще не слыхивали. Ты говорил: «Эти люди жизни своей не пожалеют, заступаясь за униженных и обиженных бедняков», – что же это за такие необыкновенные люди? Они ведь, выходит, с соилами в руках выступают за таких же бедняков, как мы, жатаки аула Ералы! Значит, они и наши заступники! – Так молвил Даркембай и затем, глубоко задумавшись, достал табакерку из коровьего рога и, продолжая пребывать в молчании, зарядил свой нос порцией табаку. Затем продолжил:



– О чем говорят сильные на своих собраниях? О том, как им прижать слабых. О чем говорят слабые, собравшись где-нибудь потолковать? О том, как их зажимают, обижают сильные. Могут ли богатые и бедные помочь вытащить друг друга из той навозной кучи, в которой они завязли?

Абай был удивлен выводами и меткостью слов Даркембая. С уважением посмотрев на жатака, он воскликнул:

– Барекельди¹! Ай, молодец! Наш разговор ночью не прошел для тебя даром, вижу. Твои слова – как те наши крылатые слова, которым цены нет! К этим словам можно добавить другие: «Разум не у богатеев, потонувших в навозе своего бесчисленного скота, а у тех, которые в жару и холод пасут их скот в степи».

Даркембай воспринял похвалу Абая со спокойным достоинством, улыбнулся:

– Выставляя меня таким умным, уж не хочешь ли ты выдвинуть меня волостным? Но учти: если попадетсЯ бойкий на язык из бедных, про такого скажут: «Пустозвон, да и только!» Мол, язык без костей, и к нему никто не прислушается. Если болтливый глупец объявится из бедных, то про такого скажут: «Придуток из нищих» и прогонят его. А если бедняк окажется и умен, и на красное слово горазд, то скажут: «Ни к чему такому красноречие, пусть сначала разбогатеет». И открыто посмеются над ним. Абай! Я никогда не видел, чтобы умным словом кто-нибудь нажил себе состояние! – Так сказал Даркембай и затем перевел разговор на те заботы и печали, о которых он хотел поговорить именно с Абаем.

Это были не только его личные заботы, но и вопросы, касавшиеся многих соседей-жатаков. Ночью Даркембай не стал их затрагивать, чтобы дать отдохнуть гостям после длинной дороги, и заговорил об этом только утром, незадолго до их отъезда. К этому времени в юрте собралось несколько соседей. Это были знакомые Абаю люди: жатаки Дандибай, Еренай

¹ *Барекельди* – выражение похвалы, восхищения.



и сверстник их Кареке из рода Котибак, разделивший с ними судьбу бедняка. Также пришли аксакалы, человек пять, представлявшие сорок-пятьдесят очагов бедняцкого аула. У них Абай подробно расспрашивал, обращаясь к каждому, как они осваивают ремесло земледельца, чем кормятся на сегодняшний день.

– В Миялы-Байгабыле неплохие пахотные земли. Кто из ваших посеялся там? – спрашивал Абай. – И много ли десятин посеяли?

– Много? – Даркембай покачал головой и усмехнулся. – Абай, айналайын, по нашей немощности кто может посеять много? Мать его так и разэтак, – ругнулся он. – Да мы не в силах взять от земли даже то, что дается с божьей помощью! Что можно сделать, если пахать приходится на тощей собаке, погоняя ее сломанной камчой? Много ли напашешь? Совсем мало мы засеяли в Миялы-Байгабыле.

– Ну а то, что засеяли, хорошо взошло? Можно ведь и на малом участке получить большой урожай, – предположил Абай.

– Чего? Большой урожай, говоришь? А разве такое бывает?

– А если и бывает, то какой прок от большого урожая?

– Не понимаю вас! – воскликнул Абай, оборачиваясь к хозяину дома. – Поясните свои слова.

– Помнишь, свет мой Абай, как в прошлом году ты говорил нам: «Не жди еды с неба, добудь ее трудом»? Вот мы послушались тебя, трудились честно, и наш труд оправдался: на землях Шолпана и Киндика, на Миялы-Байгабыле возрос большой урожай, душа радовалась. А вышло что? Разве не помнишь? После того большого шума на Ералы твои родичи, Такежан и Майбасар, запустили на наши поля табуны лошадей и все потравили. Вытоптали до последнего колоска! И заявили: «Будете знать, как спорить с властями из-за каких-то дырявых юрт!» А урожай был отменный! Мы только собирались убирать его,



как они с пяти аулов пригнали лошадей, запустили на поля... Оставили нас ни с чем.

Абай хорошо знал суть этого дела. Такежан, отстраненный от должности управителя волости, всех иргизбаев и котобаков, прикочевавших к осени в эти места, толкнул на это подлое дело: ночью выгнать своих лошадей на поля жатаков. Абай в том году горячо вмешался в разбор дела на стороне жатаков и, воздействуя на волостного Асылбека, добился местного судебного решения, чтобы потравщики возместили жатакам убытки живым скотом... И только сейчас узнал, что богатые аулы, скормившие своим лошадям и стоптавшие их копытами весь урожай жатаков, и не думали исполнять решение суда биев. Никто из виновников не расплатился до сих пор. И, советуясь с Абаем по этому поводу, Даркембай спросил, можно ли надеяться хоть на какой-нибудь благоприятный исход, если они отправят своих людей с иском и жалобой на межродовой сход Сыбана, Тобыкты и Уака, который состоится скоро.

Прежде чем ответить, Абай поинтересовался, нет ли у жатаков еще каких обид.

– Не потравили нынче ваши поля? И хоть помогли вам виновники вспахать, посеять? Ведь у вас нет тяглогового скота.

Аксакалы снова засмеялись.

– Ойбай, светик мой ненаглядный, ну о чем ты говоришь? – за всех ответил Кареке. – У нас обычно помогают тем, от кого когда-нибудь можно ждать отдачи, а что можно ожидать от такой голи перекатной, как мы?

– Помощь... Дождешься ее от родичей, – усмехнулся Дандибай, щипля пальцами бородку. – Вон, у Кареке весною родичи как раз и потравили всходы, а ведь какие всходы богатые были!

– Почему не расскажете Абаю, как увели семь наших последних клячонок? – в сердцах вдруг воскликнул Даркембай. – Почему вы о главном молчите?

И Абай узнал о новом произволе своих богатых родичей, совершенном в то время, когда он был в городе. Стыд охватил



его, когда он услышал об этом. Когда аулы Такежана, Майбасара, Кунту, Каратая перекочевали в эти края, жигитеки завели разговоры о возмещении им прошлогодних убытков, на что эти богатые аулы ответили новыми потравами – на только что зазеленевшие всходы полей. Поля жатаков, расположенные поблизости от этих аулов, были растоптаны и выедены лошадьми. Жатаки кинулись жаловаться, куда только могли, но все понапрасну: им никто не помог, и если даже сочувствовал кое-кто, то делал это с оглядкой, боясь злобы и мести богатых аулов. И, наконец, жатаки из родов Бокенши и Жигитек, возглавляемые Даркембаем, не захотели больше терпеть эти набеги на свои поля и напали на возвращавшийся с Кашамы табун, словно бы ненароком загнанный на их поля, подрались с табунщиками и увели двух лошадей. На следующий день, подобравшись незаметно, сотня джигитов с соилами обрушилась на аул жатаков, изрядно потрепали всех, кто только попался им на пути. Едва не схватили и не избili Даркембая. Увели назад захваченных жатаками двух коней. Пришедшим жаловаться хозяевам поля Такежан с Майбасаром даже не разрешили сесть у дверей юрты, и с бранью прогнали, выматерив их вместе с их предками. Кричали им вслед: «Голодранцы! Творите дела, каких и в помине не было в наших краях! Исковыряли наши красивые пастбища! Вон отсюда, бродяги!» Такежан бушевал: «В прошлом году меня должности лишили из-за вас, паршивцы проклятые! Не признаю вас родичами, хоть и были когда-то у нас общие предки! Уходите из Тобыкты – приносим вас в жертву! Идите в Белагаш, становитесь русскими и вместе с мужиками сгиньте там, копаясь в земле!»

– Это еще не все, – говорил дальше Даркембай. – С месяц назад налетели ночью, как волки, и увели сразу семь последних лошадей из семи хозяйств.

Еренай, сгорбившись, перебил его, говоря:

– Вот и сам посуди, Абайжан... Уродится что-нибудь на истоптанных полях или, считай, все пропало? Заплатят ли



нам за прошлогоднюю потраву? О, Кудай всемилостивый! Ты видишь – мы как сухие кустики курая среди степного пожара наших ненавистников. А за что нас ненавидеть? За то, что под их порогами была втоптана в грязь жизнь каждого из нас? За то, что мы изуродовали себя, работая на них? Им же, их отцам служили, никогда сами не наедались досыта. Да будь они прокляты! Это волки, а не люди!

Даркембай продолжал дальше:

– Четверым из нас поручили искать уведенных лошадей. Воры же не за горами оказались: из аула Ахимбет, Кызылмолинской волости. Мы отдали все, что могли, чтобы нам указали, куда угнали коней, кто угонял, у кого они теперь. И вот все разузнали, думали, что скоро коней вернем назад. Ведь в Кызылмолы как раз волостным твой брат Исхак – мы и думали, что возьмем за глотку угонщиков. Сказали им: «Здесь наш Исхак, в обиду своих не даст». Те сначала было призадумались, потом вилять стали. Мол, ваших коней привел сюда Серикбай, в уплату своего прежнего долга нам, вот приведите сюда Серикбая, мы с него вместе и спросим. В общем, провели нас, потому что когда мы вернулись к себе за Серикбаем, то узнали, что он служит в доме Такежана. А Такежан и близко не подпустил нас к Серикбаю. И как ведь заговорил! Салем отправил Исхаку: «Серикбай такой же бедняк, как и эти жатаки! Никаких коней он не угонял, и я его в обиду не дам! Жатаки эти мои враги – гони их, коней не отдавай, ...» Тогда Исхак и обидел нас хуже всех – с позором прогнал из Ахимбета. Не только семи коней – семи шкур не получили. Что же нам делать? Вот и подумываем, а не послать нам своих выборных на общий сход в Аркат? Ведь эти бии и волостные все равно боятся русского начальства, а нам, может быть, повезет, и русские заступятся за нас, если свои стали для нас хуже волков? Что посоветуешь нам, Абай?

Слушая стариков, Абай сидел, весь побелев от гнева, стиснув зубы, сурово нахмурившись. Он не сводил глаз с говорившего Даркембая. Абаю было мучительно стыдно за обоих своих братьев перед этими бедными, беспомощными



людьми. Ядовитым туманом обволакивало мозг отчаянное чувство безнадежности и бессилия перед злом, творимым его же кровными братьями. И в болезненном мозгу крутилась, возникнув, тягостная стихотворная строка:

То, что совесть осудит, – отвергнет и ясный ум...

Совесть... какая совесть? У тех, чей разум еще спит, не пробужден, а вместо совести правит их поступками утроба, желающая умять побольше жирного мяса... Что для них совесть, справедливость, жалость?

Все, сидящие в юрте, молчали, глядя на него. Абай тяжело вздохнул и наконец заговорил:

– Знаю, что зло совершают мои братья. У меня с ними один отец, одна мать... Значит, и я преступник, между ними... Разве вас утешит, если я скажу: «Бесстыжие руки творили, стыдливые глаза уходили в сторону»?

И тут Абай поразил окружавших его людей одним своим высказыванием. Это пришло ему в голову после его многих разговоров с русскими друзьями в городе.

– Вот ты, Даркембай, когда-то говорил мне: истинными братьями делает людей не общая кровь, а общая нужда и забота, общая судьба. И я вам скажу, что в огромной России – в Сибири, в Оренбурге, Петербурге, Омске – повсюду есть неисчислимое множество таких же, как и вы, жатаков! Значит, они и есть истинные братья вам! И у вас с ними один и тот же родовой клич: «Жатак!» И всем вам вместе надо драться с шабарманами царей, с атшабарами волостных, с подлыми прислужниками Такежанов и Майбасаров, а не стонать жалобно от их насилия.

Люди молчали, не совсем понимая его. Абай обвел взглядом измученные нуждой лица жатаков, и вдруг понял простую истину: этим людям нужны не его слова, какими бы истинными,



значительными они ни были. Жатакам нужна была помощь – делом. И тогда он, опять неожиданно для всех, с решительным видом перешел к другому разговору:

– Сход будет не в Аркате, а в Балкыбеке. Может быть, он уже начался, так мне сказали в городе. Я не хотел быть на этом сходе, но теперь поеду. Поеду для того, чтобы сказать там про злые дела, которые творят над вами. И вы тоже поезжайте туда. Будем через глотку вырывать у Такежана, Исхака и Майбасара то, что они должны вам – за прошлогоднюю потраву, за нынешнюю, за угнанных коней! Я сам буду вашим истцом перед своими братьями. Со мной пусть поедут от вас двое: ты, Даркембай, и этот железный старик Дандибай, твердый и мужественный, не хуже тебя... – Так закончил Абай и, дружески улыбнувшись, поднялся с места.

– Значит, тому и быть! Приезжайте туда через три дня, не задерживайтесь. А мы поедем сейчас же. Иди запрягать, Баймагамбет!

Расторопный Баймагамбет вскочил и бесшумно исчез за дверь. Абай надел жилет, набросил сверху длинный бешмет и, вытащив часы, посмотрел время. Когда он поднял глаза, то увидел, что старики, наклоняясь друг к другу, о чем-то шепчутся, поочередно разводя руками. Абай удивленно спросил:

– Что случилось, Данеке? Или у тебя сомнения какие? Ты не хочешь ехать? – И он с удивленным видом обернулся к Даркембаю.

Тот замялся, потом посмотрел Абаю прямо в глаза.

– Айналайын, Абайжан, и совет твой хорош, и ехать мне надо, знаю сам. Но если бы одному ехать, а то ведь нам двоим с Дандибаем надо, как ты советуешь? Как же мы вдвоем поедем: у нас на весь аул одна лошадь осталась, остальных угнали. И одежды хорошей не найдем... Вцепилась в горло проклятая бедность!

Абай быстро нашел решение.



– Даркембаю есть на чем ехать, а Дандибай пусть возьмет одну из моих пристяжных. Возьми ее на все лето, Дандибай, вернешь, когда начнется осенняя кочевка... А с одеждой сделаем так...

Абай открыл свой белый дорожный сундучок, купленный в городе, и вынул оттуда две штуки ткани.

– Вот тебе материя на верх чапана и на подкладку! Оденься, как джигит! – весело сказал Абай.

Все оживились, старики были растроганы.

– Барекельди! Ай, молодец!

– Живи долго!

– Айналайын, Абай, ты нас осчастливил!

– Крепкого тебе здоровья!

И под веселый смех, шутки, оживленные возгласы Даркембай принял из рук Абая куски ткани.

– Это что же выходит? Грабеж совершает твой брат Такежан, а ты, значит, расплачиваешься за него? – И старик сам расхохотался и рассмешил остальных.

Но он все не унимался:

– Вот, скажут, что жатаки еще перед бием не стояли, а уже возмещение за обиду получили: коня и новую одежду! – Сказав это, старик Даркембай снова богатырски расхохотался.

Абай был рад, что приободрил и развеселил стариков.

– Ладно, Даркембай, пусть это будет пеня за обиды моих предков перед твоими. А с Такежана и с Исхака – мы еще вытянем с них пеню. Тут уж я буду не ответчиком, а истцом. Но уговоримся заранее: кидаемся в драку и бьем с размаху, без промаха! Я слышал, что в Токпамбете перед битвой покойный Байдалы сказал Суюндику: «Ты, Суюндик, совета спрашивай не у осторожного бая Сугира, а у отважного бедняка Даркембая!» Так вот, поэтому я и зову тебя поехать вместе с Дандибаем на сход. Там покажете себя крепкими и несгибаемыми, как булат. Не то осенью, когда весь народ спустится с гор к подножию, я



обоих вас выставлю в самом жалком виде перед всеми жатаками: «Вот они, ваши слабаки!»

Вошел в юрту Баймагамбет, повозка была готова, кони впряжены. Пошли к выходу. Вместо тройки была теперь в упряжке пара лошадей. Провожать Абая вышли из юрт все от мала до велика. Кони взяли с места крупной рысью. Ребятишки кинулись с дороги врассыпную, поднялся истошный лай собак, побежавших вслед за повозкой.

Аксакал Еренай, глядя ей вслед, высказался перед окружавшими его людьми:

– О, Аллах всемогущий, на этого джигита с детства сородичи и близкие возлагали большие надежды. И он их оправдывал. Сегодня я мог увидеть его, поговорить с ним, узнать поближе. Оказался он и на самом деле надежным малым, славным джигитом... Счастливой тебе дороги! – И старый Еренай, оглядев сумрачные лица жатаков, продолжил: – Обещал вернуть угнанных семь лошадей. Обещал у толстобрюхих вырвать пеню за потраву в прошлом году и в эту весну. Вот почему я так хорошо говорю об этом человеке!

Забитым, несчастным жатакам такое было выше их понимания. Чуть ли не тревожно, с робостью обращались друг к другу:

– Слыханное ли дело? Все семь голов? Вернут, говоришь?

– И за потраву уплатят? И за вторую тоже уплатят? Бисмилла! Неужели это правда?

– Да пусть счастлива будет его дорога!

В этих словах слышались и робкая бедняцкая надежда на удачу, и горькое недоверие ко всякому доброму обещанию. Тусклые глаза жатаков обратились к удалявшемуся облаку пыли, словно это сама их надежда так бодро мчалась по дороге к тому далекому краю, где решатся на удивление хорошо и удачно все их дела. Аул бедняков смотрел вслед повозке, увозящей Абая.

Эта поездка продолжалась особенно долго, и Абай возвращался домой с большой задержкой. Задержали его в городе встречи с Михайловым, Андреевым, которые начались еще с ранней весны, в апреле. Эти встречи были очень важными в жизни Абая, явились для него бесценными уроками той российской действительности, которая могла связать тысячелетия бытования кочевой степи со всем остальным современным миром. Из-за этих уроков он и задержался так долго в городе. Сейчас середина лета, аулы уже давно находятся на горных джайлау.

Выехав из Ералы, путники имели еще одну ночевку в пути, и на второй день, постоянно погоняя пару саврасых на широкой рыси, только к вечеру смогли подъехать к аулам Кунанбая. И самый первый при дороге большой аул, мимо которого они проехали, был аулом Такежана на Ботакане. Насчитывавший около десяти юрт, его аул сильно разросся, смотрелся богатым, самодовольным, и со всех сторон на пастбищах пестрели табуны лошадей и стада овец.

– Не будем тут останавливаться, – сказал Абай нукеру.

До родного аула оставалось не больше ягнячьего перегона, и Абай хотел доехать, пока дети не легли спать. Повозка катила мимо крайних юрт жатаков Такежана, и, указывая на эти закоптелые, штопаные кусками войлока балаганы, Абай вспомнил о необыкновенной скупости его жены Каражан:

– Посмотри, Баке, – обратился он к Баймагамбету, – там наверняка живет пастух, скотник или сторож. До чего же убогим выглядят эти лохмотья на юрте, словно одежда нищего. Чего бы этой Каражан не выделить нового войлока на очаг работникам? Нет ведь, сдохнет, а не выделит, богом проклятая баба!

Баймагамбет, полуобернувшись к нему, усмехнулся, сверкнул синими глазами.

– Абай-ага, о чем вы толкуете! От Каражан такого добра не жди. Хотя держит она у себя соседями не каких-нибудь немощ-



ных стариков, а самый работающий и сильный народ. Работать заставляет, а заботиться о них и не думает.

Миновав аул, путники увидели, как к длинному изгибу синего ручья спускаются с высокого берега на водопой кони большого косяка, вздымая в воздух золотистые клубы пыли. Коней было много, – Абай, окинув их взглядом, мысленно попытался определить численность косяка.

– Оу, неужели все эти кони принадлежат Такежану? – обратился Абай к нукеру. – Когда и как умудрился он столь приумножить свое достояние?

В это время со стороны оставленного позади аула послышался дробный топот конских копыт – и повозку вскоре догнал верховой мальчик, подросток по имени Азимбай, племянник Абая. Под ним был хороший рослый конь, трехлетка-вороной со звездочкой на лбу, настоящий аргамак. Вся упряжь на нем и седло были украшены чеканным серебром.

– Ассалаумагалекум, Абай-ага! – приветствовал мальчик дядю, сравнявшись с повозкой, двигаясь по дороге рядом. И тут же без промедления передал поручение Каражан: – Меня мать послала к вам. Она сказала салем: «Не остановился в нашем ауле – гостинцев, что ли, жалеет? Все равно утром пришлю за ними, пусть оставят для меня конфеты, чай-сахар, кишмиш-урюк, и пускай другие невестки все не съедят!» Выпалив все это, мальчик с довольным видом уставился на дядю узкими, припухлыми глазами. В этих глазах, не по-детски жестких, угадывалась его мать Каражан. И, не пожелав сказать дяде что-либо еще, он стал придерживать коня, чтобы повернуть назад. Тут Абай крикнул ему:

– Стой, Азимбай! Давай, подъезжай ближе!

Тот подъехал вплотную, поскакал рядом с повозкой. Абай мягко, доброжелательным тоном начал делать ему внушение, на правах старшего и близкого родственника:

– Жаным, дорогой мой, если тебе так хочется гостинцев, то пусть хоть все сласти в этой телеге будут твоими. Поедем с



нами, заночуешь у нас в ауле, а утром все заберешь с собой! Хорошо? Я не заехал к вам, к твоим родителям, только потому, что уже поздно. Меня ждут старшие: мать, отец. Ждут и не ложатся спать... Но я хочу тебе еще что-то сказать. Баймагамбет, потише гони лошадей!

И когда повозка перестала грохотать колесами по твердой дороге, Абай продолжил свое нравоучение:

– Ты, я вижу, вырос, совсем большим джигитом стал. И ты должен понимать – не все, сказанное твоей матерью, может быть правильным. Разве это правильно, не успев поздороваться с дядей, едущим издалека, тут же говорить о подарках: «дай мне, оставь мне»? Подумай! Если она тебе мать, я тоже не чужой, и меня надо слушаться, ты понял? – И Абай пристально всмотрелся в лицо племянника.

Но его слова малолетний Азимбай воспринял не с добрыми чувствами: насупился, молча уставился в глаза дяди строптивым взглядом. Абай вздохнул и сам заговорил первым:

- Неужели все эти табуны – вашего аула?
- Еу, конечно, наши, а то чьи же? – был ответ.
- Сколько лошадей?

Мальчик на это ничего не ответил. Он знал, конечно, сколько у них лошадей, но не хотел говорить: однажды отец ему сказал, что открывать чужим численность своего скота – плохая примета. «Не смей болтать об этом на людях!» – строго наставлял Такежан, и сын хорошо запомнил это. Но его молчание на вопрос, заданный старшим, Абаем, не понравилось Баймагамбету, и он, словно не замечая присутствия мальчика, сказал:

– Слышал я, что в этом году поголовье коней, вместе с молодняком, стало у них около пяти сотен. Да и тут уже будет не меньше.

Но маленький Азимбай тоже сделал вид, что не слышал Баймагамбета, ничто не дрогнуло в его лице. Абай снова тяжело вздохнул. Его огорчал Азимбай: ничего доброго от него не приходилось ожидать. Он точно, один к одному, повторял своих



родителей. И, словно сразу позабыв о нем, Абай продолжал разговор со своим нукером.

– Лет пятнадцать назад, когда мы в один и тот же год отделились от Большого дома и получили свои доли, то каждому досталось по восьмидесяти лошадей. А теперь видишь, сколько у него. Видно, неплохо насосался, пока был на должности волостного. Если на этих выборах его не провалят, то в косяках Такежана будет еще больше лошадей...

Малолетний Азимбай, невзлюбивший дядю за его слова назидания, вдруг оживился и злорадно произнес:

– А вот и не провалили отца! Вы ничего не знаете! Отец снова стал волостным, вот уже как две недели! Все наши аулы празднуют, скачки устраивают, веселятся! С вас суюнши за эту новость!

Абай живо обернулся к маленькому всаднику и стал его расспрашивать: кто избирал его отца, в какую волость избрали? Выборы волостного – большое событие в жизни степи, но в городе никто даже не знал, когда они прошли. Абай слышал только одно, что начальник крестьянского департамента Казанцев выехал в степь для проведения выборов.

– Выбирал начандык Казансып. Отец стал волостным Кызыладырской волости, – с важным видом сообщил мальчик.

– Кызыладырской! Е, дорогой мой, айналайын, а ты не знаешь, кого выбрали в Чингизской волости?

– В наш Чингиз выбран дядя Шубар. В Кызылмоле опять волостным выбрали дядю Исхака. Три сына хаджи теперь волостные в трех волостях! Весь Иргизбай, от дальних Шакпак, от Жыланды, Кен-коныс, Донгелек-коныс, веселится и празднует. А вы не знаете! Теперь за такие вести я могу получить от вас, Абай-ага, богатый суюнши – не меньше, чем коня! – ликующе завершил Азимбай.

Лицо его засияло от радости, даже стало хорошеньким, радовался он от всей души. Малолетний Азимбай уже знал сладость власти, представлял все блага, что дает власть,



уже был захвачен этой страстью... Слушая, какими словами он сообщает эту новость, Абай с грустью подумал: «Так ведь он уже вышел из детства, уже взрослый человек! Видно, рано предстоит ему заняться взрослыми делами! И никакой учебы, никаких знаний ему не нужно для этого...»

«О, в кого же ты превратишься, мальчик, когда вырастешь? Не в такого ли жадного, злобного пса, как твой отец Такежан? А то и похуже? Будет жаль, если ты, мальчик, вырастешь таким же», – с грустью думал Абай, снова позабыв, в своей задумчивости, что мальчик находится рядом.

А тот, гарцуя с боку катившейся по дороге повозки, никак не мог понять, почему Абай-ага не радуется тем новостям, которые он ему сообщил, и отмалчивается о суюнши, что должен сделать за такие хорошие новости. И Азимбай вспомнил, как неоднократно его мать ругала Абая, называя его завистником: «Завидует нашему богатству, нашим большим стадам, нашему почету от людей, явно завидует!» А теперь мальчик и сам убедился, что Абай-ага завидует, поэтому даже разговаривать с ним перестал. Абай же, услышав от него новость об избрании трех сыновей Кунанбая, его братьев, акимами волостей, глубоко задумался. Краем глаза отметив кроваво-красный закат на небосклоне, повелел вознице:

– Гони быстрее, Байке!

Пара коней, разгоряченная быстрой вечерней ездой, влегла в хомуты и пошла размашистой дружной рысью по ровной вечерней долине Ботакана. Азимбай начал приотставать, да ему и пора было возвращаться – не попасть бы ненароком в руки разбойников-конокрадов, рыскающих в предгорьях, не лишиться бы своего жеребца-трехлетки! Но, злобясь на дядьку, не перенося больше его равнодушия, Азимбай решил напоследок, прежде чем расстаться с ним, сообщить ему очень плохую новость, про которую отец, Такежан, утром говорил своим людям: «Услышит об этом Абай, – пожалуй, лопнет от злости! Он ведь всем говорил, что не даст это сделать»...



Мальчик, подхлестнув камчой жеребца, пошел рядом с бричкой; пригнувшись в сторону Абая, сообщил ему, ослабившись в недоброй улыбке:

– А ведь я еще одну новость вам не сказал! Этот городской начандык Казансып приказал: «Поймать и передать мне в руки Базаралы!» И его четыре волости ловили и поймали, вчера на верблюде отправили в город. Чтобы не сбежал, на ноги и на руки надели железные путы.

– Что?! О, Аллах! Что ты сказал, мальчик? – Абай так и рванулся в сторону Азимбая.

Но тот, сильно натянув поводья, стал осаживать коня и сразу же отстал от повозки, бричка помчалась дальше без него. Привстав на стремянах, малолетний Азимбай крикнул вслед удалявшемуся от него Абаю:

– Получил, получил? Это тебе на дорогу!

Тут же повернул назад вороного жеребца, подстегнул его нарядной желто-пестрой камчой и во весь опор помчался обратно по дороге. В душе его нарастало ликование, словно он одержал великую победу, и срывающимся мальчишеским голосом Азимбай бросил родовой клич: «Иргизбай! Иргизбай!» и маленькой темной точкой удалялся в сгустившиеся над степью сумерки.

– О, ничтожества! Всевышний! Какие же ничтожества! Не успели сесть в кресла, как тут же принялись за свои собачьи дела! – ехал по дороге и в темном гневном ругался Абай.

Когда путники прибыли в Байкошкар, аул еще не спал. Абай особенно был рад увидеть своих детей еще не спящими: Акылбая, Абиша, маленьких Тураша и Магаша, хохотунью Гульбадан. Бричка не успела остановиться, как детишки окружили повозку, одни полезли на задок повозки, а маленькие Тураш и Магаш живо взлезли на колени к отцу.

Абай, возвращаясь из поездок, всегда в первую очередь здоровался с матерью Улжан. Когда он, в окружении детей, вошел в юрту, она приветствовала его, стоя у своей высокой кровати.



Подойдя к матери, он нежно отдал ей салема, бережно обнял. Она поцеловала его в лицо. Айгерим, Айгыз пришли в Большой дом, чтобы здесь встречать его. Явился Оспан, огромный, широкий, с густым рокочущим голосом, в белой просторной рубахе нараспашку и в легком чапане с бархатным воротником поверх нее. Вместе с ним вошла и его молодая жена, Еркежан, красивая, прекрасно сложенная, улыбчивая. Оспан поздоровался со старшим братом радостно, с широкой детской улыбкой на лице. Рокочущий голос Оспана перекрывал все другие голоса, когда он рассказывал брату о радости, царящей во всех аулах Кунанбая, – по поводу избрания трех его сыновей волостными начальниками. Потребовал с Абая суюнши за хорошие вести. Абай лишь молча, с любовью смотрел на младшего брата, чьи редкие черные усы топорщились, как конская щетина, а такая же редкая борода была встрепана, каждый волосок торчал сам по себе, куда ему вздумается. Потом Абай негромко ответил, глядя на мать:

– Да будет это к счастью и благу! Пусть оправдается радость всех вас!

Улжан поняла, что весть эта не радует Абая, и повторила так же тихо:

– Да будет это к общему счастью и благу, сын мой!..

Оспан продолжал и дальше выражать бурную радость:

– И пусть продлится это благо подольше! И к этой радости прибавится еще одна! И еще много таких радостей!

Нехорошую весть, ту самую, которую Абай услышал от подростка Азимбая, теперь преподносил Оспан как «еще одну радость». Абай знал, что Оспан относится к Базаралы с такой же неприязнью, как и Такежан, но в отличие от него, Оспан не носил в своей богатырской груди черной, мелкой злобы. Однако в гневе и ярости был намного страшнее кого бы то ни было. И часто простодушным великаном руководили всякие темные, грубые люди, вроде Майбасара, о которых говорят: «Вцепится зубами в чужую руку – вгрызется, не отпустит, не оторвется,



пока не лишится своих зубов». Сейчас Оспан радуется, с присущей ему доверчивостью полагая, что и Абая радуют успехи его братьев, захвативших столь желанную для них власть.

– Значит, наши здесь стали волостными, а почему? Они говорят: «Потому что сановникам понравилось наше поведение. Как только выборщик Казансып увидел нас, так сразу и решил выбрать». А я им говорю: «Не зарывайтесь! Аллах все видит! Ну что Казансып знает о каждом из вас? И как вы думаете – Абай, уехав в город еще весной, без всякого дела торчал там до самой середины лета? Изнывал от жары, глотал уличную пыль? По-вашему, без его стараний вдруг такое уважение свалилось бы на вас со стороны Казансыпа? Вы должны быть благодарны Абая, который каждый день встречается, советуется с главными сановниками города и продвигает ваши дела!» – Так сказал Оспан и богатырски расхохотался.

Рассмеялся и Абай, глядя на любимого братишку-великана, и сказал:

– Ты, Оспан-жаным, с детства крутился у моих ног, а так и не научился понимать старшего брата. Заблуждаешься ты насчет моих желаний и городских дел, братишка. Я не против избрания волостным Шубара, он малый упорный, способный, может на этом месте хорошо показать себя. Я даже вполне одобряю этот выбор и полагаю, что ты своим добрым именем и веским словом правильно поддержал Шубара. Однако ты поддерживал и Такежана, и за это я хвалить тебя не буду. Он в прошлый раз это место использовал только для того, чтобы свои табуны лошадей увеличить с восьмидесяти голов до пятисот, а в остальном людям от него был один только вред. Что я могу сказать хорошего и про Исхака, который стал волостным в Кызылмоле и начал покрывать воров-тобыктинцев? И не хотел бы я, айналайын, выдвигать их на должности, а ты, по доброте своей, воздал мне незаслуженную хвалу. И ради этих выборов я, кстати, даже пальцем не шевельнул!

Оспана, однако, не убедили слова брата.



– Ладно, айналайын, не прибедняйся, тебе все равно никто не поверит. Спроси у дряхлых стариков и писклявых ребятишек, у всех людей, гомонящих на зеленых джайлау, верят ли они тому, что три сына Кунанбая были избраны волостными – и все без помощи Абая, который столько времени пропадал в городе, якшался с начальством? Ни одна собака даже не поверит, и я не поверю. Да и почему я должен верить тебе? Ты что, враг самому себе или глупец, что не должен использовать для себя и для своих родичей то уважение, которым пользуешься у русских? Так что, брат, спрячь в карман свои слова и принимай почести и благодарность от братьев, получивших свои выгодные должности.

Зная неодолимое упрямство Оспана, Абай не стал спорить с ним и обратился вниманием к своим детям. Схватив Абиша и притянув к себе, он поцеловал в лоб своего белолицего и пригожего сынишку.

– Как учишься, шырагым?

– Аке, я теперь по-русски учусь! – ответил мальчик. – А вы не знали? Еще в зимнике начал. – Воспользовавшись вниманием отца, он сообщил ему свою самую главную новость.

– Айналайын, кто же тебя учит? Учитель откуда нашелся?

Вместо Абиша ответила бабушка Улжан.

– Еще по весне, когда ты уехал в город, в ауле появился молодой русский джигит. Оказывается, он уже год проработал в городе толмачом. Здесь его так и называли: толмач-бала. Пришел ко мне, сказал, что болен, что ему надо пожить на свежем воздухе, лечиться кумысом. И сказал, что может обучить детей русской грамоте. Я и одобрила: «Пусть учит детей Абая, он ведь хотел этого». Отправила его к Айгерим, в Акшоки, чтобы она устроила его там. С тех пор бала-толмач Байып обучает не только Абиша и Магаша, но вместе с ними и Гульбадан. – Так сообщила Улжан сыну эту очень значительную и приятную для него новость. «Байып» – так назвала она фамилию джигита – Баев.



Абай спрашивал у Айгерим:

– Ну и как учатся дети? Хорошо ли устроили учителя?

– Дети учатся с большой охотой, всей душой отдаются учебе. Каждый день занимаются. Даже при переезде на джайлау ни дня не пропустили, занимались во время ночлегов. Сам толмач быстро привык к нашей жизни, к обычаям, привык к детям и стал вместе с ними носиться по степи на коне. – Так отвечала Айгерим, тепло, сдержанно улыбаясь, глядя в глаза Абая с уверенностью, что рассказ ее придется по душе мужу.

И Абай узнавал в ней ту, прежнюю, Айгерим, всегда внимательную и усердную в выполнении всех его просьб и желаний. С которой раньше у него было полное взаимопонимание. Словно почувствовав его душевный настрой, Айгерим ласково, с тонкой улыбкой на устах, отвечала своим обволакивающим взглядом и говорила при этом обыденное, не относившееся к их тонко зазвучавшим сердцам:

– Странные, однако, эти русские муллы. Не надуваются, не важничает при разговоре, не кичлив. С детьми держится на равных, учеба для них – как веселая забава. Дети от него без ума, так и вьются вокруг него.

Абай слушал ее с радостным вниманием, молча кивая головой. Оспан засмеялся, глядя на брата, и стал подшучивать над невесткой:

– Наша келин не муллу хвалит, который обучает детей законам шариата, а какого-то залетного толмача! Смотри, Абайжан, как бы она сама не заговорила по-русски, поменяв свое казахское горло на чужое!

И Оспан смешно проговорил несколько русских слов на ломаном языке. Все расхохотались, и громче всех смеялся сам Оспан.

Абай спрашивал у детей названия всяких вещей, с удовольствием слушал их ответы, сам азартно подсказывал, когда они забывали слово. Он радовался, как его малые дети.



После трапезы Абай пошел вместе с ними к юрте Айгерим. Абиш, Магаш и Гульбадан шли, забравшись под широкий чапан отца, прижимаясь к нему. На душе у него были радость, мир и покой. Он вспомнил своего племянника, малолетнего Азимбая, и тихо порадовался в душе, что его дети не похожи на сына Такежана, который научился уже причинять людям боль. Его же детишки были просто детьми, чистыми, белыми как молоко. Он чувствовал за них отцовскую гордость.

Прижимая Абиша к себе, говорил ему на ходу:

– Шырагым, светик мой, как хорошо, что ты уже начал учиться по-русски! По-нашему ты проучился уже немало, и я хочу надолго отдать тебя в русскую школу... Бог даст, вырастешь, выучишься и станешь большим ученым человеком. Это моя отцовская мечта, сынок, которую я связываю с тобой. Айналайын, Абиш, я радуюсь, что все так хорошо получилось, и ты без меня уже начал учиться русскому.

Взглянув на полноокруглую луну, стоявшую у своего зенита над их дорогой, Абай прошептал свою молитву-бата над головой Абиша: «О, Кудай, да сбудутся мои надежды, связанные с будущим этого дитяти! Пусть жизнь его пройдет на земле не бесследно! Пусть все, чего не смог достичь я, окажется доступным ему: большие знания, благородные дела, высокие устремления. О, Кудай, будь милостив к нему, открой ему счастливую дорогу в этом мире!»

Крепко прижимая к груди голову любимого сына, Абай в ту ночь исступленно читал свою молитву-благословение, почему-то сильно волнуясь. Сын почувствовал это волнение и тихо, робко произнес:

– Хорошо, ага, хорошо! – словно успокаивая отца.

Маленький Магаш, тонкий и особенно чувствительный из детей, понял сразу, что между отцом и старшим братом появился какой-то важный договор, и почувствовал ревность. Приникнув головой к поясу отца, Магаш обиженным голосом проговорил:



– Е, ага, не только Абиш – я тоже поеду в город, тоже буду учиться в русской школе!

Стоявшая рядом Гульбадан, не желая отставать от братьев, высказала и свою претензию:

– Спросите у Байепа – кто раньше всех начал читать по-русски? Я самая первая! И я тоже хочу поехать в город!

Все еще долго простояли перед юртой, не подходя к дому, и Абай вволю повозился с детьми. Приласкал их, перецеловал всех в щеки, погладил по голове Гульбадан и торжественно пообещал:

– В таком случае вы оба, джигиты, и ты, дочка моя, поедете осенью учиться в город! Даю слово, что всех вас повезу вместе!

Когда Абай с детьми подошел к юрте, перед дверью их всех встретила Айгерим. Молча, с чудесной улыбкой, она приподняла правой рукой войлочный полог и широко открыла дверь своего очага.

РАСПУТЬЕ

1

На сход в Балкыбеке Абай отправился со своими людьми. Как всегда, с ним были Ербол и Баймагамбет, присоединился и Шаке. Когда они по пути остановились в Жанибеке, в ауле Ербола, а потом отправились дальше, к ним добавился еще Асылбек. Он был смещен с должности волостного управителя на прошедших выборах.

Из безусой молодежи на этот раз к группе Абая были подключены его старший сын Акылбай с другом. Хотя Абай и приходился отцом Акылбая, но воспитывался мальчик в доме младшей жены Кунанбая, его токал Нурганым. Во всем Иргизбае, пожалуй, не было другого подростка, которого растили бы в такой холе и изнеженности, одевали бы так роскошно. К отцу он приехал в черном бархатном камзоле, в куньей шапочке, вся сбруя и седло, обитое зеленым сафьяном, были отделаны чеканным серебром с чернью. Родной сын не вызывал в Абае отцовских чувств, скорее, воспринимался им как дальний родственник, – не очень-то приятный избалованный молодой мырза.

Вместе с Акылбаем прибыли два джигита, оба огромного роста. Один из них – черкес Казакбай, человек с каменной горбоносой головой, как у горного барана, с глубоко посаженными настороженными глазами, – из прежних кунанбаевских телохранителей. Он уже давно прижился среди казахов, был женат, имел свое хозяйство в ауле. Возрастом он был почти ровесник Абаю, и Нурганым приставила черкеса к Акылбаю,



присматривать за ним. Второй спутник Акылбая – его сверстник Мамырказ, подросток с непомерно разросшимся широким телом, настоящий палван-великан, мальчик из рода Мамай. Лицом он был совершенно дитя, улыбчив, белокож, с большими ласковыми глазами. Несмотря на свою массивность, был подвижен, всегда весел, остроумен. Он был привязан к Акылбаю самозабвенно, искренне, и Акылбай, куда бы он ни ездил, всегда старался пригласить с собой Мамырказа.

В дороге они держались вдвоем, то отставали, скрываясь где-то далеко позади со своими шалостями, то обгоняли всех и уносились вперед, не желая, чтобы взрослые мешали их разговорам, ребячливым проказам. Абай стал замечать, что они довольно часто теряются из виду на пустынной степной дороге, и, вспомнив что-то свое, из далекого детства, он с улыбкой обратился к Ерболу и Шаке:

– Неужели этот Мамырказ и наш Акылбай такие близкие друзья? В этом возрасте, известное дело, мальчишки никак не могут оторваться друг от друга, как щенята одного помета. И бывает, что такая дружба сохраняется навсегда, – сказав это, Абай со значением посмотрел на Ербола.

Ербол ответно взглянул на Абая яркими карими глазами, понимающе улыбнулся. Вся их молодость была согрета теплом такой дружбы. Однако в том, что между Акылбаем и Мамырказом может быть подобная дружба, он сомневался.

– Абай, вряд ли здесь то же самое. Конечно, молодость, беззаботная жизнь, веселые приключения... Скорее всего, они развлекаются вместе, плуты этакие! – предположил Ербол, оглянувшись на Акылбая и его спутника.

Все сдержанно рассмеялись, Абай тоже внимательно посмотрел на юнцов и сказал:

– Может быть, и так. Избалованный байский мырза, несмотря на молодость, порой бывает спесив и самонадеян. Обычно такой не любит, когда рядом кто-нибудь умнее его, значительнее. Он предпочитает тех, которые льстят ему: «Ты лучше всех!»



И тут вряд ли возможна дружба. Боюсь, что наш Акылбай не тот джигит, на которого мы можем положиться во всем.

Эти слова вдруг снова рассмешили спутников: Шаке, Баймагамбета, Ербола. А Ербол высказался от имени всех, взяв на себя, на правах близкого друга и сверстника, смелость пошутить над Абаем:

– Е! Вот что значит – появиться на свет от шестнадцатилетнего родителя! Даже войдя в зрелый возраст, такой родитель никак не может простить своему ребенку, что он заставил его называться «отцом» – на самой заре юности! Такое обращение пугает, наверное, слишком молодого отца!

Это была рискованная шутка, и ее мог позволить себе только Ербол. Асылбек же, всегда относившийся к старшему другу, Абаю, с неизменным почтением, выслушал слова Ербола со сдержанной улыбкой.

– Выходит, Ербол-ага защищает Акылбая от его же отца! – лишь нашелся что добавить Асылбек.

– И не позволяет обуздать его! – продолжил Шаке. – Намекает, чтобы Абай-ага держал Акылбая не на короткой узде, а на длинном аркане!

Так, дружески беседуя, шутя и балагуря, путники неторопливо ехали по степи. К полудню они добрались до Балкыбека.

На сход кочевников должны были приехать из четырех родов: Тобыкты, Сыбан, Найман, Керей. Стан Балкыбек, река и все урочище носило это название. Местность оказалась расположена на стыке земель всех этих родов и была весьма удобна для проведения объединенного съезда кочевых племен. Ибо все сопредельные роды считали урочище своей землей и не позволяли другим занимать его – поэтому Балкыбек из года в год оставался не под пастбищем. Никто не решался пойти один против всех. Но как место съездов, на которых происходили межродовые переговоры, обсуждались спорные вопросы, это урочище подходило как нельзя лучше. Аткаминеры родов обычно пользовались тем преимуществом, что давало близкое



расположение их аулов от места схода: они приводили на него как можно больше людей и давили на собрание своим большинством. Балкыбек же был равноудален от всех разноплеменных аулов. И стойбище окружали богатые водой и кормами земли. Лучшего места для сборов нельзя было найти.

На нынешнем съезде в Балкыбеке ожидалось присутствие представителей девяти волостей, относящихся к административному участку крестьянского начальника Семипалатинского уезда – Казанцеву, «Казансыпу», как говорили степняки. Тобыкты должен был представлять четыре волости, Сыбан – две, по одной волости – Уак и Бура. Участвовали и керей, чьи земли располагались совсем близко, – ближе всех, – хотя их дуаны не относились к ведению местного уезда. Но у них было очень много споров и тяжб с сопредельными родами и племенами, и они явились в Балкыбек в большом числе, поставили много своих юрт, привели с собой многих искусных ораторов, которые будут биться в словесных поединках с золотоустами других племен.

В этом году сыновья Кунанбая стали оказывать решительное влияние на всех участках Казанцева: сразу трое сыновей хаджи стали волостными. И в остальных волостях – Керей, Сыбан, Уак, Бура поднялся ропот недовольства по этому поводу. Причины были известные: зависть, жадность, злоба. В каждом родовитом ауле находились желающие оказаться у власти.

– Опять Иргизбай заткнул всех за пояс. Еще недавно, когда Кунанбай был ага-султаном, люди удивлялись, как это ему удалось возвыситься до небес. А нынче он лежит себе дома, удалившись от мирских дел, словно одряхлевший бура на теплой золе кострища, – и что же? Он все равно у власти, удача по-прежнему сопутствует ему, потому что сразу три его сына стали акимами трех волостей. А еще одна волость иргизбаев, что находится на Муқыре, попала в руки Дутбая, зятя Кунанбая! И он тоже будет делать все так, как угодно Кунанбаю. И выходит – весь Тобыкты оказался у Иргизбая в руке: сожмет



ее – он в кулаке, раскроет – он на ладони! И ведь не только один род Тобыкты, но и роды Уак и Сыбан подмял под себя Исхак, волостной Кызылмолы! Пришла пора великой удачи для Иргизбая: нагнется – перед ним Иртыш, откинет голову назад – видит перед собой горы Чингиза! – Так говорили многие люди.

Обо всех этих разговорах на сходе в Балкыбеке рассказал Абаю всезнающий Ербол – он несколько дней назад уже побывал там, понаблюдал за народом. «Народом» Ербол называл не большое стечение людей, а родовых старшин, волостных начальников, биев, ораторствующих на собраниях, и все их окружение. О них и говорил Ербол:

– Что взяточников! Что ненасытных обжор с широкими глотками! Тьма-тьмущая! Да таких живоглотов никогда я раньше и не видел! – возмущался он. – Старая поговорка: «Целого верблюда проглотит с потрохами» – звучит лаской по отношению к ним. Берут взятки отарами овец, караванами верблюдов, коней целые косяки. Да и русские начальники, чтоб их Кудай покарал, хапают – не подавятся. Один только Исхак подсунул Казанцеву двадцать отборных скакунов, дал взятку за должность Такежана. Вот поэтому Такежан не сходит с уст начальника Казансыпа. А в эти дни судебных споров все новоизбранные волостные хотят возместить свои убытки, вот и сосут народ, как остервенелые!

– А что же бии? Неужели и судьи – взяточники? – воскликнул Абай.

– К биям еще не успел приглядеться. Но знаю, что они тоже неплохо обирают людей. Ведь все тяжбы и раздоры сначала разбирают бии, будь то между Керей – Тобыкты, Сыбан – Тобыкты, Бура – Тобыкты. И кто первым пригонит скот в аул к бию, того бий и не будет гладить против шерсти. Когда ему передают какое-нибудь дело, от истца приходит весть: «Присудишь, как мне надо, – получишь...» А от обвиняемого тоже приходит весточка: «Закроешь глаза на вину – получишь...» Бию остается только выбирать, кто сунет больше. Ему ведь надо еще поделиться с волостным и с другими, власть имущими.



– Скажи мне без утайки – Жиренше и Оразбай тоже берут?

– Еще как! Тут и скрывать нечего!

Абай сокрушенно покачал головой.

– И ведь оба – мои друзья... Я их продвигал в би... Может, ты, Ербол, преувеличиваешь? Я бы хотел верить в их честность... Если и они берут, то где же взять честных людей?

Умолкнув, Абай горестно задумался. Он почувствовал одиночество. Ербол тоже молчал, не желая дальше рассказывать о тех делах, которые для друзей Абая были обыденными, вполне допустимыми, вовсе не предосудительными, а для него – грязными. Ерболу не хотелось быть причиной ссоры друзей, ибо он хорошо помнил слова самого Абая: «Ссора между близкими и друзьями порождается тихими нашептываниями и тайными наговорами».

Абай и его люди долго не могли найти среди разбросанных по равнине временных аулов юрты своих родичей. Велика была шумная орда судебного и тяжбного народа кочевников четырех-пяти родов, из девяти волостей! Расположилась орда на вольном просторе – с размахом, с выставкой на всеобщее обозрение своих богатств и сил, кичливости: в больших восьмистворчатых белоснежных юртах, в пяти-шестистворчатых новых белых юртах, разукрашенных опояской из нашитых ярких узоров. Юрты бесконечными вереницами тянулись по обоим берегам реки, местами в два ряда, образуя длинные улицы.

В стороне от них беспорядочными кучками лепились маленькие черные юрты: помещения для полевых кухонь и для проживания прислужников. Вдоль рядов юрт стояли на привязи жеребята: на большой сход пригнали дойных кобыл, чтобы обеспечивать народ кумысом. Каждый род, каждый богатый дом взял на съезд все необходимое – скот на убой, верблюдов для перевозки юрт и домашней утвари.

Юрты для начальства и для проведения собраний были устроены в середине стана: главное помещение из соеди-



ненных трех больших восьмистворчатых юрт, еще несколько тройных юрт, меньшего размера, и двойных юрт. Здесь кипело столпотворение народу: суетились волостные начальники, бии, аульные старшины, шабарманы. Расхаживали простые степняки, приехавшие по своим делам, и те, которым здесь особенно делать было нечего, но хотелось побывать на шумном, интересном сборище – после долгого одиночества в степи.

Пестрота разнородных, разноплеменных одежд и шапок, особенность отделки и украшений седел, конских сбруй привлекали внимание Абая. Кочевая степь представляла здесь, на большом межродовом съезде, в своеобразии бытования разбросанных племен беспредельно широкой Арки. Перед глазами Абая мелькали четырехклинные низенькие шапки тобыктинцев, высокие и узкие тымаки кереев, стеганные шестиклинные – сыбанов и восьмиклинки уаков.

Выстроившись рядами, перед строеными юртами начальника Казансыпа стояли, вместе со своими толмачами, волостные акимы, их помощники и главные судьи племен волости. Из главной юрты появились русские чиновники в белых фуражках и кителях с золотыми пуговицами. Их сопровождали урядники и стражники.

– Смотри, как они выстроились! Поминальную молитву хотят читать, что ли? – рассмеялся Ербол.

– Встали отдельно от народа... Отделились, как козлы от овец. Для чего это? – возмутился Шаке.

Асылбек, сам в недавнем прошлом волостной, объяснил ему:

– Ждут начальство. Ояз должен приехать... Смотри туда – вон, уже и повозки видны.

По ровной зеленой долине неслись несколько повозок, гремя колокольцами. Впереди и по сторонам скакали во весь опор конные группы шабарманов и стражников, гремя копытами коней, как на большой байге.



– Какой там ояз! Едет целая толпа начальства! – заметил Абай.

– Ага, вы точно сказали, я узнал, что приедут оязы двух уездов – Семипалатинска и Каркаралинска, разбирать дела Сыбан, Керей и Тобыкты, – подтвердил Асылбек.

Две большие открытые пролетки, отделившись от остальных, свернули к строеным юртам. Вся цепочка повозок разделилась на две части, и каждая потянулась за первыми двумя пролетками. Все они, отстав от передовых, стали разъезжаться по разным казенным юртам. Абай и его спутники поехали дальше, разыскивая юрты своих родичей.

– Держитесь за мной! – сказал Ербол. – Буду выбирать путь, чтобы не попасть под руку этим полоумным! – Он имел в виду ошалевших от усердия и испуга шабарманов, кинувшихся расчищать дорогу начальству.

Нескоро они добрались до юрт, где должны были спешиться. Баймагамбет, Мамырказ и Казакбай давно уже на рысях умчались по улице, расспрашивая встречных о юртах, поставленных сыновьями Кунанбая. Баймагамбет первым вернулся к Абаю и его спутникам с сообщением:

– Юрту Такежана нашли!

– У него останавливаться не будем, – решительно сказал Абай.

Затем прискакал черкес Казакпай.

– Вах! Нашел аул Исхака! Абай, давай спешиться у его дом, да? – не очень уверенно произнес он. За многие годы черкес так и не научился говорить по-казахски.

– У его дом спешиться не будем, – усмехнувшись, отвечал Абай.

Двинулись дальше. Оказалось, что братья-волостные Кунанбаевы поставили свои аулы рядом, друг возле друга. И когда Абай в окружении своих людей миновал юрты Такежана и Исхака, из следующего аула выскочил на саврасом – из косяков Кунанбая – его внук Шубар, новый глава Чингизской волости.



Прорвавшись сквозь окружение Абая, Шубар громогласно вознес салем. Он увидел со стороны проезжавшего мимо Абая и сразу решил пригласить его к себе.

– Абай-ага! Это же наши дома! Куда вы мимо проезжаете? – шумно заговорил чингизский волостной. – Спешивайтесь все у моей юрты.

Это был рослый, широкоплечий джигит, сидевший, как влитой, в седле. Смуглое лицо его было тронуту следами оспинок.

Абай поздоровался с ним и разговаривал спокойно, обыденно. Поздравил его с назначением на должность.

– Не уговаривай нас стоять в твоём доме. У тебя немало других родственников, которым есть дело до тебя. А у меня нет никакого дела: ни жалоб, ни заявления, так что мне незачем останавливаться в доме волостного. Я и мои люди – вольные казахи, привычные к беспечной жизни. Вот Асыл-ага, Ербол-ага, они тоже, как и я, ложимся поздно, встаем, когда хотим, спим без всяких тревог на душе. А у тебя будут просители, и днем будут приходиться, и ночью – зачем нам такое беспокойство, Шубаржан? Я лучше пойду к Оспану, он тоже хотел ставить здесь юрты, мне у него будет спокойнее.

Шубар заметно огорчился из-за отказа Абая, но не стал более настаивать, и только просил дядю, чтобы он выслушал несколько слов наедине. Абай попридержал коня, отстал от других, и Шубар ему поведал:

– Недавно приехал наш уездный ояз, мы собрались – человек семь-восемь акимов волостей, встретили его, а он, как только вошли в гостевой дом, еще не поздоровавшись с нами, спрашивает: «Присутствует ли здесь на съезде Ибрагим Кунанбаевич?» Мы все этому порадовались, и я самым первым из всех ответил: «Он здесь и непременно явится вас приветствовать!» – Так сообщил уверенный в себе Шубар, и по нему видно было, что он вполне воздаёт должное дяде, благодаря которому сумел обратить на себя внимание высокого начальника.



– Было бы полезно, агатай, если вы встретитесь с ним. Кругом столько людей со всякими жалобами на нас, кунанбаевских, а вы только сходили бы к сановнику, отдали ему салем, посетили бы его раньше других – нам и этого достаточно. Какая честь для нас! – наконец он высказал свою просьбу, ради чего и хотел зазвать к себе Абая.

Абай все это понял, но виду не подал. Как бы мимоходом спросил:

– А что, сам ояз Лосовский приехал или кто-нибудь вместо него?

Приехал, оказалось, сам Лосовский. И не ради корыстного расчета, на что намекал ему родственник, а ради самого советника Лосовского, о котором неплохо отзывались и Андреев, и Михайлов, Абай решил встретиться с уездным акимом. Коротко ответил Шубару:

– Пойду. Только отдам салем. А заработать на этом – ты и не надейся.

Расставшись с Шубаром, Абай вскоре подъехал к юрте Оспана, где уже спешивались его спутники.

И вскоре здесь, само собою, собрались все самые знатные люди Тобыкты: аткаминеры, волостные, богатые баи. Оспан, который никаких должностей не занимал, лишь управлял всем огромным достоянием Большого дома Кунанбая и Улжан, тоже выставил на сходе пять больших юрт. Сегодня он велел забить серую кобылицу с белой звездочкой на лбу, что обычно делалось в предвестию какого-нибудь важного события: перед походом или ввиду предстоящей большой судебной тяжбы – как жертвоприношение.

В большой юрте были волостные – Жумакан, сын влиятельного владельца из Сыбан, и Тойсары, верткий, ловкий, красноречивый из рода Керей, тобыктинец Молдабай, жирный, самоуверенный, задорный джигит. Пришли и Такежан с Исхаком. Были и другие волостные.

Никто ничего не говорил лишнего. Здесь сошлись под одним шаныраком и те, которым предстоит беспощадно противостоять



друг другу при начальственных разбирательствах и перед судом. Внешняя взаимная вежливость не могла скрыть того, что выражали их глаза, когда они переглядывались или бросали взгляды исподтишка. Не сегодня-завтра предстоял крупный разбор дела между родом Сыбан и волостью Кызыладыр, а точнее сказать – между волостными Такежаном и Жумаканом. Ожидался суд между племенами Мотыш и Керей, что означало стычку волостных – Молдабая и Тойсары. Межродового схода не было уже несколько лет, и в племенах накопилось множество нерешенных тяжб друг против друга: и по барымте, и по набегам, и по увозу невест, и по многим другим жалобам кочевого народа. Скоро бии начнут состязаться в красноречии, стараясь выиграть дела своих тайных клиентов, приводя неопровержимые доказательства своей правоты, которые тем сильнее воздействуют на суд, чем будут неожиданнее. Помня об этом, всякий из присутствующих старался не проболтаться.

Один Абай, пожалуй, не чувствовал никакого напряжения и живо интересовался некоторыми делами, о которых услышал здесь. Так, он стал расспрашивать Жумакана и Тойсары о тяжбе между родами Керей и Сыбан. Это было затяжное дело, известное на весь край, не решенное по сей день. В продолжении их распри Керей и Сыбан делали взаимные набеги и угоняли друг у друга коней. Распря эта была известна под названием – «Тяжба девушки Салихи». Абая очень интересовало это дело. Он стал расспрашивать. Тойсары отмолчался, Жумакан злобно зыркнул на него и стал говорить:

– Мир восстановить – всегда нетрудно, было бы желание, Абайжан. Но если даже девушку не могут усмирить и подчинить, то какая может быть воля и сила у племени?

Жумакан упрекал кереев, эта тяжба крепко рассорила их с родом Сыбан. Продолжение разговора ничего хорошего не обещало, и Абай решил прекратить свои расспросы.

Подали кумыс, и обстановка в юрте оживилась. Кто-то из гостей сказал, что пора бы послушать песни. Шаке сидел, пере-



бирая струны домбры, Абай взял ее у юноши и передал акыну Байкокше. Тот приехал из Кызыладыра вместе с Такежаном, но здесь поселился у Оспана. Бывая повсюду, акын знал все новости, как самые широко известные, так и сугубо скрытные, из волостных дуанов и властительных юрт, и делился ими с Оспаном.

– Все они тут объелись взятками, до икоты – и волостные, и би, и старшины. Прямо пир горой! Слушай, Оспан, светик мой, если тебе мало того, что ты уже имеешь, то становись скорее волостным. Будешь драть и с правого, и с виноватого, и никто тебя за руку не поймает!

– Как тебе удастся узнать про все эти дела? – удивлялся Оспан. – Ты что, бахсы, что ли? Ясновидящий? Ведь они взятки получают темной ночью, из-под полы, а договариваются об этом тайком, без свидетелей!

Посмеиваясь, Байкокше начал ему рассказывать.

– Только не говори, айналайын, никому другому: я все узнаю через шабарманов. Разве не через их руки проходят взятки – отсюда туда, а оттуда сюда? Я стараюсь дружить с шабарманами, а они от меня ничего не скрывают. И к тому же – все шабарманы разных волостных и старшин – как родичи, всё рассказывают друг другу! А через них и я все узнаю об их хозяевах!

Приняв домбру из рук Абая, акын Байкокше тут же спел сочиненную на ходу песенку-приветствие всем присутствующим. Раскрасневшись от выпитого кумыса, довольные гости стали издавать певучие возгласы восторга и восхвалять акына:

– Молодец! Барекельди! Из всех нынешних акынов – Байкокше самый первый!

– Соловьем разливается! У него искусство старой школы, сразу видно мастера!

– Пой, Байеке!

Байкокше был на вид человеком замкнутым, с увядшим лицом, со сморщенными щеками, повисавшими над узенькой бородкой. На все восхваления и лестные возгласы даже бровью



не повел, оставаясь по-прежнему невозмутимым и равнодушным. Закончив приветствие, он какое-то время еще играл на домбре прежний мотив, затем вдруг резко перешел на *терме* – музыкальный ритм для речитатива. И слова, которые явились в его импровизации, были отнюдь не такими приятными и возвышенными, как в песне-приветствии. *«Ты взял в руки власть, стал сановником, возвысился над людьми, – не используй власть так, чтобы бедные плакали. Не обижай честного, не клевети на безвинного, изваляв его в грязи перед злодеем. Не делай зла, называя это своим благим деянием. Не обирай, в жадности своей, бедный народ, не садись ему на шею»*, – пел акын.

И эта песня ни у кого из сидевших в юрте волостных не вызвала одобрения. А вспыльчивый, самоуверенный Молдабай сердито выкрикнул:

– Этот Байкокше – и на самом деле кокше¹! Очернит кого угодно! Исподтишка мутит воду!

Асылбек, внимательно прослушавший *терме* акына, усмехнулся и ответил на слова Молдабая:

– Нам нужно с должным вниманием относиться к словам акына. Акын ничего не скажет зря.

Остальные аткаминеры и волостные старшины, которым тоже не пришлось по душе слова Байкокше, постарались перевести разговор на другое, начали шутить, подтрунивать друг над другом, как это водится за кумысом, в ожидании дружеской трапезы. Но Абай не захотел, чтобы публика замяла острое песенное выступление Байкокше, и вступил в разговор:

– Почтенный Байеке не стал восхвалять тех, кто привык корыстно пользоваться властью. Его песня – не слова попрошайки. Он говорит то, что говорит народ о таких властителях. Акын обличает их от имени народа!

Слова Абая возмутили Такежана.

¹ *Кокше* – темный.



– При чем тут народ? Какой народ давал ему поручение говорить дурные, ядовитые слова? Скажи прямо: змеиный у него нрав, каким наградил его Создатель.

Исхак и Тойсары тотчас поддержали его.

– Мерин чесоточный всегда хочет потереться о другого коня! – сказал один.

– Такому надо подальше держаться от народа! – поддержал его другой. – К чему эту заразу передавать людям?

Абай усмехнулся и ответил:

– Не можем мы спокойно выслушивать правду! На откровенное, правдивое слово отвечаем угрозой: «помолчи лучше, а то лягну тебя как следует!» Как же нам узнать об упреках народа, если даже не будем слушать Байкокше?

– Байкокше – это еще не народ! – вскричал Такежан.

Но тут в спор вступил сам акын, прогремев на домбре стремительным проигрышем, он подался всем корпусом вперед и молвил:

– Уа, мой волостной! Байкокше как раз и есть народ! Не хочешь его слушать – не слушай, но Байкокше всегда поет то, что на устах народа!

– Ну, тогда и спой, пройдоха, что там на устах у народа! Коротко спой, не утомляй наши уши! – насмешливо глядя на акына, потребовал Такежан.

Абай весело, сверкнув черными глазами, с улыбкой одобрения посмотрел на Байкокше.

– Оу, Байеке, не будем теряться! Дадим ему знать, что думает о нем народ. Споем вдвоем терме: я начну, а ты подхватишь. Годится?

И тут же, без задержки, Абай заиграл на домбре и запел:

*Густою травой жайляу в низинах покрыт,
На легкое счастье родится иной жигит...*



Сидевший, скорчившись, Байкокше вдруг встрепенулся, приосанился и, взяв на подхват ритм терме, продолжил пение своим высоким голосом:

*Поставят за ловкость его волостным –
Он только взятки берет, пока не слетит!*

– Вот тебе и слова, что на устах у народа! – смеясь от души, сказал Абай, глядя на Такежана.

Сидящие в юрте, оценив меткость и быстроту поэтического слова акынов, воодушевленно зашумели, развеселились, все как один уставились смеющимися глазами на Такежана. А он багрово вспыхнул, отвернулся от Абая и пробурчал:

– Типун тебе на язык. Словоблуд ты этакий...

Абай покатился со смеху. Сидящему рядом Ерболу сказал:

– Ну, брат! Это не Байкокше, а настоящий Жайкокше¹ – удар грома! – Продолжая громко смеяться, Абай встал и вышел из юрты. Оставшиеся, в особенности волостные, сразу же смолкли и, словно забыв о недавнем веселье, все как один насупились, объединившись в общем угрюмстве. Так дрофы в степи, когда видят внезапно подлетевшего ястреба, сплачиваются в единую стаю, готовясь к отпору. Оспан видел, что гостям не по душе поэтические выходки Байкокше и, обратившись к нему, прямой и грубоватый хозяин сказал:

– Ладно, про остальных можешь не продолжать.

И он стал взбалтывать и наливать в пиалы кумыс.

Из всех собравшихся в его юрте волостных самым молодым был Шубар. Но он был и самым грамотным, развитым, подвижным по сравнению с другими. В свое время он учился у муллы Габитхана, через десять лет сам получил звание муллы, затем, подобно Абаю, самостоятельно обучался русской

¹ Жай – гром.



грамоте, занимался у разных толмачей и довольно преуспел в разговорной речи по-русски.

Это дало ему возможность выдвинуться от Иргизбая в волостные Чингизской волости, несмотря на то что по возрасту еще не проходил – ему приписали несколько лет. Его старшие братья, Такежан и Исхак, поручали ему выступать от их имени перед крестьянским начальником Казанцевым и перед оязом Лосовским... Заметив, как огорчился Оспан из-за выпадов Байкокше, он стал бранить акына:

– Оу, Байкокше! Чтоб тебе провалиться на месте! Свои насмешки и издевки ты считаешь «честной прямотой» и хочешь, чтобы мы их выслушивали? Но кто тебе позволил нарушать законы адата и вразумил тебе, что можно «съесть поданную тебе пищу, а потом чашу отбросить пинком в сторону»?

Слова Шубара еще сильнее взвинтили Оспана, и он, с неудовольствием глядя на акына холодными глазами, стал ему выговаривать:

– Вот я, ты знаешь, не волостной и не приспешник сановников. Здесь собрались почитаемые, видные люди разных родов, и я выказываю им свои родственные чувства. Я для властей посторонний человек, но я пригласил своих родичей в этот дом, чтобы они отвлеклись от своих мирских забот и поразвеелись бы, отдохнули. Я не одобряю споры и тяжбы разные, я больше за то, чтобы дружба была между людьми и согласие, и я хочу всем пожелать удачи и всякого блага! – Так сказал Оспан.

Высказался вслед за ним и молодой аким волости Дутбай:

– Барекельди, Оспан-ага. Верные слова! Ты же младший сын у Кунеке, и для нас честь – услышать такие веские слова от тебя, ведь шанырак Большого дома Иргизбая поднят над твоей головой!

Эти слова поддержали и на разный лад восхваляли Оспана и другие знатные гости.

– Этот шанырак висит не только над Тобыкты! Мы все под ним!



– Аргын, Найман, Керей, Уак – мы пришли в этот дом неспроста! Благодарность наша большому мирзе Оспану за его гостеприимство!

Растроганный этими лестными и приветливыми словами гостей, простодушный Оспан еще раз быстро оглянулся на Байкокше и нахмурил свои кустистые брови.

– Вот видишь, какой ты у нас знаток людей и провидец. Говорится, что в добром пожелании – половина удачи. Я-то ждал от тебя всяких мудрых напутствий для этих добрых людей, а ты чего наговорил, возмутитель спокойствия?

После таких слов Байкокше только и осталось как потихоньку, вслед за Шаке и Баймагамбетом, покинуть дом Оспана.

Этим же вечером, когда в шатрах тройных юрт зажгли множество ламп, а на столах расстилались дастарханы к вечернему чаю, туда пришел Абай, поприветствовать Лосовского. С красиво загоревшим на степном солнце смугло-румяным лицом и светлым – под фуражку – лысоватым лбом, Лосовский быстро встал со стула и пошел навстречу Абаю, увидев его входящим в юрту. Они крепко и долго жали руки друг другу. После взаимных приветствий и вопросов о здоровье Лосовский усадил гостя рядом с собой на стул и начал разговор о том, какие дела привели его в эти края. Главным было – одно дознание, которое он должен был провести сам. На столе лежала высокая стопка бумаг – прошений, которые составляются в волостных дуанах и на привычном для казенщины языке называются «приговорами». Показав на бумаги рукой, Лосовский с возмущением и одновременно с веселым удивлением сообщил Абаю, что абсолютно все приговоры подложные, а все тамги на них и печати поддельные.

– Вы кстати пришли, Ибрагим Кунанбаевич, я очень рад вас видеть, но у меня есть к вам и большая просьба! Помогите мне разобраться с моим личным дознанием, – сказал Лосовский. – Это прошение одного молодого киргиза, из Мукурской волости, некоего Жанатая Кокпая, на имя губернатора. Речь



идет об этом самом урочище Балкыбек, где мы сейчас с вами находимся. Приговор составлен от имени управителей шести волостей, заинтересованных в этом урочище. Вот, смотрите, что тут написано: «Мы все, волостные управители Тобыкты, Даган, Кандыгатай, Енирекей... – и так далее, – согласны в том, чтобы Балкыбек впредь принадлежал Жанатай-улы Кокпаю...» Это на том основании, что земли эти когда-то принадлежали предкам Жанатаева. А вот тут посмотрите – целая куча печатей проставлена. Я стал проверять – и оказалось, что не только во всех указанных волостях, но даже и в Мукуре управители ничего не знают об этом прошении. Никаких печатей, разумеется, они не прикладывали. Все это оказалось грубой подделкой. Вот, полюбуйте!

Лосовский стал переключать листы, указывал на приложенные печати.

– Я уже накоротке встречался с просителем. Он утверждает, что все эти печати поставили управители волостей. А на самом деле – это одна и та же печать аульного старшины. И она приложена нарочно небрежно, чтобы все смазлось. Ведь это крупный подлог, Ибрагим Кунанбаевич, и пошел на это совсем молодой джигит! Вот, ругают наши канцелярии, мол, плохо работают с местным населением, допускают много ошибок по неведению. А что можно сказать, когда сталкиваешься с таким откровенным обманом и лживостью местного населения? То дадут ложную присягу, то пришлют ложный донос, то скроют разбой и грабеж, отписываясь вот такими приговорами! Возмутительно! Я вызвал этого просителя-обманщика, скоро его приведут, и вы сами его увидите.

Лосовский обернулся к стоявшему у дверей седоусому стражнику и приказал:

– Вели подать сюда чаю! Мне и моему гостю!

Кроме Абая, в казенную юрту к оязу не заходил еще ни один казах. Волостные управители, недавно сидевшие вместе с Абаем в юрте Оспана, теперь толпились перед дверью трой-



ной юрты. В те редкие минуты, когда дверь приоткрывалась, степные начальники заглядывали внутрь и могли видеть Абая, вольготно сидящего рядом с оязом на стуле и рассматривающего вместе с ним бумаги. И одни радовались этому обстоятельству, другие завидовали, а третьи ревновали... Словом, у двери непрестанно шушукались и тихо переговаривались. А когда вышел седоусый стражник и крикнул: «Чаю на двоих!» – удивлению начальников волостей не было границ.

– Это ведь Абаю чай!

– Барекельди! У самого ояза гостем будет!

– Значит, он его друг!

Так перешептывались волостные, и мысли их в своих предположениях устремлялись далеко! Каждый из них прикидывал, какую выгоду мог бы принести ему Абай.

– На этом сходе все будет так, как пожелает Тобыкты! – замечает кто-то.

– Разве кунанбаевские волчата дадут хоть кому-нибудь раскрыть рот, когда Абай пьет чай с самим оязом!

– Ей! А ведь этот акын дерзил нам не от себя! Его устами Абай говорил! Только для чего это ему?

– Непонятно... Заставил своего акына облаять нас, а сам ушел, хлопнув дверь. Почему? Может, мы его чем обидели? Замышляет что-то и угрожает нам?

– Жа! Не болтай зря. Просто сыновья Кунанбая нынче набрали большую силу. Сразу три волчонка его стали волостными. И это – дело рук Абая. Недаром он зиму и лето в городе сидел, все якшался с властями, с чиновниками... Вот и обуяли его гордыня и чванство!

Так разговаривали озадаченные акимы волостей у двери временной степной канцелярии уездного ояза.

Теперь, узнав, что Абай пьет чай с оязом, волостные начальники пригнули загривки и поджали хвосты. Каждый из них думал: надо жить в ладу с Абаем...

Беседа же Абая с Лосовским пока не касалась никаких дел степных кочевников, ни одного волостного или другого мест-



ного начальника, ни самого этого съезда, где они встретились. Первое, что сказал Абай Лосовскому, очень понравилось уездному начальнику:

– Я приехал сюда только посмотреть на съезд. Никаких других дел у меня нет, кроме, правда, одного – но это не мое личное дело. Я хочу заступиться за бедняков жатаков, которые занялись хлебопашеством, а их грабят богатые аулы и устраивают потравы на их полях. Но пока говорить об этом не будем... А к вам я пришел лишь приветствовать вас и узнать о городских новостях. Хотелось бы услышать и о наших общих друзьях – Евгении Петровиче и Акбасе Андреевиче.

– Ну и отлично, Ибрагим Кунанбаевич! – повеселел Лосовский. – Я вам очень рад, ведь вы – единственный человек, с кем я могу поговорить в этой глухой степи!

Он предложил «разговаривать на широкую тему» – о книгах, которые успел прочитать Абай за последнее время, о петербургских новостях, о газетах и журналах.

Их беседу нарушил урядник, который вошел с докладом:

– Ваше высокоблагородие! Явился Жанатаев, прикажете впустить?

– Вводи, – приказал Лосовский.

Урядник привел из соседней секции тройной юрты этого самого Жанатаева – высокого, горбоносого, смуглого джигита со спокойными, большими глазами. Басовитым, мужественным голосом произнес он приветствие на русском языке: «Здрости, ваши благородии!» – затем повернулся к Абаю и, прижав правую руку к сердцу, произнес салем:

– Ассаламагалеюк, Абай-ага!

Вслед за Кокпаем вошел толмач, встал рядом с ним. Через него Лосовский стал допрашивать джигита. Из его ответов Абай узнал, что ему двадцать два года, что несколько лет он проучился в медресе хазрета Камали в Семипалатинске, что происходит он из рода Кокше и состоит в родстве с акимом Мукурской волости Дутбаем.



– Жанатаев, сегодня все шесть волостных, среди них и твой родственник Дутбай, признали, что твои документы подложные. Твой родственник, волостной Дутбай Алатаев, заявил без обиняков: бумага поддельная, это подлог. Вот и хочу я понять. ты человек, воспитанный известным и уважаемым наставником мусульманского медресе, как же ты соизволил не только нарушить закон и совершить преступление, но и пошел против правил мусульманского шариата? Ты бы пожалел свою молодость, джигит! Если с такого возраста ты начинаешь прибегать к недозволенным преступным действиям, к обману и мерзкому подлогу, что же будет с тобой в дальнейшем? Я не намерен спускать тебе, Жанатаев. Тем более, что ты поступаешь не по невежеству и темноте, это темному человеку можно скостить вину хоть наполовину, ввиду его невежества, а ты ведь человек грамотный, и преступное деяние твое совершено преднамеренно, и за это полагается двойное наказание! Что ты скажешь на это, Жанатаев?

Прежде чем ответить, Кокпай звучно прочистил горло, откашливаясь, как это делают певцы, собираясь запеть. И Абай вспомнил, что джигит уже лет пять назад был известен не только как лучший ученик хазрета Камали, но и как способный певец, о котором народ заговорил по всей округе. И Абаю было намного досаднее оттого, что мошенничество в глазах русского начальства совершил именно такой известный человек степи... Вначале потемнев лицом от нахлынувшей крови, затем побледнев от сильного волнения, Кокпай начал держать ответ:

– Таксыр, моя вина тяжела, и я признаю ее, – произнес он дрожащим голосом. – Но почему я сделал это? Хотелось бы, чтобы вы, таксыр, выслушали меня. И тогда мне будет легче принять любое ваше наказание – не как муку, а как справедливое наказание.

– Изволь, братец, говори.

– Только от нужды! От нищеты. Ваше благородие, я из бедного рода Кокше, с одной стороны нас теснит род Мамай,



с их огромными владениями, с другой стороны – Иргизбай, у которого все лучшие джайлау на Чингизе. А мой аул, всего о сотню очагов, теснится на маленьком пятачке земли по берегу Баканаса, иголку некуда воткнуть! Ну а Балкыбек расположен ближе всего к нашим землям – ближе владений родов Сыбан, Керей да и всех остальных родов Тобыкты. И на расстоянии всего одного ягнячьего перехода от нас находятся никем не занятые земли – с самой лучшей травой, с обильными водопоями. На них никто из сильных родов не может заявить свои права, но и других не пускают туда. Я и составил на Балкыбек эту бумагу, чтобы как-нибудь попытаться получить урочище для Кокше. Бумага действительно подложная, никто из волостных никогда бы не поставил на нее печать. Печать они ставят, так-сыр, когда попросят об этом их родичи, или за большую мзду, я же ни там и ни здесь не подхожу. Я не совершил большей вины, ставя преступные печати и отправляя бумаги, чем совершают они каждый день. Все вам я рассказал, как на духу, и все это истинная правда. Иншалла! Рядом с вами сидит Абай-ага, и он может подтвердить мои слова. Я все сказал, и теперь как угодно можете наказывать меня. Моя вина – приму любое ваше наказание, как положено. Хотите голову рубить – рубите, вот она, перед вами. Но если найдете не рубить ее – я буду вечно ваш благодарный слуга.

Абай внимательно следил за тем, чтобы толмач переводил верно, и одновременно любовался красотой и выразительностью излагаемой джигитом речи, его смелостью и достоинством. Теперь Абай был вовсе не за то, чтобы Кокпай был наказан, и решил, что будет ходатайствовать за него, если ояз вдруг подвергнет виновного суровому наказанию.

Выслушав его, Лосовский заговорил гораздо мягче, но обратился не к ответчику, а к Абаю:

– Ибрагим Кунанбаевич, наш джигит-то каков! Не только способен на подлог, но вполне может держать речь в свою



защиту, как адвокат! Как вы думаете – лежат ли в основе его действий те причины, которые он назвал?

Абай порадовался в душе тому, какой оборот принял разговор, ибо он до этого сидел и не знал, что ему делать и что говорить, если с самого начала положил себе не вмешиваться в допрос сановника. А теперь он, воспользовавшись его дружеским обращением к себе, посчитал возможным вежливо, спокойно ответить ему:

– Хотя подлог заявления Жанатаева выяснился, я убежден, что все, сказанное им для объяснения своего поступка, есть чистая правда. Я могу говорить об этом с полной уверенностью, ваше благородие!

– Но разве допустимо идти на преступление ради того, чтобы добиться справедливости, Ибрагим Кунанбаевич?

– Нет, конечно. Это его не красит.

– И если с таких лет приучаться нарушать законы, чем это может кончиться?

– Несомненно, будущее может оказаться плачевным. Если, получив образование, он захочет воспользоваться им для совершения преступлений, то такой преступник будет намного опасней безграмотного, невежественного.

– Вот видите, Ибрагим Кунанбаевич, значит, нужно ограждать народ от таких людей, и наказывать нашего джигита достойным образом.

– Наказать нужно... Да только, мне думается, что он уже понес наказание, стоит, мучается совестью перед вами... Ведь наказать можно не только тюрьмой и каторгой. Для такого джигита, вольного сына степи, наказание совестью тяжелее тюрьмы. Тем более, я уверен, он полностью осознал свою вину. Мне кажется, если заглянуть внутрь него – в душе у джигита все пылает от стыда.

Лосовский рассмеялся, взглянув на Кокпая, который и на самом деле стоял перед ним с горящим лицом, опущенными глазами.



– Вы так уверенно говорите о его стыде и раскаянии, будто готовы дать поручительство за него, – сказал аким, переводя взгляд на Абая. – Так ли, Ибрагим Кунанбаевич?

Кокпай вдруг обратился к Абаю по-казахски:

– Настоящий джигит редко дает клятву, Абай-ага. Вы это знаете. Я многое понял из того, что вы говорили с оязом. И если вы спасете меня, вытащите из этого срама, то потом мне и умереть не жалко. Готов поклясться, что впредь до самой смерти буду верным вашему слову чести, данному за меня. Буду всегда рядом с вами и служить вам, агатай.

Абай весь подался вперед и пристально посмотрел в глаза Кокпаю. Его сильная, горячая речь тронула сердце Абая. Он повернулся к Лосовскому, когда джигит смолк.

– Ваше высокоблагородие, джигит дал клятву... Вы спросили, готов ли я дать поручительство за него. Я согласен на это. Простите Жанатаева за его проступок и отпустите под мою ответственность.

Приняв окончательное решение, Лосовский внимательно, твердо и значительно посмотрел на Кокпая.

– Добро, Жанатаев! – сказал начальник. – Я думаю, что если ты, отныне ступив на правильную дорогу, захочешь добром послужить людям, из тебя выйдет честный, полезный человек. Больше не оступайся, джигит! Впредь во всем поступай, как посоветует тебе Кунанбай-улы Ибрагим. Отдаю тебя на поруки ему. За тебя поручается большой человек, джигит чести и совести. Не опорочь его имени, и пусть этот проступок твой будет последним!

Лосовский взял в руки листы с подложным приговором и делом Кокпая, сложил вместе и, разорвав пополам, выбросил в мусорную корзину.

Когда в этот вечер Абай, засидевшийся допоздна у Лосовского, вышел из служебной юрты, толпившиеся возле нее волостные еще не разошлись. Среди них находился и Кокпай. «Славный, великий Абай-ага вытащил меня из огня! Спас от



смерти – теперь я должник его на всю жизнь!» – потрясенный до глубины души, не уставал он повторять перед всеми.

Позвав Кокпая с собою, Абай направился к юрте Оспана. Волостные тоже стали расходиться, обсуждая это небывалое дело, поражаясь тому огромному влиянию, какое имел Абай на высокое начальство. «Вырвать из цепких рук разгневанного ояза человека, которого ожидали верная тюрьма и ссылка – это под силу только Абаю! Для него нет ничего невозможного!» – говорили они, покачивая головами.

И всю ночь в стороне от Абая завистливо обсуждали, отчего у него такая сила, почему сам ояз ищет дружбы с ним. Множество догадок и предположений – одно удивительней другого – звучало в эту ночь по юртам Балкыбека.

2

На следующий день выпал самый разгар страстей и суеты межродовой борьбы за власть в степи, всяких ухищрений, тяжб и наветов друг на друга соперничающих сторон.

– Сошлись два дуана разных уездов. Приехали два акима. Что же теперь будет?

– Кто станет главным бием на сходе?

– Слышно, оязы сказали, чтобы аткаминеры и волостные сами назвали его имя.

– Чье? Вот бы хотелось знать: Тобыкты, Сыбан или Керей возьмут верх?

– Жирный кусок достанется тому роду, откуда будет главный бий!

– Однако Аргын самый старший из родов! Оттуда и быть избранным бию! Увидите – Тобыкты возьмет верх, более некому!

В этом кипении страстей слышалось беспокойное дыхание будущих распрей, противостояний, родовых междоусобиц. Прибывшие на съезд волостные, аткаминеры, многочисленные



атшабары сопровождения, аульные старшины, пятидесятники и просто праздные краснобаи и словоблуды – все носились по временным аулам, словно очумелые. Среди них была группа бесстрастных наблюдателей, которым было просто любопытно посмотреть на выборное действо: «что особенного может случиться на этом съезде?» Таких выявилось больше десятка человек, среди них – Абай и Асылбек, Ербол и Шаке, а также Байкокше и молодой Кокпай, присоединившийся к ним, по известным обстоятельствам, с прошлой ночи. Крутилась на сходе и праздная молодежь, вроде Асылбека и его приятеля, толстого Мамырказа, мальчика-великана.

Сегодня, вновь увидев волостных, толкущихся у юрты начальства, Абай вспомнил, как вчера ночью они заглядывали в дверь, пытаясь хоть в щелочку подсмотреть за его встречей с Лосовским. И пришли на ум озорные стихотворные строчки:

*Скачет посыльный – загнал коня,
Злится, орет, помрет как раз...
«Съезд будет, съезд! Приедет ояз!
Юрты готовьте – слушать меня!
Скот пригоните – таков приказ!» –*

продекламировал напевным речитативом Абай, указывая протянутой камчой на белые служебные юрты, чем вызвал бурный смех у Байкокше, Кокпая, Ербола.

– Давай еще, Абайжан! Читай дальше! У тебя неплохо получается! – воскликнул Байкокше и, подстегнув своего гнедого с белой лысинкой на лбу, притеснился к Абаю поближе.

*Я за народ стараться привык:
Мой без запинки мелет язык!
Если бог даст – тебя, мой народ,
Он и сегодня не подведет!
Прост мой народ, пойдет на посул,*



*Всех обнадежив, я всех обманул!
Дело состряпать долго ли мне
Вместе с оязом наедине?
После скажу: «Я спину не гнул!»*

Так продолжил Абай, и сам рассмеялся.

Кокпай только сейчас узнал, что Абай сочиняет стихи. Сам Кокпай тоже баловался стихами и сочинил немало озорных шуток в стихах. Теперь он с воодушевлением подхватил шалое стихотворство Абай-аги и пропел:

*Тайны мои я прячу, как клад!
То, что я взял, не верну назад!
Тот, кто мне враг, трепещи меня –
Злоба моя страшнее огня!*

Абай с улыбкою обернулся к юному джигиту и молвил:

– Оу, Кокпай, айналайын, да ты не только сал, оказывается, но и акын! Барекельди!

– Агатай, и я только что узнал, что вы акын. Мне захотелось сразу же и поддержать вас! – с учливой улыбкой отвечал Кокпай.

Все едущие ватагой друзья Абая заинтересовались начавшимся разговором и, шенкелями направляя коней, сплотились теснее вокруг него. Все ожидали продолжения стихийно начавшегося айтыса. Но к этому времени эта группа всадников подъехала к юртам чиновничьего аула.

В стороне от него, на выходе в просторную степь, сидели на земле, широким кругом, люди в тобыктинских шапках. Гор-танный, властный голос раздался оттуда, призывая к себе Абая и его людей. Кричал Такежан, стоявший посреди круга и размахивавший в правой руке черным тымаком. Всадники повернули коней и шагом подъехали к собранию. Начались шумные обмены приветствиями – тех, кто подъехал, с теми,



кто сидел на земле в кругу. Такежан, продолжая оставаться на ногах в середине круга, распоряжался оттуда:

– Абай, Асылбек! Отдайте коней вон тем джигитам, сами подходите и садитесь сюда! Наши, тобыктинцы, собрались здесь, хотим поговорить, дело есть!

Абай, несколько замешкавшись, обернулся к Асылбеку, вопросительно глядя на него:

– Асеке...

Но тот уже стал спешиваться, отдал поводья подошедшему джигиту. Абаю ничего не оставалось, как последовать его примеру. Усевшись в круг, калачиком подогнув ноги, Абай стал оглядываться, кивком головы здороваясь с отдельными людьми сидячего собрания.

В сборе были одни представители рода Тобыкты. Из волостных – Молдабай, Дутбай и дети Кунанбая. Если говорить об аткаминерах из главенствующего рода Олжай, здесь присутствовали сразу пять старшин, и среди них Байгулак из племени Сак-Тогалак, возглавлявший этот сход. Абай увидел и своего сверстника, бойкого на язык, насмешливого шутника Абыралы. Из рода Котибак сидели люди, возглавляемые Жиренше, от Бокенши – бай Кунту, от Есболат – кривой на один глаз, с черной жиденькой бородкой, нестриженной гривой волос, мужественного вида Оразбай. Молдабая с обеих сторон и сзади окружали на удивление похожие на него толстые, цветущие, сонные на вид, с бараными глазами джигиты – представители рода Мотыш: Бурахан, Адил и другие... От рода Мамай был Асаубай, мырза, от лихого племен Бодей – главарь барымтачей Дуйсен.

Абай с удивлением заметил на этом круговом собрании и двух аткаминеров Жигитека – Абдильду и Бейсемби. Пристроившись позади переднего ряда, хмурые и равнодушные, они сидели с отсутствующим видом, словно их не интересовало все, о чем говорилось вокруг. Предательская выдача Иргизбаем властям Базаралы окончательно отторгла Жигитек от всего остального Тобыкты.



Еще вчера при встрече с Лосовским Абай хотел поговорить с ним о судьбе Базаралы, но потом решил отложить разговор на следующий день и прийти к оязу с представителями Жигитек. Для этого Абай наметил как раз упорного, настойчивого, активного Бейсемби и Абдильду, непревзойденного спорщика, хитроумного мастера плетения словес... Эти двое должны были противостоять иргизбаям, ратуя за свободу Базаралы. Однако теперь, глядя на них, Абай глубоко разочаровался – они сидели с подавленным, смиренным видом среди своих противников, отправивших в ссылку лучшего из сынов рода Жигитек. Огорченный Абай с досадой отвернулся от них.

Заговорил старейшина Байгулак:

– Сородичи! Настало неплохое время для нашего славного рода. Звезда Тобыкты взошла высоко, нынче мы можем и к луне руку протянуть. Нам предоставили возможность бросить жребий за то, чтобы избрать главного бия. Это наша большая доля – *сыбага*, и она выпала нам благодаря достойнейшим Такежану, Исхаку и Шубару. Не зря говорится: «Благо, когда от отца рождаются достойные сыновья!» Это они, сказав остальным волостным, «не пробуйте тягаться с нами», отбили сыбагу для нас, отбросили остальных три сильных рода. Завтра же перед главным бием предстанет немало важных, запутанных дел, касающихся близких нам и далеких от нас людей – пусть решает их наш человек! Иншалла! Нам предстоит назвать имя этого человека и, сказав свое «аминь», представить на согласие и утверждение двух уездных оязов. А тебе, Абай, айналайын, должно стать нашими устами, коими ты и провозгласишь имя достойнейшего из нас своему другу, уездному правителю! Бисмилла, назовем теперь это имя!

Так завершил свою речь аксакал Байгулак. Наступило молчание. Оно продолжалось долго. Абай видел по лицам сидящих в кругу людей, что каждый настороженно выжидает, зорко следя за другими. Ему стало, наконец, смешно, и он заговорил сам, с улыбкой оглядывая круг собрания:



– Ну вот, сородичи, вам выпала славная доля! Так отчего же вы не радуетесь, сидите тут и молчите? Скорей называйте своих избранников, коли взошла звезда Тобыкты! Расскажите, в чем их достоинство. Говорите! Или ваши сердца переполнились радостью, и вы не знаете даже, что сказать?

Абай говорил, упершись одной рукою в бок, в другой держа снятую с головы шапку. Его уверенный вид, смелый, пристальный взгляд темных глаз, слегка сдвинутые брови, многозначительные слова, со скрытой иронией, явили перед всеми на сходе превосходство Абая во всем: в умении говорить, в образовании, в знании законов, в твердости и силе характера... Речь его была безупречна, звучала бодро и ровно, как журчание горного ручья. Вдруг на миг перед всеми явился человек, полный внутренней значительности и величия. И в то же время он был один из них, из их степного кочевого рода.

Сидели в кругу люди старше него и его сверстники – Оразбай, Жиренше, Кунту, Абыралы, Молдабай... Все это были уже заматерелые, смелые, зрелые джигиты, достаточно умные и понятливые, чтобы представлять разницу между собой и Абаем в образованности, знании законов. Исходя глубинной завистью, эти люди, осознающие и собственную значительность, чувствовали его превосходство и старались избегать споров с ним, особенно в тех случаях, когда на Абая вдруг напал зуд насмешливости и едкой иронии. Тут уж они старались спрятаться все за спиной друг у друга. И смущало их еще то, что они чувствовали в нем – но в себе содержали мало – духовную красоту его, возносящую над себялюбием и корыстолюбием и венчающую его человеколюбие. Не понимая всего этого, но ощущая смутное беспокойство, они старались предвосхитить какое-то скрытое в нем, на их взгляд, коварство: «В чем тут хитрость? Где тут злой подвох? Какой секрет он держит при себе?» И думая так, они вели себя перед ним уклончиво. А сейчас они просто сидели молча, не решаясь вымолвить слово.



Абай решил воспользоваться этим, чтобы первым на собрании выдвинуть на должность главного бия человека, которого давно наметил для себя.

– Добро, почтенные! – начал он. – Первое слово – не утаенное слово, я говорю вам открыто свое первое слово. Должность главного бия не дается в награду и не является подарком. Перед главным бием никто не будет вступать в пререкания, устраивать шумные споры. Его дело – не решать эти споры, а разбирать дела обездоленных, униженных насилием, погибающих под гнетом несправедливости, бедных и одиноких, плачущих и беспомощных, обиды вдов и сирот. Где тот человек среди нас, который готов считать своим долгом решать такие дела? Вот здесь говорилось, что в Тобыкты выдвинулись потомки Кунанбая, и немало найдется иргизбаев, которые скажут: «Годится быть избранным один из них». Так вот, я один из иргизбаев, но я так не скажу. Я лучше спрошу у вас – готов ли кто-нибудь из них бескорыстно служить справедливости? Различать достояние, заработанное тяжким трудом, от имущества, награбленного и сколоченного взятками? Если вы назовете имя такого и скажете, что он настоящий азамат, я поддержу его. Но я знаю такого человека, и он родом не из Тобыкты. Назову имя того, кто достоин быть названным справедливым, кто способен заслужить уважение и благодарность людей. Этот человек – Асылбек из рода Бокенши. Если хотите моего совета – хватайте за полу Асеке и не отпускайте его!

Абай еще не успел закончить выступление, как все сородичи Асылбека – Жиренше, Оразбай, Абыралы, во главе с расторопным и сообразительным вождем Бокенши – Кунту, тотчас стали шумно одобрять Абая.

– Барекельди!

– Верный выбор!

– Самый справедливый выбор сделал Абай!

– Пусть так и будет, нечего больше обсуждать!

Однако все эти выкрики были не только со стороны Бокенши. Представители и других родов, не надеявшихся, что на



«ага-бийство» пройдет их кандидат, азартно поддержали Абая. Молчали одни иргизбаи, никак не ожидавшие такого решения от Абая, но не смевшие и спорить с ним.

Тут же Абаю было поручено сообщить акиму Лосовскому, что бием двух уездов предлагается Асылбек из рода Бокенши.

Лосовский, без неожиданностей, охотно согласился с кандидатурой, предложенной Абаем. Асылбек тотчас был утвержден.

После этого дела Абай заговорил с Лосовским о деле Базаралы. Абай при этом не скрыл, что он не только делает заявление от родичей арестованного, но лично в том заинтересован. Однако Лосовский довольно сухо прервал его, ответив:

– Я знаю. Я ждал от вас этого вопроса о деле Кауменова... Еще в городе ко мне от вашего имени приходил Андреев и спрашивал о возможности ходатайства. Но, к сожалению, я уже никак не мог вмешаться: дело ушло из нашего управления. Оно было приобщено к делу беглого разбойника Оралбая. И поскольку молодчик орудовал на территориях двух смежных уездов, его дело стали разбирать в канцелярии степного генерал-губернатора, в Омске. Решение по Кауменову состоялось уже давно, исполнение приговора задерживалось из-за того, что преступник считался в бегах. И совсем недавно, когда вы поехали сюда, Кауменова как раз отправляли по этапу в Омск. Его судьба решена, Ибрагим Кунанбаевич, – пятнадцать лет каторги и потом ссылка... Вот, к сожалению, все, что я имею вам сообщить.

Абая глубоко потрясла такая новость о деле Базаралы. Он даже забыл попрощаться с Лосовским и покинул его приемную юрту, словно находясь в дурном сне.

При мысли о том, что это Исхак, Такежан и другие родичи составили ложный приговор, а затем выдали властям Базаралы, в душе Абая поднималась темная ненависть к той косной силе зла и беспредельной жестокости семейного духа, что унаследовали сыновья от отца... Выйдя из юрты, Абай не знал даже, куда



ему теперь идти, с кем перемолвиться словом в эту горькую минуту. В глазах стоял Базаралы, большой, могучий, красивый, светлый – истинный батыр с нежной душой поэта, певца... И кандалы на его руках, и он во власти жестоких охранников, не понимающих его языка, не знающих, что это за человек... Из глаз Абая текли слезы. Опустив голову, он спешил скорее уйти из этой гомонящей вокруг толпы. Не только душа, но и все тело его болело, словно избитое.

Приближающийся конский топот вывел его из тяжкого оцепенения, его догнали за аулом Жиренше и Кунту. Их послали на поиски Абая выборщики главного бия, желавшие знать, чем кончились переговоры с оязом. Абай с усилием взял себя в руки.

– Асылбек утвержден. Да пусть будет это к счастью, – тихим голосом произнес Абай. – Передайте ему и всем остальным.

– Иншалла, да будет светел твой путь! Люди благодарны тебе за твою справедливость! – воскликнул Жиренше. – Ты оказался выше, чем «сын отца своего», ты показал себя «сыном своего народа»! Большая слава о тебе пойдет по всей степи! Ты сам не стал главным бием, но ты выбрал и поставил его – на сборе четырех родов, и этого люди не забудут. А иргизбаи пусть обижаются – им не понять, что если бы не ты, им не подняться так высоко, как поднялись сейчас. Кунту радуется за Асылбека, а твой друг Жиренше радуется за тебя, карагым!

Его искренняя детская радость тронула Абая. Он невольно улыбнулся. Но боль сердца не отпускала. Кунту стегнул плетью коня и умчался. Жиренше на коне и пеший Абай медленно направились обратно к аулам.

– Уа, Жиренше, что мне до всего этого... Зачем гонится человек за бредовыми миражами: то богатство ему нужно, то власть... Иду от ояза, как подстреленный... Мой Базаралы! Где сейчас мой Базаралы? Ояз сообщил мне... А я надеялся через него помочь Базаралы... Теперь уже поздно. Его отправили по этапу в Омск... оттуда на каторгу! На пятнадцать лет... Все пропало, Жиренше! Надежда моя умерла.



Жиренше, изменившись в лице, остановил коня. Так и стояли они, друг против друга – всадник на коне и понурый человек, державший шапку в руке, заложенной за спину. Оба плакали. Потом Жиренше молча кивнул Абаю и уехал.

Вдруг громкий радостный возглас вывел его из мрачного раздумья.

– Ей! Е! Это же Абай! Айналайын, Абай, где ты ходишь? – прозвучал знакомый голос со стороны от дороги, по которой шел Абай.

Кричавший человек был жатак Даркембай, с ним рядом – старый Дандибай. Оба оказались пешими, подошли к Абаю и долго, радостно приветствовали его. Старики давно искали своего друга и благодетеля в этом огромном юрточном городище. Абай повел их с собой.

Даркембай был в новом чапане, ладно сидевшем на его широкоплечей фигуре, в новом мерлушковом тымаке. Выглядел он внушительно. Дандибай же был в поношенном бешмете из домотканой ткани верблюжьей шерсти и старой потертой шапчонке. Согбенный, худой, с редкой седой бороденкой, прикрывавшей спереди морщинистую, в складках, шею, он едва поспевал за своими спутниками. У него болела поясница, и он шел, согнувшись, заложив руки за спину, ухватившись ими за длинную рукоятку камчи. Рядом с принарядившимся крупным Даркембаем он смотрелся его старым конюхом.

Абай привел жатаков к кружку иргизбаев, устроившихся на земле за юртами. В середине круга восседал Майбасар, вокруг него расположились Такежан, Исхак, Шубар, Акберды и другие аткаминеры. Они только что говорили об Абае, дружно ругали его: и за проведение в «большие бии» бокенши, а не иргизбая, и за резкие выступления против Иргизбая на сходе. Больше всех бушевал и злился Майбасар.

По всему раскладу, получавшемуся нынче на съезде, Майбасар рассчитывал на место главного бия. «Молодежь наша прошла в волостные акимы, кунанбаевские дети правят в То-



быкты, кому, как не мне, брату самого Кунанбая, становиться ага-бием?» – убежденно полагал он. Ему уже мерещились будущие доходы, мзда за умный подход в крупных разборках и тяжбах, чего в этом году накопилось изрядно! «Бисмилла – получу целые табуны и отары!» – подумывал он, прищурился глазами.

И вдруг – Такежан с Исхаком собрали всех родичей и объявили: «Счастье само валило в наши руки, а он отпихнул его и отогнал в чужое племя! Все из-за него!». И рассказали, как Абай оклеветал родственников, своих братьев, всех их унизил и огорчил, выдвинув на должность Асылбека.

– Как он смеет отбрасывать счастье, которое само шло ко всему роду в руки! – вскричал Майбасар, безумно вытаращив глаза. – Хочет уважить Асылбека – пусть одарит его своими стадами! Бесноватый какой-то! Дервиш! Отверг должность, которую мы выхватили из рук трех родов! Они уступили в знак уважения нам, роду славного хаджи! Абай же честь нашего рода унизил!

Остальные иргизбаи дружно осудили Абая, разделяя возмущение Майбасара.

– С чего это распинался о защите бедных и убогих, о вдовах и сиротах, о помощи слабым и несчастным? – со злобной ухмылкой говорил Такежан. – Так говорят не на собраниях, а на похоронах, собирая с гостей подаяние для неимущих, ради Аллаха. А кого мы тут хороним, на Балкыбекском сходе? Верно Майеке говорит: дервиш он настоящий!

Шубар, молодой аким Чингизской волости, хорошо знал цену Абая, понимал, насколько он значительнее всех своих братьев, и воздавал должное близости его к русским властям. Но за спиной Абая говорил всякие колкости в его адрес и любил подсмеиваться над ним, особенно в присутствии старших – Майбасара и Такежана. И сейчас он сказал, насмешливо фыркнув и, по своей привычке, поведив из стороны в сторону длинным тонким носом:



– Такежан-ага! Не дервиш он, а сущий проповедник-мулла или же святой имам! Святости набрался где-то, – ну и почему не прочитать нам проповедь про наши мусульманские добродетели? Спасибо большое нашему ага – показал нам путь спасения, лишней раз прочитал длинную проповедь здесь, на Балкыбекском съезде.

И Шубар язвительно засмеялся, рассмеялись и другие: оценили едкость насмешки, ибо знали, что сам Абай с юности своей не переносит ханжеских проповедей продажных и корыстных мулл. В это время седоки на кругу заметили приближение к ним Абая и двух стариков, следовавших за ним. Тотчас же все пересуды об Абая прекратились, наступило полное молчание, при котором все ждали приближения Абая. И только Такежан не захотел молчать, зло топнул ногой, стоя в центре круга, и сказал, заметив, что он ведет за собой двух стариков-жатаков:

– Воистину, о Кудай всемилостивый, ты лишил его ума – с этой весны эфенди Абай стал блаженным дервишем! В пору ему накрутить на голову чалму и совершать обряд зикр!

Майбасар и Шубар прыснули, не удержавшись, старый тучный Майбасар весь покраснелся от сдерживаемого смеха.

В это время и подошли Абай со спутниками. Старики провозгласили для всех салема и пожелали людям Иргизбая удачного завершения дел. Старикам сдержанно ответили. Все присутствующие знали, что эти жатаки надоели своими жалобами на волостных, на богатые аулы за потраву своих посевов. И еще не услышав от них ничего, кроме слов приветствия, все насторожились, предполагая, что недаром привел их сюда Абай.

Он не стал ни с кем здороваться, хотя среди сидящих в кругу были и старше его. Во рту у него дымилась папироса. Руки были заложены за спину. С холодным бешенством посмотрел на старших иргизбаев, переводя взгляд с одного на другого, затем внимательно оглядел и лица молодых. Во все это время над собранием висела тишина. Наконец Абай взял



в руку папиросу, вынув ее изо рта, и резким приказным тоном бросил, словно совершая начальническую переключку:

– Такежан, Шубар, Исхак! Волостные! Отойдем в сторону! У меня к вам есть разговор.

После чего, махнув рукой, в которой была зажата папираса, указал жатакам, куда им следует идти, и сам зашагал вслед за ними, не оглядываясь.

Шубар первым проворно вскочил на ноги и, худощавый, высокий, пошел догонять их быстрыми шагами. С трудом, кряхтя и наливаясь в лице кровью, поднялся с земли только что усевшийся было Такежан. Такой же тучный, как и он, встал на ноги Исхак. Все трое послушно направились вслед за Абаем.

Когда снова устроились на земле, Абай немедленно приступил к разговору:

– Эти старые люди, Даркембай и Дандибай, приехали на съезд судиться с обидчиками. Пришли с жалобами от сорока очагов аула жатаков. Возвращаясь из города, я заезжал к ним, и там услышал обо всем. Это я им посоветовал приехать сюда. На суде съезда я собираюсь выступить в их защиту. Однако известно вам, трем волостным начальникам, что решение их дел связано с вами. Со всеми троими. К кому бы они ни обратились за разбирательством, обвинение упрется в вас, вы будете названы «виновниками бед» этих людей. – Высказав это, Абай испытующе посмотрел на своих братьев-волостных.

Такежан сидел и слушал его, кипя изнутри злостью и негодованием.

– Е! Говоришь – «виновники бед этих людей». А что – Такежан или Исхак устроили набег, убили кого-нибудь? Зачем ты привел этих двух старых пройдох и морочишь мне голову? Пугать ими хочешь добрых людей? Этими чучелами испугать можно кого хочешь! – раскричался Такежан, уже не владея собой и ни с чем не считаясь, трясся над головой снятым тымаком.

У Абая вся кровь схлынула с лица. Брат ему всегда был не по душе, но сейчас он Такежана ненавидел. Резко прикрикнул на него:



– Эй, Такежан! Широко шагаешь, под ноги не смотришь! Поостерегись, не упади! Они тебе кажутся чудищами безобразными? Однако ты не лучше них выглядишь, а хуже. Они душой чисты, не породнены со злом, как ты. А ты не породнен навечно с должностью волостного!

– По-твоему, это я довел до нищенства этих богом проклятых пройдох?

– Ты! А кто же?

– Ту-у! Зачем меня винишь, а?

– Затем, что ты и деды наши, и отцы: Оскенбай, Кунанбай, Мырзатай и другие – все использовали их для себя, высосали из них все соки, а потом, когда те обессилели и упали под дверь их очагов, – погнали прочь, как старых, ненужных рабов. А ведь это наши сородичи! – крикнул гневно Абай.

Не уходя ни на шаг в сторону, не отступая, он напирал на братьев-волостных:

– Надо здесь же, на сходе, вернуть им все, что заработали они своим потом и кровью – и на что посягнули вы в своей отвратительной злобе! Все верните, все выложите, до последнего тенге! Начинайте возвращать немедленно – иначе не избежать вам, трем братьям-волостным, позора перед многими великими родами и племенами! Безо всяких оговорок выполняйте мое требование, и покончим с этим! Иначе я встану с этого места – пойду и сам займусь им, не медля!

Такежану сразу стало неудобно. Слова Абая означали одно: он в любую минуту готов пойти к оязу и там изложить дело так, как ему вздумается. Исхак также хранил молчание, тайком косясь в сторону Абая. Исхак ни на минуту не забывал о тех семи лошадях, которых угнал из нищего аула и переправил в дальний аул Акымбета. Братья-волостные предпочли, чтобы ответ Абаю давал наиболее ловкий среди них и бойкий на язык Шубар: они молча, выразительно посмотрели на него. И тот стал говорить, повернувшись не к Абаю, но к старикам-жатакам:



– Вот вы, почтенные родичи, можете что-то сказать сами, своими благословенными устами? Что вы решили оспаривать, с какими пришли жалобами? Раз уж начался разговор, его надо продолжить, говорите, аксакалы!

И тут, словно по цепочке, побежали слова у Даркембая:

– Мы не такие люди, чтобы искать ссоры и раздоры, да и сил у нас нет таких, чтобы в раздорах выгоду себе добывать в криках и спорах, карагым! Нам бы свое вернуть, то, что было не возмещено в ущерб сорока очагов нашего аула! Первое мое слово касается растоптанного прошлой осенью, на пяти полянках, урожая хлебов лошадыми Майбасара и Такежана, да и твои, анайлайын, кони, Шубар, добрались до наших полей, аж из далекого аула Сугира. Все было съедено за четыре ночи, когда вблизи нашего аула расположились ваши – на стойбищах Акеспе, Саржырык, Такыртума, Кашама. А нынешней весной опять лошади ваших аулов пришли, поели и вытоптали до пыли зеленые всходы на тех же пяти полянках. А второе мое слово, Исхак, карагым, касается тебя: на земле твоей волости находится аул матерого барымтача Акымбета. Он угнал семь лошадей, считай, весь табунок нашего бедного аула. Ездили мы туда, вот, два старика, сидящие перед тобою, все нашли, все разузнали – видели кровь зарезанной животины и выпотрошенную тушу, уличили воров. Но тут они письмо тиснули, отмахнулись, отперлись, а ты, Исхак, шырагым, или поверил им, или пожалел – не взыскал для нас с воровского аула Акымбета! Опять мы остались ни с чем! И если бы не Абай, не знали бы, куда и как нам пожаловаться! И молчать мы больше не будем, на сходе этом попросим вступить за нас!

По мере долгого повествования Даркембая разгневанный Такежан несколько раз опускал и поднимал на старика свой взгляд, полный тяжелой и лютой ненависти. Но каждый раз, оглядываясь на Абая, топил в кипящей душе своей готовую вырваться наружу звериную злобу.

Ловкий Шубар нашелся, как поступить в эту нелегкую для кунанбаевских детей минуту. Он доверительно наклонился к



Даркембаю и Дандибаю, ткнул их кулаком по коленям и молвил, словно самой своей близкой и любезной родне:

– Оу, вы же мои хорошие добрые два аксакала! К вам сегодня не подступись – вон в какой силе вы оказались! Но вы же казахи из моей волости! Разве не должен я оказывать вам всяческую поддержку? Скажу вам как на духу: нет во всей волости такого еще человека, который так дерзко мог бы разговаривать с сыновьями самого хаджи Кунанбая, как разговариваете вы двое, отважные старики! – Так сказал Шубар и сам рассмеялся. – Оно и понятно, – продолжал он, – с одной стороны сидит у вас быстрый на слово сам Абай-ага, с другой стороны – его друг, уездный ояз, а с третьей стороны – новоизбранный агабий. Вон, какие вы сильные, попробуй только слово против вас сказать, выступив на суде, сразу же выскочишь оттуда, как ошпаренный, пинком под задницу выброшенный! Вы самые везучие у нас, старики! Что мне сказать? Давайте спорить не будем, а будем договариваться! О вашем приговоре я слышал и в прошлом году. Будем решать! Надо ведь и про Кудая небесного не забывать, он все видит!

Шубар быстро взглянул на Такежана, на Исхака.

– Что же, родичи, не будем обижать их, да и другим не дадим их обидеть! – бодро проговорил он. – И на этом завершим наш разговор. Пусть Абай-ага скажет свое окончательное слово!

Абай внимательнее пригляделся к Шубару: родственник показал себя весьма ловким и красноречивым. Он оказался куда умнее и Исхака, и Такежана. У него есть будущее... Но какое?

Старый бедняк Дандибай вовсе не вмешивался в разговор, но он понял, что благодаря ловкости Шубара смогли усмирить Такежана, остановить яростный напор Абая – сохранить достоинство всех детей Кунанбая. Одобрительно кивая головой в старой потертой шапчонке, Дандибай пробормотал еле слышно:

– Е-е... Как говорится, слово найдет свою дорожку, скот – своего хозяина. У слепого одно желание – когда-нибудь видеть



своими глазами, а ты дал нам увидеть справедливость. Хотя ты еще молод, айналайын, желаю тебе стать ага-волостным, старшим над всеми волостными!..

После того как два младших брата, Исхак и Шубар, дали свое согласие все заплатить без суда, Такежан тоже не стал отнекиваться. С угрюмым молчанием стал ждать окончательного слова Абая. Тот высказался кратко, но решительно и веско. Его решение было таким: за потраву прошлогоднего и нынешнего урожая с пяти «земель» должны заплатить по две головы лошадей за поле, в общем выходило, значит, двадцать голов. За семь украденных коней, учитывая приплод, следовало получить десять «ток» – что в понятии местных кочевников означало десять полноценных коней-пятилеток, или столько же кобылиц с жеребенком, или десяток коров с телятами.

Радость двух стариков-жатаков была такова, что они сидели, словно лишившись дара речи. Казалось, что каждый из них молился про себя. И нескоро они забормотали: «О, Кудай, какая удача! Бисмилла! Пусть исполнится, сказанное тобой!» Они будто молились Абаю.

Его решение не могло понравиться братьям, но им пришлось молча проглотить свое недовольство. Можно было оспаривать, торговаться, урезать, доказывать обратное, но братья знали непреклонность Абая, поэтому согласились с ним молча и безоговорочно. Но он не закончил на этом.

– Надо постараться, чтобы скот попал в руки этих двух бедных стариков, – жестко глядя на братьев, продолжил Абай. – Может быть, кому-нибудь из вас покажется – «время пройдет, потом увидим». На это не надейтесь. в течение трех дней все тридцать голов должны быть переданы старикам. Сейчас же при мне посылайте своих атшабаров, пусть соберут, отсчитают и пригонят полноценный скот в токах – взрослый с молодняком вместе. Через три дня, когда будете передавать скот, я буду на месте. Своими глазами увижу – тогда и скажу: «Решение исполнено, дело закончено».



Через три дня полностью были собраны и переданы жатакам все тридцать голов взрослого скота и молодняка. Оба старика, не в силах поверить своим глазам, непрестанно цокали языками и, потрясенные, молча рассматривали свое богатство. Затем подъехали к Абаю и, стоя перед ним, долго со слезами на глазах смотрели на него.

– Айналайын, Абай, как обрадуются жатаки! – наконец смогли они заговорить. – Разве в руках у них когда-нибудь бывало такое богатство? Так это даже не калым... Это целый кун за убитого человека! – лепетали старики. – Светлого счастья тебе, Абай! – благодарили старики.

Но когда отсчитали и передали в их руки скот, всплыло одно темное беспокойство. Заговорил об этом старик Дандибай, хлопывая своими маленькими, как у совенка, глазами:

– Так ведь теперь, Абайжан, когда нам отдали скот... его могут ведь и назад отобрать? Конечно, это счастье, когда у нас скота стало не на один калым для одной невесты, а на пять невест, но ведь когда мы погоним его домой, в степи на нас могут напасть, дать по голове соилом, сбросить на землю, оставить лежать в двух местах, недалеко друг от друга, а весь скот угнать. Лихие воры есть у тобыктинцев, найманов, кереев! Кто этого не знает?

Даркембай обругал товарища трусом и заворчал на него:

– Кто может поджидать нас в пути? Ведь кругом люди! Будут какие-нибудь путники, пристроимся к ним!

Но Абай во все эти последние дни уже думал, тревожился о том же, что и Дандибай.

– Нет, Даркембай, Данеке не пустое говорит. Путь у вас далек. Широка местность между горами и вашим урочищем на Ералы. Могут обидеть лихие люди. Вот что, в таком случае надо, чтобы с вами был какой-нибудь молодой джигит, – сказал Абай и тотчас призвал Баймагамбета.

– Поезжай вместе с ними в наш аул при Байкошкаре. Гони с ними скот. Затем подберешь себе крепкого коня и поможешь им



целым-невредимым доставить скот в Ералы. Айгерим передай от меня салем и скажи ей, чтобы она хорошо встретила этих гостей. Там в сундуке у меня спрятан шестизарядный револьвер, пусть дадут его тебе в дорогу. Ну, аксакалы! Бисмилла! Передавайте от меня привет своим людям. Кош! Кош!

Так проводил Абай своих друзей-жатаков.

А в это время на другом краю выборного становья в отдаленной крайней юрте под самой горою происходила другая сходка – воровская, и там верховодил Такежан. Он был на встрече с двумя матерыми ворами-барымтачами, Серикбаем и Турсыном. Обоих воров Такежан издавна держал при себе, но на длинном поводке. Теперь, уединившись с ними, он давал им свои указания, но прежде чем приступить к ним, крепко выmaterил по всем канонам:

– Вы, собаки, туды вашего отца и вашу тещу... Я должен отомстить этим жатакам! Если вы не сделаете этого вместо меня, то я желаю вам, когда вы будете убегать от погони, напороться задницей на острый кол!

И он навел их на выехавших из юрточного городка двух жатаков со стадом штрафного скота.

– Угоните!

Оба барымтача были мужики молодые, крепкие, коренастые, как два коротко отпиленных чурбака. Турсун был попроще, тупее, в нем сразу же разыгралась дурь, и он заматерился еще азартнее, чем Такежан:

– Уай! О чем болтать? Да мы их туда, да мы их сюда! Жатаков этих! Да мы их живо в бараний рог... туды твоего отца. Дай только волю моим рукам!..

Но Серикбай был трезвее, к тому же он уже имел дело с этими жатаками, угнав и забив семь их лошадей, и теперь опасался ненароком попасть им на глаза. И он предложил не торопиться. Расчетливый, хитрый, он сумел убедить Такежана в том, что сейчас немедленно не стоит угонять у них штрафной скот: он во внимании всех на большом сходе. Зимой, во время бурана, все



и будет сделано – этот скот исчезнет у жатаков, будто унесет его вьюгой! Такежан одобрил этот воровской план.

Теперь, когда дело жатаков решилось с успехом, Абаю больше делать было нечего на съезде, и он мог бы уехать. Но он решил остаться, чтобы посмотреть несколько судебных тяжб, которые рассмотрит новый главный бий Асылбек. И в эти же дни начался разбор одного из самых сложных и запутанных дел, названного в суде «тяжкой девицы Салихи». Эта тяжба велась между племенами Керей и Сыбан с прошлого года и несколько раз уже заходила в тупик, лишь обрастая комом взаимных обид. Салиха, невеста из рода Керей, племени Кожгельды, была засватана в род Сыбан. В прошлом году жених ее умер. Калым за нее был полностью выплачен, юрта невесты и свадебный караван давно приготовлены, и аул жениха решил взять девушку третьей женой старшего брата жениха, которому было уже за шестьдесят лет. Но гордая своенравная Салиха замуж за старика не захотела и написала письмо всем своим взрослым сородичам из племени Кожгельды и Шакантай: «Сородичи, не дайте унижить вашу баловницу. Вначале я была верна вашему выбору. Но сейчас – не лишайте меня счастья смолоду. Не позволяйте забрать Салиху одной из многих жен в дом аменгера, который старше моего отца!»

Мольба девушки облетела все аулы рода. Все молодые джигиты, юная молодежь Керей кинулась на защиту Салихи: «Нельзя допускать унижения нашей девушки, делать ее неправимо несчастной!» Старый акын сложил печальную песню «Жалоба девушки Салихи своим родичам», эту песню стали распевать все: чабан в степи, гоня свою отару, табунщик, пасущий в горах коней, молодежь на своих ночных гуляньях и вечеринках. Юноша одного из племен Керей полюбил девушку Салиху, и она полюбила его. Общее сочувствие к ней повлияло и на аксакалов – старейшины Кожгельды решили, что надо калым вернуть, а девушку освободить от брачного договора.



Но по-другому отнеслись ко всему этому в Сыбан. Там начались толки: «Кереи решили силу свою показать, унижают наше достоинство, смеются над законами предков! Это оскорбление и обида для всего Сыбана! Нашу честь хотят втоптать в землю!» Начались переговоры, которые ни к чему не приводили. И тогда вспыхнула, рутинная в веках, межродовая вражда кочевников.

С весны, как только сошли снега, роды Сыбан и Керей, словно взаимно наложив дань барымты, стали по очереди угонять друг у друга скот. Совершались вооруженные набеги, происходили сражения, в которых были ранены и покалечены с обеих сторон уже человек пятьдесят. И здесь, в Балкыбеке, на большом межплеменном съезде, отношение меж людьми Кожагельды и Шакантай, двух противоборствующих племен, было откровенно враждебным. Встреча двух акимов уездов, Каркаралинского и Семипалатинского, была вызвана необходимостью сверху пригасить пламя разгоравшейся степной междоусобной войны, поводом для которой явилось «дело девицы Салихи». С обеих сторон акиматы двух уездов заваливались приговорами и жалобами от старшин Керей и Сыбана. И как всегда – было огромное количество фальшивых жалоб и ложных присяг.

Тобыктинцам вражда двух больших сильных родов была на руку при выборах главного бия, ибо Керей и Сыбан не могли надеяться на выдвижение судьи от своих племен – его при обстоятельствах их вражды никоим образом не утвердили бы высшие уездные власти. Так что Тобыкты не по своим заслугам получили возможность этого выбора, хотя Майбасар с Такежаном всюду бахвалились: «Из уважения и преклонения перед нашими великими предками, Оскенбаем и хаджи Кунанбаем, народный сход выдвинул главным бием нашего человека! Он и сможет решить дело по справедливости!», но это все было пустым бахвальством.

Ибо Асылбек отказался решать дело «девицы Салихи». Как только кереи узнали о назначении его главным бием, они во



всеуслышание заявили, что не доверяют ему, ибо он является зятем для рода Сыбан, и мало того – «жена его из того самого аула, который угоняет наших коней». Когда Асылбек сам добровольно отвел себя от судейства в этом шумном деле, родичи его, Кунту, Дутбай и другие, весьма не одобрили этого, ругая Асылбека за то, что он отказался от огромных выгод, которые сулило бию третейство в этом деле. «Ты теперь большой человек, тебе и брать по-крупному! Перед тобой лежит сундук с драгоценностями – открывай и бери!» – говорили они.

Именно в эти дни и среди рода Сыбан, и среди Керей стало распространяться немало хвалебных слухов о справедливости, честности и прямоте одного из сыновей Кунанбая – о добрых делах и хороших человеческих качествах Абая. Два слуха особенно широко распространилось по съезду. Первый – о том, что он отобрал должность главного бия у своих родственников-иргизбаев и передал человеку из далекого рода, убедив всех, что именно он будет честно служить народу, а не его корыстолюбивые родичи. Второй слух – что Абай выступил защитником бедняков-жатаков и самостоятельно, без вмешательства судейства биев, вынес решение, благодаря которому тридцать голов крупного скота были отобраны у тех же родственников Абая и переданы жатакам. Этот джигит часто говорит о таких вещах, о которых мало говорят в степи: о необходимости «заступаться за обиженных, обездоленных и проявлять заботу о бедных людях».

Такие шли разговоры среди простого народа, бии же и волостные и аткаминеры Сыбан и Керей толковали другое: «Абая знает аким Семипалатинска, ездил вместе с ним в степь. Абай дает ему советы». Здесь же на съезде говорили и о том, что «Кунанбай сегодня – уже не тот Кунанбай, если в прошлом его имя звучало грозно, как гром, то сейчас оно превратилось в бессильный дух». И что, де, его потомки, которые добрались сейчас до места волостного, сами по себе ничего особенного не представляют: Такежан, Исхак – это посредственные люди,



баи в дорогих шубах, которые питаются сухими крохами от былой славы предков. И ныне благородство, порода, сила ума и знатность видны только в одном Абае. Он и сын своего отца, он и сын народа – азамат.

Подобные разговоры, раз начавшись, бесконечно повторялись в каждой юрте кереев, найманов, за круговыми сходами на вольном воздухе. С этими разговорами заходили к своим оязам и Жумакан – к Лосовскому, и Тойсары – к акиму Каркаралинска.

И однажды Абая, сидевшего вместе с Жиренше и Оразбаем и обсуждавшего с ними назначение Асылбека главным бием, вдруг вызвали немедленно к Лосовскому. Придя к нему, Абай увидел Асылбека и уездного акима Каркаралинска – Сеницына. Разговор состоялся непродолжительный. Асылбек изложил перед всеми просьбу и пожелание Кереев и Сыбана: предложить Абаю стать бием-посредником в их далеко зашедшей расправе из-за отказа Салихи. Спросив вначале, исходит ли предложение действительно от народа, а не только от начальства, Абай дал согласие.

Акимы двух уездов, довольные таким поворотом дела, немедленно утвердили Абая третейским бием, и Сеницын тут же передал Абаю два прошения, поступившие от самой «девицы Салихи». Абай прочел их – бумаги были составлены арабским письмом – и ни словом не обмолвился по их прочтении.

В тот же вечер он пригласил к себе по три представителя от каждой тяжущейся стороны. От Сыбана явились волостной Жумакан, аткаминеры Барак-торе и Таниберды. От Кереев пришли волостной Тойсары и также два аткаминера. Абай вышел к ним на круг вместе с Жиренше и Оразбаем.

– Сородичи, ваш спор перешел в большую вражду, – начал Абай. – Вы стали скот угонять друг у друга, делать набеги, побили много народу на каждой стороне. Поначалу спор был из-за калыма, потом обидросло, барымты было много – и теперь цена тяжбы стала намного больше, выше даже чем кун



за убийство человека. И чтобы вынести решение по вашей тяжбе, вы же понимаете, мне надо будет многое проверить, многое узнать. Одному на это не хватит времени, поэтому, если вы согласитесь, я возьму помощниками своими биев Жиренше и Оразбая, вот они перед вами. Это люди из рода Тобыкты, которому вы доверили разбирательство.

Оба волостных, даже не спрашивая мнения своих товарищей, сразу же согласились: «Воля твоя, пусть будет так, как ты сказал». А Барак-торе, высокий, красивый, сказал, поглаживая свою черную бороду:

– Сыбаны выбирали тебя, зная твою честность и справедливость. Бери хоть троих, хоть пятерых помощников, нам все равно! Ведь последнее, решающее слово будет не за помощниками, а за тобой – и это самое главное для нас. Как говорит поговорка: «Биев много, а решение одно: Майкы-бий¹ справедлив все равно!»

Жумакан в знак согласия опустил глаза и притронулся рукою к бороде.

Тойсары тоже подтвердил, однако другими словами:

– Не нам учить тебя: самому ли лететь или на чужих крыльях. Дело в твоих руках, мы ждем решения от тебя.

Абай молча поклонился кругу волостных и биев и сразу же встал. Первая встреча на этом была завершена. Третьейский судья прежде всего должен быть точен и немногословен. Лишние слова выдают его затаенную мысль, которая до своей поры не должна быть известна ни одной из сторон. И всякое неверное слово не должно быть никем из них истолковано в свою пользу.

Наедине со своими помощниками Абай пожелал выслушать их мнение, и Жиренше, многоопытный и велеречивый, высказал следующее:

– Предполагать что-нибудь еще рано, но уже можно сделать вывод: Тойсары от кереев – подходит с открытой душой, а у сыбана Барак-торе что-то таится на уме.

¹ *Майкы-бий* – легендарный судья древности.



Абай выслушал Жиренше и ничего не ответил, хотя и сам заметил это. Он поручил помощникам провести расследование на месте: отправил Жиренше к кереем, а Оразбая – в Сыбан.

– Много всякого добра похитили они друг у друга, немало джигитов побили и изувечили в схватках, сейчас будет очень трудно определить, кто кому и сколько должен. Вам узнавать, расспрашивать придется очень много, но не все показанное и не все услышанное окажется правдой. Как говорится, не все достоверное – истинно. Враждующие стороны будут смешивать правду с ложью, немного преувеличивать, где надо, и чуть-чуть не договаривать, где им выгодно. Поэтому будьте мудры, не раскрывайтесь до конца в своих мыслях, не делайте выводов: «это хорошо, это плохо, здесь правда, а там неправда...» Не проявляйте благосклонности и не давайте никаких обещаний, это крепко свяжет вас. А это, в свою очередь, свяжет и меня как третейского бия. Итак, еще раз прошу, друзья: никаких обязательств, никаких сделок, никакой продажности с нашей стороны! Это мое требования к вам обоим. Люди выбрали меня, надеясь на мою честность, так позвольте мне, мои дорогие, остаться перед ними честным. Истинно будьте мне крыльями, которые знают только пути правды и справедливости!

Итак, «дело девицы Салихи» дошло до третейского суда. Следствие затянулось на неделю. Расследование шло в трех местах: в Сыбане, Керее и здесь, на Балкыбекском съезде. Оразбай скрытно съездил в аулы родов Кожагельды, Шакантай, а в среде племен Сыбан побывал Жиренше. Челочно посещая назначенные им места, помощники привозили свои сведения по ночам, ночью же встречались с Абаем.

Сам Абай допрашивал только «хозяев слова» – главного истца и главного ответчика. Ими были: жених – старик Сабатар из Сыбана и отец девушки – Калдыбай из Керее. Абай дотошно выяснил, какие убытки понесла каждая сторона в результате расстройства брачного предприятия. Оно включало в себя: калым, подарки, приданое невесты.



Умерший джигит-жених был любимым сыном богатого бая Байгебека, и калым был выплачен изрядный, это был один из самых значительных калымов во всей округе. Когда жених умер, и по закону аменгерства невеста-вдова должна была стать третьей женой его старшего брата, старика Сабатара, отец девушки потребовал с него дополнение к калыму, размером с его половину. И старик принес такой калым, а отец невесты, выделивший и так внушительное приданое своей баловнице-дочери, вынужден был, соответственно, увеличить заготовленное приданое. И теперь, кроме новой восьмистворчатой белой юрты, все имущественное приданое невесты должно было быть в двадцатипятикратном исчислении, кроме, правда, огромного шелкового ковра, купленного у кокандского торгового каравана за сто полновесных овец. И так, помимо ковра полагалось отправить двадцать пять меховых шуб, двадцать пять больших войлочных ковров, двадцать пять сундуков с домашней утварью... Платья, наборы белья, подушки, одеяла – всего этого также было по двадцать пять.

Но все это добро находилось еще в роду Керей, тогда как калым был уже получен – и тут невеста отказалась.

Сыбанам невероятно было жаль огромного количества скота, уже отданного за «неполученную невесту», и они тотчас принялись активно угонять скот из племени несостоявшегося свата. В ответ и отсюда началась барымта, потому что нельзя не ответить ворами. И взаимные набеги чередовались один за другим. Все джигиты, считавшие себя мужчинами и способные держать соил в руках, были задействованы в этой «вдовьей войне». А сама невеста-вдова тем временем завела себе дружка из своего же рода Керей.

Абай вызывал каждого участника в деле неудавшейся свадьбы, как из Сыбан, так и из Керей, беседовал с ними, входя во все подробности дела. И, наконец, решил послушать, что скажет сама зачинщица этой «вдовьей войны», девушка Салиха.



Она давно была в Балкыбеке, собственноручно вручала свои жалобы и заявление оязу Каркаралинского уезда Синицыну, а потом и осталась на съезде кочевников четырех племен, двух уездов. Абай послал за нею Ербола и Кокпая, вызвал вместе с родственниками в юрту Оспана, где сам и располагался.

Вошла высокая, смуглая девушка в куньем борике на голове, с качающимися серебряными сережками в ушах, одетая в дорогой шелковый чапан. С нею явился ее отец Калдыбай. Юрта быстро наполнилась людьми, желавшими посмотреть на достопримечательную невесту-вдову. Зевак, которым не терпелось поглазеть на Салиху, было гораздо больше, чем ее родственников-кереев. Но после того как Оспан, угостив всех кумысом, по знаку Абая дал понять тобыктинцам, что им должно расходиться, народу в юрте резко убавилось. Тогда и Калдыбай, и другие кереи поняли, что им тоже надо выйти, и они молча покинули дом Оспана.

Абай и Салиха остались наедине. Только теперь он смог внимательно всмотреться в ее лицо. Оно было юное, смуглое, безупречно чистое, с гладкой кожей без родинок. Прямой нос с небольшой горбинкой. Глаза черные, необычайной глубины, в них светился глубокий ранний ум молодого существа, которому пришлось много пережить. Она показалась Абаю прекрасной, необычной в этих условиях степного существования. Он сразу проникся к ней жалостью и сочувствием. В углах ее губ, уходя вниз скорбными линиями, трепетала тонкая тень неискупленной обиды.

Абай, принявший за правило с самого начала своего судейства вести себя сдержанно, говорить мало и больше слушать, остался верен себе и заговорил с девушкой не сразу.

– Салиха, айналайын, мы видимся впервые, но я уже многое знаю о тебе, как будто ты моя близкая родственница, – начал он разговор.

Высокие скулы ее порозовели и вспыхнули огнем смущения. Но тут же она улыбнулась – и это была славная улыбка чистого,



открытого существа: белозубая, сияющая, ясная. Абая сразу стало легко и просто с этой юной женщиной, полной жизненной воли и страсти.

– Твои бумаги я прочитал, и мне хотелось бы услышать от тебя: ты все подтверждаешь, что там написано? – продолжал Абай. – Ответь, Салиха, на этот первый вопрос...

Тень легкого недовольства порхнула по ее бровям, в насто-
рожившихся глазах, но тут же быстро сменилась ее искренним
доброжелательством.

– Абай-мырза, – с недоумением, однако с улыбкою произ-
несла она, – как я могу не подтвердить свои искренне сказанные
слова? Да, я подтверждаю, не отказываюсь ни от чего.

И тут она снова широко улыбнулась, явив два ряда бело-
снежных, безупречных зубов, и на ее смуглом лице вновь
вспыхнул румянец.

– Ты пишешь в письме, «не пойду, не хочу замуж за него»
– это что, не хочешь за старика Сабатара выходить, или тебе
не по душе все сыбаны? А что бы ты сказала, если нашелся
среди них джигит – ровня тебе, достойный тебя?

– Если они сразу заговорили бы не о старике, а о моей
ровне, молодом джигите – да разве я посмела бы сказать:
«Отказываюсь»? Разве мой аул и мой род допустили бы это?
– был ответ Салихи.

– Передавала ли ты родичам жениха, чтобы они, идя на-
встречу твоей просьбе, свели тебя с ровней?

– Передавала! Но они ответили: «Она должна быть покорной
вдовой, Сабатар – ее муж, богом предназначенный. Пускай не
нарушает древних устоев, зря не вольничает!»

– Скажи мне еще об одном, айналайын Салиха, – это уже не
тайна, об этом все знают... Родня твоего жениха говорит: «Она
сама не отказалась бы, ее подговорил один джигит из кереев,
из племени Шакантай. Стала упрямитесь, сойдясь с ним. Керей
вдвойне повинны перед священными предками: и калым взяли,
и девичью честь нарушили!» Так считают они. А ты что скажешь



на это? Этого джигита из племени Шакантай ты нашла после того, как решила не ходить замуж в Сыбан? Или еще до этого имела к нему сердечную склонность?

Этот вопрос нисколько не смутил девушку. Молодая дочь Арки лишь на какое-то мгновение потупилась от внутренней неловкости, но затем, встряхнув головой и зазвенев всеми подвесками шолпы, качнув большими висячими сережками в ушах, уверенно молвила:

– Абай-мырза, пусть это будет такой же правдой, как молитва моя Всевышнему... Когда сыбаны ответили, что никого, кроме этого старика, они не желают дать мне в мужья, я и решила, что лучше за псом безродным уйду, держа его за хвост, чем стану женой аменгера! Вот после этого и нашелся джигит из рода Шакантай. А раньше – никто из кереев, да никто из джигитов этого мира не посмел бы подойти ко мне! Когда был жив нареченный жених, Сыбан я считала своим желанным домом! – Так говорила Салиха, потом, заплакав, вынула платочек с бахромой и приложила к глазам.

Подняв на Абая заплаканные глаза, молча стала ждать от него новых вопросов. Он также молча смотрел на горющую девушку, и молчание его несколько затянулось, ввиду глубокой задумчивости, в которую он невольно впал.

– Мне больше не о чем спросить! – наконец произнес Абай.

Салихе следовало встать и уйти, но она все еще оставалась на месте, печально потупившись, глядя куда-то поверх своих коленей, прямо перед собой. Затем она подняла на Абая свои глубокие черные глаза – и в них уже не было печали и тоски обиженного юного существа. Поверив в искренность Абая и доброе его отношение к себе, девушка отважилась, по всей видимости, на какое-то отчаянное признание: в глазах ее сверкнула сталь последней решимости.

– Никто из кереев не наводил меня на плохие мысли. Никогда раньше не было плохих мыслей и про Сыбан. Плохая мысль



пришла ко мне сама: «Не пойду третьей женой этого хилого старика Сабатара, лучше умереть». И до того меня измучила эта мысль, что я стала уже как неживая. В последние дни я хожу между жизнью и смертью, и мне все равно. Пусть лучше черви съедят мое тело, чем прикоснутся к нему руки старика. Вы спрашивали, агатай, всю ли правду я высказала. Нет, не всю – последняя моя правда в том, что я каждый день смотрю на воды Балкыбека и говорю самой себе: «Ничего не бойся, ты всегда можешь найти себе пристанище на дне реки!» Лучше лежать в холодной пучине, чем попасть в руки старика Сабатара. Так я решила, вот это и есть вся моя правда. – Этими словами завершила свой монолог Салиха и покинула Абая.

Он сидел, потрясенный, высоко подняв голову, напряженно глядя ей вслед. И лишь молча кивнул девушке, когда Салиха выходила из юрты. Смотреть-то он на нее смотрел, и прощался с нею, но перед его глазами стояла другая картина. Он видел, как это высокое, стройное молодое тело погружается в речную пучину. Он слышал даже громкий всплеск, когда оно упало в воду. Затем видел – близко видел! – предсмертное прекрасное лицо, с застывшим на нем выражением проклятья ко всему ненавистному ей злу жизни... И видел, как вытянутое тело медленно уходит на дно. И словно оттуда, из темной пучины отчаяния, вдруг всплыли, переливаясь в преломленных лучах подводного света, строки стихотворения:

*... – Пусть тело мое целует не старый муж, а волна! –
Сказала – и в темные воды со скал метнулась она...*

Вернулись в юрту Ербол, Кокпай и Шаке, удивились, что девушка ушла так быстро.

– Хотя бы пообедать оставили, Абай-ага? – сказал Шаке.

– Не нужно, – коротко ответил Абай и, достав чернил, стал записывать на бумагу стихотворные строчки.

Следствие продолжалось еще три дня. Жиренше и Оразбай, каждый взяв себе по пяти помощников, съездили со след-



ствием в кочевья Сыбана и Керея. И настал день вынесения приговора.

Все сведения про убытки и потери с каждой стороны тяжущихся были собраны, все нити и узлы тяжбы были в руке у Абая, но до сих пор никто из близких его помощников не знал, к какому решению пришел третейский судья.

Абай призвал к казенным юртам всех кереев и сыбанов, имеющих отношение к тяжбе. Аткаминеры и шабарманы поскакали по всему юрточному городку с властными возгласами:

– Тяжба девушки Салихи! Спор Керея с Сыбаном! Сегодня будет решение суда! Зачитка приговора!

Ожидался приезд уездных начальников, приуроченный к этому событию. С утра возле строенных юрт толклись урядники в белых кителях и фуражках, стражники в мундирах с начищенными медными пуговицами, с саблями на боку. Отдельной небольшой кучкой собрались пестро разодетые толмачи. Сегодняшний день схода кочевников двух уездов ожидался особенный. Во всем чувствовалась напряженность, некая даже строгость и торжественность.

Перед самым началом суда Жиренше с Оразбаем пригласили Абая отойти с ними за юрту. Разговор начал Жиренше.

– Абай, в твоих руках вожжи к двум недоуздам. Тяни, за какой хочешь. Ты до сих пор скрываешь от меня и от Оразбая свои мысли. Скажи, наконец, шырагым, кого хочешь свалить, а кого оставить на коне?

Улыбаясь, изучающим взглядом Абай внимательно смотрел на друзей.

– А сами-то как думаете? Кого свалить, кого оставить? Сдается мне, ты уже знаешь ответ! Скажи-ка мне его поскорее, друг! – молвил он, в упор глядя в глаза Жиренше.

Тот не стал отводить свои глаза и, твердо выговаривая слова, безразличным, холодным тоном произнес следующее:

– Абай, при виде золота и ангел собьется с пути. Как у нас в степи повелось со времен предков? Сильный прав, сильный



сильному и жить дает. Так поступали предки, и нам завещали... Сыбаны это понимают глубоко. Их вожаки, Барак-торе, Байгобек и Салпы, перед принятием решения посылают тебе через нас с Оразбаем большой салем. И просят, чтобы дочь Керей была отдана Сабатару. А тебе отдадут из самых лучших табунов Сыбана сорок отборных скакунов. Вот о чем я должен был тебя уведомить!

Абаю на мгновение кошмарно представилось, что уста Жиренше извергают нечистоты. Невольно, с излишней резкостью, он махнул на него рукой, брезгливо сморщившись, как бы взывая: «Прекрати сейчас же!» Но тут же быстро опомнился, взял себя в руки. И уже также спокойно, слегка даже улыбаясь, сказал, обращаясь сразу к обоим, но называя только имя одного из них:

– Оу, Оразбай! Ты тоже так считаешь? Вы оба хотите, чтобы я свалил Керей на землю?

Каким бы ни был проницательным и умным Жиренше, но в тоне и словах Абая он не услышал ничего угрожающего. Наоборот – он вмиг успокоился и почувствовал облегчение на душе. В начале разговора Жиренше испытывал большое напряжение, зная за Абаем его высокое бескорыстие во всем. Но сорок скакунов оказались ему убедительным доводом.

– Е, и я так считаю, Абай! К чему вилять? Кто больше дает, тот и прав. А берут сейчас все – и ояз берет потихоньку, и все бии хапают и глотают, не подавятся. Думаешь, ты первый и ты последний? Не переживай – мы не в Мекке, а здесь, на съезде в Балкыбеке! – Так говорил Ораз, самоуверенно поглядывая на Абая, посчитав, что они отлично друг друга поняли.

– Зачем переживать? – отвечал Абай вполне миролюбиво.
– Мне переживать незачем.

– Вот и хорошо. Принимай верное решение!

– Сыбан! Сыбан прав! По законам предков... – начал было Жиренше.

И только в этот миг Абай, неожиданно переменившись в лице, вдруг рявкнул по-отцовски, по-кунанбаевски:



– Довольно! Не набрехались еще, собаки?! – и добавил крепкое словцо.

Оба джигита были старше него, дружили с ним давно, и раньше он никогда не позволял себе ругать их, разве только в шутку. Но сейчас он уже не смог сдержать себя, кипя возмущением.

– И это вас я просил быть моими крыльями, моими верными помощниками! Что, крепились, крепились, наконец не выдержали и тоже решили говно пожевать? Да знал бы я, что вы такое предложите мне, лучше бы Такежана попросил в помощники! Прочь от меня! Вы ради своей утробы готовы принести меня в жертву, выставить на позорище перед всеми тремя жузами, перед всеми казахами? Да лучше бы вы меня убили сразу! И труп мой бросили в пыль дороги, под ноги толпы...

Так, с гневом и горечью, обрушил Абай обвинения на головы своих помощников. Они стояли перед ним, словно окаменев.

Тут с криком: «Ей, Абай! Сановники приехали! Ждут тебя!» – к нему подошли Такежан и Исхак, оба тучные и громоздкие, в богатых чапанах. Абай неспешно направился в сторону невысокого маленького холма, возле которого был назначен судебный сход. Наверху холма уже ждали его два уездных акима и два встречных истца – Барак-торе и Тойсары. Абай учтиво поздоровался со всеми. Начальство сидело на принесенных стульях, остальные сели на землю.

Барак сидел с уверенным видом. Еще в ту первую общую встречу, когда Абай спрашивал у истцов разрешения взять помощниками себе Жиренше и Оразбая, умный Барак-торе сразу же сообразил: к Абаю нельзя соваться со взятками, он сразу же прогонит, и если Сыбан захочет опередить и предложит ему любую взятку, то проиграет суд. Поэтому он решил действовать не напрямую, а через Жиренше, про которого уже знал, что тот берет и даже весьма охотно. И сейчас, окончательно положившись на него, Барак ожидал благоприятного для себя исхода и, время от времени оборачиваясь к Тойсары, посматривал



на него свысока и усмешливо. Тот в любом случае не смог бы выставить взяткой сорок отменных скакунов.

Абай открыл суд. Дал высказаться обеим сторонам, которые дотошно перечислили все свои претензии и назвали свои обвинения. Обе стороны заканчивали свои выступления соответствующими случаю словами: «Препоручаем наше дело Аллаху, а после него – тебе. Решай справедливо. Духам наших предков ниспосылаем последнее слово! Бисмилла!»

После родовых ходатаев слово перешло к Абая.

Он был бледен. Сидел, держа шапку в руке, кулаком упирался себе в бок. В осанке его несколько грузного тела ощущалось большое внутреннее напряжение, с которым Абай уверенно справлялся силою воли и ясного ума. На его широком лбу появилась зернь прозрачного пота. Говорил он мужественным, размеренным твердым голосом, говорил свободно и непринужденно.

– Уай, добрые люди! Народ племени Керей и племени Сыбан! Вы избрали меня в судьи и сказали: «Уладь наш спор, дай нашим народам мир и покой». Вы оказали мне великое доверие. И хочу вам сразу сказать: хоть я родом из Тобыкты, но дело буду разбирать не в пользу своего рода. И еще хочу сказать, что вдовый спор и аменгерские тяжбы идут у нас, казахов, с незапятнанных времен. Что же это? Или жизнь наша неправильная, или законы наши устарели? Почему наступают новые времена, приходит новая жизнь, а горе наших невест-вдов все такое же безысходное? Я открыто говорю об этом, потому что такое горе – в укор не только нашему прошлому, но и будущему народа. Вот и, думая о том, как найти выход из этого, из тяжкого плена прошлого, я и принимал свое решение, разделив дело на два отдельных разговора. Первый разговор – это девица Салиха, невеста-вдова, не желающая после смерти жениха-ровни становиться женой его старого брата. У нас растет молодежь, она в днях своей жизни хочет видеть радость и счастье, можем ли мы желать воспрепятствовать этому? Нет, не сможем, иначе



взрастим зло в собственном доме. Свои условия новое время ставит через молодых. Девушка Салиха уже однажды была наказана судьбой – у нее умер жених, оборвалась нить надежды на счастливое будущее в своем очаге с молодым мужем. И нет такого божьего веления и соизволения, чтобы обрекать человека на поражение от смерти дважды! Своим желанием Сабатар накидывает петлю аркана на шею девушки, у которой смерть уже приговорила одну жизнь, нельзя, не по-человечески это – пожелать ей еще одного смертного приговора. Сгореть одной душе два раза – Бог не позволит! И дважды продавать девушку – дело недостойное. Ведь девушка эта предпочитает лучше умереть, чем терпеть такую жизнь, какую ей готовит Сабатар! И вот мое первое решение: девушка Салиха свободна от Сыбан. – Так сказал Абай, сказал твердым, решительным голосом.

Затем, через небольшую паузу, продолжил свою судейскую речь:

– Но и за Сыбаном нет вины. Смерть человека – не вина племени и не наказание с его стороны роду невесты. Умершего человека не воскресить. А калым за невесту был выплачен, и калым достойный, честный, и ты, Керей, взял его! И брал не однажды, но дважды! Первый калым не оказался скудным и был стоимостью в пятьдесят верблюдов. Второй калым – за преклонные годы жениха Сабатара – добавился в двадцать пять верблюдов. Керей, ты проявил непристойную жадность, и за это я наказываю тебя возвращением Сыбану обоих калымов и в дополнение к этому – штраф в двадцать пять верблюдов. Итак, Керей по всем законам, божеским и людским, должен отдать в Сыбан возвратный калым и штраф – всего сто верблюдов. Эти расходы должны взять на себя два племени рода Керей – Кожагельды и Шакантай, из последнего племени ведь новый жених девушки Салихи. Вот мое второе судебное решение...

А теперь я перехожу к делам барымты и взаимных набегов. Пять дней я и мои люди собирали сведения об этих делах и



выяснили следующее. По набегам и по барымте Сыбан у кереев захватил и перегнал к себе двести голов лошадей. У Кереев оказалось сто семьдесят лошадей, уведенных от сыбан. Все эти лошади должны быть возвращены по взаимному расчету, полностью до последней головы, а если некоторые из них не досчитаются среди живых, то возместить по пять лошадей за одну отсутствующую. Сородичи, народ мой! Вот мои решения, принятые мной во имя нашей братской любви к обоим родам и ради восстановления мира и согласия между ними.

Завершилась речь третейского судьи, и его решение было выслушано в глубоком молчании всего присутствующего народа. Только два уездных акима, полностью уяснившие суть решения через своих толмачей, оживленно переговаривались с довольным видом. Всем ясно было, что начальники согласны с приговорами Абая. Затем они встали и подошли к Абаю, начали с ним разговаривать. Сидящим по двум сторонам от холма людям родов Кереев и Сыбан они как бы давали знать: «Справедливое решение принято. Тяжба закончена».

Но ни среди кереев, ни среди сыбан, окружавших холмик, не было слышно ни оживленного шума одобрения, ни возгласов возмущения и недовольства, какие обычно звучат на таких сходах: «Добро! Все верно!» – «Нет, неверно! Я не согласен!» – «А я согласен!» Непонятно было, что думают люди Тобыкты, сидевшие чуть поодаль, отдельным полукругом. По их равнодушным лицам и по отчужденному виду читалось. «Посмотрим дальше, что же из всего этого получится?»

Жирише, стоявший рядом с сыбанами, нагнулся к какому-то громадному костлявому белобородому старику и что-то говорил ему. Вдруг тот резво вскочил на ноги и, с возмущенным видом оглядываясь на Абая, закричал диким воющим голосом:

– Кенгирбай! Уа, Кенгирбай! Где же твой аруах? Разве такой приговор ты выносил для своевольной дочери своего рода? Разве такого приговора заслуживает эта падшая девушка? Кенгирбай! Дух твой призываю!



Выкрикнув это, зловещий старик стал одиноко удаляться по пустырю. То, что крикнул он, означало, что когда-то великий властитель Кенгирбай при подобной же вдовьей тяжбе предал смерти двух влюбленных, девушку Енлик и джигита Кебека.

Народ постепенно расходился от холма, разбредаясь во все стороны. Удивленный выкриком костлявого старика, Абай смотрел ему вслед, стараясь вспомнить, где он встречал его раньше. К Абаю снова подошли Жиренше и Оразбай, и Жиренше сказал:

– О другом не будем говорить, но ты, Абай, что-нибудь почувствовал в душе, когда аксакал из Сыбана стал призывать дух твоего предка Кенгирбая? Ты хоть один разок поджал свою задницу или хотя бы поежился? Скажи мне как на духу – тебя, что, совсем не беспокоит, что ты все дальше отходишь от путей своих предков, да еще и других призываешь к этому? Или ты за собой не замечаешь этого?

Абай все в том же резком тоне, как и в прошлый разговор, ответил своим товарищам:

– Кенгирбая народ прозвал «Кабаном». Он пил кровь своих сородичей, за взятки судил несправедно и убивал молодых при таком же случае, как этот, с Салихой. Я не сын Кенгирбая-кабана, я сын человеческий, тебе понятно это?

После этих слов Жиренше и Оразбай, потрясенные и напуганные столь откровенным святотатством Абая, остались стоять на месте, словно оглушенные ударами дубиной по голове. Абай же пошел от них в сторону. Прийдя в себя, они посмотрели друг другу в глаза – и на лицах двух биев явно читалась растерянность. Жиренше лишь проворчал:

– Что-то он стал заноситься не в меру! Е, ладно! Посмотрим!

– А чего смотреть? Так же вот кичился когда-то его отец Кунанбай. Забирает гордыня и этого сына. Ладно, пошли, Жиренше!



После завершения Балкыбекского схода Абай с группой молодежи отправился в Байкошкар. В этот же час в путь вышли и Жиренше с Оразбаем. Они обогнали группу Абая и маячили впереди на расстоянии полета стрелы. Абай хотел докричаться их, чтобы они подождали, и поехать вместе с ними, но они, оглянувшись на его крик, не только не остановились, но подстегнули своих коней и убыстрили ход. Вспомнив свои довольно резкие слова, сказанные им недавно, Абай хотел как-то сгладить размовку, поговорив с ними в спокойной долгой дороге.

Ничего кроме этого не имея на душе, Абай прищпорил своего доброго саврасого, ушел вперед от своей группы и спорой иноходью стал нагонять двух путников. Однако когда Абай приблизился к ним, Жиренше и Оразбай, оглянувшись и узнав его, переглянулись между собой и, словно молвив друг другу: «Е, поскакали!» – стали нахлестывать лошадей и помчались вперед, словно наперегонки.

– Вот как! Теперь мне все понятно! – крикнул Абай им вслед.

Те остановились и, повернув коней назад, глядя на него издали, стали отвечать:

– Вот так и будет теперь! – Жиренше.

– Хорошо, что тебе понятно! – Оразбай.

И оба снова поскакали вперед, унося с собой свою злобу. Абай смотрел им вслед, сидя на своем коне, и в душе у него разлилась горечь. Он понял: тот, кого он считал своим другом, уже больше ему не друг. Между ними началась вражда. Жестокая степная вражда джигитов.

Такежан и Майбасар тоже возвращались домой со съезда, окруженные целым отрядом сопровождения. И здесь тоже беспрерывно ругали Абая. От Жиренше они узнали о сорока отборных скакунах, которые предлагались Абаю от Сыбан.

– Дурак! Мог бы вернуться домой с почетом и с прибытком! – ругался Такежан. – Ну такой глупец! Все дедовские законы



и обычаи попрали, судили, как судят русские «начандыки»... Так унижить честь наших предков, а?

Но такого мнения о суждении Абая держались только посланцы Тобыкты. Ни керей, ни сыбаны Абая не осуждали. Они приняли его суд и заявили акимам уездов: «С решением согласны. Мы помирились». Жумакан и Барак-торе от Сыбана вместе с Тойсары и Бегешем от Керей составили «мировую» бумагу, прилепнули печати и вручили начальству. Они восприняли Абая как человека с новыми мыслями, который готов ломать неудобные старые обычаи степи. «В словах его – одно добро. В делах – польза для народа. С этим человеком весь край считаться будет» – сделали вывод примирившиеся стороны.

Несмотря на то что Абай вернул невесту-вдову назад в Керей, один из самых первых людей Сыбана Жумакан не отнесся к Абаю с враждебностью, а наоборот, захотел с ним сблизиться. Отец Жумакана, Кисык, в прошлом имел много общих дел с Кунанбаем, и вот сейчас, после съезда, старый Кисык вдруг отправил сына в Тобыкты с таким наказом:

– Во-первых, наведайся к Кунанбаю и передай от меня салем. Затем у меня к нему давняя просьба... Мы никогда не были врагами, и пусть нашу дружбу теперь разорвет только смерть. Пусть Кунанбай исполнит мою просьбу – в пору нашей старости, перед уходом нашим из этого мира. Стоя уже на пороге в мир иной, я печалюсь одним, что оставляем мы после себя только дружбу, но не родство. Желая стать его сватом – иметь во всех веках наших общих потомков. Пусть возьмет у меня невесту или пусть даст мне невесту!

Кунанбай ответил: «Выходит, Кисык опередил меня, в его устах раньше моего прозвучали слова о сватовстве! У меня подрос внук, он сейчас под моим крылом, у моего очага. Это Акылбай. Слышно, что у Кисыка есть юная внучка, якобы дочь Жумакана. Пусть отдаст свое дитя за моего ребенка!»

И, посетив Кунанбая, пробыв два дня в ауле Нурганым, Жу-



макан возвратился домой, весьма довольный результатами поездки. Вместе с ним Кунанбай отправил большой состав своих людей, во главе с Изгутты и Жакипом, его братьями, что подчеркнуло особую важность сватовства, призванного навсегда скрепить узами родства Кисыка, Кунанбая и их потомство.

3

Просторный тарантас с откинутым верхом, запряженный тройкой, ехал по дороге, ведущей от зимовья Акшоки к Семипалатинску. На козлах сидел Баймагамбет, погонявший лошадей, не снижая их бега с широкой стремительной рыси – пока еще стояла утренняя прохлада. В повозке, обшитой изнутри красным сафьяном, ехали Абай и трое его детей: Абиш, Магаш и Гульбадан.

Старший мальчик, Абиш, широколобый, с тонкими длинными бровями вразлет, обычно бледный, сейчас раздумялся от быстрой езды, от дорожного возбуждения – и не отставал от отца со своими вопросами:

– А где мы будем жить в городе, аке? Все трое в одном доме? У казахов или у русских? Или я буду жить отдельно, а они двое тоже отдельно?

– Еще чего! Это я буду жить отдельно от вас, одна в русском доме! Там будет такая же девочка, как я! – перебила брата Гульбадан, самая бойкая и смелая из детей.

Сдвинув в сторону братика Магаша, она улеглась головой на колено отца и разговаривала, глядя на него снизу вверх. Абаю нравился решительный, жизнерадостный нрав маленькой дочери, которая впервые расставалась с матерью и при этом осталась вполне спокойной. Щекоча шалунью за ушком, отец ласково сказал:

– Ах, ты моя беззаботная, золотая моя! Ты смелее своих братьев, поэтому будешь жить отдельно. Отдам тебя в дом образованной русской женщины, будет она матерью тебе, а



ты ее слушайся! Всех вас хорошо устрою. Буду часто бывать в городе, навещать вас. А вначале и жить с вами буду. Я хочу только одного – чтобы вы учились.

Он обеими руками обнял детей, прижал к себе. Магаш, младшенький, сидевший на колене у отца до сих пор молча, грустный и задумчивый, улыбнулся наконец. Он больше брата и сестры переживал разлуку с домом, с родными. Желая рассеять его грусть, Абай поцеловал его в макушку и попросил:

– А ну-ка, Магаш, спой нам! Запевай, Магаштай!

Малыш был очень доволен, что отец обратился с такой просьбой именно к нему. Он широко улыбнулся, открывая жемчужный ряд мелких зубов.

– А какую песню, отец? – обрадованным голосом спросил мальчик. – Только я начинать не буду, начни первым ты, а то я перепутаю слова.

Сестра Гульбадан догадалась, что отец хочет развеселить малыша, и сама стала шутить над ним:

– Вот ты какой, Магаш! Тебе говорят «спой», а ты пятишься, как жеребенок, который от дома боится отойти!

Все рассмеялись, рассмеялся Баймагамбет на козлах, и сам Магаш, уткнувшись головой в кожу сиденья, звонко рассмеялся. Абиш вступился за него:

– Ты не знаешь! Если жеребенок пятится, это он не боится, а просто хочет играть! – выкрикнул он. – А ты ничего не знаешь, потому что никогда даже не садилась на жеребенка!

– Е! Она на овечке ездить не умеет, не то что на жеребенке! – поднял голову Магаш. – А мой саврасый жеребенок весной пять раз был первым на байге! Вот тебе! – И совсем повеселев, Магаш попросил отца: – Начинайте песню, аке!

Абай запел «Козы кош», дети подхватили.

За дня два пути он то пел, то развлекал детишек рассказами. Или просил Абиша и Гульбадан, старших, самих рассказывать запомнившиеся им сказки и рассказы. Если на однообразном пути их тянуло ко сну, то запевали все вместе, – даже Байма-



гамбет пел с ними. И таким образом, без особенных трудностей и тягот они доехали до города.

Гульбадан и Магаша, по совету Михайлова, Абай отдал в городское училище. Они учились раздельно, но жить их поселили вместе – в семье русских, которую нашел для них тот же Михайлов. По поводу Абиша он рекомендовал другое. У мальчика были неплохие знания в мусульманской грамоте, а занимаясь в ауле с приезжим толмачом, он вполне научился говорить по-русски. Ему можно было бы поступать в школу, но по возрасту Абиш был уже переростком для начальных классов, и его отделили от двух других детей и поселили в семью образованных людей, которые могли следить за общим воспитанием мальчика и, в постоянном домашнем общении, совершенствовать его в русской речи. В школу Абиша пока не отдали, а приставили к нему хорошего домашнего учителя.

С первых же дней Михайлов принял самое близкое участие в обустройстве и учебе детей в необычных для них городских условиях. Он дал Абаю совет:

– Ваш старшенький, на мой взгляд, способен учиться серьезно, Ибрагим Кунанбаевич. Не огорчайтесь, что он немного перерос... Пожалуй, это даже лучше, что он приехал сюда, получив знания на родном языке. У него уже есть навык к учению, что поможет при переходе на другой язык. Советую вам за эту зиму хорошенько приготовить Абдрахмана в языке, а на следующий год определить в школу, но только не здесь, а в Тюмени. Там школы значительно лучше, чем в Семипалатинске. И там у меня есть хорошие знакомые, у которых мальчику можно жить. Лето он пусть проводит в степи, а зимой живет в городе и получает русское воспитание. Если все будет хорошо, и здоровье позволит, будем надеяться – в будущем определим его в Питер, в университет!

Абай с благодарностью принимал все предложения Михайлова, видя в нем самого лучшего друга и советчика в отноше-



нии его самого и детей. Никто в родном ауле Абая не проявил столько заботы и внимания их будущему образованию.

Однажды они беседовали в знакомом просторном кабинете Михайлова. Уже начинало темнеть. Из внутренних комнат к ним вышла молодая темноволосая женщина, неся в руках зажженную настольную лампу. Миловидное лицо ее предстало в свете золотистого пламени лампы. Черные глаза ее мягко взглянули на Абая. Он впервые видел эту женщину в доме Евгения Петровича, – обычно у него хозяйничала старуха Домна, кроткая, ворчливая наемная прислуга.

Женщина скромно, негромко поздоровалась с гостем, Михайлов забрал из ее рук лампу и, ласково поблагодарив, поставил на стол. Затем подвел женщину, бережно взяв ее под руку, к Абая и молвил с мягкой, какою-то новой улыбкой на лице:

– Лизанька, познакомьтесь, это мой друг Ибрагим Кунанбаевич!

Заметив на лице Абая растерянность, Михайлов спохватился и, уже обращаясь к нему, сказал:

– Знакомьтесь, Ибрагим Кунанбаевич, это моя жена, Елизавета Алексеевна.

Абай несколько смутился: и от неожиданности, и с того, что не знал, как надлежит вести себя при подобных обстоятельствах, что говорить по-русски при поздравлениях с супружеством...

– Я не знал об этом, Евгений Петрович... Вы скрывали? Будьте счастливы, я вам желаю... – нашелся что сказать Абай, смущенно кланяясь.

Она вовсе не была похожа на петербургских или московских женщин, которые изредка появлялись здесь, в городе, и которых Абай встречал в домах начальства или у адвоката Андреева. Елизавета Алексеевна была похожа на обычную городскую жительницу Семипалатинска, не из высокой среды. Во всех ее повадках, в выражении миловидного лица сказыва-



лись скромность и тишина природы. Она побыла в комнате всего несколько минут и бесшумно вышла, не прощаясь. Михайлов тут же рассказал Абаю недлинную историю своей женитьбы.

– Я ведь женился совсем недавно... Женился без всяких высоких, сложных материй, знаете ли. Она – девушка из скромной семьи, не получила ни хорошего образования, ни аристократического воспитания... Вот вы стремитесь дать своему Абдрахману надлежащее образование, а я буду образовывать свою Лизаньку. Воспитать ее чувства, выучить и сделать своим равным другом – отныне мой долг перед нею, Ибрагим...

О таком большом событии в своей жизни, как женитьба, Михайлов рассказывал со смущенным видом, словно испытывая неловкость... Абай не стал у него расспрашивать подробности, и Михайлов тотчас оставил эту тему и перешел на рассказ о том, как его восстановили на должности в областную канцелярию...

В этот вечер, перейдя по мосту на другой берег Иртыша, Абай пришел в дом Тыныбека, где давно не бывал, и заночевал там. Сестра Макиш стала упрекать его, что он, живя в городе, совсем не бывает у нее. А ведь когда-то не мог обойтись без того, чтобы не заскочить хотя бы на немного, в особенности в том году, когда здесь находилась девушка Салтанат... Услышав это имя, Абай особенно уважительным тоном спросил у сестры, где она и как поживает.

Задумчиво растягивая слова, он произнес:

– Сал-та-нат... Сал-та-нат – какая чудесная была девушка... Одна из самых достойных среди казахских девушек. Не так ли, Макиш?

Вскинув на сестру задумчивые глаза, он спрашивал:

– Макиш, как нынче она? Где? Как сложилась ее жизнь? Что ты знаешь о ней?

Макиш рассказала о Салтанат нечто новое, глубоко взволновавшее Абая.



Она вышла замуж за того джигита, с кем была помолвлена. Обычная жизнь степной замужней женщины захватила ее в свой полон. Многие годы она не появлялась в городе у Макиш, и только прошлым летом приезжала к ней в гости. С нею были ее дети, мальчик и девочка. Обрадованная Макиш повезла ее однажды на Полковничий остров, взяв с собой в лодку сабу с кумысом и барашка на убой. Пока работник варил мясо на костре, подруги прогулялись по острову, взяв с собой сынишку Салтанат. И в зарослях зеленого тугая две женщины поведали друг дружке все, что накопилось у них в душе.

И тут Макиш рассказала брату такое, чего Абай не мог бы даже и предположить в своих самых сокровенных воспоминаниях о чудесной Салтанат. Макиш в последние годы собрала и выучила наизусть почти все стихотворения и песни Абая, и вот, во время встречи подруг, она прочитала стихи и спела эти песни – для одной Салтанат. Та слушала, храня молчание, выслушала всё. Потом подозвала к себе сынишку, прижала его к себе и сказала подруге:

– Жизнь отнесла меня далеко от всех моих юных мечтаний. Видимо, они у меня были несбыточными. Но мои встречи с Абаем остались в памяти, как этот остров. Как зачарованный, тенистый, украшенный цветами остров моей молодости. Дней наших встреч было немного, но то были счастливые дни, Макиш. Теперь я принадлежу другому человеку, а мне в этой жизни ничего не принадлежит. Одна радость только, что я снова встретилась с тобой, подружка моя милая, и услышала от тебя песни Абая! Словно услышала голос прежней любви! И вот я перед тобой приношу обет. Больше я не стану хоронить в себе свои чувства к твоему брату. Вот, мой мальчик перед тобою – я считаю своим материнским долгом воспитать своих детей в чувствах любви, уважения и великого почитания эфенди Абая. Это, может быть, станет знаком моего преклонения перед ним!



Глубокое, сильное волнение охватило Абая. Сестра его Макиш, и Салтанат из далекой юности... он был искренне, душевно благодарен им за их отношение к его стихам.

– Да, это ее слова... Только Салтанат могла так сказать! И она не только свой обет перед моим творчеством высказала – она еще и мой долг творца определила! Мои песни и стихи, и все сочинения должны дать пищу духовную и были любимыми для будущих поколений, для таких, как ее дети! О, Салтанат! Она как бы говорит мне: «Для меня, живущей за семью холмами от тебя, достаточно и того, чтобы доходили до меня мелодии твоих песен!» Я хорошо понял, я услышал тебя, мой друг из несбывшейся мечты! – Так говорил Абай, взволнованный рассказом своей сестры.

И это были его собственные сокровенные слова – ответ для далекой Салтанат. Он замолчал. Душа его погрузилась в мир образов и звуков, в мерные звуки набегающих стихотворных строк...

Всю осень и первую половину зимы Абай оставался в Семипалатинске. Устроив детей на учебу, он никак не решался покинуть их одних. Обычно будни свои он проводил в Гоголевской библиотеке. Его занятия там все больше походили на работу ученого, исследователя, круг его чтения стал обширным. По вечерам, вернувшись на квартиру и оставшись с Баймагамбетом, он рассказывал ему о прочитанных книгах, пересказывал романы. И запасы для устных исполнений народного рассказчика заметно пополнялись.

К концу недели, по субботам, Баймагамбет закладывал легкие санки и ехал за детьми. Из одного дома он привозил Гульбадан и Магаша, из другого – Абиша. Они проводили с отцом два дня и две ночи, все вместе играли, веселились, отдыхали. Вечера с пребыванием детей дома Абай старался не занимать никакими встречами с земляками из степи. Он рассказывал детям сказки, разные истории, а то и Баймагамбета просил раскрутить какую-нибудь повестушку проще. Затевалось пение



хором родных мелодичных песен. И дни отдыха с детьми превращались для них в веселый, радостный праздник.

Через неделю – десять дней Абай ходил на квартиру, где стоял Абиш. Во время этих визитов Абай подолгу беседовал с «хозяйкой» Абиша, седовласой, весьма воспитанной, приветливой Анной Николаевной. В другие дни он навещал дом Екатерины Петровны, матери четверых детей – двух мальчиков и двух девочек, вполне подходящих по возрасту Гульбадан и Магашу. Она была вдовой офицера, жила, давая уроки и держа пансионат для детишек. Абай не раз посылал ей, помимо условленной платы, мешки с мукой и туши забитых баранов.

Помимо своих собственных детей, Абай устроил на учебу нескольких казахских детей-сирот. Надоумился сделать это после одного разговора с Михайловым, который сообщил ему, что два года назад пришел приказ из Омского корпуса – найти в каждой волости по одному ребенку для учебы в городских школах. Однако ни один из родителей посылать ребенка на учебу не пожелал, а нашлись и такие, которые соглашались отдать свое чадо только за приличный выкуп. Михайлов с растерянной улыбкой сообщил Абаю, что и во всем Семипалатинске не нашлось казаха, который захотел бы отправить ребенка в русскую школу.

Абай сам взялся за дело: написал некоторым тобыктинцам, на которых имел влияние, и добился того, чтобы один из малолетних жатаков, Анияр из Чингизской волости, был устроен в интернат. От Молдабая был прислан в школу из Шаганской волости сирота-киргиз Омарбек. Такежан прислал, после письма Абая, из Кызыладырской волости еще одного сироту, Курманбая. Кроме этих, были устроены еще сироты-жатаки из Ералы, из племени Мамай, мальчики Хасен и Садвокас – их определили в мусульманское медресе.

Недавно Абаю стало известно, что скот, вырванный им через глотку у его алчных братьев, все же не весь целиком достался жатакам. Правда, до Ералы все тридцать голов были



доставлены без потерь, но в эту же зиму десять из них были выкрадены неизвестными, неуловимыми ворами. И, устраивая на учебу детей-сирот жатаков, удрученный Абай думал: «Пусть жатакам хоть достанется то, чего нельзя будет у них ни отнять, ни своровать – образование».

И вот пришла вторая половина зимы, Абаю надо было возвращаться в аул. В субботу он послал Баймагамбета по городу с поручением: собрать всех казахских детей-сирот, определенных на учебу на казенный кошт. Привезенные к нему на квартиру, они были напоены чаем, потом затеялись игры, зазвенели песни, распеваемые детскими голосами. Абай загадывал им загадки, Баймагамбет потчевал смешными сказками и прибаутками. Перед ужином, когда ребятишки устали и угомонились, Абай подозвал к себе и своих детей, и мальчиков-гостей. «Послушайте меня, дети!» – воскликнул он. Взял со стола листок исписанной бумаги и стал громко, внятно читать мальчикам, столпившимся вокруг него.

*Мальчиком жил я среди темноты,
Не зная, как ценны ученья плоды.
В вас, дети, – вся радость взрослых людей!
Что нам не далось – берите смелей!
Учись, мой сынок, – завет мой таков –
Для блага народа, не для чинов!*

Он еще раз повторил эти строки и потом сказал прощальные слова:

– Дети мои, маленькие мои! Мы, ваши отцы и старшие братья, похожи на пожухлую траву, которая высохла, так и не успев вырасти. В свое время мы не получили знаний науки, и теперь бестолку горюем об этом! Наука – несбывшаяся наша мечта! Вам я желаю того, о чем я вам сейчас прочитал. Учитесь, дети мои, и несите своему народу свет знания! Ваша родная степь, люди вашего племени ждут помощи от вас! Учитесь, чтобы



стать настоящими азаматами! Думая о вас, акын по имени Кокпай написал стихи, которые я вам прочитал, маленькие мои!

Абай смолк и задумался. «Если я смогу взрастить из этих детишек поросль нового поколения, получившего знания, разве не станут они мне подмогой, опорой в деле моем, крыльями моими и надеждой? А дело мое, весь труд мой – заронить в моих темных кочевниках искру подлинного знания! Настало и для нас время просвещения!»

В эту зиму, наряду с мощным и плодотворным усвоением прочитанных книг, Абай брал иногда в руку перо, клал перед собой лист бумаги и писал стихи. Он написал немало песен-стихов, исходивших из сокровенных глубин великого сердца. Но, будучи неуверенным в себе и словно сомневаясь, достоин ли он звания и судьбы подлинного акына, Абай сочинял песни и стихи, скрываясь за именем акына Кокпая.

ВЕРШИНА

«Письмо Татьяны» в степи

Прошло несколько лет. Для Абая это было время постоянного поиска в творчестве. Работа над раскрытой книгой или за столом, с пером в руке, стала его образом жизни.

За эти годы пришла к нему, наконец, и стала прочной его известность акына. Теперь труд поэта он считал своим долгом и служением перед народом.

Вся многолетняя книжная наука и университеты степной жизни теперь, в преломлении его природного таланта, претворялись в звучные, глубокие произведения поэта. Время, проведенное за письмом ли, за книгами, было временем истинной его жизни – в счастливых днях зеленой весны или в дни белой, отрешенной зимы.

Именно за эти годы Абай вживил в тысячелетнюю степную поэзию сильную ветвь гражданственности, борения азамата с несправедливостью и произволом степных владетелей и власть имущих. Его стихотворное собрание «О народе» беспощадно избличало и клеймило их. И в то же время честный, человеческий поэт с великой горечью и печалью описывал страшные тяготы и лишения простого кочевника, его беспросветный труд и вечную нужду, взваленные на него злой волей алчных владетелей. На поэтическую молодежь подобные гражданственные стихотворения Абая оказывали большое воздействие, и аул Акшоки стал местом притяжения всей талантливой молодежи степи.

Абай внес в поэтический обиход работы акына запись стихов на бумагу, чтение с листа и размножение своих произведений



их переписыванием. В прежнем тысячелетнем укладе степь сочиняла стихи и песни и сохраняла их в памяти, не на бумаге, и распространяла их запоминанием другими акынами и талантливыми слушателями. Теперь же ученики и поклонники Абая усердно переписывали на бумагу и его стихи, и собственные творения.

Но наряду с этим Абаю приходилось довольно много разбираться с всевозможными тяжбами в связи навязанными ему обязательствами общественного третейского судьи, ибо слава его как честного и справедливого бия была велика. Эти спорные-раздорные дела сильно отвлекали Абая от его главного дела. Но сейчас, в дни глубокой зимы, тяжб не было, и он мог спокойно заниматься своим творчеством.

Наступил тот час дня, когда все домашние после утреннего чая разошлись по своим делам, и в опустевшем доме была тишина. На дворе стоял ясный зимний день. Абай сидел за своим низеньким круглым столом, облокотившись одной рукой на столешницу, другую упираясь, в обычной своей позе, себе в бок. Взгляд его задумчивых глаз устремлен в окно, что напротив стола, и он смотрит на дальние, заснеженные, привычные для его взоров холмы. Эти холмы сегодня для Абая – товарищи его тихой печали.

Нынешняя зима для него благодатна тем, что увела его от людской суеты и дала ему возможность спокойной работы. В эту зиму он написал много стихов, которыми сам остался доволен. И всякий раз, когда после беспмятного вдохновенного полета в пределы нового сочинения он возвращался назад на землю, – перед ним возникали эти знакомые белые холмы, как бы приветствуя и ободряя его. Абаю представлялось, что они, выглядевшие по-разному в соответствии с тем, какая стояла погода, – в точности передавали своим видом то настроение, чем дышало только что написанное стихотворение. В пасмурный, тихий, мерклый день и стихи, и холмы оказывались под одинаково печальным серебристым светом – в тоске по будущим



солнечным дням. А в яркий солнечный день в стихах и на ослепительно белых холмах вдруг проскальзывала сизая тень тоски по вчерашнему серенькому ненастью, тень грусти по прошлому. Холмы – как вечные пленники своей несбыточной мечты.

А сегодня Абаю показалось, что он узрел какой-то новый, незнакомый облик холмов. К ближайшему из них, словно замершему в настороженном ожидании, по белой равнине медленно продвигалась серая масса овечьей отары. Чабан на коне, взобравшись на каменный пригорок, что-то пел еле слышным издали голосом. О чем он поет? Кому? Может быть, холмам, чтобы они не грустили о прошлом...

У Абая есть теперь постоянный товарищ дней его уединенных – как сегодняшних. Это Баймагамбет, умевший говорить хорошо, складно (если в том была надобность), но и умевший хранить молчание. Когда он чувствовал, что говорить ему не надо, он сидел рядом и что-нибудь мастерил. Сейчас занялся тем, что к красной рукоятке камчи из таволги прикреплял новую желтую ремешковую петлю.

Бросив взгляд на Абая, вдруг задержал его на нем – и стал с любопытством наблюдать за тем, что Абай воспроизводит из себя. Тот встал на ноги возле столика и, что-то бормоча себе под нос, начал двигать руками весьма странным образом. Баймагамбет не замечал раньше подобных движений за ним. Правда, раза два было что-то похожее, но тогда было понятно: Абай просто жестами просил принести ему чернил и бумаги, не желая произнесением слов спугнуть пришедшую в голову стихотворную строку. Но теперь – в упор глядя на своего нукера-секретаря какими-то холодными, отчужденными глазами, нетерпеливо махнул в левую сторону дома и подал рукой знак, означавший: «скорее принеси!» И больше по наитию, чем по догадке, Баймагамбет внял ему, сходил куда надо, принес и положил на столик два пухлых тома русских книг.

Быстро опустившись на колени, Абай припал к одной из книг, раскрыв ее на нужной странице, и стал читать про себя. Через



некоторое время, усевшись поудобнее, откинулся назад на подушку и начал издали посматривать на вторую книгу...

Эти две книги были никому другому в ауле не понятные книги русских акынов – Пушкина и Лермонтова. С появлением этих книг в доме хозяином были забыты все «хикметы», «шейхи», «хафизы», «рубаяты», но некоторые благочестивые правоверные, коим приходилось останавливаться в доме Абая, видя его читающим эти толстые книги, преисполнялись к нему величайшего уважения: они думали, что он читает шариат, и пытались угадать, что именно.

– Наверное, читает поминальный хатым из Корана. Сам читает, ему и муллу не надо просить! Это большая заслуга перед Аллахом! Зачтется ему.

Но увидев, что книга раскрывается не с той стороны, как арабские книги, и в ней нарисованы какие-то картинки, благочестивый гость оказывался убитым наповал и замолкал, вытаращив глаза и ухватив себя за бороду.

– Но для чего же читать с таким усердием эти неправоверные писания? – молвили они язвительным шепотом. – Е! В нем это гордыня говорит, высокомерие сказывается! Хочет показать, что он ближе к русским властям, чем все остальные!

Абай знал, что многие из тех, любимых, что пришли в его жизнь из этих книг, останутся бесконечно чуждыми, словно призраки, для тех людей, которые окружают его в просторном степном доме. Но он старался особенно не переживать из-за этого.

Знал он также, что многих его соплеменников беспокоит то, что он столь привязан к неживым своим друзьям из книг. Но разве можно назвать их неживыми? Нет, они-то как раз не мертвы – они бессмертны, они заповедали миру навеки запомнить их имена!

Люди умирают, в память о них остаются одни могильные холмики. Но и эти бранные знаки внимания к ушедшим со временем



стираются, могилы оседают и сравниваются с землей. С этим память о любом человеке и угасает навсегда. Угасает в вечности. Тогда и приходит конец ему – истинный, окончательный, бесповоротный... А эти два русских человека, которых казахи даже не знают, утвердили память о себе на земле, незыблемую и величественную, как две вершины Акшоки, вознесшиеся к небу.

Абай подумал: «Благословен народ, просветленный великим искусством. Уа, если бы и нам предки могли оставить такие драгоценные клады знаний!» Эти два русских поэта представляются Абаю двумя близкими между собой людьми, как родные братья.

...Был старший брат, в котором кипели сила ума и гнев, который умел побеждать грозным оружием своего искусства, умел ненавидеть и любить, и который сгорел от своего пылающего внутреннего огня. За ним – младший брат, видевший всю отчаянную душевную муку старшего брата и со словами: «Погиб поэт, невольник чести!» – сам бросившийся в смертельную схватку с убийцами и погибший от их рук.

Абай задумчиво пробежал глазами строки письма Татьяны Онегину.

– До чего прекрасен язык! – невольно воскликнул Абай. – Не стихи, а дыхание сердца! Его живое, сильное биение! И какая глубина и сила нежности!

Тут глаза Абая ушли в сторону от книги, – и он вспомнил свои стихотворные строчки, которые пришли к нему вскоре после прочтения письма Татьяны:

Речь влюбленных не знает слов.

У любви язык таков:

Дрогнет бровь, чуть вспыхнут глаза –

Вопрос иль ответ готов.

Это были начальные строки стихотворения, рожденные сочувствием к чужой страстной и нежной любви, а не своими лю-



бовными чувствами. Их ответ уже ускользал из его души, как тает утренний туман. Он захотел вспомнить. «Приходилось ли мне слышать от кого-нибудь подобные слова?» И тогда сразу два светлых женских образа явились перед его внутренним взором. Две яркие звезды пронесли по небосклону его жизни, сгорая – вспышкой своей любви взывая к его сердцу. Одна сгоревшая звезда – молодая, пламенная Тогжан; вторая – Салтанат, которая погасла, не согрев ни свою, ни его душу.

Вчера Абай начал перевод на казахский письма Татьяны. С неимоверной болью в сердце понял, что все эти три женские судьбы, одинаково страшно и бесповоротно подчинившиеся здравому смыслу и воле недоброй судьбы, вынуждены были отказаться от великой своей любви и покорно склонить шею под ярмо житейской обыденности. И все то время, пока Абай переводил письмо Татьяны, в его памяти всплывали невыносимо печальные, тоскливые прощальные слова двух женщин, любивших его. И в строчки его казахского письма Татьяны Лариной сами собой вплелись слова и чувства Тогжан и Салтанат. «Если они когда-нибудь услышат эту песню, то поймут, что песня – про них...» – думалось ему.

Чем дальше работал он над переводом письма, тем всё более выразительные и близкие душе Татьяны казахские слова он находил. Правда, язык нежной русской девушки на казахском звучал проще, обыденней, но то была невольная уступка – дань уровню новых слушателей. Однако и в этом случае Абай тревожился: поймут ли они? Поймут ли акыны – Кокпай, Мука, остальные?

Между страницами «Евгения Онегина» оказалось заложенное туда письмо Михайлова, привезенное из Семипалатинска Баймагамбетом, когда тот последний раз ездил в город за книгами. Это письмо русского друга было ответом на восторженный отзыв Абая по прочтении им стихотворного романа Пушкина. В письме Михайлов, в частности, написал: «А в Москве и Петербурге все светское общество, вся публика сходит теперь с ума, слушая



новую оперу по «Евгению Онегину». Говорят, что музыка удивительно точно передает чувства пушкинских Татьяны, Ленского, Онегина. Жаль, что нам здесь этого услышать не суждено!»

Вновь прочитав это место в письме, Абай усмехнулся, подумав: «А все эти Акылбай... Мука... Бедолаги, как они стараются спеть своими красивыми голосами всякую чушь несусветную за подачку от какого-нибудь прославляемого бая, бия, волостного...» Он взял в руки домбру и, все так же усмехаясь, подумал: «Пожалуй, попробую дать им заработать вместо дешевой бязи – дорогого шелку...»

На него снизошло истинное вдохновение. Забыв обо всем, он сидел у окна и, время от времени поглядывая слезящимися глазами на ослепительно белые вершины Акшоки, наигрывал на домбре мелодию и тут же подбирал к ней слова. Тихим голосом напевал:

*Амал жоқ, қайттім білдірмей,
Япырым-ау, қайтіп айтамын?¹*

Эти две строчки легли в начало абаевской песни «Письмо Татьяны», которой вскоре суждено было стать любимой песней во всей степи.

Не скоро он закончил свое новое сочинение, но, проиграв несколько раз мелодии трех куплетов, Абай почувствовал, что работа завершена. Улыбаясь, весело сверкая глазами, он обратился к Баймагамбету:

– Шырагым, Байке, чем ты занят?

Баймагамбет несколько растерялся. Он как-то пропустил тот момент, когда столь резко переменилось настроение Абая. С не очень уверенным видом глядя на хозяина, нукер-секретарь протянул руку, в которой была камча с рукояткой из таволги и новым ремешком-петелькой на конце.

– Вот, Абай-ага, приделал петлю, стало быть, – ответил он.

¹ «Я к вам пишу – чего же боле? / Что я могу еще сказать?»



– А ты понял что-нибудь из песни, которую я сыграл? – спрашивал Абай.

– Чувствую, что в вашу песню попало что-то русское, – был ответ.

– Правильно почувствовал, Байке! Теперь походи, айналайын, приведи сюда Кишкене-муллу.

Отдав распоряжение, Абай снова склонился к домбре и заиграл свою новую мелодию. Когда Баймагамбет выходил из комнаты, в дверях он столкнулся с Айгерим. За ее спиной толпились какие-то люди. Она вошла, посторонние люди вошли вслед за нею. Абай продолжал играть. Айгерим молча, с отрешенным видом, стояла в ожидании, когда он кончит играть. Наконец он завершил мелодию и, подняв голову, молвил:

– Уа, какой сегодня мороз, оказывается!

Айгерим, все с тем же отрешенным видом, к которому добавилось удивление, сказала:

– Абай, какой мороз? Сегодня он не так уж и крепок!

Абай:

– Я-то думал, что мороз с улицы ворвался, а это, оказывается, люди пришли!

Айгерим поняла, что имеет место один из тех случаев, когда Абай говорил что-то непонятное для окружающих людей – возможно, иносказательное. Улыбнувшись, она оставила приведенных гостей перед Абаем, сама покинула комнату, ушла через боковую дверь к себе.

В эту же минуту пришел Кишкене, за кем Абай посылал своего нукера. Мулла Кишкене как раз закончил занятия с детьми в соседнем школьном домике. Увидев его, Абай встрепнулся и обратился к нему, по-прежнему не уделяя внимания посетителям.

– Ты хотел переписывать письмо Татьяны, молдеке. Так вот, теперь Татьяна и запела у меня.

– Это хорошая новость, Абай-ага! А я как раз успел все переписать.



– Теперь напиши письмо Муке и Магашу. Напиши так: «Татьяна шлет свои салем и желает, чтобы они познакомились с нею». Кажется, наш Мухамеджан собирается поехать в город, через него и передай письмо, – сказал Абай.

Мухамеджан также находился в комнате, зашел вместе с Айгерим и посетителями. Он удивился, что всегда занятый своими мыслями Абай знает о его предстоящей поездке. И ему захотелось узнать основательнее и о письме Татьяны, и о песне, которую она «запела».

Посетители между тем ждали, сидя у выхода, даже не сняв шапки и не распустив пояса. Им совершенно было непонятно, что это за песня, что за Татьяна, да им и понимать всего этого не хотелось, и они сидели не шелохнувшись, как истуканы.

Мухамеджан решил задержаться в комнате, снял верхний чапан, свернул и отложил в сторону, снял тымак и спросил у Абая:

– Ага, что вы пели сейчас? Хотелось бы еще послушать.

Абай молча, не удивившись просьбе, взял домбру и тотчас начал вступительный проигрыш. Потом запел – и спел три куплета из только что сочиненной песни. Закончив петь, также не стал ни о чем говорить, а отложил домбру – и наконец-то обратился к посетителям:

– Какие новости? Куда держите путь, зачем?

Мухамеджану хотелось еще раз услышать песню, чтобы лучше запомнить мелодию и слова «Письма Татьяны», но просить об этом Абая было сейчас не к месту. И Мухамеджан решил остаться на обед, чтобы задержаться в доме и все же послушать повторение песни. Он вместе с Кишкене отправился к нему, в школьный дом.

Сидевшие перед Абаем люди были один из рода Кокше, двое из Уак. Абай смотрел на них, и вдруг ему показалось, что происходит некое сверхъестественное явление. Эти люди, в том же составе, в тех же одеждах и шапках, с теми же косными, черствы-



ми лицами, в тех же самых позах и на том же самом месте, уже сидели перед ним. Странная мысль пришла к нему: может быть, он когда-нибудь видел их во сне, а теперь они пришли к нему наяву? Или наоборот: он встречался с ними когда-то, а теперь видит эту встречу во сне? Или имеет место некое раздвоение жизненных явлений?

Но посетители заговорили, и Абаю вскоре все стало ясно. Никаких раздвоений бытия – эти степняки, вор из племени Кокше, по имени Турсын, и пострадавший от него Сарсеке из рода Уак, действительно уже были разок в этой комнате. Уходя в мир творчества, Абай хотел забыть о некоторых наиболее непривлекательных делах и тяжбах, которые он разбирал для просителей – и он забывал о них. Но они его не забывали. В прошлый раз конокрад Турсын, кряжистый, как корявый обрубок ствола, сидел точно так же, низко опустив голову, и из-под лохматого тымака был виден только кончик толстого носа. И пострадавший истец, коротышка Сарсеке, все так же корчился, расплзлся жирным телом, и с пеной на губах доказывал свою правоту... И в этот раз он делал то же самое – и точно так же суетливо, крикливо, многословно... Только на этот раз шла речь не о трех лошадях, которых украл вор, а о пяти, угнанных им при повторной барымте.

– Он прошлым разом так решил: «Уак не дал мне попользоваться добычей, вывернул меня наизнанку перед Абаем, а я его за это еще раз накажу. Посмотрю, мол, что на этот раз сможет сделать со мной уак». И угнал пять лошадей, и еще – погрузил на них вьюки с украденными в моем ауле коврами, шубу спер. Абай-ага, разберись с ним! Это злодей тот еще, люди плачут от него! – Так обвинял дважды пострадавший Сарсеке, и голос его тархтел размеренно, как пестик в деревянной ступе.

Абай захотел посмотреть вору в глаза – другого способа подобраться к правде не было у третьейского судьи. Но громоздкий, как чурбан от толстого кряжа, Турсын сидел, низко опустив голову



над скрещенными кривыми ногами, – словно скрывая свое лицо под шапкой, и отнюдь не намеревался отвечать истцу, делал вид, что не слышит его.

Все же ему пришлось отвечать на вопрос Абая, заданный грозным тоном: «Ну, а ты что скажешь?» Черный мерлушковый тымак Турсына медленно поднялся – и взору Абая предстали маленькие и острые, как буравчики, глаза скотокрада. Они зыркнули на Абая и тотчас ушли в сторону. И ответ его был таков:

– В прошлый раз я о...о...отдал ему свой скот. Вы же ве...ве... велели, Абай-ага. Я и отдал – всех своих ко...коней, – наконец произнес Турсын, заикаясь. – Че-чего мне... возмещать всякую его потерю?

Кто из них прав? Кто лжет? Но когда же его соплеменники перестанут воровать друг у друга, лгать, клеветать, разбойничать? А он, поэт Абай, – разбираться, копаться во всем этом дерьме? Только что, совсем недавно с ним рядом был Пушкин, изливались нежные, как шелк, слова Татьяны из ее прелестных уст... А теперь? Толстомордый истец, со звериной жадностью оспаривающий свой скот, и матерый вор, лелеющий свою воровскую радость в дремучей душе.

«Такова наша жизнь? Не пройдет никогда эта беспросветная муть. Оу, зачем она нужна, такая жизнь! Прозвучит ли в ней твой звонкий, удалой голос, Пушкин? А мой собственный?» – так думалось Абаю в эту тоскливую для него минуту, и он снова взял в руки домбру и начал играть вступление к «Письму Татьяны».

Но на этот раз музыка не взлетела, не поплыла по воздуху, она заковыляла, словно спутанная лошадь. Видно, жалобы Сарсеке и отговорки Турсына подавили ее. Абай в досаде отложил в сторону домбру.

Между тем истец и ответчик принялись спорить между собой, в своей перепалке забыв про судью. Абай послушал их обоих и выяснил для себя – и без допроса, – что у пострадавшего нет свидетеля, который подтвердил бы повторное воровство Турсына. Абай тяжело вздохнул и сказал:



– Апырмай, братья! Почему бы вам за разрешением вашего спора не обратиться к другому человеку? Я не могу здесь увидеть истину. Вы обратитесь лучше к Акылбаю!

Его предложение не приняли оба. Турсын заявил: «Мы готовы подчиниться любому вашему решению. Судите!»

После этих слов Абай более приветливо, чем раньше, посмотрел на отъявленного вора и конокрада.

– В таком случае поклянись, что скажешь мне правду! Если даже придется тебе умереть! Ты брал лошадей или нет?

Турсын не дрогнул, ответ дал без промедления. Заикаясь, молвил с самым истовым видом:

– Абай-а...а...ага! Клянусь... Чтоб мне по...подохнуть на месте... Вот Аллах, а вот Ко...ко...коран...

И с самым решительным видом, словно и на самом деле готовый умереть перед уважаемым Абаем-ага, неуловимо быстрым, истинно воровским заливчатским движением схватил за околыш свой черный мерлушковый тымак и мигом задрал его со лба на макушку, предоставляя судье полюбоваться своим честным лицом. Абаю ничего не оставалось делать, как быстрее выносить свой судейский вердикт:

– Сарсеке, у него нет твоих коней. Ищи свой скот в другом месте.

Турсын с довольным видом, молча вернул тымак на свое место, то есть надвинул на глаза. Промолчал и толстенький Сарсеке, только низко опустил голову на грудь. Завершив суд, Абай бодрым голосом сказал:

– Ну все, мои братья! Спор окончен. Теперь идите в гостевую комнату, хорошенько там покушайте!

С душевным облегчением, отпустив посетителей, Абай снова взял домбру в руки и склонился над книгой, возвращаясь к письму Татьяны. Ему в одном месте хотелось проверить и улучшить по музыке.

Между тем Турсын, Сарсеке и его спутник, не промолвивший ни слова на суде, проходили по длинному полутемному кори-



дору, направляясь в гостевую комнату. Турсын пропустил истца вперед, сам пошел сзади, и сейчас, посмотрев на его уныло сторбленную спину, залился тихим, но от этого не менее отвратительным для Сарсеке смехом. У Турсуна такая привычка была: закатываться долгим смехом, когда он бывал чем-нибудь особенно доволен.

Этот известный вор имел, сам ничего не ведая о том, замечательные способности лицедея. Дело прошлое – ненастной осенью, поленившись ехать за добычей далеко, он увел у своего же соседа Каная трех коней и пустил их на мясо. Тогда же Канай и Сарсеке, его родственники, потащили Турсына на суд к Абаю, и когда тот, веривший в добро человеческое, прямо спросил у вора: «Взял или не взял? Говори честно!» Тот смекнул быстренько, что ему не отвертеться перед прямыми уликами: нашли недалеко от его юрты место с кровью на земле и с выброшенной шкурой, – и ответил, глядя прямо в лицо судье: «Взял! Гадом буду, взял! Выноси скорей приговор!» Почти что растроганный, Абай воскликнул: «Считайте, что он купил меня, дал крупную взятку! Эта взятка – его чистосердечное признание! Пусть вернет трех своих коней, вместо ваших, – и кончим на этом!» А через несколько месяцев вор угнал у Сарсеке сразу пять лошадей, той же ночью сплавил их надежным образом и, когда снова его потащили на суд к Абаю, разыграл перед ним известную сцену... Его расчеты оправдались, он выиграл не только у Сарсеке, но и у самого Абая...

И теперь, проходя длинным коридором зимника Абая, вор смеялся именно над этим: как он ловко провел судью, наивно, словно ребенок, верившего клятвам и честному слову.

Итак, оставшись, наконец, в одиночестве, Абай принялся упорядочивать слова и мелодию песни Татьяны. Но работа что-то не шла, прошедший суд сбил всякое творческое настроение. Он еще мучился с домброй и книгой Пушкина, когда к нему вошли Кишкене-мулла, Мухамеджан, а впереди них, держа в руках до-



ску для игры в тогыз-кумалак и кожаный мешочек с костяными шариками, шел Корпобай, известный игрок.

Для Абая это была любимая игра. В зимнее время, засиживаясь у себя дома, он частенько зазывал к себе таких игроков в кумалаки, как Макишев Исмагул, Маркабай или – сегодняшний гость, Корпобай. Сам Абай также считался одним из сильнейших игроков в эту степную игру.

Увидев Корпобая с доской и мешочком в руках, Абай понял, что работы уже не будет, и отложил в сторону домбру и книгу Пушкина.

– Ну, давай, раскладывай доску, постараюсь не дать тебе ни разу выиграть! – говорил Абай, усаживаясь напротив Корпобая.

Точеные шарики из желтой кости со стуком посыпались на доску, проваливаясь в ямки. Правая рука Корпобая летала над ней, пальцы ее действовали удивительно быстро. Невозможно было понять, каким образом из полной горсти мастер тогыз-кумалака умудряется выбрасывать точно по девять шариков.

Противники погрузились в игру. Мулла Кишкене, Мухамеджан и Баймагамбет следили за ней.

Мухамеджан уже успел переписать стихи Абая к «Песне Татьяны», дал на проверку Кишкене-мулле, а рукопись Абая сложил вчетверо и спрятал себе в карман. Он не требовал назад своих рукописей, и если его ученики или друзья переписывали стихи, оригиналы разрешал им оставить себе.

Мухамеджан с тайным нетерпением ждал случая, чтобы еще раз услышать напев «Письма Татьяны». Однако Абай, увлекшись игрой, и не вспоминал о своей новой песне.

Мухамеджан, родственник Абая, тоже пел, он сам себя считал – и не без основания – неплохим сэре, а также баловался и сочинением стихов. Он знал наизусть многие стихи Абая и всегда старался первым разучить его новые песни. И в этот раз ему не терпелось скорей выучить мелодию и текст «Письма Татьяны».



Видя, что Абаю не до своей новой песни, Мухамеджан вынул из кармана рукопись Абая, разгладил бумагу на коленях и стал заучивать слова... и они словно впервые предстали перед ним! Необыкновенный, тонкий, трепетный, благозвучный язык «Письма Татьяны» захватил и поразил молодого поэта. Никогда еще он не читал у Абая таких совершенных стихов. «Это же новое слово!» – восторгался Мухамеджан, склонившись над рукописью.

Абай по-прежнему был целиком захвачен игрой в кумалаки, вел отчаянное сражение против Корпебая. И тогда молодой сэре, взяв домбру Абая, стал тихонько перебирать струны и попробовал напевать разные песенные мотивы, стараясь уложить в них слова «Письма»: «*Амал жоқ, қайттім білдірмей, Япырым-ау, қайтіп айтамын?*» Так, он попробовал мелодии знаменитых «Ак-Кайын», «Топайкок» – Татьяна не хотела петь на эти мотивы! Раздосадованный, он поднял глаза и поймал на себе взгляд Баймагамбета. Тот, понимая его и сочувствуя, решил ему помочь... Начал осторожно отвлекать Абая от игры.

– Оу, Муха! Не хочет, что ли, Татьяна знаться с «Ак-Кайын»? – нарушив тишину, довольно громко спросил Баймагамбет.

– Не только с «Ак-Кайын», ни с какой другой песней не хочет сойтись... Татьяна эта, оказывается, не простая...

– Может, бейт¹ или терме подойдут? – высказал предположение Баймагамбет и покосился в сторону Абая.

И только тут Абай обратил внимание на их разговор.

– Что вы такое несете! – с досадой проворчал он. – Какой бейт? Татьяна не «Акбала»! Никуда, в Багдад или Египет, не пойдет за песнями!

И тут Абай, быстро переметнув шарики, попал одним из них в срединную ямку противника. Абай радостно захохотал, весь сотрясаясь от смеха. Ошарашенный Корпебай нахмурился. Кишкене-мулла, азартно следивший за игрой, дернул свою рыжую бороду и закричал:

¹ *Бейт* – книжные стихи с речитативным напевом.



– Астапыралла! Да это же туздук¹! Причем отменный туздук!

Столь чувствительный успех в игре поднял настроение Абая, и он вернул свое благосклонное внимание к молодежи.

– Что, Баймагамбет, не хочет Татьяна запеть по-нашему? Она, наверное, думает: «Пусть за меня споет казахам Мухамеджан. У него получится, он хорошо поет!» Ну-ка, дайте мне домбру, попробую я сам спеть.

Абай широко, непринужденно повел мелодию на домбре. Утреннее вдохновение словно вернулось к нему вновь. Он улыбнулся красивой своей улыбкой и, не прерывая игры, произнес:

– Все-таки она решила запеть!

Глядя на своих молодых друзей, Абай начал петь. Он исполнил два куплета своей новой песни, когда открылась дверь комнаты Айгерим, – и она вышла оттуда. Вслушиваясь, подошла и села рядом с мужем.

Мухамеджан попробовал запеть вместе с Абаем во втором куплете, но тут Корпобай, оставленный без внимания, неожиданно сделал самый большой туздук и победно завершил игру.

– Е! Как это он ухитрился? – вскрикнул Абай и, передав домбру в руки Мухамеджана, склонился над доской, пытаясь разобраться, что произошло.

Мухамеджан, наклонившись к Айгерим, злым шепотом прошипел:

– Убил бы этого коротышку с ноготок! Удушил бы на месте!

– Уай, жаным, ты за что его так? – с шутливым ужасом воскликнула Айгерим и, прислонясь к плечу мужа, тоже склонилась к кумалакам.

– Нарочно задержался... Хотел выучить новую песню агатая. А этот паршивец со своими кумалаками... – бормотал себе под нос джигит. – Теперь не вернется к нам человек, у которого хапнули большой туздук.

¹ Туздук – отвоеванная у противника ямка. Все шарики в ней достаются занявшему ямку.



Айгерим оглянулась и увидела, что Мухамеджан с сокрушенным видом сидит, качает головой, разговаривает сам с собой. Переливчато рассмеявшись, она ласковым голосом спросила у него:

– Скажи, айналайын, что это за песня? Думаю, что ты ее уже давно выучил, светик мой! – предположила она. – Так что спой ее сам! Прямо сейчас и спой!

– Ойбай-ау! Женеше, да не успел я ухватить вместе слова и мелодию! Только один раз пришлось услышать песню, а слова заучил отдельно. Вот и сижу сейчас, набравшись терпения, вспоминаю и слова, и напев... Попытаюсь их соединить...

Он снова взял домбру и попытался спеть. Не получилось.

Абай оторвался от доски, отрешенными глазами посмотрел на юношу, прислушался, затем произнес:

– Не так! Не то играешь!

И он забрал у него домбру, заиграл сам, повторил песенный куплет несколько раз, после чего вернул джигиту домбру и сказал:

– Вот так надо!

Мухамеджан снова заиграл – на этот раз уверенно, чисто. Сыграл вступление, один куплет весь – и потом запел. Спел несколько строчек из текста, который успел заучить, и смолк, робея перед Абаем. Тот без промедления подбодрил юного сэре:

– Пой дальше!

И тогда, получив добро мастера, Мухамеджан запел во всю силу своего чистого, сильного степного голоса. Время от времени бросая взгляд на листок бумаги, лежавший у него на колене, он спел «Письмо Татьяны» от начала до конца. Игра в кумалаки была забыта.

Песню Абай прослушал всю – внимательно, не шелохнувшись. Смотрел в окно на далекие вершины Карашоки, не моргая, словно был зачарован словами и чувствами поющей Татьяны. Казалось, он забыл, что слушает свое собственное сочинение.



Лицо его было строго, взволнованно, отрешенно. Исполняемая чудесным, молодым голосом юного красавца-сэре, песня впервые предстала перед Абаем – словно отделившись от своего творца и отправившись в вечный полет.

Теперь, прослушав песню, Абай, знающий все ее тайны, вдруг открыл для себя, что бесплодность усилий любви Татьяны, Тогжан и Салтанат, разрывавшая ему сердце, не дававшая покоя всей его жизни, касается и любимой жены Айгерим, сидевшей сейчас рядом. И она, самая близкая для него на свете душа, тоже поделила с ними, выходит, горькую долю любовной бесплодности и неутоленности...

Слушая песню, сочиненную им самим, он был потрясен тем, что открылось ему: русская девушка Татьяна имела подружек неутоленной любви и среди казахских кочевий, в глубине степной Арки! И она решила им поведать об этом устами этого молодого, нежного, красивого акына!

Забыв обо всем, не видя окружающих, Абай глубоко погрузился в свои раздумья. И люди вокруг, чувствуя нечто сверхобыденное в его состоянии, не смели его беспокоить. Словно забыв о нем, все стали выражать восхищение и восторг песней, обращаясь к молодому певцу. А он, закончив петь, сам проникся горячим сочувствием к Татьяне и разразился такой речью:

– Несчастливая горемыка! Уа, какая печальная доля! Ее печаль пробирает до самой глубины души! Ну что это за человек такой, Абай-ага? Кто этот ничего не чувствующий джигит, который заставил ее окунуться в такой омут страданий? Как его имя хоть, Абеке?

И тут вылез вперед Абая всезнающий Кишкене-мулла, скороговоркой выдавший:

– Е-е, как же... Звать этого джигита Фошкин! Он заставил ее письмо написать.

– Нельзя ли воздержаться, хотя бы один раз, молдеке? – рассердился Мухамеджан. – Какой еще Фошкин? Я не об акыне спрашиваю, которого зовут, кстати, Пошкин... – И, обратив свой



взор на Абая, юный певец попросил: – Расскажите о нем, Абай-ага!

– Да, этот русский акын Пушкин подсказал Татьяне слова для ее письма, – начал рассказывать Абай, пробегая глазами рукопись и карандашом внося в нее какие-то правки. – Пушкин – это такой акын, джигиты, какого еще не знали не только мы, казахи, но и весь мусульманский мир...

– Ойбай-ау! Мне ее жаль! Как бесподобно говорит она о своей великой тоске-печали! – вздохнув, высказался и Баймагамбет.

– Но справедливо ли, Абай-ага, чтобы такой бесподобный голос остался без ответа! – добавил Мухамеджан. – Этот джигит, если у него есть сердце, должен ответить достойно на ее чистые и красивые чувства!

– Верно говорит Мухамеджан! И я так думаю. Сомнения наши вполне уместны, Абай! – присоединился и мулла Кишкене.

Абай сказал:

– Братья мои, все верно! Надо будет, чтобы заговорил и запел Онегин... Однако это трудно сделать, потому что, как мне думается, он вовсе не достоин ее... Надо будет еще раз почитать Пушкина.

В тот же день, пообедав в доме Абая, молодой Мухамеджан сразу уехал в Семипалатинск. Абай же весь вечер был занят чтением «Евгения Онегина». Прошедший день был для него благодатным днем сближения с великим Пушкиным. Он был для Абая не только учителем – теперь их соединило совместное творчество, и пушкинская Татьяна, столь похожая на чистых и возвышенных женщин степи, навсегда вошла в жизнь казахов. Абай ночью, когда сварилось мясо и сели за позднюю трапезу, высказал удивившие всех домашних слова:

– Русский друг Михайлов раскрыл мне глаза на мир. Он взял меня за руку и привел к сокровищам знаний. Отныне моя священная Кааба поменяла место: восток для меня становится западом, запад переместился на восток.



Мирный день завершился тем, что Абай расщедрился и до полуночи пересказывал домашним знаменитый роман «Три мушкетера» французского писателя Александра Дюма.

2

На восточной окраине Семипалатинска в доме мелкого торговца Танжарыка собралась казахская молодежь. Торговец к собранию и к молодым людям никакого отношения не имел – просто в его доме квартировал младший родственник, скромный джигит по имени Кысатай. По своим степным привычкам Кысатай из богатого аула был весьма щедр на угощения и любил собирать у себя друзей, которые, как и он, были отправлены родителями жить в город. Сам по себе Кысатай был тихого нрава, молчаливый и скромный джигит, однако скучая в городе, частенько устраивал в доме купца веселые молодежные вечеринки.

Сегодняшними его гостями были большей частью родственники Абая и молодежь, любящая поэтическое и певческое искусство, частенько устраивавшая молодежные айтысы и сходы акынов.

Одним из постоянных участников таких сходов был Шубар, племянник Абая. Потеряв на прошлогодних выборах волостного свою должность, Шубар пока что перебрался в город, здесь стал усердно посещать собрания молодых акынов, среди которых обрел некоторую известность как поэт. Он отрастил себе щегольскую бороду, носил городское платье, всегда был при жилете, из кармана которого свисала золотая цепочка от часов. Вместе с ним приходил на вечеринки и молодой сэре Кокпай, который после того как Абай вызволил его из судебной тяжбы, стал его горячим поклонником и учеником. Он, закончивший медресе, вернулся в город, тоже отрастил бороду, аккуратно подстригал ее. В городе усиленно занимался русским языком и подбирал для Абая книги, которые потом и отправлял ему в Акшoky. И Шубар, и Кокпай, считавшие себя учениками Абая, при встрече



с ним на поэтических сходах вели себя скромно, но на сходах молодежи оба смело выставляли себя большими мастерами и знатоками искусства, особенно Кокпай, обладавший могучим красивым голосом.

Пришел на вечеринку еще один гость, близкий Абаю, его сын Магавья, любимец отца, бледный, стройный юноша приятной наружности, с хорошими городскими манерами. Он заметно отличался от всего окружения на этих поэтических и певческих вечеринках. Несмотря на то что он был намного моложе других, Магавья держался всегда очень свободно, охотно вступал в разговоры и выказывал себя человеком образованным. С ним вместе пришел известный сэре Мука, среди шести-семи остальных гостей самый знаменитый. Обладавший высоким, звонким тенором, Мука однако был джигитом видным, рослым, воинского обличия. Два года назад этого одаренного молодого человека – певца, домбриста и, что редкость в степи, хорошего скрипача, Абай вывез из среды Уак и, приставив его к сыну Магашу, предоставил молодому уаку все возможности показать в городе свои разнородные таланты.

Присутствовал здесь и Исхак, сын Ирсяя. Он был талантлив в другом: в отличие от Кокпая и Мука, знатоков и исполнителей казахских поэм и сказаний, Исхак с помощью Абая, с одной стороны, и собственным упорным самообразованием, с другой стороны, смог стать отличным знатоком и сказителем арабских произведений, таких как «Джамшид», «Бахтажар», «Рустем», «Тысяча и одна ночь».

Молодежь решила у Кысатая ночевать, возниц отпустили по домам. В самый разгар собрания открылась настежь дверь и вошел джигит с огромным клокочущим самоваром. За ним проследовала в комнату белолицая и румяная супруга купца Танжарыка, со свернутым дастарханом в руках. Молодые гости с удобством расположились на мягких корпе, скрестив ноги калачиком, разлеглись на подушках, разбросанных по всей комнате поверх ковров и войлочных паласов. Посреди комнаты стоял



широкий низенький стол, дастархан был расстелен на нем, Кысатай достал и выставил на стол коньяк и зубровку. Вместе со сладостями к чаю появились блюда с холодным мясом – аккуратно нарезанный кругляшками казы, кусочки жал и жая.

С удовольствием разглядывая все эти яства и бутылки с крепкими напитками, Исхак, арабский грамотей, с чувством произнес:

– Е-е! Кысатай, сын мой! Ты это прекрасно придумал! Настоящий пир падишаха! – Чем и вызвал всеобщий веселый смех.

На шутку его Шубар ответил своей шуткой:

– Ты, Исхак, должен был сказать по-другому: «бязми Джамшид», что означает, знаем мы с твоих слов, «царский пир Джамшида».

Магавья, Кокпай и остальные, не раз слышавшие эти слова из сказки, которую любил рассказывать им Исхак, дружно рассмеялись, ибо Шубар весьма похоже передразнил голос Исхака.

Гости, усевшись вокруг стола, угощались на славу, шутки не прекращались, молодой звонкий смех не умолкал. И в какую-то минуту Исхак, вспомнив, как любит Абай присутствовать на таких молодежных сходах, воскликнул с сожалением:

– Зря Абай-ага не приехал в этот раз!

– Не надо ему сейчас уезжать из дома! – возразил Кысатай.

– Я видел: в эту зиму он особенно много читал, работал с бумагами, сочинил немало песен. Думаю, пусть лучше Абай-ага сидит дома и работает, если напала охота творить.

Шубар, в продолжение своего шутливого настроения, с озабоченным видом возразил Кысатаю:

– Ойбай-ау, не знаю, что и сказать тебе, бауырым! Если эта могучая чинара и дальше будет так разрастаться, то нам, мелкой поросли в его тени, совсем не достанется света! Не даст он распуститься слабым цветам молодых стихов!

Не всем показалось, что это безобидная шутка. Некоторые честолюбивые поэты и на самом деле чувствовали свою мелкость рядом с гигантским древом абаевского творчества. Да и у



самого Шубара, бросившего эту шутку, в глубине души нет-нет да и проскальзывала тень зависти.

В прошлые выборы этот честолюбивый джигит лишился должности акима волости. Он знал, как равнодушен Абай к власти, к должностям, но известность его и без этого росла день ото дня, и народное признание его акыном пришло к нему заслуженно. Скрывая свою зависть к старшему родственнику, он вошел в круг молодых поэтов и певцов, поклонников и приверженцев Абая, и здесь хотел добиться признания как акын и как сал, исполнитель терме. Магавья, знавший эти слабости своего старшего родственника, рассмеялся на его слова и молвил:

– В таком случае, Шоке, молодым слабым стихам не стоит распускаться раньше времени! Пусть набираются сил и ждут своего часа. Будем показывать ему только сильные цветы, хорошие стихи!

– Как узнаешь заранее, хорошие получились стихи или нехорошие! Вот, как-то написал стихи, на мой взгляд, почти такие же, как его собственные, ничуть не хуже, по крайней мере... Пошел ему показать. А он прочитал и говорит: «Этим размером пишу я, это я его придумал» – и отобрал у меня стихи! – пожаловался Шубар.

Вдруг раскрылась дверь из сеней – и на пороге гостевой комнаты встала замороженная, обсыпанная снегом фигура человека из степи, с обветренным лицом, с сосульками на усах и бороде, с кизиловой камчой в руке.

– Ассалаумагалекум! – поздоровался со всеми этот человек.

Собравшиеся не очень-то дружно и отнюдь не сердечно ответили ему: все свои были на месте, никого больше не ждали. Минуту молодежь молча разглядывала его. Тут Исхак первым узнал его и воскликнул: «Ойбо-ой! Да это же Мухамеджан!» После чего лица у всех мгновенно изменились, засияли приветливыми улыбками.



Мухамеджан, выехавший пополудни из Акшоки, только что прибыл в город. Отвечая на первые распросы сидящих о родных в ауле, джигит живо раздевался – скинул промерзлые саптама, развязал пояс и снял верхнюю обледенелую одежду – словно выскочил из снежного мешка... Постоял на месте, жмурясь от наслаждения теплом, выжал в кулак мелкие сосульки с усов и бороды. Теперь его со всех сторон начали зазывать: «Сюда, сюда проходите, Муха!»

Мухамеджан вытерся поданным хозяйкой полотенцем, посмотрел в сторону тора, выбирая себе место.

– Ей, джигиты! Сегодня сяду-ка я между Мука и Кокпаем! – сказал он, и тотчас же Мука передвинулся, сел чуть пониже, освободив место. Когда Мухамеджан сел рядом с Кокпаем, этот сразу насторожился: абаевский джигит и «сосед» слыл за хорошего певца и сказителя, намного более известного акына, чем некоторые присутствующие здесь... Чего-то он сегодня заявился от Абая не в меру возбужденный. Кокпай решил для начала дружески поддеть его.

– Я-то подумал, кто это заявился в дом с сосульками на усах и бороде, а это, оказывается, аул пришел в город!

Мухамеджан в карман за словом не полез:

– Если тебе так не мил аул, то почему ты бросил медресе, божий дом, и сбежал назад в аул? Лучше бы ты помолчал. Будто сам не знаешь, что все благо человеческое – в ауле.

– Е! О каком благе ты говоришь, Муха? – воскликнул Кокпай.

Мухамеджан:

– Ты спросил – я готов тебе подробно отвечать. Но только дай сначала, бауырым, чаю попить.

И все оставили его в покое, а сами, уже отведавшие и чаю, и закусок, отодвинулись от стола и вернулись к прежним разговорам. Поговорили, пошутили и, по просьбе Шубара, перешли к музыке, пению.



Мухамеджан тем временем, проголодавшись в долгой холодной дороге, усердно насыщался, подбирая с блюда остатки казы и жая, пил чай пиалку за пиалкой, утирая пот со лба. Кысатай предложил ему коньяку, он не отказался, выпил, приговаривая: «Глотку застуженную прогреть!»

Исхак спросил у него: «Заезжал ли в аул, видел Абая?» Мухамеджан: «Заезжал. Видел. Приветы передает». Наконец, сытый и довольный, он откинулся от стола. Дастархан убрали.

Между тем звонкий, высокий голос Мука выводил мелодию и слова красивой песни «Топайкок», любимой в степи. После нее спел по просьбе слушателей еще две песни. Последняя песня была старинная, простенькая, как будни кочевника, с заунывным припевом: «Мой аул откочевал на зеленый джайлау»...

Когда она закончилась, Мухамеджан, не дожидаясь ничьих просьб, решительно протянул руку за домброй. Мука передал ему инструмент. Настроив ее под себя, Мухамеджан обратился ко всем:

– Сколько здесь собралось славных акынов, а поете все про то же самое: «Весною скот отощал... А стригунок ничего, жирён». Жа! Послушайте теперь настоящую песню! Послушайте, братья!

Он запел – это была нежная, прелестная, чарующая песня, только что родившаяся в степи, – «Письмо Татьяны».

Сидевшие вокруг певца молодые джигиты сразу притихли, вслушиваясь. Необыкновенные слова, неслыханная мелодия! Казахская ли это песня? «Должно быть, русская» – прошептал кто-то. Но вскоре стало понятно, что это своя, казахская песня – но невероятной силы чувства, с неслыханной доселе задушевностью. И особенно поражали молодых поэтов красота и выразительность стихов.

Уже после первых же строк песни глаза молодых слушателей были прикованы к лицу поющего Мухамеджана: словно это его волшебным искусством были переданы столь тонкие чувства влюбленной души, словно его сильный, открытый степной го-



лос исповедывал перед джигитами тайну собственного сердца. Татьяна через искусство Абая и через талант Мухамеджана оказалась понятой детьми степной Арки, слушавшими ее кроткие жалобы с дрожащими на глазах слезами.

Певец, не останавливаясь, исполнил «Письмо Татьяны». Установилась тишина, долго не нарушаемая никем из присутствующих. Даже Шубар и Кокпай, любители поговорить и умевшие удивлять людей своим красноречием, сейчас сидели молча, с побледневшими лицами, опустив глаза – словно не смея поднять их на Мухамеджана. Долгое время никто даже не спросил у него, чья это песня и откуда она. И только Магавья, нарушив всеобщее долгое молчание, спросил, наконец:

– Оу, Муха, почему бы вам теперь не рассказать, чья это песня и откуда вы ее взяли?

Мухамеджан не стал медлить с ответом. Он стал передавать письмо Кишкене-муллы Кокпаю и сказал:

– Джигиты, это ведь стихи большого русского акына Пушкина. В них рассказывается про письмо девушки Татьяны к джигиту, которого она любит. Абай-ага только что перевел стихи и сочинил к ним напев.

– Ту-у! Значит, не ты сочинил песню, Муха? – воскликнул Шубар, вновь возвращаясь к своему веселому настроению. – А я весь задрожал: подумал, что ты! Представляешь, если бы ты сочинил, как бы мы могли соревноваться с тобой? Пришлось бы нам всем отказаться быть акынами...

– Чуть не лишил нас счастья всей жизни! – присоединился к шутке Кокпай. – Большое спасибо тебе, Муха, что сказал нам правду!

Все собрание молодых акынов дружно расхохоталось. Мухамеджан, отдав письмо Кокпаю, пошел на улицу проведать коня и поставить его на ночь в конюшню.

Когда он вернулся в дом, то был удивлен стоявшей в комнате тишиной. Присмотревшись, Мухамеджан широко улыбнулся, стоя у двери. Все джигиты в комнате, вооружившись карандашом



и бумагой, наклонились над столом и переписывали «Письмо Татьяны».

– Эй, вы что? Все превратились в писарей? Переписываете указ, который я привез вам? – воскликнул он и рассмеялся. – Ай да Пушкин! Барекельди! Благословенны твои аруахи, Пушкин, айналайын!

Но в ответ никто даже не откликнулся шуткой: всем было не до шуток, все старательно переписывали переводные стихи Абая.

Потом всю ночь разучивали наизусть слова и пели, повторяя снова и снова, вслед за Мухамеджаном куплеты «Письма...» К утру, когда решено было ложиться спать, все молодые акыны, сэре и салы уже полностью заучили песню Татьяны.

Через два дня Муха был приглашен на свадебный той в племя Уак. И на этой свадьбе перед множеством гостей, перед женихом и невестой, сватами и подружками невесты, перед стариками и молодежью – прозвучало в устах певца печальное письмо Татьяны. Когда Мухамеджан закончил петь, некий старик, не шелохнувшись слушавший песню, обратился к нему с умиленными глазами:

– Айналайын, мой сын, да продлит Кудай твои дни! Расплавил ты наши сердца своим искусством! Но кто же написал такие замечательные слова? Или это, акын, твои слова, свет мой ясный?

– Нет, агатай, это не мои слова. Это стихи русского акына по имени Пушкин, а перевел их на наш язык эфенди Абай.

В эти зимние дни Кокпай, Исхак, Муха и другие певцы всюду на вечеринках и праздничных сборах пели песню Татьяны. Перед отъездом из города Магавья зашел попрощаться к Михайлову и рассказал ему, что по городу ходит новая песня Абая, перевод из пушкинского «Евгения Онегина». Узнав, что Абай переводит Пушкина на казахский, что закончен перевод письма Татьяны, Михайлов обрадовался и взволновался.



– Как? Голубчик Магаш, неужели Ибрагим Кунанбаевич соизволил обучить Татьяну говорить по-казахски? Это новость! Ну и как получилось? Прочитайте мне, пожалуйста!

– Не только перевод имеется, – но и мелодия сочинена! Сейчас все поют эту песню, под названием «Письмо Татьяны».

– Мелодию кто создал?

– Тоже отец.

– В таком случае, спойте «Татьяну»!

И, сидя перед Михайловым, Магавья спел «Письмо Татьяны» от начала и до конца. Михайлов довольно сносно понимал по-казахски, он смог представить себе высокий уровень перевода. В молодости Михайлов на родине получал музыкальное воспитание, у него был природный слух, так что к концу пения Магавьи, при исполнении последних куплетов, Михайлов уже подпевал голосом, без слов, мелодию «Письма...»

Когда Магавья закончил, Михайлов обхватил его руками за плечи и, глядя на юношу сияющими глазами, тряся его, закричал:

– Да вы знаете, молодой человек, что произошло? Ах, спасибо вам, спасибо за такую новость! – И он взволнованно продолжал дальше: – Передавайте Ибрагиму Кунанбаевичу мой привет и мои поздравления! Хорошее дело, замечательное! Ваш народ должен знать Пушкина! И не только знать, но и любить его! А порядочно он звучит по-казахски? Вы знаете, Магаш, мне-то показалось, что размер стихов несколько другой в переводе, да и содержание письма Татьяны чуть изменено... Но я полагаю, что это не так важно. Главное – акын Пушкин приходит к казахам! И как, по вашему мнению, – это хороший акын?

– О, Евгений Петрович, если Пушкин такой же мощный в каждом своем стихотворении, как в «Письме Татьяны», то я могу сказать, что мы, казахи, подобной силы искусства еще не видели. И перевод отца показал на казахском языке красоту и величие Пушкина.



Из этих слов сына о своем отце Михайлов уверился, что произошло нечто очень значительное, истинное – перевод смог передать художественный уровень великого русского поэта, и один великий поэт оказался достоин другого. С огромной теплотой и радостью Михайлов передавал Абаю свой братский привет и самые наилучшие пожелания.

3

В Акшоке прибыло много гостей, аул был в суете. После вечернего чая гости потянулись в рабочую комнату Абая, туда пришли домашние, вскоре она была полна народом. Не поместившихся там гостей встречали у дверей Айгерим, Ербол и Баймагамбет с Какитаем – и с вежливыми поклонами отводили их в соседние дальние комнаты, где ожидалось угощение для них. Молодежь вся расположилась в передних комнатах. Самые близкие соседи, тесно общающиеся с Абаем, – аксакалы Байторе, Буркитбай, Байкадам и другие вместе со своими байбише были усажены рядом с хозяином в его кабинете.

Тонкий, далеко слышный голосок Какитая раздавался по всему дому. Он вместе с женой Айгерим размещал гостей – пожилых с пожилыми, молодежь с их сверстниками, старался никого не обидеть, весело балагурил на бегу, желал от всей души всем хорошего настроения – ибо ему очень хотелось, чтобы сход акынов и сэре в доме Абая понравился людям. Какитай был сыном Исхака, младшего брата Абая. Последние два года он воспитывался в доме дяди, братски сблизился с Магавьей, который был ровесником Какитая, жил и учился в городе. Абай любил своего племянника не меньше своих сыновей, этот живой, с ясным открытым лицом, чуть вздернутым носом круглоглазый подросток был красив, способен и умен. Абай считал, что ему надо жить в его доме, учиться у него русскому языку, получая помощь и от Магавьи, когда тот приезжал из города, где учился в русской школе. И, несмотря на то что Какитай никогда не



учился в городских условиях, в настоящей школе, он по своему развитию, поведению и нравственным понятиям был ничуть не ниже самых лучших городских учеников. Абай постоянно следил за совершенствованием его русского языка, не отпускал от себя ни на шаг и даже не позволял подолгу жить в родном доме у его отца.

– Нечего тебе делать там, у Исхака и Текти! Твоим родителем буду я, живи возле меня, под моим крылышком, – говорил он мальчику.

На сегодняшнем сборе акынов Какитай играл особую роль. Гости были значительно моложе Абая, и Какитай, всем своим непринужденным и дружелюбно-почтительным поведением перед дядей показывал пример того, как должно держаться молодым поэтам, певцам с почитаемым во всей степи Абаем. А для него молодые певцы, салы и сэре, акыны были самыми желанными гостями.

Большая часть из этой творческой молодежи прибыла к Абаю непосредственно из Семипалатинска, где они провели на различных городских сходах, тоях и вечеринках около двух зимних месяцев: и на людей посмотреть, и себя показать. И сегодня, уже перед самым заходом короткого зимнего солнца, вся компания нагрянула в Акшоки – примчалась на санных повозках и верхом на лошадях по накатанной снежной дороге. Приехали Мука, Магавья, Ирсай, Кысатай, Мухамеджан и другие.

Сразу же по приезде, не успев даже выпить чаю, они обратились к Абаю-ага и Айгерим-женге с просьбой. Говорил от имени всех велеречивый Кокпай:

– Мы сюда, Абай-ага, уже как акыны и сэре приехали! Не было в Семипалатинске – и на правом берегу Иртыша, и на левом, – ни одного тоя, свадьбы или проводов невесты, куда горожане не приглашали хотя бы одного из нас. Оказывается, все акыны: и сал, и сэре водятся в степи, не в городе! Не совру я, агатай, если скажу вам, что нас там прямо-таки носили на руках! И всему причиной – ваши песни! Все хотят их слышать,



а ведь никто, кроме нас, из других акынов не знает их! И особенно полюбилась людям песня Татьяны, которую привез к нам в город Мухамеджан! Благодаря Татьяне мы явились к вам уже любимыми на весь край певцами! Так разрешите нам, Абай-ага и Айгерим-женге, спеть перед вами песни Абая, пройти через ваш взыскательный суд!

Абай, добродушно и растроганно улыбаясь, выслушал Кокпая.

– Ну, айналайын Каке, если один из вашей ватаги мог покорять целые сорища, то что теперь будет в Акшоке, когда вы все собрались в одну кучу? Так пойте! Веселитесь! – ответил он ласково и тут же распорядился: – Айгерим, Какитай, Ербол, Баймагамбет! Поручаю вам четверым собрать сюда весь аул. Им будет недостаточно, я думаю, если слушать будем их пение только мы четверо! Каке же говорит, что они уже – любимые на весь край певцы! Соберите больше народу, иначе наши молодые гости расстроятся. Примите соседей во всех комнатах и как следует угостите их!

Какитай и Баймагамбет вдвоем обошли с приглашением всех соседей. Народ так и повалил.

Пока слушатели собирались, Магаш рассказывал Абаю о городских новостях. Рассказал о встрече с Михайловым накануне отъезда. Сообщил, как тот принял известие о «Письме Татьяны», передал поздравления Михайлова по поводу большой удачи Абая. Но Магавья не скрыл и того, какие замечания тот сделал по поводу перевода пушкинского стиха, разницы в строе стиха.

– А ведь Михайлов прав! – воскликнул Абай. – Мой перевод действительно не во всем совпадает с Пушкиным. Михайлов почувствовал верно! А нельзя было иначе: в письмо Татьяны я невольно вложил и свои переживания. Джигиты, я думаю, что при переводе обычно так и бывает. Иначе как может проявиться сила чувств? А строй стиха тоже не может быть точно выдержан при переводе, потому что языки звучат слишком по-разному.



Помолчав, Абай добавил:

– До чего же чуток Михайлов! Каким зорким делает человека образование! Ведь он недостаточно хорошо знает наш язык, но Михайлов издали разглядел мое произведение лучше, чем любой казах, сидящий рядом со мной!

Этот вечер стал настоящим праздником и для состязавшихся акынов и певцов, и для многочисленных слушателей, с огромным наслаждением, благоговением и с истинным пониманием воспринимавших искусство степных артистов и поэтов. Сами зрители и слушатели тоже начали принимать участие во всеобщем состязании – все присутствовавшие почти до самого утра пели, играли на домбре, читали стихи. Поэзия и музыка захватили всех и стали достоянием каждого.

Молчали только Абай и Айгерим. Растроганные, умиленные, радостные, слушали они, как пели перед ними, один сменяя другого, дети и их друзья: Магавья, Какитай, Мухамеджан, Кокпай. Присоединялись к их пению и взрослые – Ербол, Исхак, Баймагамбет. Пели Шубар, Кокпай... Абай и Айгерим просили певцов спеть и старые, полузабытые песни их молодости.

Вдруг Мухамеджан, тихо переговорив с Кокпаем, во всеуслышание обратился с просьбой к Айгерим, чтобы спела она.

– Мы давно не слышали пения женге! Пусть споет! Неужели сегодня, в такой день, она не станет петь, Абай-ага? – обратился он и к Абаю.

Абай медленно обернулся к Айгерим, поднял глаза на нее – и замер безмолвно. Он будто впервые разглядел ее. Лицо Айгерим божественно озарилось. Словно золотое сияние исходило от этого лица. Абай, зачарованный ее красотой, не мог отвести от нее глаз.

– Айгерим давно перестала петь, – тихо, грустно молвил он, отведя свой взор от жены.

Голос его прозвучал глухо и безнадежно.

Все последние годы совместная их жизнь держалась только на чувствах взаимного уважения и семейного долга. Светлая радость и волшебство любви больше не возвращались к ним.



Оба они, каждый по отдельности, схоронили в своей груди драгоценные клады бесценных чувств. Нежность сердец и жар страсти постепенно угасали, как последние лучи заката. И в голосе Абая выразилось это безнадежное угасание:

– Боюсь, что мне не упросить ее...

...И сердце Айгерим дрогнуло. Она с неожиданной, молодой стремительностью повернулась к нему. Ее темные глаза были бездонной глубины, в них словно плеснулась молния великой силы. Эти глаза словно строго вопрошали – и замерли в ожидании.

Айгерим улыбнулась.

– Разве меня надо упрашивать, Абай? – молвила она. – Не вы ли сами перестали желать моих песен?

– О, нет! Спой же тогда, спой, моя Айгерим! – со страстной силой, со слезою в голосе вскричал Абай. – Спой, что хочешь! Айналайын, Айгерим, все хорошее, что узнала, все лучшее, что услышала и запомнила, – все это спой, душа моя!

И Абай больше не захотел никого слушать – только Айгерим.

Едва заметным, чудным движением бровей она дала знать Ерболу – и верный друг сразу понял ее, взял домбру из рук Мука, подсел к Айгерим и заиграл вступление к «Письму Татьяны». Знакомый и неузнаваемый, нежный, божественно красивый, женственный и сильный – голос Айгерим взлетел сразу выше шанырака, выше ночного покрова небес и наполнил собою весь мир. Абай был потрясен. С первых же звуков этого родного и волшебного голоса он закрыл глаза, чтобы скрыть свои слезы.

Абай не знал, что она выучила «Письмо Татьяны», не знал того, что многими вечерами, когда он был занят у себя в кабинете, Айгерим где-нибудь в укромном месте разучивает вместе с Ерболом новую песню, прося его снова и снова наигрывать на домбре мелодию, вторя вполголоса слова Татьяны...

И теперь, когда она запела песню в полный свой голос, у джигитов, слушавших ее, кровь отхлынула от сердца. Все присутствующие в этот час в доме замерли, как зачарованные.



Певцы, выучившие эту песню и певшие ее уже не раз, все подумали одинаково: «Да это же сама Татьяна! Татьяна, которая любит! Которая поет о себе!»

Абай слушал, бесшумно проливая слезы, внимал мелодии и словам песни, словно услышанной впервые, и не им самим сочиненной. Он слышал ее раньше с голоса Мухамеджана, у других певцов слышал, мелодию уже наигрывали по аулам на домбрах, но то, что пела Айгерим, жило другой жизнью, летело на недосягаемой высоте. И в ее исполнении песня предстала перед своим творцом в совершенно новом рождении.

Абай чувствовал, что обретает самого себя, того прежнего Абая, который вот так же слушал свою возлюбленную, ее волшебный голос, не смея громко вздохнуть, чтобы перевести дыхание. Айгерим, как и прежде, с божественным мастерством представляла в своем пении душу каждого слова, в полную силу передавала чувства песенной мелодии. Она не пела, не напрягалась в песенном порыве – Айгерим рассказывала, исповедывала тайны своего сердца. И это были не только тайны русской девушки Татьяны: шепот ее ночной молитвы – великая, чистая, трепетная надежда исторгались из груди самой Айгерим, и были направлены единственному из всех живущих на земле – Абаю.

*...Өзгеге ешбір дүниеден
Еркімен тимәс бұл жүрек.
Әуелде тағдыр иеден,
Қожам сенсің, не керек.*

*...Не болса да өзімді
Тапсырдым сізге налынып,
Толтырып жасқа көзімді,
Есірке деймін жалынып...¹*

¹ «...Нет, никому на свете / Не отдала бы сердца я...»

«...Судьбу мою / Отныне я тебе вручаю, / Перед тобою слезы лью, / Твоей защиты умоляю...»



Лицо Айгерим вдруг побледнело. Она уже не пела – для людей, для себя... Она прямо обращалась к супругу. «В чем моя вина? – спрашивала она. – И если она есть, ужель не простишь ее? Я же твоей защиты жду. Ты единственный мой, и я у тебя одна... Так почему не вернешься ко мне? И куда ты удалился?» Так звучали другие – заповеданные слова души Айгерим, слившиеся со словами «Письма Татьяны».

Песня Айгерим закончилась. Настала полная тишина. Никто не смел нарушить ее. Абай сидел бледный, с мокрым лицом. Словно очнувшись от сна, он поднял широко раскрытые глаза на Айгерим. И молча, исступленно обнял ее, привлек к себе, стал осыпать поцелуями ее лицо, заплаканные глаза.

– Айгерим, жаным! Душа моя! Бесценная моя! Ты с песней, в слезах, снова вернулась ко мне! Ты нашла меня, белая голубка моя! Айналайын, ты вернулась сама, с песней Татьяны на устах! О, моя радость! О, счастье!

Их молодые друзья были глубоко взволнованы. Негромко, с благоговением, Кокпай высказался за всех:

– Русская Татьяна нашла себя в дочери степей. Еще не одной душе она раскроет свои чистые тайны.

Ни Абай, ни Айгерим уже не слышали этих слов. В объятиях друг друга, они не видели никого вокруг, их взоры смешались, погружившись друг в друга, уйдя из этого мира. Они даже не заметили, что дети, молодые друзья и добрые соседи потихоньку, бесшумно покинули их, оставив двоих в комнате.

И когда за последним из них закрылась дверь, Абай и Айгерим теснее сомкнули объятия и слились в долгом поцелуе.

Так песня вновь вернула их друг к другу после многих лет взаимного отчуждения. Песня вновь связала их, равновеликих во вдохновении, равных в любви к искусству, безмерно любящих друг друга супругов. Нежное, полное надежд и тревожной тоски послание Татьяны, излившееся в казахской песне, пробудило их сердца и разожгло в них потухшую страсть.



Так, зимою 1887 года русский гений Пушкин, взяв за руку милую свою Татьяну, привел ее на просторы широкой казахской степи. Сам русский акын, затронувший сердца детей древних кочевий, обрел среди них великий почет, любовь и уважение. А его Татьяна открыла своими нежными и чистыми чувствами в душах молодых джигитов и девушек степи их собственную нежность, и высказала это в песне их понятными родными словами.

ЭПИЛОГ

Рожденные в Акшоки стихи, поэмы и песни Абая, заученные и переписанные его учениками, широко разошлись по бескрайним пределам степной Арки. Степь услышала доселе неслыханные мелодии и стихотворения, наполненные живым чувством и мыслями одного из своих великих сыновей. словно порыв могучего свежего ветра ворвался и пронесся над просторами тысячелетней кочевнической Арки, предвещая весеннее тепло после долгой зимы. История степи еще не знала поэтического голоса такой красоты и мощи, голоса, который будет услышан не только степью, но и всем остальным земным миром. Этот голос предвещал весну света и цветов великого, загадочного, еще не узнанного этим миром народа. Поэзия Абая была обращена ко всем, кто ищет новых путей в жизни, – к людям прозорливого ума и чуткого сердца, к отважным и сильным, готовым к борьбе с воинством зла и тьмы.

Стихи и песни, рожденные в Акшоки, дошли и до аула жатаков Ералы. Молоденькие джигиты, Хасен и Садвокас, сироты, которых когда-то Абай определил в городскую школу, читали переписанные ими стихи своим аульчанам: где-нибудь у колодца, на отдыхе возле поля, вечером у костра. Старые и молодые жатаки без конца просят юных джигитов перечитывать полюбившиеся им строчки. Давний друг Абая, старик Даркембай, повсюду ходит за ребятами и, подсев к ним поближе, понюхивая табачок, слушает полюбившиеся ему стихи.

*О, казахи мои, мой бедный народ!
Жестким усом небритым прикрыл ты рот.*



*Зло – на левой щеке, на правой – добро...
Где же правда? Твой разум не разберет...¹*

И слыша эти слова, старый жатак словно видит перед собой живого Абая и печально переглядывается с ним, сопереживает ему. Соглашается, кивает головой.

А старики Дандибай и Еренай просят прочесть из их любимого стихотворения «Осень»:

*Тучи серые, хмурые, дождь недалек.
Осень. Голую землю туман заволок.
То ль от сырости, то ль чтоб согреться, резвясь,
Стригунка догоняет в степи стригунок²*

О, эти тоскливые чувства осени знакомы были старикам! Предстоящие холода и невзгоды, ожидаемые вместе с их чадами и домочадцами, пугали бедных людей в их дырявых юртах, словно лютая смертная угроза.

– Уа, он знает наши заботы! – говорили они.

– А как верно всё сказано!

– До костей пробирает...

– Никому из казахов не подвластны такие слова. Ты, Абай, айналайын, словно дерево в пустыне – даешь нам тень под зноем жизни, – промолвил растроганный Даркембай.

Рожденные в Акшоке стихи и песни дошли и до аула Улжан. Их привез туда, переписанными на листы бумаги, Мухамеджан. Он же и спел, играя на домбре, «Письмо Татьяны» и другие песни, уже ставшие известными в степи. Послушать его собралось немало народу – считай, весь аул сбежался, от мала до велика, набился в юрту Оспана и облепил ее снаружи.

¹ Перевод С. Липкина.

² Перевод А. Гатова. По кн.: Абай. Стихи. Переводы русских поэтов. Алматы: Ғылым, 1995. С. 119.



Улжан давно не видела Абая, ее материнское сердце истосковалось по нему. Усадив возле себя Мухамеджана, слушала стихи Абая, не обращая внимания на входивших и выходивших из юрты, на появление новых гостей. За свою жизнь она слышала и запомнила много стихов, но никогда не приходилось ей слышать таких могучих по жизненной правде и силе обличения стихов, какие написал ее любимый сын.

*Сын отца предает, брата старшего – брат.
Я устал, я измучен и жизни не рад.
Если совесть и честь раболепствует злату,
Пусть уста очерствеют, слова не звучат.*

Сын старой Улжан подвергал осуждению все то, с чем была связана ее долгая, мучительная жизнь рядом с ее грозным, беспощадным мужем. С горестным удивлением и болью сердца вслушивалась она в беспощадные слова.

*Заблудились казахи – и злость в их сердцах.
Строят козни друг другу, темно в их глазах.
Все корыстны, все ищут богатства и славы.
Ах, зачем ты их создал такими, аллах?*

*Так проклятье тому, кто клянется и лжет,
Кто за золото душу и честь продает,
Кто, вертясь в один день в сорока околотках,
Добывает себе и доход, и почет,*

*Кто в домашнем кругу у себя благороден,
А потом за коня он тебя предает¹.*

И тут громкий, раскатистый хохот Оспана раздался в юрте, заставив вздрогнуть Улжан. С удивлением посмотрела она на

¹ Перевод А. Гатова. По кн.: Абай. С. 72.



своего младшего сына. А тот, отсмеявшись вдоволь, вдруг повернулся к старшему брату Такежану и, ткнув пальцем в его сторону, туда, где рядом сидели Жиренше и Оразбай, молвил:

– Еу! Да это же вот они сидят, голубчики! Это же про них сказано! «За золото душу и честь продает!»

Заметив, как были недовольны стихами Абая эти трое, Такежан, Жиренше, Оразбай, неугомонный Оспан засмеялся еще громче. И всем им стало ясно, что он попросту откровенно издевается над ними.

– Что это с тобой, Оспан? Чего зубоскалишь, как мальчишка?
– наклонился в его сторону Жиренше.

Оспан закатился еще сильнее и крикнул, смеясь:

– Что, Жиренше, хорошенько Абай огрел тебя палкой по голове? Да вы все трое того стоите – во всем Тобыкты нет больших загребал, чем вы!

В Оспане снова проснулся тот дерзкий, отчаянный мальчишка, каким он был в детстве. Улжан сдержанно улыбнулась. Но, снова уйдя в свои думы, сникла, опустив голову. Подняла ее, когда Мухамеджан снова начал читать стихи.

*Коль свет горит в твоей душе,
К ней обращаю я призыв.
Коль тьма царит в твоей душе,
Мне все равно, ты мертв или жив.
Коль на глазах твоих бельмо,
Умрешь, добра не различив...¹*

Когда он закончил, и настала тишина, она сказала громко, прочувствованно:

– Когда Абай был еще совсем крошкой, уже тогда он был для меня одним-единственным, а вся остальная родня – другим. Золотой мой слиток, утешение души моей! Он родился – и стал надеждой всей моей жизни. А теперь эта надежда полностью

¹ Перевод С. Ботвинника. По кн.: Абай. С. 84.



оправдалась – стал мой Абай выше тополя могучего! Я теперь могу спокойно умереть: у такой счастливой матери, как я, уже нет в жизни никаких других желаний! Я знала, я видела, что Аллах даровал мне благословенное дитя! Слава Аллаху!

В юрте настала тишина. В души присутствующих проникло это необычное материнское признание. Но не для всех оно было в радость и благоговейное волнение. Дерзнул против материнских слов и восстал на брата своего Такежан. С угрюмым раздражением он процедил, кривя рот, прикрытый жесткими усами:

– Ойбай-ау, апа! Оказывается, ты всю душу отдала только одному сыну... Зачем так говорить... Как будто нет среди казахов, кроме него, других достойных людей, и благородных, и красноречивых. Ты все Абаю одному отдаешь. А ведь говорили еще со старинных времен: «Слава Аллаху, из нашего рода не вышло ни одного бахсы, ни одного бездельника акына». Апа, разве не так? Так чему же ты радуешься? Тому, что в нашем роду появился бесноватый бахсы?

Жиренше со злорадным весельем ущипнул за ногу Оразбая, округлив глаза и взглядом поводя на Улжан. Та, величественно выпрямившись, гневно обрушилась на Такежана.

– Ей! Ты думаешь: вот, мы оба – щенки от одной матери. Но я тебе скажу – один из этих щенков вырос сказочным охотничьим Кумаем¹, а другой – беспородным ублюдком! Говори что хочешь, но знай, что для меня ты – не стоишь и ногтя Абая!

Беспредельный гнев охватил старую Улжан. Ее широкое круглое лицо, покрытое сетью морщин, было бледно. Глаза, покрытые красными прожилками, наполнились слезами, взгляд, устремленный на Такежана, стал беспощадно суровым.

Такежан схватил тымак и камчу, вскочил на ноги.

– Уйдем! – коротко бросил он друзьям, Жиренше и Оразбаю.
– Довольно! Что слушать мать, выжившую из ума...

И он решительно зашагал к выходу.

¹ *Кумай* – легендарная охотничья собака.



Стихи и напевы, рожденные в Акшоки, однажды ночью дошли до слуха Кунанбая, в мучительный час его бессоницы. Они словно проникли в его тюремный скит прямо из ночи, из ее влажной, темной глубины. Старый хаджи ворочался в постели, никак не мог избавиться от этой сладкой, ненавистной мелодии, злостно проникающей в самое его сердце, безжалостно нанося ему саднящую, пугающую своей неизвестностью боль. Одни и те же слова, повторяясь снова и снова, мучали слух и воспаленный мозг старика.

*...Тәңір қосқан жар едің сен,
Жар ете алмай кетіп ең...¹*

Но эти слова из песни, которую пел в ночи скучающий пастух-сторож Карипжан, до старого Кунанбая дошли по-другому, ему внятно послышалось: «Тәңірі соққан...» – «Наказан Богом...» Бессильный уйти от мучительно-живой, сладкой мелодии и от слов, полных глухой угрозы, Кунанбай наконец не выдержал, разбудил Нурганым, спавшую за занавеской, и взмолился ей:

– Калмак! Оу, калмак! Что там этот сторож одно и то же твердит: наказан богом да наказан богом! Пойди, уйми его! Заткни ему пасть!

Кунанбай когда-то ласково назвал молодую супругу «калмак», калмычка то есть, – с тех пор так ее и звал, забыв про настоящее имя.

– Нет, хаджи. Сторож поет: «...ты мне послан Богом». Это из песни, которую создал Абай. Сейчас ее многие поют...

Кунанбай громко, со стоном, вздохнул и отвернулся к стене.

– Калмак, айналайын, иди, – пусть замолчит! Уйми! О, Кудай, нет мне покою! – пробормотал он и затих.

А песня в ночи все звучала, не давая покоя не только полумертвому старику:

¹ «Ты мне послан богом...» Букв.: «Ты – мой супруг любимый, / Богом указанный мне...»



*...Тәңір қосқан жар едің сен,
Жар ете алмай кетіп ең...*

Нурганым знала песню. Когда она впервые услышала слова Татьяны, то чуть не задохнулась от боли. Эти слова передавали все, что было в судьбе Нурганым. Все, что было у нее связано с джигитом Базаралы – другом ее печали и невыплаканного горя.

Выйдя из юрты, Нурганым пошла искать сторожа. Но она не передала ему приказа Кунанбая – лишь попросила Карипжана, чтобы он отошел подальше и пел бы песню тихим голосом...

– Твоя песня старику душу жжет... Понимаешь, песня горяча, как огонь... Уа! Не нравится твоя песня тут, что поделаешь... – сказала она с глубоким вздохом и ушла назад в дом.

Стихи и напевы, рожденные в Акшоки, плыли над степью Арки, как ее вольные ветры, неудержимо веющие во все стороны, и долетали они до всех джайлау Тобыкты, долетели до земель кереев, достигли края уаков низовий, до племен Каракесек и Куандык, прилетели и к найманам, населяющим долины Аягуз, горы Тарбагатай, Алтай.

Дошли они и до аула одного старика по имени Найман, что в краю Машан. Как-то однажды к крайней небогатой юрте подъехали два бедно одетых джигита. Это были жених со своим другом – оба из нищих аулов, они приехали, чтобы засватать невесту из такого же бедного дома. Но Молдабек, жених, был отменным певцом, и в дар невесте он привез много хороших песен. Семья невесты устроила скромную вечеринку и позвала на нее молодую хозяйку аула, которую все уважали и любили за ее доброту. Она пришла. Это была Тогжан.

Впервые в бедной юрте, в краю Машан, прозвучали «Письмо Татьяны», «Письмо Онегина» и «Второе слово Татьяны к Онегину». Даже еще не спросив, чьи это песни, по одной музыке и благозвучным, особенного строя словам Тогжан уже знала,



что песни сложились в той душе, что была ближе всех ей в дни юности прекрасной – песни сложил Абай.

Когда зазвучало «Второе слово Татьяны Онегину», Тогжан показалось, что земля уходит у нее из-под ног, и она теряет сознание. Душу опалило жгучее пламя, давно забытый молодой жар охватил ее тело и кинулся в ее ланиты. Она заплакала. Ведь это же были ее слова: *«А счастье было так возможно, так близко... Но судьба моя уж решена... Я вас люблю... но я другому отдана и буду век ему верна»*.

Весь продолжительный вечер она проплакала. Ушла тихо, незаметно, повторяя про себя слова песни Татьяны.

В один из теплых летних вечеров, в Каскабулаке, на вершине каменистого холма сидел одинокий Абай, прислушиваясь к шуму вечернего аула. Его одинокий аул не откочевал на далекие джайлау, остался в предгорье Чингиза, расположившись вблизи Ералы, в урочище Ойкудук. Отделился от остальных кочевий, намеренно избегая их шума, суеты и многолюдья.

Сегодня с горных джайлау приехало в аул Абая множество гостей – молодых акынов, певцов. Они привезли Абаю добрые вести. Оказывается, его стихи и песни широко распространились, стали любимы в народе. Недавно прошла Каркаралы-Кояндинская большая ярмарка, собравшая людей четырех самых известных родов края, и на ней прозвучало много песен Абая, непрерывно шли разговоры о нем. Все хвалили его: «Степь узнала хорошего человека, имя его Абай». И еще говорили: «Слова назиданий его истинно мудры, поучительны!», «Заступник бедных, друг обездоленных, враг неправедных властителей и насильников-баев», «Он сам из рода богатых владельцев Тобыкты, но стал истинным сыном трудового народа».

Привезли эти новости молодые акыны, друзья и ученики Абая: Кокпай, Мухамеджан, Мука, Магаш, Какитай... Сияющие от радости и гордости за своего ага-акына, сидели они вокруг Абая...



Теперь, к вечеру, он удалился от них и уединился на вершине каменистого холма.

В беспредельные дали уходят степные просторы Ералы, Ойкудука, Корыка. Простираются перед ним равнины – без единого бугорка или земляной складки. По этой глади земной скользнули, словно потоки безудержной радости, низкие лучи багрового закатного солнца. Что за радость, что за ликование в этот тревожный час угасания дня? Что за плавные, мерные колыхания скользящего над степью света? И представляется акыну, что это не степь знакомая перед ним, а никогда им еще не виданный безграничный морской простор. И плывет по этому морскому простору одинокий корабль. Долгое плавание предстоит ему, и конечная цель его устремлений – неведомый остров, затерянный в безбрежном океане. Но бодро и уверенно плывет корабль, на мачтах реют флаги с надписями: «Борьба», «Надежда». Это – как родовые кличи у кочевников. Корабль удаляется. Абай смотрит ему вслед и мысленно желает ему от всей души счастливого плавания и достижения великой цели. Ведь это – корабль судьбы Абая.

Он сидит на высоком холме и, не мигая, смотрит вслед призрачному кораблю. На мгновение его провидческую душу охватывает чувство гордости: бессмертная слава предстоит в веках этому кораблю. Беспремерный, великий путь его будет воспет в легендах и песнях грядущих поколений. Гордый корабль Абая окажется достоин своей славы.

Но эти горделивые мысли недолго продолжались. Солнце ушло за степной горизонт. Игра багровых лучей в степном мареве погасла. Вслед за этим пришли, навалились на потемневшую степь вовсе не замеченные Абаем прилетевшие откуда-то черные, низкие кучевые облака и тяжелые, серые высотные тучи. Сразу же и в сознании поэта все трепещущее, светящееся сменилось темными, тусклыми, гнетущими мыслями.

Впереди – опять жизнь, опять борьба. И в этой борьбе – он один. Одинок и один-одинёшенек. Как всегда. Правда, у него



есть две волшебные силы для борьбы. Первая – это его дар. Вторая – это народ, который вдруг весь предстал перед ним как одно существо, и он его полюбил. Но если первая сила не пробудится, то вторая ничем не сможет ему помочь. И одиночество тогда возьмет верх. Потому что ни у кого, никогда, ни за что не хватит своих сил одолеть свое одиночество.

Сейчас он на перевале жизни. Много ли обрел он на пройденном пути, много ли у него потерь? Правда, о потерянном он в большей части не жалеет. Потерял еще при жизни отца, Кунанбая, он стал совершенно чужим человеком. Многие из родственников, такие как брат Такежан и прочие, не только отвернулись от него, но стали врагами. Отошли от него, гуськом потянувшись друг за другом, Оразбай, Жиренше и иже с ними. Однако – бог с ними. Найдутся, наверное, еще и другие. Пусть уходят... Лишь бы народ остался с ним, да не угас бы в его руке светильник, указывающий ему путь к народу... И тайной клятвой своей обещает, что не сойдет с этого пути.

– Где же недавнее море? – окинул он взором перед собой.

Не океан безбрежный раскинулся перед ним, а плоская равнина худосочной степи близ Ералы. И в глубине этой степи, в будничной его вечерней полумгле, вдруг обозначился бегущий вихрь пыли. За ним другой, – еще и еще... А вскоре, оглашая окрестности топотом копыт, к подножию холма, на котором сидел Абай, подскочил всадник. Это оказался гонец от жатаков Ералы, молодой джигит Садвокас, которого Абай определял в город на учебу.

– Абай-ага! Посмотрите на пыль! Это враги! Они напали на табун жатаков, вон, угоняют коней! Разбойники угоняют наших последних коней! – выкрикнув это, джигит зарыдал без слез.

Нет ни моря, ни корабля мечты. Нет и следов от горделивой радости. Опять крики, опять борьба, – жизнь призывала Абая немедленно вмешаться в схватку.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------|-----|
| ПЕРЕПРАВА..... | 3 |
| ДЖАЙЛАУ..... | 73 |
| ВЗГОРЬЯ..... | 157 |
| ПРЕГРАДЫ..... | 280 |
| ПЕРЕВАЛ..... | 389 |
| РАСПУТЬЕ..... | 436 |
| ВЕРШИНА..... | 509 |
| ЭПИЛОГ..... | 545 |

Мухтар Омарханович Ауэзов

ПУТЬ АБАЯ

Роман-эпопея

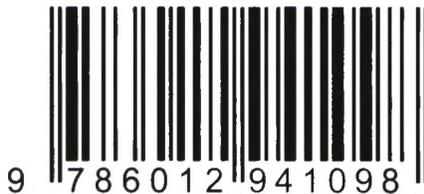
КНИГА ВТОРАЯ

Под общей редакцией *Б.М. Канапьянова*

Подстрочный перевод –
К. Жорабеков, М. Тнимов

Редактор – *А. Шаихова*
Консультанты – *Г. Бельгер, Б. Хабдина*
Художественное оформление – *Ж. Алимбаев*
Верстка – *И. Селиванова*

ISBN 978-601-294-109-8



Подписано в печать 31.05.2012.
Формат 60x84 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 32,3.
Гарнитура «Arial».
Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 2000 экз.
Заказ №7226.

Издательский дом «Жибек жолы».
050000, г. Алматы, ул. Казыбек би, 50, ком. 55,
тел. 8 (327) 261-11-09, факс 8 (327) 272-65-01.



вновь улыбнувшись, ответил на недавние шутливые слова Айгерим:

– Конечно, тебе с Ерболом покажется смешным, если я скажу, что и на самом деле моя работа намного тяжелее, чем у каменщика, однако это так. Только вот что обидно: если по завершении его работы на земле поднимется дом, подведенный под конек, то моя работа никому не видна, хотя порадоваться и мне будет чему, – не меньше, чем мастеру-каменщику.

Ербол переглянулся с муллой и молвил с лукавым видом:

– Ну да, о чем тут спорить! Разве найдется тяжелее труд, чем работа человека, сидящего на сложенном вчетверо одеяле, в прохладной юрте!

Мулла Кишкене продолжал хранить серьезное выражение на своем лице, к тому же он пытался придать ему некоторую строгость, даже недовольство. Приняв слова Ербола за чистую монету, мулла приосанился и молвил назидательно:

– Дом – это убежище вашей жизни, семейный очаг, сопутствующий вашему благополучию. Сегодня поистине счастливый день, ибо ваша верная супруга с самыми добрыми надеждами и чистыми помыслами заложила краеугольный камень вашего нового очага. Мы все поддержали ее с самыми радостными чувствами! Но меня, право слово, очень удивляет, что отсутствовал в это священное для семьи и для всех нас, родичей, время сам хозяин!

Айгерим не хотела вступаться за Абая, но и не произнесла слов осуждения.

– Сегодня мы пригласили досточтимого муллу, чтобы он почитал нам из Корана и дал свое благословение на доброе наше дело. В честь этого я велела забить серого коня с белой звездочкой на лбу. – Так сказала Айгерим, по-прежнему ласково улыбаясь и с любовью глядя на мужа.

Абай благодарно посмотрел на Айгерим и с искренностью в голосе еще раз повторил, что ценит и одобряет ее старательность в таком важном деле и от всей души выражает пожела-